95 коп.

Индекс 73276

«Нева», 1990, № 2, 1—208

НЕВА 2/1990

2/1990

ISSN 0130—741X

А. СОЛЖЕНИЦЫН
Март Семнадцатого

М. ЧУЛАКИ
Праздник похорон

Нева

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

З. ПАСТЕРНАК
Воспоминания

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»
Л. ЖУХОВИЦКИЙ
Страна долгожителей

23.1.14



Февраль. «Набережная Кутузова».
Рис. Г. Дерягина

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

2/1990

Выходит с апреля 1955 года



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

СОДЕРЖАНИЕ

Сдано в набор 27.10.89. Подписано к печати 02.01.90. М-22001. Формат бумаги $70\times108^{1}/_{16}$. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 24,45+2 вкл.=24,73 уч.-изд. л. **Тираж 620 000 экз.** Заказ № 240. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Вадим ШЕФНЕР

Загадочный век

Нет, не в мирную ввел обитель,—
Дал судьбу, крутую, как трек,
Мой творитель, мой покровитель,
Мой могильщик — Двадцатый век.

Не узреть, не понять мне с ходу,
Светозарен он или мглист,—
Я петляю, я мчусь сквозь годы,
Как слепой велосипедист.

Только в смертной прозрев больнице,
Разгадаю свой век, пойму,—
Надо ль с ним, как с другом, проститься
Или молча уйти во тьму.

◆◆◆

Прохожий, поклонись ему!
Минуя сквер зеленый,
Идет он, погруженный в тьму
И солнцем озаренный.

Шагает медленно, с трудом,—
Как будто ждет рассвета;
Ступает так, как будто льдом
Покрыта вся планета.

Он под огнем шагал вперед,
Он ранен в сорок пятом,—
В то утро для него восход
Последним стал закатом.

Он глаз своих не уберег
Средь огненного шквала,—
Он честно сделал все, что мог,
Чтоб солнце нам сияло.

1952—1989

Выходной

Всю-то жизнь он играл на гармошке
В захудалой подвальной пивной,—
А теперь отдохнет хоть немножко,
Он до Судного дня — выходной.

О какой-то загадочной славе
Он мечтал с отдаленных времен,
Но его на концерты не звали,
И в пивнушке состарился он.

Сникла, сгорбилась мало-помалу,
Обреченно согнулась душа;
Отсыревшие своды подвала
Придавили ее не спеша.

А вчера он скончался, он выбыл,
Он покинул житейскую тьму,—
Все богатства планеты на выбор
Предоставлены ныне ему.

Он врастет в прямоствольные сосны;
Он простится с подвальной тоской,
Воцарясь маяком светоносным
Над стогорбой пучиной морской.

Разогнется душа, распрямится,
Вознесется над сутью земной,
С прямизной, с высотой породнится,—
У нее выходной, выходной!

◆◆◆

Бывало, дрожь берет от стужи,
От голода — хоть волком вой,—
Но я-то знал: бывает хуже;
Мне плохо — значит, я живой.

С тех пор немало лет я прожил,
И на судьбину не ропщу;
Плохого не ищу в хорошем,—
В плохом хорошее ищу.

Полотно из запасника

Рояль, ковры, резная мебель,
На столике — бокал вина,—
И ангелы дежурят в небе
Неподалеку от окна.

И всюду — серебристо-синий
Таинственный, нездешний свет...
Самоубийца на картине
К виску приставил пистолет.

Бедняга и здоров, и молод,
Благопристоен и богат.

— Зачем отсюда в смертный холод
Ты, парень, рвешься наугад?

И слышится мне голос властный:
«Не зная дела — не суди;
Смерть совершенно безопасна,
Поскольку вечность — впереди.

Не убоясь ни тьмы, ни тленья,
Простым движением курка
Вмещу я в смертное мгновенье
Все предстоящие века».

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН



(23 февраля — 18 марта)

26´

(Дума кончается)

Много толстых томов стенограмм четырёх Государственных Дум, кто только одолеет их, дают несравнимое впечатление ото всей реки общестаенных настроений России за одиннадцать её последних лет. И если б даже не иметь больше ни единой книжки мемуароа, саидетельств, фотографий,— по одним этим стенограммам так неоспорно аосстанавливается и вся смена забот и настояний, сшибка страстей и мнений, и даже — характеры, и даже голоса самых частых ораторов, десятков двух.

Начав читать эти томы ещё с полным неведением, с полным доверием, никакого мнения не имея и не предожидая,— от заседания к заседанию вдруг испытываешь тоскливую пустоту от резкой, оскорбительной, никогда не связанной с *делом* и никогда не предлагающей осуществимого дела гоаорильнею левых. Можно представить, что в западных парламентах и самая крайняя оппозиция всё-таки чувствует на себе тяготение государственного и национального долга: участаовать в чём-то же и конструктивном, искать какие-то пути государственного устроения даже и при неприятном для себя правительстве. Но российские социал-демократы, трудовики, да многие кадеты, совершенно свободны от сознания, что государство есть организм с повседневным сложным существоаанием, и как ни меняй политическую систему, а день ото дня живущему в государстве народу всё же требуется естественно существоаать. Все они, и чем левее — тем едче, посаящают себя только поношению этого государства и этого правительства. Все они, выходя на думскую трибуну, обращаются не столько к этой Думе, не столько рассчитывают склонить её к какому-то деловому решению, сколько срывают аплодисменты *передовой*, либеральной, радикальной и социалистической общестаенности — и ничего не жаждут, кроме её одобрения.

Ч х е и д э е: Я говорю не для вас, а для тех, кто меня послал.

Обсуждается продовольственный вопрос — социал-демократ (Бурьяноа) по этому поаоду раскрывает о Кинтале и Циммервальде. Другой:

продовольственный кризис не может быть разрешён потому, что власть — дворянско-земледельческая.

При чём там урожаи или неурожаи, доставка, мельницы, хлебные цены! Как будто двести последних лет Россия и не клала на зуб ни краюхи: дворянская власть — и кризис неразрешим, пустите кадетов, социал-демократов — и Россия будет сыта. (Через несколько дней кадет Некрасов застонет, что нет сил разгрузить приходящее — еще при царе разнаряженное — в большом количестве в Петроград продоаольствие: мятели кончились.)

По каждому частному осязаемому вопросу — эти холостые проаороты, без зацепленья с истинной жизнью, лишь накал обвинений:

Ч х е н к е л и: Правительство у нас было и остаётся врагом народа, это для всех ясно. Должно быть покончено с политической системой, приведшей страну на край гибели. Час настал!

(И до чего ж несвободная эта Россия! — аот так не дают ни слова вымолаить.)

С к о б е л е в: Вся страна ненавидит эту власть и презирает это правительстао.

Ч х е и д з е: Правительство виселиц, правительство военно-полеаых судов, правительство белого террора, архиреакционное по своему составу... Всякое сотрудничество с этим правительством есть предательство народных интересов. Россия народа и Россия этого правительстаа — *две вещи* несовместимые, у них нет общих ни радостей, ни печалей, ни поражений, ни побед. Нам надлежит идти путём, которым пошли предки наших милых и симпатичных друзей-французов. Буржуазия в XVIII веке не словесами занималась. (С к о б е л е в: „С м е т а л а т р о н ы!")

Что стесняться им, если вся Дума уже встааала за неприкосновенность парламентских речей — и останавливала даже государственный бюджет, все финансы империи, пока думским с-д не дозволят наговориться асласть.

С к о б е л е в: То, что мы видим, это Содом и Гоморра, гниение и разложение. Это — в а ш а Россия, Россия дворянского крепостнического благополучия, Россия бюрократического своеволия, предстала как обнажённая порочная женщина...

И это глаголанье в раскалённой пустоте, до визжанья, до свинголоса, надменно обращается и к сотоварищам по Думе, и особенно к кадетам, всегда недостаточно революционным:

Ч х е и д з е: Вы не можете, господа, не считаться с *указаниями улицы*. Вы не можете не принять во внимание указание улицы, что ликаидация всемирной бойни должна произойти а интересах демократии.

Ч х е н к е л и: Вы решительно не способны к положительной работе в пользу народа... Докажите, что и вы можете что-то хорошее сделать для народа.

Чем малочисленнее горстка социал-демократоа в Думе, тем с большим чаанством и аысокомерием они глумятся над остальною Думой, то корят Прогрессивный блок, то саысока поощряют, а постояннее всего аыпячивают собственное предаидение и многознание, сыпят мишуру социальных откровений. Чем малочисленнее они, тем длительней и щедрей переводят не-своё, думское, время, и далеко отклоняясь в оглушительно-холостые провороты, уаеренно знают, что как левых их не посмеют прервать.

С у х а н о в: Это правительстао ведёт политику изменников и дураков.

Р о д з я н к о: Прошу вас быть осторожнее.

С у х а н о а: Это слова депутата Милюкова.

Р о д з я н к о: Покорнейше прошу не повторять такие неудачные слоаа.

Р о д и ч е а (с места): Почему неудачные? (Ш у м, с м е х.)

Или

Ч х е и д з е: Я очень просил бы не делать мне замечаний с места, занимаемого товарищем председателя, это злоупотребление своим положением. (С л е в а р у к о п л е с к а н и я „П р а в и л ь н о!")

В о л к о в (к-д): Эти господа (у к а з ы а а н а м е с т а п р а в и т е л ь с т а а) должны сесть в тюрьмы, ибо они настоящие преступники, мешающие нам обратить асе силы на борьбу с анешним врагом. (А п л о д и с м е н т ы. П р е д с е д а т е л ь н е п р е р ы в а е т.)

(с о ц и а л и с т): Старый режим опоздал с возможными уступками. Теперь только перешагнув через труп старого режима, возможен путь к хлебу.

Р о д э я н к о с готовностью заметает:

Ваша метафора несколько неосторожна, но я не сомневаюсь, что прямой смысл не мог быть у вас.

Тот даже не даёт себе труда оправдаться и, спустя немного, повторяет „метафору", вполне беспрепятственно.

Как бы считает себя обязанным седлать Думу по часу едва ли не через день уморительно-нудный Ч х е и д з е, с его дребезжащим произношением, с его непрочищенным языком:

— при том положении, которое находится в стране;

— Блок стал в положение священника, который заготовленную пропоаедь оставил в старых штанах;

— все эти красиаые слова не стоят выеденного яйца, и им могут верить только дети или идиоты; —

зато с непокидающим самомнением, не способным на себя оглянуться:

— куда Россия придёт — *ни* я не могу предсказать, ни вы;

— на этот счёт *меня* особенно жизнь не беспокоит;

и так уже привыкли думцы к его неотвратимым речам, как к стихийной слякоти, как к дождям осенним, что не способны проняться, когда и верное замечание забредёт в его речь:

Хотите турок осаободить от их столицы Константинополя?

или когда, в декабре 1916, Чхеидзе изумляется, почему вся Дума, уж так с порога, решительно и едино, даже и обсудить не хочет германских мирных предложений?

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 1.
Печатается по изданию: А. Солженицын. Собрание сочинений. YMCA-PRESS, т. 15, Париж — Вермонт, 1986.

Когда сменили Штюрмера и на трибуну вышел новый премьер Трепов, ещё никак себя не показавший, социал-демократы не давали ему даже выступить с декларацией,— а кричали, буянили, потом каждый по пять минут держал и хулиганил с трибуны, и все выведены вон на 8 заседаний. (Родзянко возмерился лишать каждого на 15, но струсил левого ветра.)

Очень заметно: когда социалисты выведены, только и начинается в Думе спокойное деловое обсуждение.

С социал-демократами постоянно соревнуясь, ни на тон, ни на выкрик от них не отстать ни в резкости, ни в поношении правительства, ни в презрении к думскому большинству, ни на раз выступить реже Чхеидзе, ни на пять минут не говорить меньше, мелькает руками, в беге речи обгоняет колченогий смысл, с общими местами гимназического багажа, проклинает и предсказывает — адвокат, вошедший в моду перед самою войной, настойчивый ходатай сосланных думских большевиков — Керенский. Войдя возглавителем к серым трудовикам, особенно хорошо чувствуя крестьянство:

> Крестьянство проснулось и поняло, что третьеиюньская система привела к гибели государства,

он постоянно ощущает себя и выразителем всей России, всех трудящихся, любимчиком русского общества за стенами Думы и первоблестящим оратором в ней:

> наше мнение, ничтожной кучки здесь, учитывается европейским общественным мнением.

Отмеченная В. Маклаковым

> ничем не оправданная, необыкновенная популярность революции в России

нашла в Керенском своего восторженного глаголя:

> Вы, господа, до сих пор под словом „революция" понимаете какие-то действия, разрушающие государство, когда вся мировая история говорит, что революция была средством *спасения* государства!

И, цитируя англичанина:

> Человеческий род гораздо меньше страдал от духа мятежа, чем от бесконечного терпения народа.

Если Родзянко осмеливается лишить его слова, Керенский совершает *шесть* ответных прорывов, всё не уходя с трибуны:

> Я хочу... Я хотел только... Я хочу указать, господа... Что в настоящий момент... Я решительно протестую... Что не дают возможности...

Нет оскорбления обиднее для Керенского, чем — не вывести его из зала, когда выводят с-д, или приписать ему в газетах,

> будто он разделяет убеждения о некоторых *законных* методах борьбы с властью.

О, какая пощёчина! законных? Нет и нет! Самый вскидчивый адвокат России, он, конечно, за вне-законные методы!

> Вы хотите бороться „только законными средствами"? (Милюков: „Это — Дума".)

О, как же он презирает этих умеренных либералов!

> Я хочу спросить вас, господа члены Государственной Думы: *что ж, наконец, поняли ли вы*, что исторической задачей русского народа в настоящий момент является уничтожение средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало, героическими личными жертвами?.. Вы — коробочки государственности, не имеющие государственного смысла! Вы, господа, только взмахом контрреволюционной волны 1906 года выброшены на мировую арену, и кроме нищеты государственности, кроме убожества государственного мышления, вы перед миром явить ничего не можете.

Иногда в пируэтах своего красноречия, Керенский задерживается и над теми местами, где заложена истина, и метко разит кадетов:

> Если у вас нет воли к действиям, тогда не нужно говорить слишком ответственных и тяжких по последствиям слов. Вы считаете, что ваше дело исполнено, когда вы сказали эти слова отсюда. Но ведь есть же, господа, наивные массы, которые эти слова воспринимают серьёзно, которые хотят оказать большинству Государственной Думы поддержку! А когда эта поддержка готова вылиться в грандиозных движениях масс, вы первые вашим „благоразумным" словом уничтожаете энтузиазм!
>
> Не есть ли это способ остаться в своих тёплых креслах? Вы не хотите разорвать со старой властью до конца. Для вас вовсе не так дороги интересы, в святости которых вы клянётесь! Вас объединяет с властью идея империалистического захвата!
>
> Посмотрите на эти зарницы, которые начинают полосовать небосклон Российской Империи... Будьте осторожны с народной душой, не бросайте в неё упрёков в измене, в руководительстве иностранными агентами, она (народная душа), хочет быть гражданином, она хочет сказать: я так хочу!..

— уже в изнеможении, все нервы растратя, с трибуны едва не свисая.

Мы цитируем Керенского непропорционально мало, обходя кубические километры пустословия, отбирая лишь то, что прилегает к повествованию, оттого представляя его концентрированней, чем он был, и даже прозорливцем (как он всегда приписывал себе ретроспективно). А это совсем не из частых было его минут:

> Я признаю, что и мы, представители демократии, не всегда были на высоте понимания наших исторических задач.

И, вдруг теснимый предчувствием (впрочем, уже 15 февраля):

> Я не хочу вступать в споры и в партийную борьбу. Я хочу, чтоб эти наши дни прошли бы при полном сознании величайших страданий и величайшей ответственности, которая скоро падёт на всех нас без различия наших политических убеждений. В этот последний момент, перед великими событиями... последний раз спросим себя: можем ли мы спасти народное достояние прошлого, которое попало в наши руки? Страна уже находится в хаосе, мы переживаем небывалую в исторические времена нашей родины смуту, перед которой 1613 год кажется детскими сказками...

Впрочем тут же, едва перевздохнув,— снова и снова о пяти большевицких депутатах, сосланных в Сибирь (за пораженчество, и даже отречься от того телеграммою не захотевших, как просил министр внутренних дел),— и развалилось минутное замирание в думском зале, и с правых скамей кричат:

> — А я бы вас безошибочно бросил!

то есть в Сибирь же.

Однако крайне-левым не откажешь в последовательности большей, чем у кадетов, кто сами не поспевали за своими крылатыми речами и плохо понимали, куда ж они, собственно, тянули.

Кадеты были изумлены неожиданной победой своей атаки 1 ноября 1916, когда внезапно им удалась главная цель — свержение Штюрмера в несколько дней. Прецедентов тому ещё не бывало в нашей парламентской жизни. Прогрессивный блок показал, что он — сила, с которой весьма считается императорская власть.

Но тем более такая победа и обязывала: атаковать дальше, свергать дальше (в первую очередь аппетит разгорался на ненавистного Протопопова), свергать и сшибать каждого до тех пор, пока в правительство позовут их, избранников народа.

Да преемник Штюрмера А. Ф. Трепов, перед тем министр путей сообщения (несамолюбиво ждавший и два часа, пока думская комиссия решала, стоит ли выслушивать его доклад об окончании Мурманской железной дороги, еле-еле Шингарёв и Родзянко уломали думцев выслушать),— и сам принял премьерство с решением сблизить правительство с Думой и свою программу уклонить в сторону, требуемую Блоком. Но безнадёжно испорченных отношений с Думой он не сумел исправить за 6 недель своего премьерства, не сумел сломить Протопопова, да и всё равно не угодил бы Думе, ибо требовалось от него менять не государственных людей на государственных, но непременно на руководителей Блока, да беря их не рядовыми министрами, а уйдя и сам. (Он и был прогнан, но потому, что не угодил Двору.)

А между тем бушевание вырвалось за стены Думы. Шли съезды за съездами и выносили страшнейшие резолюции. Декабрьский съезд союза Городов постановил:

> Дума должна довести до конца борьбу с постыдным режимом!

И председатели губернских земских управ согласились:

> Историческая власть стоит у бездны. Правительство ведёт Россию по пути гибели... Время не терпит, истекли все отсрочки, данные нам историей...

Но и — всего уничтожительнее для власти! — извечная опора трона,

> съезд объединённых дворянских обществ, искони преданных своим самодержцам, с великой скорбью усматривает, что в переживаемый Россиею грозный исторический час, монархическое начало, эта вековая основа государства, претерпевает колебание в своих устоях. Безответственные тёмные силы подчиняют своему влиянию верхи власти и посягают даже на управление церковное... Церковь не слышит свободного слова своих епископов и видит их угнетёнными... Необходимо создать правительство, русское по мысли и чувству...

(Уж не из думцев ли предполагали они его собрать?)

Читающая Россия обращалась к газетам — там по совету Маркова 2-го не было больше белых полос, но не было и рассказа о случившемся. Однако уже была привычка и техника самооповещения — от руки, на пишущих машинках и на ротаторах (и ротаторы не были под охраной спецотделов),— и всю осень и зиму текли по России, достигая даже глухой провинции, подлинные и вымышленные думские речи, записи встречи думцев с Протопоповым, и вот теперь резолюции всех декабрьских съездов, которые назвал Милюков

высшей точкой достигнутого нами успеха. На наших глазах общественная борьба выступает из рамок строгой законности и возрождаются *явочные формы* 1905 года,

то есть опять наступает если не революция, то приятная имитация её, а значит у Прогрессивного блока и у крайне-левых снова

общие задачи и единый враг.

(Мечта и постоянная тяга кадетоа — заслужить доверие социал-демократии.)

Но эта высшая точка успеха была всё-таки вне Думы — а что-то же надо было делать в Думе, собираясь весь ноябрь, полдекабря, полфевраля? Прогрессивный блок должен был не уставать произносить:

Новиков 2-й: Страна находится во власти безумцев, изменников и ренегатов.

Аджемоа: Первым делом будущего правительства будет — *посадить на скамью подсудимых* предательски действующее нынешнее правительство. Предел перейдён, и остаётся стране самой себя спасать. В решительную минуту Дума будет с народом, а *народ пощады не даст*!

Шидловский: Правительство очутилось в положении траaимого зверя,

и настолько ослабело, что если бы вдруг у Блока появилось бы

искреннее желание из-за тяжёлых обстоятельств времени пойти на компромисс, то даже не знаем, *с кем* мы должны были бы пойти на компромисс,

нет лиц, нет людей.

Милюков: В этот момент, когда мы стоим на мировом распутьи и решаем судьбу многих поколений... Страна боится остаться хоть на минуту с правительством без Думы, и потому так тревожно просит нас не расходиться...

Это верно: в кофейнях, в театральных антрактах, в 1-м и 2-м классах поездов более всего обсуждают последние речи депутатов, ими живут. Однако, хотя

свершилось то, чего мы хотели и к чему стремились: страна признала нас своими вождями,

испытывали кадеты заминку, и даже растерянность внутреннюю: что же правильно делать? как использовать Думу и своё лидерстао в ней?

Естественно было: по каждому возникающему вопросу противоборствовать правительству. Самая большая победа тут была одержана, когда дружно потопили министерство народного здравия — уже созданное министерстао, уже назначенного министра, начавшего деятельность, но без согласия Думы,— и за это отменили его со всеми его антиэпидемическими и санитарными мероприятиями — на зло правительству! Ещё сорвали проект ваести обязательную трудовую повинность, хотя бы в прифронтовой полосе:

Принудительный труд? Полицейские меры? Позор! Долой!

или бездействующих беженцев обязать к работе:

Для беженцев вводят крепостное праао?!?

Уж тем более бурно протестоаали и сорвали проект милитаризации оборонных заводов — то есть лишить рабочих права бастовать, увольняться (зато и кормить на заводе): уж это тем более крепостное право и солдатчина для пролетариата! Эта мера — для удушения революционного движения!

Хуже получилось с германскими мирными предложениями. После энергичного осеннего наступления па Балканах, заняа Бухарест, взяв румынскую нефть, пол-Румынии, и только что объявив независимость Польши, в конце ноября, в саой лучший момент, Германия предложила союзникам немедленные мирные переговоры. Эффектен был шаг и прекрасно составлена нота (для свободного развития всех народов, в случае отказа — вина на союзниках), ликоаала леван часть рейхстага и берлинские жители. И нейтральные Соединенные Штаты поддержали германское предложение. Оживлённые толки о мире захватили все столицы Европы. Стрелка войны дрогнула. Простые, даже прогрессивные, люди по слабости хотели мира, облегчения, и вот стали надеяться на переговоры. Прогрессивный блок был, разумеется, против мира, за войну до победы в единении с нашими славными союзниками. Но хотя а то время и длилась думская сессия, Блок не спроворился отозваться немедленно, да и был как раз момент острой борьбы против правительства,— а изменнические круги правительства и династии, только и мечтавшие о сепаратном мире, как это достоверно знал Милюков,— отозвались ранее всех, даже союзников. Ещё в Лондоне и Париже выискивали искусные отказы, как 12 декабря был оглашён приказ русского императора по армии:

...Враг ещё не изгнан из захваченных областей. Обладание Царьградом и проливами ещё не обеспечено. Заключить ныне мир значило бы не использовать плодов несказанных трудов ваших, геройские войска и флот.

Ловко! Царь перехватил инициативу — и Думе, вместо того чтоб уничтожительно

атаковать правительство, пришлось поплестись в хвосте: разумеется, никаких переговоров, Германия — аиновница мировой борьбы.

Милюков: Во имя скорейшего наступления новой эры мы не хотим мира аничью, мы не хотим мира без победы, с новой мировой войной в перспективе. Преждевременный мир был бы только коротким перемирием.

Родзянко: С согласия союзников принципы владения проливами и Царьградом... Народная совесть не простила бы себе минутной слабости.

И пришлось опять аыслушивать слева:

Керенский: Три года провозглашая с этой кафедры „победу во что бы то ни стало" — с какими результатами идёте вы на последний суд истории?.. Я категорически заявляю, что мы, демократическая Россин, совершенно не согласны и протестуем против того содержания и тона, который был принят в вашем ответе на ноту Вильсона. (Справа: „Ты — помощник Вильгельма!") Пусть и русская власть сформулирует не фантастические требования, а минимальные. Я утверждаю, что провозглашение безграничных завоевательных тенденций не встречало и не может встретить поддержки в народе. (Шингарёв: „Неверно!")

Неверно! Кадетское сердце знает: народ хочет умирать и побеждать!

Возникали и другие деликатные положения, где Прогрессианый блок не мог проявить разоблачительного гнева: всякий раз, когда выплывал вопрос о промышленном капитале и банках. Звучал в Думе одинокий голос священника Околовича:

Есть вампир, который овладел Россией. Своими отвратительными губами он высасывает кровь из народно-хозяйственного организма, крепко держит голову, мешает работать мысли. Это — банки: Азово-Донской, Петроградский международный, Петроградский учётно-ссудный, Сибирский торговый... Банки финансируют не войну, а дороговизну. Они стали собственниками многих заводов. Они задерживают сахарные отправления а Петроград. Они закупают продукцию и не направляют её в места спроса и голода. Идёт азартная биржевая игра вокруг овса. Банки поставили коммерческие интересы выше родины. Всё хозяйство страны — под надзором, а банки — не под надзором.

Но Дума, не слыша, миновала такой голос. Банки — сила, замахиваться на них нельзя. Надзор за банками предлагал Шингарёв весной 1916, Прогрессивный блок отклонил. При недостатках подвоза, перебоях топлива, банки стали извлекать свои капиталы из торгово-промышленных предприятий, оптовики сокращали свою деятельность,— оттого закрыаались многие лавки, исчезали предметы первой необходимости,— но для публики оставалось аиновато правительство, и лучше нельзя было придумать.

Между широких валов крупных аопросоа выныривали во множестве и некрупные, иногда не желанные и, мелькнув своей спинкой, тонули. То члена Думы поляка Лэмпицкого, публично выступавшего против России на территории, оккупированной немцами, долго не решались исключить как изменника (это противоречило бы левому и польскому ветру), обсуждали полный день и наконец исключили... за непосещение думских занятий. (А депутатов-большевиков, лишённых всех прав состояния и сосланных, вообще никогда не исключали.) То своим чередом подползали из многолетних думских залежей: законопроект о всеобщем школьном обучении. Законопроект о волостном земстве, давний-предавний вопрос русского развития, затянутый, замедленный, как всё важное на Руси: исполнилось 55 лет тщетным попыткам определить и создать волостное земство, 11 лет — усилиям провести его через законодательные палаты,— и вот в третью военную бесхлебную зиму, за три месяца до революции, в декабре 1916, волостное земство вдвигается в думские прения.

Проект создать всесословную волость родился даже прежде 1861, ещё когда только обсуждали крестьянскую реформу: крестьянство, только что вышедшее из крепости, приаыкшее беспрекословно повиноваться любой власти, не отстоит себя от государстаенной бюрократии; да и обособление помещиков углубит их рознь
9 с крестьянством; хорошо бы объединить их во всесословное земство, чтоб они вместе осознали и отстояли интересы земли. И государство перестанет быть для крестьянина пригнетением.

Но не было сделано так. Своему утоплению в крестьянстве сопротивлялись многие помещики (те, кто не шли в уездное земство). Не сочувствовала проекту и радикальная интеллигенция 70-х — 80-х годов: узкие волостные интересы отвлекут от широких горизонтов, местное самоуправление только свяжет общее развитие демократии (безбрежное сладкое море политики). И теперь

Стемпковский (воронежский помещик): Мы — не граждане, объединенные одною мыслью, но — хозяин и работник, но — начальник и подчинённый. У нас не было места, где мы могли бы сойтись и поговорить

о будущих нуждах, где бы наши интересы сливались воедино. Мы сталкивались всегда при обстановке, не располагавшей восстановить единство и добрый мир. И даже расходов волости не берём на себя, сколько раз признавая, что так несправедливо.

И сверх земских сборов собираются с крестьян мирские средства, а могли бы доплачивать помещики.

С давних пор томится уездное земство: так близки к населению — и так удалены. Как сблизиться? Вечный спор: начинать ли сразу с развития гражданского сознания скудоимущих и неграмотных? или — сперва грамотность, потом — улучшение экономического быта, тогда у них появится досуг, тогда и реформы?

Разразился голод 1891, и яснее зинула эта пропасть: не было волостного земства, которое знало бы, кого кормить, кому ссуду давать. Да даже и несведущие благотворители не допускались к голодающему населению помимо земского начальника.

А между тем немногие крестьянские гласные в уездном земстве хорошо оправдали себя: они ярко понимали своё положение, права, интересы, высказывали отчётливые мысли о нуждах и задачах.

Ещё во 2-ю Думу Столыпин внёс проект волостного земства, равного для всех сословий. Через 10 лет вынужден был признать даже

Керенский: Отдаю дань его памяти. Он смело, честно и открыто отказался от куриальной системы в земстве, сказал, что это — факел вражды, который вносится в местную земскую жизнь.

Но в Думах проект загряз надолго.

В крестьянской и христианской России четырём Государственным Думам образованного класса ни один крестьянский закон или христианский вопрос никогда не казался ни спешным, ни важным. И если какие из них они всё-таки иногда проводили, то только если это означало явное торжество над правительством. Так они 8 лет квасили в комиссиях вопрос о крестьянском равноправии — и не дали. Законопроект же о волостном земстве в мае 1911 Дума передала в Государственный Совет. Там — извращали статьи, увеличивали административные полицейские функции земства, потом — отклонили проект целиком. В августе 1915 4-я Дума выхватила снова проект 3-й, внесла его, но это было перед её роспуском, да и внесено скорей всего напоказ. Проект снова выплыл в марте 1916, в думской комиссии, со спешкою и очень несовершенный. Однако: время ли затевать волостное земство, когда идёт война?

Шингарёв, горячо: да, да! И хотя бы общих надежд не оправдало, но для войны-то оно и понадобится! Во время войны все опасности и опасней. Вот придумываем разные местные комитеты по продовольствию — а было бы у нас волостное земство? — через него и учет запасов, и закупка хлеба, и распределение товаров, и использование беженцев, военнопленных... Сколько лет ещё протянется война? — никто не знает, не поздно строить волостное земство и теперь. Оно предохранит нас от анархии.

Правые. Это — и не успеется до конца войны. И сейчас нет людей на местах. Первый состав гласных будет случаен, и от этого криво пойдёт всё направление деятельности. Да вообще, даже в уезде с трудом собирают полезных земских деятелей, где же набраться в волостное земство? При неразвитости нынешнего крестьянства преобладание его в земстве будет номинальным, а неограниченно будет господствовать *третий элемент* (служащие земского аппарата). И попадёт земское хозяйство в руки лиц, ничем с землёю не связанных. Если не бюрократия, так поработит деревню город. Слишком поспешно устраняются земские начальники, а среди них много развитых и в курсе дела. Проект предусматривает защиту интересов города, казны, администрации и полиции — но не духовенства; церковь не будет представлена в этом земстве никак. Да нынешняя волость и слишком мала, чтобы создать жизненный, финансово возможный организм, возникнет больше новых налогов, чем пользы.

Если образованный читатель в сем месте пожалуется, что не этого он ждал от главы и, наконец, ему скучно читать о волостном земстве, да и вообще всё об этой Думе,— откроем, что и Думе самой скучны эти прения, а может быть и сама себе она уже скучна. Обсуждается волостное земство,— а по залу свободно ходят, громко разговаривают, больше половины уходят в фойе и в буфет, в зале присутствует порой лишь 150 человек из 440, то и дело нет на месте записавшихся ораторов, и даже Шингарёв оказывается в отсутствии.

Шестидесяти лет оказалось мало проекту — он поспешен, сыр, непродуман, его толкает насильственно центр, и критикуют с обоих флангов и просто все, кто взял труд подумать: как же можно проводить такую основательную объемлющую реформу, даже не спросив крестьянского мнения на сходах? На передовых позициях равняет смерть офицера и солдата — как же можно вводить курий в волостное земство? Опираться не на доверие соседей, а на превосходство имущества?

Керенский. У постели умирающего не говорят о житейских делах. Нечего

есть в городах, неизвестно, будем ли живы,— а нам предлагают проект волостного земства...

То, что летом 1915 было спорным, теперь становится смешным. Нужно — найти рычаг, чтобы повернуть *весь строй* государственной жизни! Надо вскрывать гангрену и выпускать гной!

Вдруг — обостряется спор до ярости и, как часто бывает, пока не привыкнешь, сперва непонятно, с чего это?

Городилов (крестьянин): Как это проводить выборы в волостное земство, когда всё население на войне? Оскорбление просто. Волостное земство понадобилось господам прогрессистам, чтобы по окончании войны насадить своих людей, которые наполнят деревню чуть не самым последним элементом. А вот в нынешние волостные правления, чисто крестьянские, посторонним элементам нет доступа.

Так-то нам безопасней. Поправка трудовиков:

Правом быть избранным в волостные земские гласные пользуются лица... без различия веры, национальности и местожительства.

Шингарёв: Как мог быть подписан циркуляр: „на волостные сходы посторонних лиц не допускать". Кто же — посторонние в Российской империи? *кого* нельзя пускать?

И наконец прорывается пламенем — подразумённое, спорящим ясное, клокочущее и жгучее: да — беженцев! и — евреев, что ж вы их нам — равноправными членами земства? деревней нашей управлять? а на земле они работать — будут?

И таким же неугасимым огнём такие же горячие языки взлизывают на трибуну:

А иначе будет нарушено правосознание общечеловеческое и народное! Угнетая евреев, вы даёте козырь Германии: где же борется Россия за права народностей?

Керенский: Вы откровенно, как на конюшне, показываете свою настоящую сущность? Перед всем миром показываете, что Россия продолжает национальную травлю? Вот вы и есть настоящие пораженцы, подрываете дело союзников.

(„Пораженцы" — ещё не стало похвалой или гордым самозаявлением, в Думе это — брань, и Керенский силится отшвырнуть направо этот укор, постоянно виснущий над левыми.)

В Думу поступает 750 законопроектов в год. Их масштаб:

— об увеличении окладов квартирных денег присяжным счётчикам казначейств;
— об установлении должности уездных фельдшеров при вторых уездных врачах;
— об учреждении областного рыболовного съезда в Области Войска Донского...

К декабрю 1916 накопилось 1200 таких нерассмотренных законов, из них 1100 утонуло в думских многолюдных, неработоспособных комиссиях. Дума называла эти законы *вермишелью*, и обычно всю долготу своей сессии не занималась ею, предпочитая декларативные речи против правительства. Вермишель выбрасывалась на кафедру в последние дни, когда уже все разъезжаются.

Маклаков: За границей законы короче наших, пишутся просто, ибо нет такой централизации, а доверяют местам. Лишь создаются нужные учреждения и указывают им цели и пути, директивы от парламента. Там дорожат вниманием парламента, призывают его лишь к важным началам закона, остальное делает правительство. И мы тоже могли бы так — если могли бы верить правительству. Или хотя бы контролировать его. Мы же берём на себя груз, который может нас задавить.

В этой Думе (как, впрочем, и во всех парламентах) — чем правее, тем позорнее перед обществом, тем связанней в доводах. Что б ни говорили правые,— нет им ни веры, ни поддержки, ни даже простого уважения. Их легко подавляют голосованием, или замечаниями председателя, или просто — криками с мест, ибо левых глоток много больше: „присяжные защитники правительства!". Им почти не дают говорить, прерывают, нелегко продляют время выступления, а чаще обрезают прения, чтоб не дать им выступить вовсе, в пулемётном порядке проводят резолюции против них.

Мы, русские националисты... (Слева: „Прусские!" Смех.)

...Ораторам не из Блока нельзя говорить с этой кафедры, вы их постоянно прерываете...

Думское большинство постоянно пренебрегает своим правым меньшинством. Молодому русскому парламенту доступна идея голосования и совсем чужда и странна идея согласования, на которой строилось древнерусское соборное понимание.

И это всё — не главное, отчего трудно в Думе правым. Им тяжко оттого, что они верны династии, которая потеряла верность сама себе, когда самодержец как бы околдован внутренним бессилием, им тяжко оттого, что они должны подпирать столп, который сам колебался. Но — какой же путь показать, когда шатаются колонны прин-

ципов и качается свод династии? Самодержавие — без самодержца!.. Правые — рассеяны, растеряны, обессилены. Если уж и верные люди не нужны Государю?.. Если сама уж Верховная власть забыла о правых и покинула их?.. Сдаться? Безропотно уступить власть кадетам? Так ведь не удержат, всё дальше и дальше будут передааать её налево. Переубеждать?

> Л е в а ш о в: Большинство ораторов, пренебрегая насущнейшими нуждами страны, посвящает свои речи озлобленным нападкам на власть, сведению партийных счётов. Очень может быть, что левые группы стремятся узурпировать власть в пользу своих повелителей, враждебных всему русскому.

А ещё: каждый шестой депутат Думы — крестьянин. (Побоялось правительство дать всеобщее равное право деревне, само себя лишило правого большинства в Думе — уж эти бы серые „аграрии" не допустили бы хлебной петли осенью 1916.) Крестьяне — смирно сидят, боясь развязных насмешек, выступают редко и кратко, стеснённо, то с доверчивой умилительностью:

> Третий год кровавой войны мы всё отдаем, братьеа и сыновей. Помоги вам, Господи, разбить дерзких и кровавых врагоа... А гвоздь повышен 20—30 рублей за пуд... ,

то с корявостью речи:

> Злоупотребляют нашему целому войску... Какое внушение идёт для народа... ,

вызывая только улыбки своими неукатанными, несостроенными речами. Они годами не могут привыкнуть к дерзким порядкам этих образованных господ в Думе — к облаиванию и обрёвыванию, какие неприличны были бы на сельских сходах. Или тому, что в ладоши хлопают не по согласию с речью, а — если *свой* говорит. А коль и верно, да не свой — так чаще молчат. Депутатам-крестьянам надо несколько лет отереться тут, чтобы приобыкнуть, что это и есть Государственная Дума. В 1912 депутат Снежков предложил дисциплинарный товарищеский совет — благотворно влиять на думские нравы. Но его поддержали только депутаты-крестьяне, а из господ — Маклаков и с ним двое-трое. Так и не собрались.

И как же эту Думу вести благообразно и успешно? Задача Родзянки, беспокойнейшего из председателей. Вот уж он не бездействует! Как бы ни были тучи сгущены, всякую новую сессию и подсессию открыть достойно:

> Исполнены решимости не дать врагу поработить Святую Русь! —

и бурные приаетствия союзным дипломатам. Распускают ли Думу (3 сентября 1915) — склонить её всё же кричать

> — Ура-а-а-а!

Государю императору. Ожидают ли перерыва (декабрь 1916) —

> Приглашаю Государственную Думу стоя выслушать Высочайший ответ на принесенное Государю императору поздрааление к тезоименитству. Ура-а-а-а!

Положение России — очень сложное, только и обозримое с председательского места. Иногда — пойти на секретное заседание бюро Блока, иногда — не отказаться и вместе с правыми поехать на обед к Штюрмеру. То — скрыть от Думы неприятные бумаги, то — вступить лично и непосредственно с Францией в переговоры об аэропланах, обойдя и все министерства и Верховное Главнокомандование. Но напряжённее всего и болезненнее всего — добиваться аудиенций у Государя, всякий раз трепеща получить или отказ, или холодный приём, или испытать унижение: быть вычеркнутым царицею из списка приглашённых к высочайшему завтраку, или в правительственном поезде получить самое неудобное отделение. А попав на приём к Государю, выдержать единственно верное поведение между воплощённым достоинством Государственной Думы, душевной преданностью своему монарху — и отеческим вразумлением, как тому надо поступать.

> Вся царская фамилия с трепетом ожидала моего доклада.

При своей независимости всё же обласканный приятным придворным званием шталмейстера, радоваться Анне 1-й степени — не Председателю, нет,

> в воздаяние особых трудов и заслуг в должности почётного попечителя Новомосковской гимназии,

и тут же понимать, как это роняет его в глазах Думы („продался за орден", и это после разгона её), ну да ведь и любим же ею неизменно! — и всё же решиться пригласить Государя в Думу на молебен, и убедить приехать, и всё хорошо. И вдруг осенью 1916 разносится слух — для самого неожиданно, неведомо откуда поднявшийся, но сладко и властно охватывающий слух: премьером и министром иностранных дел будет РОДЗЯНКО!!! Ещё никем официально не предложено, ещё не спущено это милостивое слово свысока,— а ведь уже надо обдумать условия, достойные великого человека: императрицу — в Ливадию, пост принимается не менее, как на три года, министры — по собственному выбору, Поливанов вместо генерала Алексеева, а вели-

ких князей — снять с военных должностей. Увы, этого ультиматума никогда не услышит Россия: слух так и остался слухом.

И снова вносить себя по дубовым ступенькам на высшую кафедру Думы, и запорожским басом лениво отводить:

> Председатель сам знает, не вступайте в пререкания... ;

в опасные дни, избегая скандала, окружать себя думскими приставами (они многие с головами стрижеными и крупными физиономиями под своего Председателя), а в трагический день, когда грубиян Марков 2-й, размахивая руками и грозя кулаком, подымется на Председателя, видимо драться,— оказатьсн без реальной обороны кроме графа Бобринского, схватившегося за графин, вся другая помощь опоздает.

Прискорбный этот эпизод произошёл после того, правда, как полноября думское большинство поносило и всё правительство вместе и отдельно по министрам, а Р о д з я н к о возражал, может, и слишком бережно (но не ссориться ж ему с большинством!):

> Покорнейше прошу господ членов Думы несколько менее часто перебивать оратора...
>
> Ч х е н к е л и: Один выход — революция!
>
> Р о д з я н к о: Призываю вас к порядку за подобное выражение,

но дал договорить, а Маркова 2-го, за ответа „не кричите!",— удалил с кафедры. И этот необузданный депутат подошёл к Родзянке и объявил ему громко вслух:

> — Болван! Мерзавец!
>
> Р о д з я н к о: Член Государственной Думы Марков 2-й позволил себе такое оскорбление вашему Председателю, которого в анналах Государственной Думы ещё не имеется. (Ш у м. Г о л о с а: „К а к о е?") Но я не могу... (Ш у м.) Но ввиду этого обстоятельства я попрошу моего Товарища предложить ту меру возмездия...
>
> В. Б о б р и н с к и й: За невероятно тяжёлое оскорбление Председателя Государственной Думы (Г о л о с а: „К а к о е?") ... я не повторю этого выражения...

Марков исключается на 15 заседаний — предел, даваемый уставом. Но, по уставу же, виноаному дозволяется объяснение поступка, и М а р к о в 2-й успевает объявить:

> С этой кафедры осмелились оскорблять высоких лиц безнаказанно. Я в лице вашего председателя, пристрастного и непорядочного, оскорбил вас!

Всё же этот эпизод окончился к вящей славе Родзянки: и аплодисменты Прогрессивного блока, и сочувственные телеграммы от земских и дворянских собраний, городских дум, выборы почётным членом совета профессоров Петроградского университета и орден Почётного Легиона от президента Франции!

Руководство Думою сложней симфонического дирижёрства, тут надо много предвидеть, менять тоны, приёмы, виды голосований — по запискам, с проходом в двое дверей, подъёмом рук или без подсчёта, дозировку выступлений, продление или непродление, умелое откладывание запроса или острое введение его (любым левым запросом на добрые сутки прерывается равномерное законодательное обсуждение).

Тем более важно не ошибиться при открытии напряжённо-ожидаемой сессии после вынужденного перерыва, как 14 февраля. Тем обиднее, что выступлением Риттиха отодвинута центральная речь Милюкова,— и он произносит её на другой день при неполном зале, даже без кворума депутатов, увы, уже без торжественного стечения публики.

> М и л ю к о в: Несколько вялый тон прений и не особенно внимательное отношение слушателей...
>
> Мы, законодательные учреждения, разорвали с правительством. Там (у к а з ы в а я н а л о ж у п р а в и т е л ь с т в а) нет никого, кроме вот этих бледных теней. (Р у к о п л е с к а н и я. А д ж е м о в: „Т а м в с я к а я д р я н ь!") Министры не относятся к числу знающих людей... Страна далеко опередила своё правительство... Зрелище, глубоко оскорбительное для великого народа... Будет ли с пути народа сброшено это позорное и досадное препятствие?.. Господа, в патриотической тревоге, которою полны ваши собственные сердца, не в молчании, не в примирении я вижу наше спасенье. Вы, которые знаете больше, чем я могу сказать с этой кафедры, вы знаете, что тревога эта основательна. И если в самом деле укрепится в стране мысль, что с *этим* правительством Россия победить не может, то она победит *вопреки* своему правительству, но победит!

(Крупнейшим знатоком внешней политики это было сказано 15 февраля. Уже Соединённые Штаты явно входили в войну, и победа союзников рисовалась едва ли не автоматической. Почему же могло казаться так Милюкову да и всем почти? Гипноз желанного. Конечно, отплывя по реке истории, узнав берега и промерив дно, легко критиковать. Теперь-то, за всё расплатясь, мы знаем, что обстояло как раз обратно

тому, как сказал Милюков: с *этим* правительством Россия уже неизбежно победила бы, *вопреки* же ему она проиграла аойну.)

Но, чтобы гром не разразился в той форме, которой мы не желаем, мы должны предупредить удар.

Это — очень милюковское: когда в спину жмут — благоразумно опинаться.

Из глубин России несутся надежды к нам. Это мы должны, не довольствуясь речами, совершить какое-то необычное и особенное действие... „Все речи уже произнесены, действуйте смело!" — говорят нам со всех сторон. Эти надежды нас глубоко трогают, но и несколько смущают. Ведь наше слово уже есть наше дело. Но, рисуя самые мрачные картины настоящего, мы имеем возможность не делать из них того безотрадного вывода, который напрашивается и против которого я вас настойчиво предостерегаю.

Это — требует мужества, когда слева социал-демократы жёлчно поливают:

Как, господа, можно назвать вашу тактику? Вы продолжаете твердить, что готовы бороться лишь *законными средствами* с властью, которая ведёт страну к гибели! Это — хуже, чем всякое пораженчество!.. Вы же говорите, что эта власть изменяет стране?

О, этот левый ветер, как он больно режет лицо! И ведь правда, ответить нечего. Заслоняются, тупятся, переминаются кадеты:

Очень прискорбно, когда между нами и нашими товарищами слева появляются разногласия, к радости тёмных сил.

Внутренняя слабость кадетов в том, что, беспощадные в критике, они не могут дать увлекательной программы: чаще — не имеют её, иные пункты скупятся высказать, чтобы правительство не перехватило себе. Ну, разве что

М и л ю к о в: Освободите этот народ от лишних стражников и полиции. Пожелание народа: возьмите полицию на фронт! Почему эти упитанные остаются неприкосновенными?

А то — лишь одно, лишь одно поаторяют они, и в этом главная их программа:

Р о д и ч е в: Когда там (у к а з ы в а е т н а л о ж у п р а в и т е л ь с т в а) будут сидеть люди, заслужившие народную веру, люди, самые имена которых говорили бы стране: *жди и веруй*, ибо эти люди сделают своё дело или погибнут...

Лишь бы власть ушла, мы заступим — и всё пойдёт.

А может быть — и придумать ничего было невозможно, тупиковое положение. Вот — прогрессисты, давшие Блоку названне, сидящие правей кадетов, а думающие даже левей:

Е ф р е м о в: В ноябре страна вознесла престиж Думы на недосягаемую высоту,— но прошло три месяца, и начинает терять веру в её могущество. Страна накалена недовольством, а близорукая упорная власть как будто нарочно наталкивает её на страшный вывод о невозможности парламентскими средствами борьбы...

И что другое, правда, предложишь, кроме правительства доверия:

Такое правительство может совершить чудеса: его вдохновляет народная душа, с ним будет творить и работать весь народ.

(Скоро, на Временном правительстве, мы это и проверим.)

Опережая лидеров Блока, на завоевывание новой популярности ринулся

К е р е н с к и й: *Кто же те*, кто приводит сюда эти тени (у к а з ы в а я н а м е с т а п р а в и т е л ь с т в а).

И дальше — о *тех*, выше правительства. Он и осенью уже так заводил, а теперь-то! Он верно сообразил, что поношение правительства — уже не ораторское достижение, пришла пора поносить трон. И верно сообразил, что в Думе уже *всё* можно. И верно сообразил, что Родзянко не посмеет выдать его. (Премьер князь Голицын запросит стеиограмму — Родзянко ответит, что ничего предосудительного там не было.) Все опасные места — а их насчитается 6 за часовую речь — будут изъяты. А уже такое умеренно мягкое место:

С нарушителями закона

(то есть с правительстаом)

есть только один путь — физического их устранения! (С л е в а р у к о п л е с к а н и я: „В е р н о!") —

даже и в стенограмме не сокращено. И упиваясь достигнутым уровнем смелости и ожидаемым восторгом страны, парламентарий объявляет, что́ до сих пор лишь подразумевалось, а теперь пусть растекается в гектографических листках:

Я, господа, свободно могу говорить, потому что вы знаете: я по политическим своим личным убеждениям разделяю мнение партии, которая

(теперь можно признаться: не трудовик — а тайный эсер!)

на своём знамени ставила открыто возможность террора... к партии, которая признавала необходимость тираноубийств.

Председательствующий Н е к р а с о в (Родзянко перед такими опасными речами всегда куда-то исчезает):

Член Государственной Думы Керенский. Изложением своей программы не дайте основание утверждать, что в Государственной Думе могут раздаваться приглашения к чему-либо подобному.

Но если крикнут с места увлечённому Керенскому:

— Говорите от себя!

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й на его защите:

— Прошу не перебивать оратора.

И после такой зажигательной речи кто ж будет слушать унылые уговоры правого? —

Л е в а ш о в: Кучка бессердечных честолюбцев старается использовать затруднительное положение родины, чтоб незаконно захватить власть над ней, не дать правительству сосредоточиться на сокрушении могучего неприятеля. ...Песни еврейской печати, истерические выкрики думских ораторов, что теперешнее правительство не может вести Россию к победе...

Ведь ещё подбааит независимый казак

К а р а у л о в: Если вы имеете дело с собеседниками, которым хоть кол на голове теши, то самое лучшее с ними не говорить. Поэтому я не буду делать никаких обращений к правительству.

И ещё социал-демократ

С к о б е л е в: Не только к правительству и не только к *центральной фигуре*, которая дёргает этих марионеток. (П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й н е м е ш а е т.) Много накопилось, что́ может предъявить рабочий класс к теперешней власти. Или эта власть с её приспешниками будет сметена — или Россия погибнет. (Р у к о п л е с к а н и я с л е в а. П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й н е в о з р а ж а е т.)

Когда партии, парламентские фракции, газеты и ораторы привыкают, что общество и студенчество аплодируют им, жадно следят за ними,— они, того не замечая, втягиваются в соревновательную игру: каждый следующий оратор и журналист, каждое следующее заявление и резолюция рассчитаны вызвать удивление, восторг и поддержку — сильнее, а хотя б не слабее, чем предыдущие,— такова инерция этой игры. А чтоб этого достичь — мало просто таланта говорения, писания, быстрой сообразительности: этого постоянного подъёма и нагрева общественной поддержки можно достичь, только если пользоваться подбодряющим рядом фактов и пренебрегать удручающим рядом их. Рост голоса и рост успеха невозможны, если эти ряды честно и взвешенно сопоставлять. Так эта общестаенно-парламентско-газетная игра (мы наблюдаем её накануне русской революции, но усталым зрением часто видим на сегодняшнем Западе) становится увлечённым обманным шествием, карнавалом перед тем как опрокинуться: глаз и нога перестают различать, где ещё твёрдая земля, где — уже зеркальное призрачное отражение.

В последнюю неделю русской Государственной Думы это соревнование достигает отчаянной надрывности. Ни одно обсуждение — ни о волостном земстве, ни о транспорте, топливе, ни о продоаольствии — не доводится до конца, но прерывается каким-нибудь истерическим спешным запросом, а тот сшибается и заталкивается новыми и новыми запросами и вопросами, также не доводимыми ни до какого решения, один запрос острей другого, повестка дня разладилась, ораторы, сбивая единое течение, выступают каждый, о чём их жжёт.

Крупный текстильщик, не знающий этих твёрдых цен на свой ситец, революционнейший деятель Прогрессивного блока К о н о в а л о в, с золотым пенсне на длинном шнурке, выступает с запросом о беззаконных административных действиях против профсоюзов и аресте Рабочей группы, с длиннейшей речью:

Безответственность власти... Презреннейшее политиканство власти... Умственное убожество носителей своеволия... Протопопов как жалкий трус... Все пришли к убеждению, сами камни заговорили, что больше так жить и упраалять нельзя...

Но главное — он обещал с трибуны возгласить:

Представитель рабочих Фёдоров-Девяткин высказал следующие мысли...

И подолгу читает, что высказывал Фёдоров-Девяткин. На том час и больше.

Тут место выскочить и Ч х е и д з е, на то его неприкосновенное право, слушайте, хоть очами повылазьте. Самое время напомнить о сосланных в 1907 социал-демократических депутатах 2-й Думы — и почему Дума не хлопочет о них?

Вокруг старого режима осталась лишь кучка холопов. Такая власть, как наша, только и может держаться проаокацией, у неё других корней в жизни нет. Мы неоднократно предлагали вам поставить вопрос о прово-

кационпой деятельности правительства, ещё при Столыпине. Не наступает ли, господа, момент, когда внешняя война благодаря этой власти будет превращена, господа, именно в *гражданскую* войну? И я предлагаю вам, господа, иметь в виду эти перспективы!

(И за что уж Ленин так беспощадно поносил этого милого Чхеидзе?)

А тут опять подоспевает неутомимый быстроголосый Керенский с вёрткою головой:

Думское большинство всегда неохотно защищает трудящихся, ибо классово едино с правительством. Мой товарищ Чхеидзе говорил вам: смотрите! война внешняя превратится в войну гражданскую. И если вы — со страной, то вы должны перейти от *слов к делу* сейчас!

А ещё же — запрос об устранении от заседаний прогрессивных членов Государственного Совета.

А ещё же — запрос о закрытии Путиловского завода — и, конечно, опять

Керенский: Я слишком волнуюсь в настоящий момент, чтобы говорить о темах, которых следовало бы коснуться. Но ведь это уже — состояние, когда почти нельзя управлять.

И — во́т им, прогрессивному большинству:

Вы не боретесь за то, чтобы власть безумная не губила государства.

Надо спешить отвечать, спасая кадетскую честь.

Шингарёв: Очень много горькой правды... Безумная власть... Мы должны потребовать, чтоб она, наконец, или сумела справиться с делом или убиралась бы вон из государства! (Бурные продолжительные рукоплескания слева и в центре.)

А что до путиловской забастовки, ну

мастера побили там, вывезли что ли его на тачке, я не знаю.

Шульгин: Какие рабочие, за что и почему уволены на Путиловском — никто из нас понятия не имеет. При таких условиях вмешиваться в жизнь завода, руководимого военными властями...

Родзянко суетливо и сбивчиво проголосовывает предложение Керенского принять обратно всех уволенных рабочих.

Чем далее отмалчивается правительство, тем смелее депутаты. Правительство честят в тех словах, как будто его уже и нет в России. В успешной новой роли любимца общества не устаёт выламываться и Пуришкевич, в последние месяцы совершивший сенсационный перескок из крайне правых едва ли не в кадеты и безнаказанный за убийство. Трибуна не остаётся пустой, и ораторы переполнены нарастающим избытком чувств и слов. Уже торжествует с трибуны Скобелев, что на петроградских улицах — волнения и отбирают трамвайные рукоятки.

Керенский: Мы требуем, чтобы вы, власть, подчинились требованиям страны и ушли с ваших мест!

24 февраля переполошивается Дума новым срочным запросом: какие меры предпринимает правительство для урегулирования продовольственного положения в Петрограде? Как пропустить такой прекрасный повод для раздирающих речей? То шёл — продовольственный вопрос вообще в России, почти академический, его можно было и покинуть. Теперь — жизненный: тут, у нас, в Петрограде!

Шингарёв. Несмотря на пожелание Государственной Думы, в Петрограде продовольствием занимается градоначальник Балк, его уполномоченный Вейс. Петроградская городская дума ещё с ноября требовала себе права внеочередной закупки и перевозки хлеба (ведь им нужнее всех!) — и не получила. В феврале постановила — карточную систему, фунт на человека (от этих-то слухов и начались все петроградские хлебные волнения) — а уполномоченный не соглашается. Но если он заявляет, что хлеба в Петрограде на 20 дней — то где же этот хлеб? (В лавках хлеба хватает до 5 вечера, а вечером приходится ездить в другие районы.)

Подан запрос — пусть начинается исправление? (Да знают лидеры кадетов, что через 2 часа на совещании Родзянки с правительством всё решится полюбовно, в самом благоприятном смысле.) О нет, теперь-то и повод осветить политические аспекты и разжечь страсти!

Родичев: Роковое развитие событий, наступило наконец

(тут есть и радость! желанная музыка!)

то, против чего мы два с половиной года предостерегаем. Власть, которая в минуту народного бедствия не хочет собирать Государственную Думу,— ведёт народ к гибели. Негодность и преступность избранного пути... Они сами пришли к сознанию, как к ним относится русский народ, и несмотря на это остаются на своих местах. Мы переживаем тот двенадцатый час, после которого нет спасения! Правительство, в котором министра не отличишь от мошенника,— и все они назначены влиянием, которое мы не можем не назвать изменническим. (Слева рукоплескания: „Верно!") И вот, господа, настала последняя минута, когда эта власть измены может прекратиться. Это им — казнь, достойная дел, которые они совершили. Именем голодного народа мы требуем власти, достойной судеб великого народа! — призвать людей, которым вся Россия может верить!

А теперь как же обойтись без Чхеидзе? Сколько ни выступай — ведь хочется ещё рассчитаться, ещё поклевать.

Чхеидзе: Игнорирование улицы — это свойство правительства и многих из вас. Но как быстро ни стоял вопрос, всё-таки надо в корень посмотреть. Основная причина — мировая катастрофа, пора задуматься об этом серьёзно. Правительство? Да, в первую очередь оно виновато. Но, господа, не виноваты ли и те, кто долго шли в единении с ним? *Я вас спрашиваю*, отвечайте беспристрастно,— с тем правительством, которое было изменническим, и вы это знали. Это правительство никакого внешнего врага не признаёт, никаких народных благ не преследует, оно защищает свою собственную шкуру!

И — длинно об этом, десятикратно подробно, с размазыванием, с обильным напоминанием, что он сам и его фракция всегда были правы, всегда это знали и предсказывали.

Какое ж разрешение продовольственного вопроса? Упразднение этого правительства и этой системы!

(Самый обыкновенный лозунг для Думы, к нему уже привыкли.)

Наша фракция заявляет Государственной Думе,— сейчас у меня под руками этого заявления нет,— помимо коренного изменения политического строя чтобы дали массе возможность организоваться...

А наготове, рвётся, со вчерашнего дня не выступал

Керенский: Вчера мы говорили с этой трибуны, и никто в России не узнал. Даже заголовок о Путиловском заводе вычеркнут. (Справа: „А в Германии знают, Керенский скажет".) Все призывы бессмысленны. Кроме слов, что мы здесь говорим, не настало ли время превратить их в действие? Я не раз формулировал и говорил о причине всех причин несчастий, которые мы переживаем. Но, господа,

отдать ему справедливость, он способен опоминаться быстрей с-д и даже к-д,

когда мы уже вступили в период развала, катастрофы и анархии, когда разум страны гаснет, её захватывают стихии голода и ненависти, тогда я не могу повторить с этой кафедры то, что сказал депутат Родичев: настал двенадцатый час, сегодня или никогда. *Остерегайтесь слов*, если вы сами не хотите превратить их в дело. Слишком ярка перед нами картина гибели государства. Будьте осторожны, не трогайте этой массы, настроения которой вы не понимаете. Как мы были правы, когда говорили...

— и много о том, как были правы, когда говорили.

Только в народе спасение, и к нему мы сами должны пойти с покаянием

(как, впрочем, это известно ещё с XIX века). Вдруг появляется на кафедре

священник Крылов. Под свежим впечатлением, что видел сейчас на улицах. Громадная масса залила всю Знаменскую площадь, весь Невский и все прилегающие улицы, и — совершенно неожиданно: проходящие полки и казаков провожают криками „ура!" (Караулов на месте взволновался.) Один из конных полицейских ударил было женщину нагайкой, но казаки тотчас вступились и прогнали полицию. (Слева — продолжительные рукоплескания, „Браво!" Караулов: „Ура!")

Да, в этом душном закрытом зале просидишь, ничего не увидишь!

Будучи остановлен этой картиной народного воодушевления и патриотизма, я решил перед вами сказать своё честное пастырское слово,

что хлеб в стране есть, изобилие других продуктов, и надо только столковаться.

Аплодируют левые. Выступает от правых: что всякому русскому человеку больно, когда законодательные учреждения только тем занимаются, что мечут вонючей жидкостью в русское императорское правительство, вместо того чтоб созидать законодательство.

25 февраля на утреннем заседании на последний запрос отвечает всё тот же обязательный, услужливый, быстрый

Риттих. Подход продовольственных грузов к Петрограду очень упал с конца января: движение поездов было на три недели задержано метелями и тяжёлым угольным кризисом. Тогда-то Риттих и снизил норму Петрограда до 40 вагонов муки. В этой норме и держались более трёх недель. И ржаного хлеба хватало, даже некоторые хлебопекарни заявляли, что — избыток, не разбирают. Отсутствия муки

не было, пекарням всё выдавалось по норме. Видимая нехватка началась лишь три дня назад и особенно на Выборгской стороне. По поручению Риттиха уполномоченный объехал тамошние булочные и пекарни и выяснил, что во всех есть запас: от нескольких дней до нескольких недель.

Но произошло нечто необычайное: вдруг появились громадные хвосты и требование именно на чёрный хлеб. И все указывали, что лицо, купившее хлеб в одной лавке, сейчас же переходило и становилось в хвост у другой. Утверждают в один голос, что явилось в населении какое-то беспокойство об отсутствии муки в Петрограде, и на этой почве разыгралась прямо паника: все старались запасаться хлебом, чтобы делать из него сухари. Нечто подобное было две недели назад, но довольно скоро прошло, и потом население большими коробами продавало эти сухари.

Теперь же — обычной выпечки стало не хватать, и часть булочных и часть желающих купить ещё — стали оставаться без хлеба. Хотя общепетроградский запас остаётся больше, чем на две недели.

Уже назначены специальные маршрутные поезда в Петроград для пополнения нехватки. Уже вышло 19 поездов, есть поезда по 40 и 50 вагонов, но даже считая по 25 — это идёт двухнедельное количество. Однако, раз у населения нет уверенности, что мука не утекает, надо, чтоб оно ясно знало положение вещей. И теперь правительство согласно

немедленно передать распределение этих продуктов в руки петроградского городского общественного управления. (Шингарёв: „Это надо было раньше!") Такое предположение было ещё два с половиной месяца назад, когда я вступил в должность. Но оно не вкладывалось ни в рамки городового положения, ни в рамки... Теперь, не дожидаясь нового закона, как только петроградская управа сорганизуется хотя бы несколько, чтобы принять это дело, оно немедленно, в тот же день, будет ей передано! Если она может принять сегодня — сегодня же это будет сделано! (Не только ни одного хлопка, но слева: „И кто виноват?")

Отчитывается кадет Некрасов, который участвовал вчера в чрезвычайном совещании с советом министров. Весьма уверенно и примирительно:

Переживаемый острый кризис — преходящий, в ближайшие дни будет преодолён. Население может быть спокойным за обеспечение продуктами на ближайшее время.

Это так проверено: когда смотришь, как грузчики носят мешки, кажется — да и я бы легко! Но когда начинаешь хоть угол такого мешка перенимать своим плечом,— о, как мозжит он и плющит! Вот — первый уголок государственной тяжести, который дают перенять Прогрессивному блоку. И Некрасов уже оговаривается:

Мы знаем, что в руках общественных самоуправлений не будет многих из тех возможностей, которые были у правительственных органов. Но только тогда мы можем предъявить населению требования терпеть все лишения, когда оно само имеет в руках контроль и наблюдение.

Шингарёв: Вы присутствуете при событиях, подтверждающих старую поговорку — пока гром не грянет... Пока министр никак не мог „уложить в рамки"... Ещё в ноябре городская дума настаивала на таком праве. 13 февраля городской голова обращался к председателю совета министров, тот сказал, что подумает,— и думал, пока на улицах начались волнения... Однако, город может взяться за это дело, если ему будет обеспечен подвоз хлеба. Как может он иначе взять ответственность перед населением Петрограда? Надо заранее оговориться.

(Уже подавливает мешочек.)

Быть может, у *них* теперь одна надежда: мы до этого довели — а спихнём городу? (Слева: „Пусть все подают в отставку!")

Ещё выдвигают проворные думцы законодательное предположение (со шпильками, что во всём виновато правительство) — обсудить и принять за три дня. Ну, кажется, схватились за дела и хоть на сегодня закончилось словомолотье? Как бы не так! А —

Чхеидзе: Посмотрим, что из этого выйдет, то, что сейчас предлагается. На Кавказе продовольственный вопрос стоит острее, чем где бы то ни было. (?) Мы со своей стороны может быть найдём нужным предложить некоторые меры.

Но пока — не находит. А вот что: три дня — слишком долго, надо успеть в два, к понедельнику.

Ну — и Керенский же! Хоть несколько слов, хотя бы присоединиться: скорей! скорей за работу!

Несколько заявлений: прекратить общее заседание, чтобы продовольственная комиссия немедленно начала работу!

Как — а по мотивам голосования? прекращать ли работу заседания — нужны мотивы голосования. Опять-таки

Керенский: Министр земледелия ничего нового нам не сказал. И потому не надо прений! (Они и не предполагались.) А формула перехода (вот к тому, чтобы скорей начать продовольственную работу):

Выслушав объяснения министра земледелия и считая их совершенно неудовлетворительными, Государственная Дума признаёт, что дальнейшее пребывание у власти настоящего совета министров совершенно нетерпимо... Создать правительство, подчинённое контролю всего народа! И — немедленная свобода слова, собраний, организаций, личности...

Обскакал-таки дружка Чхеидзе! Какой же ловкий манёвр! Но — не упущено, наверстать! По мотивам голосования (о прекращении этого заседания) —

Чхеидзе: Я совершенно не желаю возражать против той формулы, которую огласил мой товарищ Керенский. Но я не могу согласиться, что мы ещё раз имели удовольствие выслушать представителя правительства... И поэтому мы не можем отказать себе в некотором, так сказать, праве ещё раз высказаться по тому, что объяснил нам господин министр. Поэтому я предлагаю не откладывать заседания, продолжить обсуждение этого вопроса, выслушать с трибуны ещё раз...

(ещё раз и ещё раз Керенского и Чхеидзе)

и ещё раз зафиксировать в памяти населения то, что нужно сказать. *Потом хватит времени*, я думаю, и для разработки законопроекта о передаче продовольствия общественным комитетам.

Десять минут назад он сам же говорил, что даже до вторника ждать невтерпёж, чтобы к понедельнику сделали всё! — и вот уже — давайте прения хоть на неделю!

Страшно не то, что на трибуну Думы во всякое время может вырваться любой демагог и лопотать любую чушь. Страшно то, что ни выкрика возмущения, ни ропота ниоткуда в думском зале — так ушиблены все и робеют перед левой стороной. Страшно то, что таким ничтожным лопотаньем кончаются 11 лет четырёх Государственных Дум.

В 12 ч. 50 м. Родзянко закрывает заседание.

Это всё — почти сплошь выписано мною из думских стенограмм последних недель русской монархии. Это всё до такой степени лежит на поверхности, что одному удивляюсь: почему никто не показал прежде меня?

Эта Дума никогда более не соберётся.

И я сегодня, прочтя её стенограммы с ноября 1916 насквозь, а ранее многие, многие, так ощущаю: и не жаль.

27

А сегодня от учебной команды волынцев уже не взвод пошёл на Знаменскую площадь, а вся 2-я рота — так, значит, Кирпичникову тем более выпало идти. Вот попадает, уж как бы хотел не пойти.

Сказали: сегодня там будем до двенадцати ночи, горячее пришлют туда. Не допускать народ стекаться на площадь.

Опять сидела рота в подвале дворницкой, а нарядами по очереди патрулировала.

Выезжали, проезжали и казаки взводами, и во всей боевой амуниции. Вид их, и копытный стук на улицах был грозный. И не только у толпы, но и у покладистых солдатских патрулей сердце ребром становилось против этих казачьих проездов. Хотя они и нагаек не вытаскивали, а смирно проезжали вхолостую.

А полиции — в этой толпяной густоте не видно было вдоль Невского, и только стояли коротким строем у вокзала. Мало их.

Вернулся Кирпичников в подвал какой-то притомлённый. Ото всей долгой службы, что ли. На войне — эа жизнь берегись, в мирное время — парадами изматывали, а тут вот что придумали — народ гонять.

И опять прибежал в подвал вестовой штабс-капитана — вызывать роту строиться. И тут же прибежали и прапорщики — Воронцов-Вельяминов и Ткачура, по одному на каждую полуроту. За те два года, что не был Кирпичников в Волынском полку (по мобилизации в пехотный полк попал, потом ранен, потом лечился),— тут многих прежних офицеров повыбило, мало кого и встретишь. Эти — новые.

Вылезли наружу. А вид у гвардейцев — шинели не пригнаны, кто в ботинках, где уж там стойка-выправка.

Построились, но теперь сбоку наискосок, так что толпе с Невского путь к Александрову памятнику оставался открыт. Они и повалили туда с красным флагом. У памятника остановились.

И сперва шапки сняли и пели все „вечную память".

А потом стали выходить оруны, сюда плохо слышно.

Не выдержал один пожилой солдат, ретивый, и из заднего ряда крикнул своему офицеру:

— Ваше благородие! Оратель — речь кую-то говорит!

Кирпичников одёрнул его:

— Замолчи, серенький.

Понимал бы ты, знал бы ты всё...

Прапорщик Вельяминов пошёл просить у капитана разрешения разогнать толпу.

Штабс-капитан Машкин 2-й ничего не ответил. Не приказал.

Кирпичников подумал: а ведь по-хорошему обо всём бы можно с людьми договориться. И Вельяминову:

— Разрешите, ваше благородие, я один схожу к ним.

— Да тебя убьют.

— Да никогда во веки.

Не пустил прапорщик. Пошёл опять сам к штабс-капитану — просить разрешения разогнать.

Ах, беда, опять к худому. Опять: как солдатам быть?

Вернулся Вельяминов, и первому взводу:

— На пле-чо! За мной, шагом марш!

И пошёл, сам отмахивая, отстукивая. А они за ним, вяловато. Он тогда звонко:

— Крепче ногу!

Солдаты ворчат:

— Тут не кузня, ногу держать.

Кирпичников остался с другим взводом. Отсюда не слышно, а видно хорошо: там, у памятника, подняли красную тряпку и растопырили над головами, а на ней: „Долой войну!".

Ошалели, что ли? Как это, долой войну? А немец куда?

Шагов через двадцать скомандовал Вельяминов взводу: „на руку!". Повернул фронтом — и пошли цепью, с винтовками наперевес — прямо на красный флаг.

Подступы памятника — из красного гранита, его от снега очищают. И чёрные людишки на нём.

Вельяминов кинулся вперёд, оторвался от строя — поскользнулся — и упал ничком.

И в него тотчас кинули палкой, в спину угодили.

А „долой войну" меж тем свернули, спрятали.

Толпа тоже робела.

Прапорщик бодро вскочил, подошёл, сорвал красный флаг с древка — и вернулся к солдатскому строю.

Спросил своих солдат — кто его ударил? Отвечали, что не заметили.

Повернул взвод, опять „на плечо" — и вернулся сюда, к роте.

Едва построились — из толпы пришла кучка, просила у штабс-капитана вернуть флаг.

Штабс-капитан вежливо просил их, что надо разойтись.

Вельяминов и Ткачура окрикнули их:

— Вы — разойдитесь, а то стрелять будем!

Подошёл один, в студенческой форме, без руки. И целой рукой тычет Вельяминову в значок на шинели:

— Вместе на одной скамье сидели, а теперь ты хочешь в меня стрелять? Ну, стреляй!

Грудь подставил.

Вельяминов ему:

— Армейская служба — есть служба. Без этого — нет страны.

Это правильно.

Откуда-то прискакали казаки на лохматых сибирках. Покрутились, копытами поцокали. Посмеивались. Наезжали на толпу, а мягко.

Толпа переливалась с места на место. „Мельница".

Офицеры ушли сидеть в гостиницу, а Кирпичников с солдатами всё стоял.

Когда толпа слишком наседала, окружала — сами солдаты взмаливались взойти в их тяжёлое солдатское положение, податься дальше.

Тоже служба — не своё дело делать. Люди хлеба хотят, и поговорить хотят,— чего им перегораживать?

Прибежал вестовой: идти пока в дворницкую.

28

За эту мрачную зиму приблизилась ещё одна милая преданная молодая женщина — Лили Ден, жена флигель-адъютанта, моряка, назначенного командовать выкупленным у японцев крейсером „Варяг". Именно вчера она проводила мужа, они ушли в Англию, может быть на полгода, менять машины,— и приезжала вечером посидеть. Огорчённая, тревожная (сколько одних германских мин по дороге!),— держалась молодцом. И от сходных чувств, при уехавших мужьях, возникло с ней проникновенное понимание.

К полуночи присылала звать Аня, и государыня ездила к ней в кресле черезо всю пустоту дворца, часа полтора успокаивала её, та лежала в жару, в задыханьи, в испуге, совсем плоха.

А дети пока переносили корь сравнительно не тяжело, по утрам температура спадала, к вечеру набиралась. Лежали все в тёмных комнатах, и мать попеременно ходила от одной к другому, сменяла сиделок. Осложнения — пока не проступили. А младшие девочки держались, хоть и на грани, Анастасия — с очень подозрительным горлом.

А за утренним окном шёл лёгкий приятный снежок, и при лёгком морозце. Мягко и беспечно падал на нетронутые снежные массивы царскосельского парка. Так могла бы быть легка и беспечна жизнь!

Кому-то другому...

Утром же подали государыне письмо от Протопопова. Он объяснял городские волнения этих дней (кажется, не прекратившиеся и сегодня?): это — вызывающее, просто хулиганское движение мальчишек и девчёнок, которые бегают и кричат, что у них нет хлеба,— просто для того, чтобы создать возбуждение. И — бастует часть рабочих, а по злостному обыкновению не пускают работать и других. Социалисты хотят пропагандой помешать правильному снабжению города. Если погода была бы холодна, то все бы сидели по домам. Но возбуждение спадёт и пройдёт, объяснял Протопопов, лишь бы хорошо вела себя Дума.

Да и никогда не бывает покоя, если Дума собрана. Все вместе в Петрограде — они всегда ядовитый элемент. А рассеянных по стране их никто не уважает.

И ещё вчера вечером доверенный близкий друг, флигель-адъютант Саблин, повидав Протопопова за обедом, передавал по телефону его успокоения: всё будет хорошо.

Вот послал Бог министра! — не чужая равнодушная рука, как большинство из них всегда, но преданный всей душой, но не дремлющий на страже царских интересов. И вместе с тем — умный, смелый, энергичный, проницательный, с большим пониманием людей и обстановки. И вместе с тем — ми-

лый, обаятельный, сердечно-сочувственный человек, которому можно душевно пожаловаться,— за четверть века ещё не бывало министра, с которым было бы так просто разговаривать,— такой нечванный, простой, сразу принят в тесное окружение царской семьи, настолько не гнался за государственным церемониалом, что можно было для скорости сноситься через Аню и пересылать важные бумаги. За четверть века ещё не бывало министра, которого приятно было бы принимать в домашнем кругу как своего, не стесняясь перед ним в самых откровенных высказываниях. (И даже может быть — тонко-понимающая мистическая душа, сродственная таинственным свершениям.) Поверить нельзя, что этот человек почти 10 лет вращался в Государственной Думе: её отравленная атмосфера злобы не задушила его. Он так непосредствен, откровенен, прям, чист, как только может бывать в России, как бывает у юродивых Божьих душ, ничуть не загрязнён петербургским бездушием,— и так безоглядно, с первой встречи, полюбил Государя. Долго искали, трудно искали, перебрали многих,— министр внутренних дел важней любого другого министра и даже министра-председателя! — и наконец нашли. И высмотрел его и предложил — конечно, наш зоркий незабвенный Друг. И Протопопов всегда понимал Его сердце. А теперь остался защитником как бы вместо Него, возместительной тенью.

Любопытно было наблюдать пристрастный мгновенный поворот Думы к Протопопову: то держали его у себя в лидерах, то, за верность Государю, прокляли и насмехались. Но общество так уже ослеплено, что не видит и этой думской несуразности.

Протопопов распоряжался деятельно. Направлять полицейские дела взял себе в помощь Курлова, безжалостно задвинутого когда-то после столыпинского дела. Недавно арестовал гнездо революционеров — „рабочую группу" при злоумышленнике Гучкове. Когда убили Друга и заревело от радости всё гнусное общество, а министр юстиции Макаров не спешил приступить к расследованию,— Протопопов проявил чудеса поиска, и его полиция быстро нашла тело, в далёком рукаве Невки, подо льдом. И сумел тактично незаметно провезти покойного через больницу и в Царское Село. И успел задержать бегство Юсупова из Петрограда — и тот понёс бы кару, если б имел Государь мудрость и твёрдость наказать. И пользуясь своим аппаратом перлюстрации, приносил государыне эти коварные злобные письма великих княгинь, где горько изведала Александра Фёдоровна бездну человеческого предательства. (И вот почему, ещё раз и ещё раз: министр внутренних дел должен быть абсолютно приближенный свой человек,— какой-нибудь князь Щербатов разве принёс бы?)

Да, всё обойдётся, если Дума будет вести себя прилично. Корень бунта и подстрекательства — в ней, а не в уличных шествиях. Ах, не убедить миролюбивого Государя, что нельзя прощать мятежные и даже антидинастические думские речи. Там что-то ужасное говорится, что Родзянко и не включает в стенограмму, чего и нельзя получить прочесть, а небось по стране пускают на ротаторах. Военное время! Такого не потерпели бы в Англии — а у нас всё прощается.

И два месяца рядом прожив, не могла перелить государыня в мужа свою горячекровную волю. Он всё уклонялся совершить мужскую государственную работу. Не наказал ни одного думского оратора, ни одного крикуна на мятежных съездах Союзов. У него не хватало решимости отделаться от неискреннего непреданного Алексеева: достаточно было только продлить ему отпуск подольше, а Государю показалось неловко. И Алексеев вернулся. И других чужих насажали в Ставку — Лукомского, Клембовского, а милого Пустовойтенку убрали,— и Государь мирился. И даже пристрастную комиссию Батюшина, которая без надобности будоражила евреев и всё общество, безжалостно вцепляясь то в Рубинштейна, то в сахарозаводчиков, то в бедного Манасевича, он не решался разогнать. (Александра и в сегодняшнем письме просила Ники уволить наконец Батюшина.)

Писала письмо Ники, но приходилось оторваться, потому что и на сегодня были ещё Государем назначены опять приёмы, и твёрдо, деятельно она должна была заменить супруга. Снова приходилось влезть в официальное платье и идти принимать, опять-таки иностранцев: одного китайца, одного грека, а аргентинец явился с женой, а португалец — с двумя дочерьми. Так бесконечно чужи они были сами и их претензии в эти тяжёлые дни.

Но состоялся и живой интересный приём — новоназначенного крымского губернатора Бойсмана. Подходящий будет начальник для Крыма, у него и о Петрограде оказались трезвые соображения. Во-первых: что здесь надо иметь настоящий боевой кавалерийский полк, а не расхлябанных, распущенных запасных, ещё и состоящих более чем наполовину из местного петербургского и чухонского люда. (И действительно! Сколько об этом ни говорилось, сколько раз ни решали вызвать в Петроград боевой гвардейский полк или улан — всё почему-то необъяснимо не осуществлялось, не помещалось.)

Во-вторых: все эти хлебные волнения — чистое недоразумение, потому что в городе муки достаточно, а просто всё не устроено, и даже булочные бастуют. И почему не вводят хлебные карточки? Ведь ввели же на сахар — и всё хорошо. И можно мобилизовать военные пекарни на помощь? Совсем не надо никакой стрельбы, надо только поддерживать порядок, не пускать через мосты — и всё быстро успокоится. А бастующим рабочим, чтоб они очнулись, прямо сказать, чтоб они не устраивали стачек, иначе их будут посылать на фронт или строго наказывать, ведь время военное!

Все мысли очень понравились государыне своею ясностью и простотой. Кажется, и проблемы никакой не было, и задумываться не о чем,— понять нельзя, отчего должностные лица не делают самых простых шагов.

Мысль о военных пекарнях особенно понравилась государыне — и она просила крымского губернатора тотчас же ехать к Протопопову и от её имени поговорить с министром, чтоб он поговорил с Хабаловым и осуществил бы это всё поскорей.

Императрица очень всегда вдохновлялась, если приём не оставался в пределах пустой любезности, доклад — в пределах специфически женской деятельности, но от частной проблемы поднимался до государственного значения. Со своей настойчивой волей она тотчас шла к важным решениям для укрепления и возвышения России — и затем либо внушала их Государю в письмах, либо сама искала кратчайшие пути исполнения здесь.

По своему проницанию и решительности государыня способна была стать главой и направительницей всех верных и правых. Ещё 22 года назад, едва только приехав в Россию, она обнаружила, что окружающие Государя неискренни, не любят ни его, ни страну, пользуются его неопытностью, никто не исполняет обязанностей добросовестно, а каждый думает о своей выгоде. Люди вокруг, вблизи — очень низки. С этим горьким видением она и жила многие годы, рожая одного ребёнка за другим, трепеща над наследником, не вмешиваясь ни во что. Лишь с ходом нынешней ужасной войны она не могла более держаться в стороне.

Но что она и собственных придворных (очень скучных) и собственных приближённых не всех понимала — не могла бы поверить! Сегодня такой урок проявил для неё граф Апраксин, начальник её канцелярии. Этот граф Апраксин был исполнительный чиновник по делам её поездов-складов, санитарных поездов, просто складов, госпиталей, эвакуаций, по всем этим делам она слала его во многие места, потом он подробно и обильно докладывал. К своей должности он был хорош, но представить бы не могла его государыня на какой-нибудь мысли выше.

Прошлую ночь Апраксин ночевал у семьи в Петрограде. Сегодня, сделав очередной доклад, он выразил смелость просить Ея Величество разрешить высказать своё мнение по вопросам, прямо его не касательным.

Государыня подняла усталые брови. Разрешила.

И граф с серьёзно-торжественной и комично-важной миной стал докладывать ей, что в Петрограде — очень сгущённое, грозное настроение, враждебное трону.

Она и всегда это знала: злоязычный Петроград — гнилая часть света, питающаяся миазмами. Идиотская публика, не понимающая даже четверти того, что она читает. И сами газеты, чёрт бы их побрал, всегда всем недовольны.

Но граф не сбился. Набравшись этого всего петроградского, он взялся теперь изъяснять, что в возникших беспорядках виновны сами министры и даже особенно Протопопов, который крайне раздражает всё общество. Что необходимо пожертвовать некоторыми лицами, чтобы тень не пала на...

Ещё только этого непрошенного указчика, по соседству, не хватало государыне после всех великокняжеских и великосветских! Ещё только из этих, до сих пор робких, уст не хватало ей выслушивать всё те же светские и думские клеветы — и может быть ещё на покойного Друга?

Но, вспыльчивая, она сдержалась. Это был маленький старательный человек, отравившийся от общества его слепым безумием,— что на нём вымещать? Она ответила ему со сдержанным негодованием:

— Граф! Что бы ни происходило и ни болталось в пустом Петрограде — это не может иметь влияния на необъятную Россию и на наш исторический трон. Я на нём — уже 22 года, и я знаю Россию. И изъездила её много. И знаю, что народ — любит нашу семью. И совсем недавно в Новгороде народ показал это так единодушно, с таким порывом... Пусть видят и Дума и общество!

Поездка в Новгород в декабре ещё стояла в ней не воспоминанием, но живым вдохновительным ощущением. Всего один день — но в народную глубину, чистоту, бесхитростность! Огромные народные толпы, влекомые любовью, приливами бросались к её автомобилю при остановках, целовали руки, плакали, крестились,— какое открытое ликование на тысячах простонародных лиц! И всё это — под слитный звон новгородских древних колоколов, всё вокруг говорит о прошлом, и переживаешь старинные времена. Шпалеры войск, восторженные гимназисты в Кремле, молебен в Софийском соборе, самоявленная Богоматерь в часовне, Юрьев и Десятинный монастыри, навещание старицы, навещание раненых,— переезжала и переходила, окружённая плотным народным восторгом, столько любви и тепла везде, чистота и единство чувств, ощущение Бога, народа и древности. В расширенном сердце государыни стояло ликование от этой взаимной верности: её — православному народу, и православного народа — ей.

И разве в одном Новгороде? А под Могилёвом, когда они ездили на автомобильные прогулки,— садилась на траву с наследником, и когда крестьяне узнавали, с кем говорят,— они опускались на колени, целовали руки и платье государыни. А когда перед войною плавали с Государем по Волге? — население выходило по колено в воду и кричало им привет и любовь. Да даже вот, в войну, студенты в Харькове! — встретили её с портретом и факелами, выпрягли лошадей и сами повезли карету.

И — какие же жалкие потуги петроградских затуманенных мозгов могли этому противовесить? Только свет и общество Петербурга и Москвы были против царской четы. А народ — единой душою с ними.

— Ваше Величество,— потупленно сказал бледный граф Апраксин.— Осмелюсь высказать... Про вашу новгородскую поездку в столице говорят, что Протопопов подстроил и подкупил население, чтобы вас так встречали...

Новгород? — подкуплен??! Какая столичная низость!

В государыне взлетел гнев, она резко поднялась, отталкивая стул,— и он упал со стуком.

— Нет, граф! Знайте свои границы! Подкуп — от истинных лиц и чувств — я ещё умею различить!

29

* * *

Чем отличался сегодняшний день — не было весёлого настроения, как бы игры, двух предыдущих. Больше не было напевания „хлеба! хлеба!", да и лавки громить остыли. Народ вполне уверился в дружелюбии войск и особенно казаков. (Подходили женщины вплотную к их лошадям, поправляли уздечки.) Третий день среди демонстрантов не было потерь — и полицию тоже народ перестал бояться, напротив — сам на неё лез, и с нарастающей злобой.

А полицию — уверенность покинула. Никто не был за них, ни даже само начальство, и потерянными точками в тысячных толпах они должны были что-то сдерживать.

Стала чувствоваться власть улицы.

* * *

Сквозь все окраинные кордоны в центр города проникли уже большие толпы, и главные действия разыгрывались тут. Здесь — и своих густилось, особенно по Невскому. На тротуарах, лицами к уличным шествиям, уставились служащие, обыватели, ни сочувствуют, ни порицают. Кричат им с мостовой:

— Что там стоите? Долой с панели! Буржуи, долой с панели!

* * *

В толпе увеличилось молодёжи — интеллигентной и полу-. Разрозненно, по одному, но во многих местах, стали появляться красные флаги. И когда ораторы поднимались, то кричали не о хлебе, а: избивать полицию! низвергнуть преступное правительство, передавшееся на сторону немцев!

* * *

На Знаменской площади длился теперь уже непрерывный митинг: менялась толпа, менялись ораторы, а митинг продолжался. И всё — вокруг памятника Александру Третьему.

Несоответственней и придумать нельзя, чем эта прочная, несдвигаемая и безучастная фигура императора, на богатырском замершем коне с упёрто-опущенной головой. Вокруг — высокие металлические фонарные столбы. И близко сзади — пятиглавая церковка.

Ораторов и не слышно от гула и от „ура". Вся площадь полна, и у вокзала, и по обеим сторонам Лиговки — казаки и конные городовые. То полицейский чин, обнажив шашки, кричит: „Разойдись! Разгоню!" Толпа не верит, не движется. Пристав махнёт шашкой казакам: „Разгонять!" Те, с хмурыми лицами, наезжают не всерьёз — толпа перетекает, съехали — и на старом месте. А то и конные городовые с саблями наголо поскачут на толпу — та мечется, зажата,— а никого не ударили.

Никто не знает, что с толпой делать.

* * *

И Невский запружен народом, море голов, красные флаги.

Попали на Невский военные грузовики и проехать не могут. Медленно ползут вслед красным флагам, как бы пристроившись.

* * *

Поперёк Садовой и вокруг Гостиного двора — плотные строи вооружённых солдат. А толпу, как всегда сзади, так и выпирает на солдат, грудями прямо на выставленные, наклонённые штыки.

Сзади поют революционные песни. А передние курсистки солдатам:

— Товарищи! Отнимите ваши штыки, присоединятесь к нам!

Напирает толпа. Солдаты переглянулись — и стали приподнимать штыки, так что они уже не колют.

— Ура-а-а! — ещё поднапёрла толпа, и всё смешалось.

* * *

Тех солдат убрали. А поперёк Невского около городской думы стала учебная команда.

Толпа и сюда напирает. Офицер отгоняет криками. Рабочие — тесней к солдатам, заговаривают, начинают и за штыки цепляться. Кто-то стряхнул их со штыка:

— Уйди, мать твою...

Фланговый солдат шёпотом: „Вы — офицера уберите".

Человек десять из толпы плотно окружают офицера. Он машет хлыстиком ласково:

— Не беспокойтесь.

Значит: стрелять не будут.

* * *

Большая толпа стянулась у Казанского собора и Екатерининского канала. Среди приличной публики есть и очень возбуждённые дамы, тоже спорят в кучках, в летучих митингах.

Казак на лету вырвал красный флаг, проскакал с ним два десятка сажень, оторвал от древка. Знаменосец побежал за казаком, упрашивал вернуть. Казак, незаметно для начальства, сбросил — и флаг уже подхвачен и в кармане.

Из толпы стали бросать в городовых пустыми бутылками. Потом дали по городовым с полдюжины револьверных выстрелов — одного ранили в живот, другого в голову, тех ушибли бутылками.

Полицейский офицер ответил двумя выстрелами. Раненых городовых увели.

* * *

На углу Невского и Михайловской толпа остановила извозчика с ехавшим городовым. А на коленях у него был ребёнок, подкинутый,— вёз его в воспитательный дом. Револьвер отняли, а самого отпустили — вези.

* * *

Тут же, в кофейной „Пекарь", дежурил полицейский надзиратель. Увидели его — и стали бросать в кофейню бутылки, камни, разбили три оконных стекла. Добрались внутрь до полицейского, отняли и поломали шашку. Кафе спустило железные шторы.

* * *

Против Троицкой улицы на Невском, разгоняя толпу, свалился на полном карьере уланский корнет. Помощник пристава вывел его из толпы, отправил на автомобиле. Не задержали.

* * *

К Казанскому мосту нашла новая толпа — тысяч пять, с красным флагом и песнями. Разлилась по площади у собора. „Долой самодержавие!" — „Долой фараонов!" И — „Долой войну!"

Простых баб почти нет в толпе, а много курсисток. Рабочие и студенты менялись фуражками — братались. Пошловатый мастеровой повёл под ручку курсистку в шубке. Она поглядывала смущённо счастливо.

* * *

Часть толпы подступала по Казанской улице ко двору, где городовые караулили человек 25 арестованных.

Тут подъехал взвод казаков 4-го Донского полка с офицером. Толпа замялась.

А казаки обругали городовых:

— Эх вы, за деньги служите!

Двоих ударили ножнами, а кого и шашкой по спине. Под рёв толпы выпустили арестованных.

* * *

На углу Невского и Пушкинской несколько человек из толпы бросились на помощника пристава со спины, ударили, отобрали шашку, браунинг — и под общие возгласы угроз оттащили по Пушкинской, вкинули в подъезд.

* * *

На Знаменской площади казаки всё же держали свободным проезд к вокзалу. Но как только извозчик ссаживал, брал седока — так и гнали его прочь.

Затесался в толпу автомобиль Московского полка — прокололи ему шины, стал.

А ещё прошла стороной, своей дорогой, воинская часть на погрузку. Шли солдаты в полной амуниции, хмурые, не обращая никакого внимания на всю агитацию и крики.

* * *

К четырём часам пополудни и позже в разных местах Невского — у Пушкинской, у Владимирского, у Аничкова моста — толпа обезоруживала городовых и избивала их тяжело.

* * *

Молодой человек в студенческой фуражке вытащил из-под пальто предмет, стукнул о свой сапог — и бросил под конных городовых, в середину. Оглушительный треск — и лошади взорваны, седоки навзничь.

* * *

А на Знаменской площади под конём тяжелостопным Александра Третьего — всё тёк митинг, ораторы разливались с красно-гранитного постамента. И рядом держался большой красный флаг.

С Гончарной въехал пристав, ротмистр Крылов, с пятёркой полицейских и отрядом донских казаков. На коне сидел он как хороший кавалерист. Обнажил, высоко взнёс шашку — и поехал в толпу.

И остальные за ним: полицейские — с выхваченными шашками, казаки — не вынимая, лениво.

Толпа расступилась, качнулась — из неё началось бегство в обтёк памятника: „ру-убят!".

Но — не рубили. Крылов поехал вперёд один, как добывая кончиком шашки высоко вверху своё заветное.

И никто не мешал ему доехать до самого флага.

Вырвал флаг — а флагоносца погнал перед собою, назад к вокзалу.

Мимо полицейских. Мимо казаков.

И вдруг — ударом шашки в голову сзади был свален с коня на землю, роняя и флаг.

Конные городовые бросились на защиту, но были оттеснены казаками же.

И толпа заревела ликующе, махала шапками, платками:

— Ура-а казакам! Казак полицейского убил!

Пристава добивали, кто чем мог — дворницкой лопатой, каблуками.

А его шашку передали одному из ораторов. И тот поднимал высоко:

— Вот оружие палача!

Казачья сотня сидела на конях, принимая благодарные крики.

Потом у вокзальных ворот качали казака. Того, кто зарубил? не того?

* * *

Молодым человеком Крылов служил в гвардейском полку. Влюбился в девушку из обедневшей семьи. А мать его — богатая и с высокими связями, жениться не разрешила. Он представил невесту командиру полка, получил разрешение. Представил офицерам-однополчанам — она была очаровательна, хорошо воспитана, офицеры её приняли. И Крылов женился. Тогда мать явилась к командиру полка: если не заставите его подать в отставку — буду жаловаться на вас военному министру и выше. Командир вызвал Крылова, тот сам решил, что ничего больше не остаётся, как уходить из полка. Начал искать службы по другим ведомствам — но мать везде побывала и закрыла ему все пути.

И удалось ему поступить — только в полицию...

* * *

Лежал, убитый. Глаза закрыты. Из виска, из носа, по шее кровь.

Все подходили, смотрели.

* * *

Либералы и черносотенцы, министры и Государственная Дума, дворянство и земство — все слилось в одну озверелую шайку, загребают золото, пируют на народных костях. Объясняйте всем, что спасение — только в победе социал-демократов.

Бюро ЦК РСДРП

* * *

30

Так хорошо, что страшно.

Оглушённая.

Не хочется, чтобы время шло: оно непременно принесёт хуже. И это взлетенное состояние начнёт слабнуть — и уйдёт.

Просто сидеть и наслаждаться, ни о чём не думая.

Ни о чём.

Так много мыслей — и все хорошие.

Многое невозможно, но Ликоня и не хочет невозможного.

Увидела в Екатерининском сквере и подкосилась. Поняла: если сейчас не скажет, то никогда уже больше. И всегда будет страдать, что не решилась.

И как-то ноги донесли. И как-то проговорило горло:

— Я хотела вам сказать... Я счастлива, что я с вами познакомилась. А теперь, я слышала, вы уедете... Так вот я...

Он — очень приветливо отнёсся. Но обычные внешние слова.

Пошли рядом. У неё рука плясала, и он сочувственно встречно сжал её.

А там аллейка короткая, вот уже и конец, и расставаться.

Он сказал, что это прекрасно, что она сказала, что раскаиваться в этом не надо, он её благодарит.

За что же *благодарит*? — удивило.

И: что она ему тоже сразу очень понравилась.

Но если б это было так — почему ж там он ни разу не взглянул особенно и ничего особенного не сказал?

Хотя он там, между актами, скорей посмеивался, со стороны. Себе на уме. Здесь таких нет. Высокий! В облитых сапогах. Бородка белокурая. (Белокурится?..) Такой прямой! И с волжской свежотой. В театральном толканьи — как светлый орёл. Прилетел с ветряного простора.

— Но вы не навсегда уезжаете? — спросила.

Нет. Сейчас — только дней на пять уедет. Потом сразу ещё приедет. Да вообще он в Питере бывает от поры до поры.

Поцеловал ей руку.

Всё длилось, может быть, две минуты. А теперь — часов мало, пока это разворачивается как надо.

Всего так много, это нельзя сравнить ни с чем, это переполняет!

Всегда хотелось Ликоне говорить другим не всё (себе оставить). А сейчас бы ему — всё!

И могла. И хотела: всё.

И даже мучиться от ещё не досказанного.

Кого благодарить?..

31

В положении нынешнего министра внутренних дел были свои очаровательные лёгкости и свои невыносимые трудности.

Главная лёгкость была — сердечная близость Протопопова к царской чете. Как нас согревает эта ласковость высших! И как бодро себя чувствуешь, когда уверен в дружелюбном к тебе расположении с самых верхов! И какая это была эмоциональная вспышка: летом прошлого года, при первом приёме у Государя, оказаться им очарованным! — после всего неприязненного и злого, что говорилось о монархе в думских кругах,— и одновременно видеть, что и тобою очарованы. Вероятно, тактически было правильнее скрыть своё восхищение, но честность и открытость натуры не позволили, и Протопопов всюду говорил, что он Государем очарован, чем и нажил себе непримиримых врагов. Но как было не восхититься всем сердцем, близко узнав эту оклеветанную августейшую семью, не только без хитростей, козней, злобы и разврата, как приписывали враги, но живущую в такой душевной простоте — в любви и молитве! И какой обворожительный установился обычай: после доклада Государю каждый раз иметь счастье зайти к государыне и просто-просто с нею поговорить, не обязательно о службе, о чём угодно, о физиократах. Между их душами установилось то высшее отношение, которое перешагивает в неземное и мистическое. С распущенностью и ненавистью болтало об императрице всё общество — и не знали, как она умна, развита, и по-заграничному твёрдая женщина, английская складка.

А главная трудность министра была — травля от общества, от прежних его думских друзей. Теперь все думские отзывы и упоминанья о нём были насмешливы, презрительны, ненавистливы и третировали его не только ниже уровня государственного деятеля, но ниже уровня человека. Наверно, ни на одного министра, ни в одной стране не вылили столько грязи, сколько на него. Вместить, переварить всю эту брань, найти на неё ответы — было невозможно, а только привыкнуть и перестать чувствовать. (Но он не мог перестать чувствовать!) И ненавидели его не за деятельность и не за бездеятельность, но за самое его появление на этом посту с верностью Государю, за то, что называлось изменой и перебежкой, поскольку Дума считала себя в состоянии войны с властью, а он, заместитель председателя Думы! — согласился принять из царских рук министерский пост. И не гнушались никакой клеветой! Хотя о своих встречах с немцами в Стокгольме Протопопов тогда же подробно отчитывался коллегам по Думе, и они его не обвиняли,— как только он был назначен министром, пустили клевету, что угодил Двору своей связью с немцами. Всё было забыто! — что сам же Родзянко хлопотал для Протопопова о министерском месте, что английский король и английская пресса давали о Протопопове восторженный отзыв, когда он ездил туда с парламентской делегацией, что хвалил его Сазонов, что Кривошеин тоже рекомендовал его в правительство,— всё забыто, и осталась только ненависть! Теперь никакой мелочи не могли ему забыть, всем пеняли: что ещё в 3-ей Думе, в 1912 году, он был докладчик об удлинении службы для полуинтеллигентных прапорщиков запаса, провёл этот закон, и получил от Сухомлинова в подарок золотой портсигар с бриллиантами, и по простодушию хвастался им,— так сегодня насмехались.

Но уж если они травили его так безжалостно, то было чем ответить и ему! Они его знали — но знал же и он их слабости! Травили его, плевали в него, атукали — но и он же им задаст! Ну подождите, ожесточили на свою голову. Как когда-то вместе с ними он легкомысленно возмущался действиями трона — так сейчас душило его возмущение от того, что вытворяет Земгор. Бессовестно, нагло вытесняют нормальную государственную власть изо всей государственной жизни. Работают на одни казённые средства, разбрасывая их без жалости,— и тут же врут, создают у всех впечатление, что — на деньги, собранные обществом. И когда Протопопов решил опубликовать, чьи там деньги,— бесстыдные либеральные газеты ни одна не опубликовала, им это невыгодно, мерзавцы! Да Земский союз ещё с японской войны не представил отчёта в восьмистах тысячах рублей,— значит, потратили по частным надобностям и только. Правительство трусит, утверждает все их безумно-роскошные бюджеты, по всем позициям превосходящие сметы министерств,— а они ещё имеют наглость каждый раз просить по несколько миллионов „запасного" капитала, сверх бюджета!

Так и с продовольствием: Протопопов знал, почему его надо было забирать к губернаторам. Под видом продовольствования тоже происходит обман и развал государственной власти: министерство земледелия отдаётся в полную власть земств, а земства — уже не прежние простодушные отдельные земства, но соединены в Земсоюз и делают только политику. Уж Протопопов

10 лет в их котле варился, ему ли не знать, как там делается: только бы на зло власти! только бы вырвать себе! Во время войны кто распределяет продовольствие — тот и решает настроение страны. Губернаторы обескуражены, они лишены прав в своих губерниях, уполномоченные по продовольствию и по топливу распоряжаются без них. Местные продовольственные комитеты составлены из оппозиционных элементов,— и достаточно им объявить забастовку весовщиков и амбарных служащих — и остановлен весь хлеб, для всей страны! А если бы всю заготовку хлеба вернуть губернаторам, то и земствам пришлось бы честно служить вместо оппозиционных речей.

Побывав на обеих воюющих сторонах, Протопопов особенно хорошо всё понимал! — но травлей обречён был на бессилие,— и этот бой за продовольствие он не решился дать.

Зато он пугал думцев слухами: что распустит их, что пойдут депутаты на фронт не с санитарными поездами, как они красуются, а в солдатской скатке. Или: что сам без них проведёт отнятие помещичьих земель,— вот и напугалась Дума больше всего: без них?? (Да в 1905 году, когда рабочие захватили его суконную фабрику, но его же и выбрали директором,— он уже тогда устраивал митинги и издавал брошюры, что надо принудительно отчуждить помещичьи земли.)

Да сила правительства по сравнению с оппозицией безмерна, это понял Протопопов, став у власти. Но просто смелость почему-то у всех потеряна.

Счастливые проекты роились в голове. У него действительно мелькало — прославиться и победить на том, чтобы разделить помещичью землю. А другой раз мелькало: дать полное еврейское равноправие, и тоже обойти на этом Думу! (И уже дал по Москве начальный циркуляр.) И на волнах общественной благодарности проводить свою сильную политику! Сблизиться с евреями ему очень было бы нужно: это давало бы ему опору на капиталы и промышленные круги. (И Рубинштейна он спешил освободить для того, чтоб не отбросить банковский мир в оппозицию.) Он сам был — фабрикант, и он понимал силу финансово-промышленных кругов. (Исконно-то он был потомственный дворянин из духовенства и блестящий офицер Конногвардейского полка, только без всяких средств, давал уроки английского и французского языков. Но после того как дядюшку его Селиверстова, шефа жандармов, убили революционеры — Александр Дмитрич оказался наследником румянцевской фабрики, стоимостью больше миллиона рублей, хотя устарели машины и производительность слабая. Потом уже стал разоряться на ней, свою красивую подпись ставил на векселях, на векселях, искал компаньонов или отдать под администрацию, а самому уйти в политику.)

Ужасно ему хотелось сделать что-нибудь великое и для всех хорошее! Он-то знал, что не случайно назначен на этот пост, милостивой государевой волей внезапно взлетев уже не в министры торговли-промышленности, как он грезил, но в министры внутренних дел! — не вхолостую, но призван спасти Россию! Однако решительно ни с какого конца нельзя было приступить. Всё в нём трепетало, кружилось от гордости, от счастья и от боязни. Он сшил жандармский мундир — но носить его смел только дома. Ему очень требовалось ещё звание генерал-майора, и он через посредство просил у Алексеева,— но тот не присвоил, противный.

Однако даже и промышленно-банковские круги подвели. С опорой на них Протопопов широко размахнулся: выпускать собственную газету, которая защищала бы и разъясняла действия правительства, такая очень была необходима. (Ведь остальных газет лучше бы не раскрывать: в каждой из них лились на Протопопова помои.) Эту газету — „Русская воля" („воля" не в смысле всеобщей распущенности, но повелительность к действию), соглашался возглавить самый модный писатель Леонид Андреев, и обещали сотрудничество другие крупные писатели, а банковские круги отпускали деньги не скупясь. И что же? Эта самая „Русская воля" с первого номера вышла из повиновения и язвительно нападала на Протопопова же! И так блистательный замысел не состоялся!

Остановить же газетную брань своею властью министра внутренних дел он не мог, так как у его министерства давно не было никакой власти над печатью, ни даже цензуры: в обеих столицах действовала только военная цензура, которая в поношении министров ничего опасного не видела. И если Протопопов хотел всё же повлиять — он должен был просить командующего ближайшим фронтом генерала Рузского, а тот требовал от Протопопова каждый раз письменную просьбу. (Флиртуя с общественностью, Рузский имел цель такими бумажками собрать на министра общественно-обвинительный материал.)

Поносили Протопопова левые — но поносили и правые, с которыми он не был близок по своей прошлой деятельности — и которых он осуждал за недостаточную решительность против крамолы. И Пуришкевич, впрочем как бы перескочивший влево, яростно поносил его в Думе,— и Протопопов пытался ответить грозно, но Трепов запретил ему отвечать, министры боялись столкновения! Тогда Протопопов просил слова как член Думы — но тут Родзянко не дал ему.

И когда же его успели так возненавидеть? Всего лишь пять месяцев, с сентября, как был он назначен, и то сперва не министром, а лишь управляющим министерством, но травили так ненавистливо, что напуганные министры убедили его ехать в Ставку и просить увольнения. И Александр Дмитрич съездил — но лишь укрепился у Государя. Однако не стало возможности работать с Треповым,— тогда Протопопов „заболел", и „проболел" до снятия Трепова в декабре, до убийства Распутина,— но и больного травили как если б он сидел на посту. И только с Рождества он стал полновластным министром.

Они сами, они все — травили, бередили, не щадили его нежную душу! Они — сами ожесточили его! „Вы губите Россию!" — бросали ему. Отвечал жертвенно: „Тогда и я погибну под её развалинами!" Теперь — он стал как лев на защиту трона!

Он — хотел нанести смертельный удар! И понимал, что главная революция сидит в военно-промышленных комитетах и в Земгоре. Но не решался тронуть таких высоких людей как Гучков, и таких пронзительных как Керенский. (Хотя были агентурные донесения Охранного отделения, что на частной квартире он своим трудовикам прямо говорил о перевороте.) И решился в конце января — арестовать рабочую группу. Хотя бы — накинуть узду на морду революции.

Но бороться с революцией, но владеть министерством внутренних дел — всё же надо владеть полицейским делом. У Протопопова — не было таких знаний (он всё путал этих большевиков, меньшевиков, интернационалистов, никогда не мог запомнить). Нужен был сильный советчик и помощник. Кстати, такой и наличествовал: Павел Григорьевич Курлов, величайший знаток полиции, несчастно пострадавший на столыпинском деле, потерявший высокую пенсию, теперь в горьком отстранении. Через тибетского врача Бадмаева, у которого оба лечились, они сговорились этой осенью. Курлов обещал помощь, поддержку и обучение. Курлов и надоумил: железной рукой распустить Думу, но одновременно произвести популярные меры для евреев и крестьян. И Государь согласился на Курлова: хорошо, я два года на него сердился за Столыпина, потом перестал. Сговорились с Курловым так, что Протопопов возьмёт его к себе в товарищи, и вернёт прежний пост командира корпуса жандармов, а потом и на департамент полиции.

Но — не пришлось. Сразу прорвался слух: „опять Курлов!". И хотя кадеты никогда не сожалели о Столыпине, теперь они ужаснулись, зашипели,— и опасаясь горших думских атак на себя, ещё этого плеска не добавляя на раскалённую сковороду, Протопопов не решился опубликовать назначение. Курлов только посостоял месяца два „в распоряжении министра", подписывал часть бумаг за него,— и вынужденно отступил в тень, правда уже на выхлопотанную пенсию в 10 тысяч. И остался Протопопов без верного друга и замечательного специалиста.

Но и — сильно облегчалось положение министра внутренних дел тем, что в Петрограде, как и во всех местностях, отнесенных к театру военных действий, его министерская власть была нулевая, никакая: всем распоряжалась, но и за всё отвечала военная власть,— раньше главнокомандующий Рузский,

сейчас — командующий округом Хабалов. Таким образом, все нынешние уличные беспорядки вовсе не касались Протопопова, ему не надо было и голову ломать. Блеснёт счастливая мысль — посоветовать Хабалову: дать объявление, что хлеба в городе хватает.

Министерство внутренних дел — как вести. Можно так вести, что кружится голова, белеет в глазах, берёт полное отчаяние, хочется рухнуть, особенно если все бумаги и донесения читать: этого и за годы не охватить, не понять, не вытянуть. А бывает — после ласкового приёма у Государя, после подбодрения у государыни, или после визита в царскосельский лазарет к притягательной сестре милосердия Воскобойниковой, и от счастливого взлёта настроения, от веры в себя, или от приятного обеда в дружеской компании...

Вчера так обедали у шталмейстера Бурдукова, наследника всеизвестного князя Мещерского, влиятельного советника двух императоров. Два года со смерти музейно сохранялись письменный стол князя с фотографиями и предметами обихода. Обстановка была очаровательная. Съехалась полдюжина влиятельных лиц без жён, разработанный долгий обед, тонкие вина (но Александр Дмитриевич никогда не пил много), играл небольшой оркестр лейб-гвардии Преображенского полка,— как всё это красиво вибрирует в душе! Николай Маклаков, Саблин беспокоились о происходящих волнениях,— Протопопов с рассыпчатым смехом ободрял их, что если разыграется серьёзно — он сумеет всё прекратить мгновенно: все эти затмения общественных настроений не закроют светлых просторов российского государства. И уже там овладела Александром Дмитриевичем эта реющая, летящая лёгкость — так что мгновенно воспарился он выше всех оскорблений, недоразумений, затруднений и напоился счастливым сознанием своего всемогущества, удачи и победы. И в такие минуты всегда видится, что на самом деле трудность управлять министерством — лишь кажущаяся, что на самом деле как ни ступни, как на направь,— или будет хорошо, или само как-нибудь сделается.

Этот взлёт и полное счастье так и сохранились от вчерашней сочувственной компании (когда знаешь, как ты обаятелен и убедителен!). В этом крыльном состоянии он проплавал и ночь с приятнейшими снами и мог рассчитывать держаться на высоте целый день сегодня.

Утром, минуя стражу близ своего министерского дома на Фонтанке (со вчерашнего дня дом охранялся), Александр Дмитриевич захотел подбодрить начальника караула, подпоручика Павловского полка.

— Как вас звать, голубчик? — спросил милостиво и услышал фамилию Гримм. Вот как? Оказался сын известного члена Государственного Совета, увы тоже из Прогрессивного блока. Вот как! Отцы подрывают власть оппозиционерством, а сыновья охраняют её штыками, знак поколений! Поговорил с ним немного — молодой человек проявился очень вдумчивым, свободным от злорадства желать успеха каким-нибудь насильственным переменам. О положении в городе судил тревожно. Министр внутренних дел весело успокоил его:

— Если надо было революцию вытравить на улицу и раздавить, так вот генерал Хабалов это и делает. Вы когда сменяетесь? Приглашаю вас у меня отобедать.

В утренние часы он разговаривал с одним, с другим чиновником, смотрел ту папку или эту,— весёлая лёгкость не покидала его, и он шутил, миловал (он и по натуре всегда был снисходителен к людским недостаткам), прощал промахи, был очарователен, и знал это. (А промахов было много: даже переписка министра так и не была хорошо разобрана за его смятенные министерские месяцы.)

Тут осчастливила его телефонным звонком государыня из Царского,— этот особый телефонный аппарат в Царское стоял тут в его кабинете всегда, и не бездействовал, даже часами они говорили. Государыня желала узнать подробней об этих неприятных уличных беспорядках.

Собственно, слишком подробно он не знал и сам, имел сведения от градоначальника отрывистые, больше вчерашние, не освежал их ещё сегодня, но так как всей душой он желал государыне только приятного, а она желала бы

успокоиться, то он бодрым беззаботным голосом и послал ей по проводам отменное успокоение. (По-английски, как было принято между ними.)

Да не придётся ли протелеграфировать что-нибудь и в Ставку? Ведь слух дойдёт, раздуют, забеспокоятся и там. Согласился, надо.

Вскоре за тем протелефонировал и градоначальник: что на Знаменской площади пристав убит казаком. Ай, как нехорошо, и почему же казаком?

Вообще — бедная полиция, вот ещё одна из проблем, которых Протопопов не успел решить. Глядя на императорскую Россию со стороны, да даже с думских скамей десять лет подряд, никогда бы не подумал, не поверил, что полиция — совершенно нищая, полицейские получают немного больше чернорабочих. Оттого и почти везде некомплект, и полиция ничего не осилит без армии, и полицейское дело передаётся неумелой армии. (Там был план, совместный с армией, по которому любые волнения должны быть закончены в 4 дня, значит, сегодня-завтра.) А сельские стражники вообще разбросаны поодиночке по лику Империи, теряют всякий военный вид, и полицейские власти не имеют даже права сводить их в уездные отряды.

Надо каким-нибудь приказом вдохновить конную жандармскую стражу.

Шёл служебный день, приходилось, как всегда, принимать многих лиц и просителей. Тут подошёл и час дружеского приёма, назначенного жандармскому генералу Спиридовичу, который вчера вечером тоже был на обеде у шталмейстера, но не успели поговорить. Спиридовича, ныне ялтинского градоначальника, сам же Протопопов и вызвал с неделю назад телеграммой, согласно велению Государя. По всему видно, что замысел Государя был — назначить Спиридовича петроградским градоначальником вместо Балка. За него ещё с осени очень просил и Курлов. Спиридович приехал, но Государь тем временем выехал в Ставку — и отложил приём, и не объявил решения прямо. Итак, Спиридович ждал в Петрограде возврата Государя, а Протопопов должен был его принять как вызывавший прямой начальник. Он не уполномочен был ничего ему официально объявить, но мог восполнить повышенной приветливостью, которая так естественно ему давалась, да ещё и при симпатии, которую мы всегда испытываем ко всем восходящим, чья власть прирастает не без нашего участия.

— Александр Иваныч! Милейший мой! — сверхуставно, двумя протянутыми руками приветствовал он высокого молодцеватого замкнутого напряжённого чуть рыжеватого генерала с мягко-напряжённой походкой.— Посмотрите, я как доброжелательный сфинкс на вашем пути. Я принимал вас в первый день моего прихода в министерство — и вы поехали в Ялту. И вот — принимаю опять, чтобы вы поднялись ещё куда-то,— но я сам не знаю куда. Поверьте, не знаю, ха-ха-ха!

Не проговорился, как и вчера за обедом.

И усаживал дорогого гостя.

— Но я искренне рад, что на вашей блистательной карьере не отозвалось это несчастное киевское событие... Которое так отравило жизнь моего горемычного друга Павла Григорьича. Ведь он и ваш друг. На вас не отозвалось, вы прекрасно вышли. А он... И вот, уже возвращался в прежнее влияние — но увы, увы, должен был покинуть нас...

32

Этот столыпинский эпизод пятилетней давности, как прилипшая кожа убитого дракона,— кажется, никогда уже не мог быть начисто отодран от генерала Спиридовича.

Ничем нельзя было его уколоть так неприятно, как припомнив „несчастную киевскую историю“, хотя б и самым доброжелательным образом. Сколько раз его задевали даже сочувственным расспросом, на который если отвечать, то пришлось бы снова и снова теребить объяснение, что это не входило в его компетенцию, что он по часам и минутам так занят был на охране государевой особы, что не мог заниматься ловлею террористов, и так далее. Но и когда ему не напоминали, то, кажется, он ловил в иных глазах подразумеваемую упреч-

ную память о событии. И что особенно возмущало Спиридовича: даже те, кто должны были только радоваться смерти Столыпина,— и те выражали фальшивое сожаление или повышенную преданность законности.

И к самому Столыпину, за то что он стал постоянным предметом укора, Спиридович стал испытывать раздражение вида ненависти.

Да, пострадал, выбит из карьеры был один бедный Кулябко. На Веригине — не отразилось, вот в войну он стал гражданским распорядителем Архангельска, окна в Европу. И служба самого Спиридовича — высокая задача охраны государевой особы,— никак не пострадала, да. А Курлов, увы, перенёс многое. Высочайше прощённый после киевской истории, он снова выплыввл в крупные начальники в Риге — и снова трагически попал под следствие о злоупотреблениях. И с осени снова выплывал в товарищи министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов — и снова сорвался, в этот раз от слабости Протопопова.

Но именно сейчас, перед своим министром, да твк фантастически близким царственной чете, таким сияющим уверенным сановником, да во всей зависимости своей карьеры, Спиридович не мог принять выражения холодности или недоумения, но подхватил сожаление о Курлове.

Спиридович, столько лет обращаясь в высшей среде, владел безошибочным умением страивать единство с собеседником — будь то великий князь, важный чиновник или влиятельная дама. Искусство его было — всякому понравиться.

И вчера за обедом у шталмейстера, и сейчас, на приёме, Спиридович всем вниманием наблюдал, втягивал и старался понять этого почти легендарного своего министра. Профессиональным взглядом Спиридович отлично видел, что Протопопов никак не подходит к своему посту, даже на уровне анекдота. Как давний офицер полицейской службы, как исконный жандарм и даже теоретик охранного дела, изучавший повадки и принципы революционных партий (и написавший о том две книги), Спиридович знал, что министерство внутренних дел — это специвльность, и ещё какая! Он понимал, что Протопопов никак не подготовлен к этой службе и даже за несколько месяцев не мог бы овладеть течением дел. Ясно, что Протопопов мог бы держвться только Курловым, а вот — предал его. На поверхности металась его перекидчивость, слабость воли. И Спиридович имел сведения через знакомых в министерстве, что новый министр так безалаберен, прямые подчинённые не могут попасть к нему на приём неделями, а бумаги застревают месяцами. И читал, как на все корки разделывала Протопопова пресса, и знал все сплетни о нём, что его обвиняют в психической ненормальности, и что он спиритическими сеансами якобы вызывает дух Распутина, спросить у него государственных советов. И эти последние дни в Петрограде слышал от собеседников насмешки, что Протопопов — хвастун, болтун, пустозвон, блефист, достойное порождение Государственных Дум. Но — такова прихоть высочайших назнвчений, и кто смеет спорить с нею! Но — за Протопоповым стояло несомненное доверие царственной четы, а удачливость всегда покоряет,— как не присоединиться к победителю? Это и будет теперь его начальник, и надо наилучше угодить ему (и угадать его слабости). Эти несколько дней в Петрограде Спиридович наслушался и мрачных разговоров, предчувствий, предсказаний о заговорах, переворотах (называли даже полки, офицеров, великих князей), ожидаемых новых убийствах высокопоставленных лиц, даже люди в придворных мундирах развязно болтали обо всём этом, да ещё же третий день бурлили в столице уличные волнения,— а вот именно министр внутренних дел просто сиял и ликовал от удачливого их состояния! У этого жизнерадостного блондина среднего роста, с выхоленными вскрученными усами, а все лицо сбрито начисто, с удивительно красивыми глазами — карими с поволокой, живыми, но с оттенком грусти, было столько шарма, и так красиво он говорил, настолько не было ни тени озабоченности, такая неомрачённая живость и схватчивость (нет, никак не глуп! нет, никак не докажешь ненормальности), такая сосредоточенность на своём собеседнике и такая пугающая, необычная в чиновных кругах откровенность,— нет, этот человек прочно держался! нет, он что-то верное знал, в чём-то был надёжно уверен! — отпадали

все сплетни и приходилось преклонить голову перед его ослепительным служебным успехом. Удача — не судима!

Это всё имело для генерала Спиридовича не психологический интерес, а самый жизненный: в эти дни решалась его карьера и как бы не ошибиться сейчас. Десять лет он был начальником дворцовой охраны, и в глазах всех созрел для административного продвижения. Но как ни возвышенна была его почётная служба и как ни на виду у царственной четы — она же и закрывала всякое продвижение, чем больше ему были благодарны и ценили. И уже два года он пытался найти выход выше. Плут Хвостов-племянник предлагал ему Астраханское губернаторство,— подумалось: глухо, тупик; предлагал одесское градоначальство,— подумалось: мелковато, не возвышение. Спиридович и мечтал о градоначальстве, но петербургском,— но именно на это место рвались десятки кандидатов. Дворцовый комендант Воейков всегда выдвигал Спиридовича и обнадёживал. Однако Спиридовича подвело именно особое государево расположение: прошлой осенью вдруг освободилось градоначальство Ялты, в которое входил весь южный берег Крыма, все места царского пребывания и великокняжеских поместий, и царской охоты за Яйлой. И Государь доверил Спиридовичу своё любимое место жизни, сказал: никого другого туда не назначу! И, осчастливленный, Спиридович никак же не мог отказаться: Государь, провожая и даря фотографию со своей подписью (каких, впрочем, несколько было развешано в этом кабинете, и императрицы тоже), завидовал, что не может бросить Ставку и уехать туда же сам. Но именно потому, что царственная чета не жила там теперь, Ялта оказывалась служебным тупиком. (Впрочем, успел представиться там десятку великих князей.) И минувшие месяцы Спиридович писал кое-какие письма, и ему писались кое-какие, обнадёживающие относительно петроградского градоначальства. Так что вызов сейчас не был ему неожидан, он так и понял, что его назначат в Петроград взамен Балка. И тут, обласканный Воейковым, он получил фактическое подтверждение, что так и будет, лишь вот Государь отлучился в Ставку. И сейчас, хотя Протопопов делал вид, что не знает назначения,— всё это была милая прозрачная игра. Протопопов, правда, подкупал обращением. (У него и думская кличка была — „Сахарный".)

Однако же, эти дни походя по Петрограду и услышав крики толп на улицах, Спиридович ощутил, что никого эти события не касались бы так близко, как его самого, если б он уже был назначен. Пожалуй, и хорошо, что Государь не успел его назначить: пусть зто всё пройдёт без него, не хочется брать столицу в таком взбудораженном виде (хотя можно и прославиться успокоением).

Но уличные волнения разыгрывались, думские речи раскалялись, а в петербургских гостиных был всё тот же кошмарный мрачный воздух,— и вдруг вся лестница ценностей, как она представлялась Спиридовичу все годы и последние месяцы в Ялте, стала колебаться. Разумно рассчитанное восхождение могло привести не к успеху и чести, но — к шаткой, трудно защищаемой позиции. Конечно, Спиридович был — звездв охраны, а не бестолковый Балк, и сиди он сегодня на Гороховой 2,— он не был бы так беспомощен, и может быть эти волнения уже бы кончились. А если нет?.. Он готов был бороться испытанными средствами, но что если при нынешнем общественном отвращении средства уже отказывали? Не благоразумней ли было бы сообразить зто заранее, пока ещё Государь не вернулся объявить решение, сообразить вот сейчас, пользуясь приёмом у министра внутренних дел,— и тогда избрать для себя другую линию? Начать какое-то боковое перемещение? Или в Ялту назад? Если дело тут вдруг проигрывается, то зачем заниматься дон-кихотством и лезть с пикою в первый ряд? А если нисколько не проигрывается — то как бы зто сейчас верно почувствовать?

И Спиридович выказывал всю свою тоже обворожительную любезность — и впивался разгадать министра внутренних дел.

А живой, улыбчивый, рассыпчатый и перескальзывающий Протопопов был ещё более обворожителен, и произносил монологи, и закидывал голову и закатывал глаза.

Нет, он знал нечто верное!

Пользуясь исключительной приветливостью приёма, Спиридович, в нарушение иерархического этикета, осторожно высказал о смутном настроении общества и, вот, по поводу уличных волнений.

Но как личному давнему другу Протопопов положил ему руку на плечо и с искренней простотой, поблескивая глазами:

— Дорогой мой! Милый мой генерал! А когда наше общество, а когда наш петербургский свет был настроен не смутно? Когда бывал доволен? Разве ему можно угодить? Можно бы утешиться, что народ не разделяет настроений интеллигенции, и конечно не разделяет! Но — кто народ? Крестьянство — совершенно инертно, закрыто в себе. Рабочие — захвачены не нашей пропагандой. *Правых* — как людей, как влияния, не существует, это миф, названье пустое, никто их не организует. Духовенство — на нищих деньгах, унижено и подавлено. Скажите мне, где те слои в России, на которые власть опирается или могла бы опереться? Не на банки же!

А веки его вблизи были припухлы, больноваты. И веял тонкий аромат духов.

— Есть только одна опора: обаяние царского имени! Народу в общем безразличны всякие партии и программы, но не безразлично, что есть у него Царь. И вот это — наша надежда. И можно надеяться, что это *всё пройдёт* — как много уже раз проходило!

И вдруг — в ажитации, полуэкстазе, с ослепительными глазами:

— Конечно, если понадобится — зальём Петроград кровью! Для спасения Государя — пожертвуем нашей жизнью.

Но и потух так же быстро.

Нет, он конечно знал больше, чем высказывал, он нащупывал где-то твёрдое. Если тут же мог на целый час охотно, с полным вниманием и даже одушевлением уйти в ялтинские дела, как их привёз на обзор и запросы Спиридович.

Восхищался открытием дома для раненых офицеров. Вникал в вопросы благоустройства южного берега Крыма, в ходатайства Алушты, Алупки, Гурзуфа, отсутствие военной гауптвахты в Ялте, разрешение от адмирала Колчака на освещение улиц и экипажей, раньше запрещённое из боязни немецкого обстрела. Рассмотрел план большого преобразования самой Ялты и щедро разрешил Спиридовичу не скупиться в расходах по представительству и приёмам.

Наконец рассматривали карту проектируемой прирезки земли от ялтинского градоначальства к дворцовому ведомству — для расширения царской охоты в предгорьях Крыма.

33

Накануне Гиммер много звонил по телефонам, уговаривая заметных товарищей от каждой социалистической группировки собраться бы в субботу в 3 часа на квартире Соколова на Сергиевской. Обещали быть Керенский и Чхеидзе, а хотел Гиммер дозваться и самых неуговоримых — Шляпникова от большевиков и Кротовского от межрайонцев, и на этом совещании думал он развернуть свой дерзкий теоретический план, или не план, так хоть постановку вопроса.

Между другими позвонил и Пешехонову. А этот не только согласился, но незвано привёл с собой ещё двух своих народных социалистов, тем самым сдвигая спектр совещания сильно вправо. А так как никто больше не шёл, и думцы задерживались, то получилась сплошная манная каша: о чём можно говорить с эн-эсами? — безнадёжно смотрел в простоватое мужицкое лицо Пешехонова. В таком собрании даже теоретическое выяснение не представляет интереса. От эсеров же пришёл один недалёкий Зензинов. А думцы всё не шли, всё были заняты.

Николай Дмитриевич Соколов был самых жарких революционных убеждений, но, как и Гиммер, тоже не помещался ни в какую партию, содействуя всем им. А так как он был известный в столице адвокат, то полиция никогда не смела нарушить черты его барской богато обставленной квартиры,— и была она вторым после Горького прибежищем, где открыто сходились представители социалистов обсудить позиции и попикироваться (объединяться никогда не удавалось). Даже была она — первым прибежищем, ибо Горький был почти открытый большевик, и к нему не все бы пошли, например Керенский и Чхеидзе, потому что опасались бы нарваться там на оскорбление.

Сам Соколов, невысокий, лысолобый, но с густой, строго прямоугольной чёрной ассирийской бородой, мог уже никого не приглашать, не занимать, пришедшие и сами друг друга занимали: что интереснее для русского революционера, чем поспорить? Итак, пока остальные не сходились, оставили народников в гостиной самих с собой, а Соколова Гиммер повёл в его же кабинет. Может быть и хорошо, что большевики и межрайонцы не пришли,— свою новую сенсационную теорию, которую он намеревался им излагать, он пока проверит на Соколове.

Собственно, срочности не было никакой, но эти городские волнения, третий день подряд, нисколько не новые, уже бывали такие сто раз, напоминали однако, что когда-нибудь вот так и настоящие долгожданные события застанут их всех врасплох.

У Гиммера была любимая позиция горячо, длинно и настойчиво говорить, переклонясь вперёд, как бы всверливаясь в собеседника. В таких случаях Соколов отклонялся назад, подбирал нижнюю губу над бородой, как бы жевал её, и мог долго слушать,— а он не многих имел терпение слушать, но Гиммера уважал за проницательность (да набирался от него ума).

А вот что последнее время беспокоило Гиммера: мы обращаем всё внимание на агитацию, на лозунги, на форсирование движения,— но кто из нас занимается теоретическими проблемами? (Один он и занимался. В Питере, во всяком случае.) Мы бросаем — „долой самодержавие!", „долой войну!", и думаем, что всё остальное как-нибудь придёт. А — как придёт? Мы никак не обсуждаем проблему власти, а она и есть самая главная. Если вдруг совершится переворот, хотя бы типа дворцового, и самодержавие действительно падёт или зашатается,— кто подхватит власть? Нет сомнения, что только буржуазия. Власть, конечно, и должна стать буржуазной, иначе всякая революция погибнет. Потому что демократическая Россия распылена, пролетариат способен создавать боевые дружины, но не государственную власть. Захват власти социалистическими руками был бы — неминуемый провал революции. А главное: и зачем, когда вся цензовая Россия тоже сплотилась на борьбу с царизмом?

Но пока идёт война — тут дополнительная и главная трудность: социалистическая власть не имела бы никакого морального права продолжать войну, она должна была бы немедленно её окончить,— а это значило бы кроме всех трудностей государственной власти взять на себя ещё новые непосильные задачи: демобилизацию, массовую безработицу и перестройку промышленности на мирный лад. Это непосильно и непомерно, социалистическая власть тут же бы и рухнула. Поэтому и тут тактически правильно возложить войну и задачи внешней политики на буржуазию, а пока между тем вести как бы борьбу за ликвидацию войны.

Уж Николай Дмитрич знает, что перед ним сидит самый непримиримый враг патриотизма и войны. Но даже и он, вот, своим ртом, выговаривает: мы увлеклись! в какой-то мере надо ослабить борьбу против войны, во всяком случае не так её выкрикивать! Это — очень дерзкая мысль, и вот её-то хотелось проверить на товарищах. Секрет в том, что цензовые круги никак не могут принять лозунг „долой войну!",— они и против царизма борются как бы для более успешного ведения войны. Относительно войны лагерь Милюкова-Гучкова не примет никакого компромисса. Если переворот произойдёт как движение против войны — он погибнет от внутренних раздоров. А вопрос власти не стоит так: отдать ли власть буржуазии? Но: *согласится ли* буржуазия принять власть? Если откажется, то это катастрофа, даже одним своим нейтралитетом она погубит революционное движение, отдав его стихии и анархии. (Вон, уже волнения приняли характер грабежей.) Всякое „долой войну" цензовые выдадут на разгром реакции. И вот он, Гиммер-Суханов,

последовательный циммервальдист, интернационалист и пораженец,— он сегодня пришёл к выводу и осмеливается заявить вслух: чтобы погнать буржуазию смелее брать власть, чтобы заставить её взять власть — мы, социалисты, должны приглушить лозунг „долой войну!", а может быть даже временно — и снять его!

А? Это — дьявольски смелое решение, это — фантастический пируэт! — но Гиммер лёгок на пируэты, малой фигурой, но мощной мыслью. И собирается теперь выдвинуть на общесоциалистическое обсуждение. Это — очень смело, но это вместе с тем и — так, никак иначе! Внешне это выглядит как измена основным принципам? — на самом деле это блистательный тактический шаг!

А лысый озадаченный Соколов, к радости Гиммера, с какого-то момента стал ему немножечко подкивывать — сперва глазами, потом и целой головой. Это очень вдохновило Гиммера продолжить и развить свой монолог. Наконец, кивал ему такой же антиоборонец, такой же интернационалист-циммервальдист, что — да? Да. Они увлеклись с отрицанием войны, и грозит им не только потеря единого фронта с буржуазией, но даже и раскол в собственных рядах. Потому что и эн-эсы, вон та пешехоновская компания в гостиной,— они тоже на этом лозунге отколются. А у нас — засилие оборонческого меньшевизма, это сейчас поможет. Да, для спасения единства — антивоенный лозунг надо было бы притормозить. Если бы... если бы не большевики.

Соколов и сам лучший друг большевиков, вот что. А его адвокатский помощник Козловский, в этой же квартире и живущий, только что сейчас не привязался в кабинет,— так и вовсе отъявленный большевик. Но одобрение Соколова не так много и стоит, потому что, увы, увы, не так-то и умён.

Ах, эти большевики! Прямолинейные, негибкие до дурости, неспособные вдумываться глубоко, а только сдирать с поверхности популярные лозунги. Таков и Ленин в Швейцарии (любимый и жуткий противник-союзник!), таков и Шляпников здесь. И с ними-то — придётся побиться. И нет никакой уверенности, что...

Но успокоил Соколов, что из уст такого известного ненавистника патриотизма как Гиммер, подобная теория не зазвучит злостно-контрреволюционно. Уже хорошо.

Эти дни течёт стихийное народное движение, а между революционными центрами — с кем и о чём можно договориться? Разброд и растерянность. Про себя глотали слюнки, что создать бы Совет рабочих депутатов, как в Пятом году, но... но...

Тут из гостиной раздался характерный звонко-надорванный голос Керенского — и оба поспешили туда.

Чхеидзе не пришёл. А Керенский пришёл только как рыцарь слова, потому что обещал,— но совершенно некогда: после думского заседания вот был сеньорен-конвент, а через час надо...

Керенский всегда так выбегивался в движениях, так выговаривался в речах и разговорах — что по контрасту на короткое время любил и умел принимать в креслах опущенно-расслабленные положения: кисти свешивались с подлокотников, узко-длинная голова с коротким бобриком повисала назад, замирала, отказывал язык и даже, вот, глаза закрывались. В такие миги Керенский отдыхал для новых взрывов и прыжков, но вопреки видимости — всё хорошо слышал, что говорилось, и важного не пропускал.

А говорилось — тут ещё прибыли свежие — что всё-таки разлив волнений необычайно велик в этот раз: на центральных площадях — почти сплошной митинг, на Знаменской площади левые ораторы говорят непрерывно и беспрепятственно. Все винят самодержавие как источник всех бедствий и продовольственной разрухи. Казаки никого не давят, а один даже, говорят, наскочил на пристава и отрубил ему голову. Но самое замечательное, что сочувствует обыватель центральных кварталов,— это создаёт благоприятную обстановку в буржуазной части города. Создаётся такое общее настроение, что всё штатское население — заедино и против военно-полицейских властей, замечательно! А в действиях властей, напротив: никакой решительности, ни — планомерности. Их бездействие воодушевляет. Весь Петроград, во всех конторах и редакциях, не занимается, а только все говорят о событиях. Движение разливается — свободно! И... и... И — что же?

И что же? — никто не знал. Насколько же этим всем можно руководить?

На Керенского всё сказанное не произвело заметного впечатления, он так и прокаменел, ни разу не вздрогнув, не воскликнув. И этим охладил многих здесь. Да кому ж, как не ему, было и видней? самый яркий демократ в Думе! Да ведь все здесь и хотели не столько ему рассказывать общеизвестное, сколько от него услышать, чего не знает никто. Вот, он пришёл с сеньорен-конвента, то есть с совещания одних лидеров думских фракций, куда допущено всего десять человек. А перед тем сидел несколько часов на думском заседании, и наверно же выступал, ещё тоже никто не знает. А самое-то интересное — это кулуарные думские разговоры, кто у кого что подслушал,— этого уж совсем никто не знает, а там дуют ветры истории, и в этом весь интерес!

Гиммер ли не знал Керенского (и восхищался им, порой завидовал его активной роли). Сколько раз он на его квартире скрывался, ночевал в его кабинете, с длинными разговорами заполночь, когда оставался Керенский непрочным барином в ярком сартском халате, или в холодноватой квартире покашливал в фуфаечке как гимназист. Сколько между ними было язвительных пикировок, никогда согласия, и всё вновь возобновляемые диспуты. Достаточно привык Гиммер и к патетическим взрывам Керенского, но и достаточно знавал его упадочную хилость, когда тот спотыкался, и еле волок принятую на себя роль громозвонного разоблачителя режима. И даже бо́льшую роль предсказывал Гиммер ему на будущее: что при его популярности, левости, радикальности и неистощимом ораторском темпераменте — ему не миновать стать центральной фигурой будущей русской революции, если их поколение до неё доживёт; предсказывал, не всегда и веря сам,— а Керенский только похохатывал, отрицая (но сам определённо задетый). Даже знал Гиммер подробности нелегального участия Керенского в эсеровских подпольных делах, как он бестрепетно злоупотреблял своим депутатским положением и был уже запутан полицейскими уликами, а последние месяцы через одного провокатора впутан в историю настолько вязкую, что ему грозила, как он хвастался, по истечении депутатских полномочий будущей осенью, если не виселица, то каторга,— и благоразумней было думать не о переизбрании, а скорей — эмигрировать вовремя; и даже может быть последняя смелая речь его против трона, с думской трибуны десять дней назад, нигде не напечатанная, была сумасшедшей попыткой славно погибнуть в этом капкане. Привык Гиммер, знал,— но в каждую минуту не мог ожидать, с какой силой, каким движением этот бурнопламенный политический импрессионист вдруг перейдёт от задумчивости к извержению мыслей и слов.

Так и сейчас, прокаменев, прокаменев эти рассказы о якобы невероятном разливе движения, Керенский как будто вселился вновь в своё узкое юношеское тело из какого-то невидимого полёта, посмотрел на собравшихся с огромным значением, и сказал:

— Прогрессивный блок, господа, левеет непоправимо! Хотя буржуазная депутатская масса — в панике и растерянности. Она не пытается стать на гребне событий, но пытается их избежать. И это открывает небывалые возможности перед демократией!

И быстрый взгляд его зажёгся, удлинённое лицо осветилось, и голова легко поворачивалась на шее тонкой и слишком даже длинной, но и охваченной высоким крахмальным воротничком, как только что был он в Думе,— и он стал говорить, без разгону, сразу возбуждённо, захваченно,— о тех ослепительных комбинациях, которые сейчас могут составиться из сотрясённого думского калейдоскопа, и видно было, как он любил эту думскую жизнь, и каким виртуозом был в ней.

И в этом чистом воодушевлении, каскадном потоке речи, Гиммер уловил новое подтверждение своему плану: вот-вот! так может быть Дума и в самом деле не потеряна для целей пролетариата? От провидений Керенского слушателей всегда брала дрожь. Почти пулемётная речь этого моложавого депутата — сносила и сбивала.

И Гиммер — сробел, не нашёл в себе сил выступить сейчас здесь со своим теоретическим открытием, хотя Керенский как революционный оборонец мог как раз и оценить мысль. А мог — и сбить её совсем.

Задавали вопросы о Думе, говорили о Думе, строили предположения о разных положительных возможностях,— вдруг Керенский выскочил из кресла по диагонали, как бы вдогонку за промелькнувшей молью,— и уже не задержась для дальнейших обсуждений, а только бросив на ходу, что спешит в кипящую Думу, но через час они могут зайти к нему на Тверскую за новостями,— ушёл, почти убежал к своим обязанностям и возможностям.

Через час Гиммер с Зензиновым шли к Керенскому домой. Такая была вытягивающая возбуждённая обстановка, что только и оставалось весь день до конца и до глубокой ночи — слоняться, переходить с острова на остров, дальше обязательно к Горькому на Кронверкский, и только узнавать новенькое, узнавать новенькое.

Керенский жил позади Таврического сада, и надо было им теперь идти по Сергиевской до Потёмкинской, потом либо взять налево по Шпалерной, либо направо по Кирочной,— всё придумские кварталы. И странно: может быть под куполом Думы и клокотало, как говорил, самим собою изображал Керенский,— но клокотание это вот не передавалось ни на единый квартал: не было сейчас во всём Петрограде более тихих мирных кварталов, чем близ Думы, таврические.

Нет, не была Государственная Дума никаким центром движения, ни надеждой его, и что-то не рвался сюда ни единый человек. Побоявшись рабочей демонстрации 14 февраля — вот, они сами себя подрезали и скоро будут жалеть.

34

Утром пришёл в пустую библиотеку, где томился Фёдор Дмитрич, один профессор. И уверял, что видел сейчас на Невском настоящую казачью атаку. Федя скрыл усмешку: что́ может профессор понимать в казачьей атаке. „Рубили?" Рубили или нет — профессор не видел, потому что быстро свернул в боковую улицу. Но — шашки сверкали, сам видел.

Федино сердце упало. И потому упало, что, значит, *ничего не будет*, всё безнадёжно. А больше упало — за казаков. Он чувствовал себя в Петербурге чуть не главным ответственным за всех казаков, ведь именно его будут попрекать порядочные люди за каждый казачий проступок. Вчера у Казанского ему так показалось, что казаки трезвятся и не будут больше охранными псами. А значит — опять?..

Замутило, затянуло, и, освободясь в библиотеке, не сел он к своей любимой тетрадочке (да завтра воскресенье, весь день свой) — а опять поплёлся на Невский, да не поплёлся, а наддал ходо́й.

На Николаевском мосту стояла преграда — из военных и полиции, но как-то никого не задерживала, лишь бы шли порознь. Мост над снежной Невой со вмёрзшими судами был полон по тротуарам как добрая улица.

Стало пасмурно, малый морозец, и еле-еле сыпался мелкий снежок.

После моста Федя вскоре ждал смуты, следов боевых столкновений. Но ничего подобного не было, и ни по какому признаку не догадаться, что в городе где-то беспорядки. Прошёл Английской набережной, пересек Сенатскую площадь, мимо львов военного министерства пошёл на улицу Гоголя. Люди шли с обычной озабоченностью по своим делам, кто с покупками, свёртками, кульками, портфелями, нотами.

Только по Адмиралтейскому проспекту под мальчишечий рассыпной крик проехали разомкнутой стеной казаки, но никого не трогая. До Исаакия и назад.

У банка Вавельберга стояло несколько лакированных автомобилей, ожидая своих богатых седоков. Тут, зазевавшись на переходе улицы Гоголя,

Фёдор Дмитрич едва не попал под извозчика: тот нанёсся за спиной совсем внезапно и слишком поздно крикнул резко:

— Брг-ись!

Федя выскочил из-под самой лошади, замявшейся на ходу, крикнул бранное кучеру, тот ему, едва охватил глазами двух молодых дам, отъединённо беседующих в быстрых санках, и в то же мгновение услышал за спиной ещё громче и резче:

— Брг-ись!

И опять шарахнулся, но это был не извозчик, а озорной рабочий парень в финской шапке, и крикнул он не Феде, а тому кучеру, в ответ и в предупреждение. И ещё успел напугать дам: две головки дружно обернулись через середину, опоминаясь о какой-то уличной жизни,— а парень высунул им язык.

Фёдор Дмитрич отошёл в первое же стенное углубление и всё это записал.

Невский вовсе был свободен сегодня от трамвайных вагонов, вчера замерших, возвышенных над окружающим,— весь просторен в длину и казался шире обычного, да что-то и толп не видно, а говорили, не загорожен и армейскими строями,— а неслись извозчики, собственные рысаки, фырчали автомобили, густо шла тротуарами обычная публика проспекта, сейчас без примеси ватных пиджаков рабочих парней, шли чиновники, нарядные дамы, офицеры, гимназисты, рассыльные, бабы-мещанки в полушубках, приказчики из магазинов,— и все магазины торговали бойко, да ведь суббота, вечер, и ни одно стекло не разбито, и кой-где городовые стоят, но только то необычно, что по двое.

Увы, будняя жизнь опять беспросветно заливала неколебленую столицу.

А может — и к лучшему так, чтоб не разрывали сердце казаки.

Вдаль, в лёгкую дымку снежка, уходили бездействующие трамвайные столбы.

На расширении у Казанского собора всё же надеялся Фёдор Дмитрич увидеть вчерашнее море голов. Нет. Была ещё толпа — но не такая необъятная. И ничего не делала. И как будто расходилась. В истоптанном снежном сквере чернели порознь, всяк себе, Барклай-де-Толли, и Кутузов, и дуги ребристой колоннады уводили в собор.

Ну, а если уж у Казанского всего-то — то и нигде.

Вчерашнее не повторилось, как не повторилась и вчерашняя удивительно светлая вечерняя заря.

Правда, два раза проехали верховые отряды, в ту и в другую сторону, сперва казачья полусотня, потом конная стража. Они проезжали зачем-то во всю ширину Невского от дома до дома, вплоть к тротуарам, то ли силу давая почувствовать,— но и никак не угрожая. Но публика, не пугаясь, сдвигалась, а извозчики и автомобили задерживались накоротко,— и снова всё двигалось.

Дальше не пошёл. Сильно усталый, отчасти и в досаде, вернулся Фёдор Дмитрич к сумеркам домой.

И тут вскоре один приятель из их редакции, заметный среди народных социалистов, позвонил ему на квартиру возбуждённо.

— Ну? Вы знаете, Фёдор Дмитрич? На Невском...

— Что на Невском? — с невесёлой насмешкой отвечал Федя.— Да я только что его прошёл весь, до Аничкова моста. Ничего там нет.

— Говорят, на Знаменской, у вокзала... Стреляли. И казаки ваши — зарубили пристава!

Ну, и соврут! Ну, и придумают! Казаки — пристава?..

— Вот до Знаменской не дошёл. Так именно там?

— Очевидцы рассказывают...

— Этих очевидцев, знаете, слишком много развелось. Как старожилов. Никому не верьте.

И — молчали в телефон. Именно потому-то и не надо было верить, что так хотелось!

— Со вчерашним днём никак не сравнить, схлынуло,— уверял Фёдор Дмитрич.— Значит, сил наших не хватает. А *они* сильны. Знаете, у Чехова

есть такой рассказ — „Рано"? Пришли нетерпеливые охотники на вечернюю зарю, постояли-постояли,— нет, не летят, р а н о ...

И сколько же жизней человеческих надо? Сколько сил душевных, чтоб дотерпеть, дождаться?.. Да *будет* ли вообще когда-нибудь, хоть при внуках наших?

Печально молчали в телефон.

35

Колыхает подводной загадкой измена так же, как и любовь. Есть причина у любви — есть и у измены?

Тогда, в октябре, Вера сама видела, как эта измена рождалась. Ото взгляда ко взгляду изумлялся и завлекался брат. В один вечер огненно забрало его. У Шингарёвых она смотрела на неравные пересветы двух лбов, и гордость за брата, что Андозерская его оценила, заслонялась страхом: эта женщина просто брала его, открыто тянула, а он принимал её взгляды вопросительно-готовно. А потом он исчез на пять дней, почти до отъезда. Вернувшись, ничего не объяснял. Понималось — не называлось, Вера не могла переступить первая. Потом — сумасшедшая телеграмма из Москвы, что может нагрянуть Алина,— то есть уже узнала?

Нравственное право вести или не вести себя так стояло и перед Верой. Если приложить встречные усилия, она уже притянула бы Михаила Дмитриевича к себе. Но такого права она не смела себе присвоить. Хотя и чувством и разумом знала, что это было бы для обоих них единственное счастье,— она не смела вмешаться и подогнать то, как оно само течёт невидимо и непредвидимо нами. Её вера разрешала только: ждать, как Бог пошлёт, и надеяться. Как няня говорит: наша доля — Божья воля.

Георгий прожил сорок лет и женат десять, а как будто никогда не придавал значения женитьбе больше, чем общепринятой жизненной обыкновенности. А Вере виделась в браке тайна бóльшая, чем просто любовное схождение двух: в браке — иное качество жизни, удвоение личности, и полнота, не достижимая никакими другими путями,— завершённая полнота, насколько она вообще может быть завершена для человека.

Этого удвоения, нового наполнения — она не видела в Георгии.

Четыре последних месяца Вера ничего не знала о брате, он написал-то один разик. Андозерскую встречала изредка в библиотеке, здоровались, но ни по шелоху нельзя было ни о чём угадать. И вдруг вот — всё прорвалось от Алины, телеграммами, упрёками, и сразу Веру бичевали как союзницу и укрывщицу измены. И на словах отрицая, она душевно приняла эту роль, уже обвинённая, так и ладно. (Всё хотел их с Алиной сдруживать — и вот поссорил.)

Душевно приняла, душевно же не принимая: невозможно и самым близким уступать, где вообще уступать невозможно. Если признать всеобщую правоту измены, то кончится всякая вообще жизнь. Если не радостное бремя любви, то долг надо нести, иначе всё смешается и порушится.

Но здесь были: любимый брат и очень не любимая Алина. В Алине так многое не нравилось Вере — больше всего отталкивала её напряжённая нервная гордость, за этой гордостью не чувствовала Вера, чтоб Алина любила Георгия, а скорее всегда себя, а чтоб он прилюдно выражал к ней любовь. Так многое не нравилось — легче было пересчитать, что нравилось.

Неединое и запутанное чувство возникло у Веры.

По телефону она не решилась передать брату угрозу Алины, в которую сама не поверила,— угрозу самоубийства. Но когда он приехал на Караванную — уже очень смущённый, и даже потерянный — не могла дальше скрывать.

И Георгий — сразу посерел. Он опустился на стул, даже не скрывая, какая повела его, подёргала мука. Вся энергичная уверенность и весёлость покинули его, твёрдые губы потеряли определённость, кожа лба ссунулась на глаза.

— Я ведь тогда жить не смогу, Веренька! — сказал открыто.

И одно его было желание — скорей, мгновенно перенестись к Алине, откладывать — только невыносимей. Уж скорей туда! Скорей билет!

Но не только не соглашалась Вера отпустить его самого на вокзал,— он объехал Невский стороной, а что на Знаменской творится, он не представляет! там сегодня казак зарубил полицейского! — в таком потерянном проигранном состоянии, да ведь и не решено ничего,— так мгновенно она и вообще не хотела отпускать его к Алине. Он должен был очнуться, побыть тут, у них с няней, укрепиться.

И она взялась тотчас идти сама, перекомпостировать ему билет с Виндавского на Николаевский вокзал. А чтоб он помылся, поел, пожил пока часы дома. Няня уже вступала властно в свои заботы: ещё пока воду не пресекли, а то не будет?

Не уверенная, что работает городская станция на Большой Конюшенной, Вера пошла прямо на Николаевский вокзал. Шла совсем погружённая, захваченная этим новым душевным переплетением, куда её втягивало. Как помочь брату? Он совсем потерян, он не знает как быть, но, кажется, не только жалеет Алину — он её боится. Так явно и по телефону и сейчас: ужасно не то, что *это* всё произошло, происходит,— а ужасно, что Алина узнала, и теперь весь кошмар объяснений снова.

Переходила по Невскому Литейный — ничего особенного не заметила, только густое оживлённое, не стеснённое трамваями движение во все стороны и наискосок по перекрестку. На нём высился разъезд конной полицейской стражи, два всадника, ни во что не вмешиваясь. А прошла ещё шагов тридцать — сзади раздался оглушающий взрыв, такого в жизни не слышала! — сердце остановилось, не успела испугаться — второй! Все люди кинулись в разные стороны, Вера тоже — как шла, но упёрлась в людскую стену: все остановились и оглядывались, боролся страх с любопытством. И кто повыше или позорчей, объявил: бросили две бомбы под лошадей, лошади ранены и один жандарм.

Да что ж это, Господи? Скорей проталкивалась Вера вперёд и уходила к вокзалу.

Шла своими глазами посмотреть, что там делается, можно ли брату?

Очень было густо в конце Невского. И вся Знаменская площадь невиданно залита народом — возбуждённым, бездельным, чего-то ожидающим,— благо не беспокоили их ни в какую сторону трамваи, ни со Старо-Невского, ни по Лиговке. У памятника стояли с красными флагами, руками размахивали, не слышно. И полиции в этом толпяном море не было видно, и на конях не возвышались, ни казаки.

И внутри вокзала толпилось народа больше, чем могло бы уехать или встречать. Может быть грелись.

А у кассы — не много людей. Стала в очередь.

Почему он так ослабел? Почему он так потерял опору? В самом себе. И в любви? Кто любит — тот всегда силён.

Заносы на Николаевской дороге прекратились, поезда возвращались в расписание. На сегодняшний поздний вечер — были билеты, правда, не слишком хорошие. Но Вера решилась не брать.

Затруднений с Виндавской дорогой не оказалось, перекомпостировали на Москву на завтра, на 11 утра. Ну, вот так хорошо.

На площади стояло и переливалось всё то же самое. Страшновато было возвращаться опять по Невскому, но иначе много крутить. Да все валили. Вера пошла теперь по другой стороне, не там, где был взрыв.

Осенью уезжал такой стремительно-счастливый, всё в нём пело. А сейчас узнать нельзя.

Трое полицейских стояло против Николаевской улицы. Их не трогали.

И на углу Владимирского тоже трое. Но к ним подтеснялась толпа, и на Вериных же глазах — бросились. Один городовой вытянул вверх руку, выстрелил из револьвера, другой выхватил шашку, она мелькнула высоко над головами, всем видно,— но тут раздался новый выстрел, и шашка рухнула. И была толчея, толчея, несколько криков,— и можно было идти дальше. И Ве-

ра быстро пошла по тротуару, не оглядываясь. Говорили, что полицейских разоружили, и только.

Странно: разоружают городовых, как будто так и должно быть, и жизнь продолжается, как ни в чём не бывало. Густо и возбуждённо текла по тротуарам публика. Много мещанок и рабочих баб, каких на Невском не бывает. Иногда насмехались над богато одетыми, кричали им ругань.

После Аничкова моста Вера ушла с Невского. На Итальянской и на Караванной было всё обычно.

И не вся б эта беда — то какая радость видеть Егора дома! (И как бы отклонить его, чтоб он сегодня вечером не поехал к *ней* опять?) Была на нём старая домашняя куртка, которая держалась годами специально для приезда брата,— и вот он был в ней сейчас вместо кителя, при военных брюках, но и в чувяках, такой одомашненный.

Взяла на себя Вера преувеличить и задержку поездов от заносов, ничего подходящего на вечер, а завтра утром — хорошее место и уверенно. Взяла преувеличить и грозность на площади, рассказала и случаи на Невском. Брат был поражён, он такого не видел, когда ехал по городу. Да впрочем, всё сегодняшнее, откуда ни собери, состояло в том, что полиция нигде не стреляет, публика легко разоружает полицию, а войска не вмешиваются.

Всё это было как будто и очень серьёзно, а вместе с тем жизнь текла вроде обычная.

Няня стояла в дверях и ахала. А у нас рядом, в Михайловском манеже, стоят конные городовые вместе с казаками, так говорят: мы казаков больше боимся, чем бунтарей.

Брат на каждую новость вскидывался, хмурился, удивлялся: если б не от сестры, да не от няни, так поверить было нельзя. (Вскидывался-то он да, но охмур у него был уже круговой, серый, нельзя узнать, и глаза не блестели.) Самое непонятное, почему власти не принимают совсем никаких мер. Так понимал Егор, что правительство — запуталось.

Он был просто болен — такой весь вид, и домашняя куртка на нём — будто надел по болезни. Господи, хоть бы уж сегодня вечером побыл дома!

Теперь бы само открывалось брату и сестре разговаривать прямо? Не о том, разумеется, как *это* случилось, как он полюбил (да полюбил ли? вот что! — она и этой новой любви на лице его не видела), а: что же теперь делать? Сам по себе Петроград ещё не был бы полным доказательством для Алины. (Егор рассказал теперь сестре, что в октябре сам, по глупости, открыл Алине. А Вере — понравилось, это было прямодушно, это — был её брат!) Но то, что он никак не сообщил ей о поездке — ни при выезде, ни с дороги. А теперь...

— Ведь это очень серьёзно у неё,— повторял он над письмами Алины, перечитавши десять раз.— Ведь я её знаю, она решительная...

— Ну — не так. Ну, не настолько. Ранена? уязвлена? но не в таком же отчаянии? — уговаривала сестра.

— И разве мне её теперь пере... убедить... пере...

Угнёлся брат. Угнулся.

Он ехал к Алине — обречённо.

Как его укрепить?

Как? Его сама поддержала бы любовь — или там, впереди, к жене, или отсюда, из-за спины,— ураганная? сверкающая? Но Вера вглядывалась, вслушивалась — и с тоской, и почти страхом не видела укрепляющих знаков ни той, ни другой. А — потерянность, и даже пустота.

Что же это? Как это может быть?

Что ж, ему этот дар вовсе не дан?

Видно, ему и самому показалось святотатственно ехать сейчас назад к Андозерской. Мрак на душе. Сказал, что ночует здесь и до поезда никуда не поедет.

Вере — и радость. После того как брат позвонил Андозерской — позвонила и Вера своей сослуживице и отдала ей билет на премьеру „Маскарада" сегодня в Александринке. Так задолго покупала его, так долго ждали все этого дня,— но брат, и вдруг дома!

Не сказала ему ничего о спектакле.

Егор потерял свой обычный темп и порыв, много сидел, задумавшись, а ходил по комнатам совсем медленно. Улыбался смущённо:

— Вот видишь, как получается, Веренька...

Он уже весь был под нарастающей властью Алины. Уже готовился только к ней.

Самое правильное было бы сейчас — посидеть вечер да разобрать вместе все осколочки, все ниточки.

Когда думал, что Вера не смотрит,— осунутое лицо.

Он совсем не был готов.

— А из Москвы прямо в армию?

Ободрился:

— Да, сразу в армию.

Ему только бы Москву как-нибудь проскочить.

Кормила их няня постным обедом: рыбным заливным, грибным супом, пирожками с капустой. С Верой она всегда вместе ела, а тут, как ни заставляли сесть за тарелку,— поспешала вскочить и услужить. Услужить не как господам, а — как маленьким, ещё не умелым ложку держать, из кружки пить.

Егор уж отвык от её лица, но Вера хорошо видела складку горя — сегодняшнего, за него.

А тоже и няня сама не заговаривала. Только и не продрагивалась в улыбку.

Что-то сказал Егор о посте, что на фронте не блюдут, разве Страстную. Няня, губы пережимая, посмотрела на него стоя, сверху:

— И ведь не говел, небось?

— Нет, нянечка,— с сожалением Егор, даже искренне.

— А *тебе*-то — больше всех надо! — влепила няня, не спуская строгого взгляда.

Егор сам себе неожиданно, лицо помягчело:

— А пожалуй ты и права, нянечка. Поговеть бы.

— Да не пожалуй, а впрямь! — спохватилась няня.— Ноне суббота, идём-ка ко всенощной в Симеоновскую. И исповедуешься. А завтра до поезда к обедне успеешь. И причастишься.

Отодвинула форточку — слышно: звонят. Великопостно.

Но когда это вдруг открылось совсем легко и совсем сразу — Егор замялся. Видно, уже большая у него была отвычка. А скорей — не хотелось ему исповедоваться — вот сейчас, по горячему делу.

Замыкал, замекал, что — пожалуй, не успеет. Что, пожалуй, другой раз.

Прикинули — и правда, может завтра до поезда не успеть: по этим волнениям пути не будет, и извозчика не найдёшь, и не проедешь.

— Ну, дома помолимся! — не сразу уступила няня.

В кругу, где обращалась Вера, где служила она,— в церковь ходить или посты соблюдать было не принято, смешно, и даже говорить серьёзно о вере. И там — она хранила это как сокровенное, другим не открытое.

Но Егор — не готов был душой, она видела. И защитила его перед няней, что он никак не успеет.

Подошла няня к сидящему со спины, он так приходился ей по грудь, положила руку ему на темя, и певуче:

— Егорка-Егорка. Голова ты моя бедовая. Горько тебе будет. А делать нечего. Пожди, пожди.— Другой рукой, углом фартука, глаза обтёрла.— И что у вас, сам дель, детей нет? Другая б жизня была.

Сказала — как толкнула. Егор глаза распялил:

— Правда, нянечка, нет. Кончились Воротынцевы.

— И эту,— рукой на Веру махнула,— замуж не выгоню. Хоть бы уж для меня-то подбросили.

Егор хорошо, светло и прямо посмотрел на Веру. Как будто они об этом всегда и говорили легко.

Вера закраснелась, а взгляда не опустила. Открыла им няня эту простоту.

Слишком добросовестно собирала справки для читателей? Засиделась в уголке за полками?

А когда и встретишь — так женат. Или связан.

Да как же хорошо втроём, всем вместе! Хоть один-то вечерок!

Оттаял Егор:

— Хорошо мне у вас. Никуда не пойду.

Не пошла и няня ко всенощной. Редкость.

Уже стемнело. Няня зажгла в своей комнате лампадки, позвала Егора, подтолкнула:

— Тебе лишние разговоры сейчас — только крушба. А подит-ка там у меня посиди, не при нас. Да и помолишься. Всякому благу Промысленник и Податель, избави мя от дьявольского поспешения!

36

А сегодня стояла в Могилёве ветреная серенькая погода, хорошо, что не мятель. Эти снежные бури последних дней на юго-западных дорогах сильно прервали армейское снабжение. (И оттуда доносят, что продуктов осталось на три-четыре дня — но, по армейской привычке, конечно пригрозняют положение, чтобы не остаться пустыми.)

Утром пришла телеграмма от Аликс: у трёх заболевших температура высока, но признаков осложнений пока нет. Ане — особенно плохо, просила помолиться за неё в монастыре. В Петрограде — беспорядки с хлебом, но спадают, и скоро всё кончится.

Сходил на обычный доклад к Алексееву. После столького перерыва он продолжался полтора часа, озирали положение всех фронтов и снабжение.

Ни в каком таком докладе за всем не уследишь. Как-то, в лазарете государыни, обходил Государь раненых, и офицер-грузинец рассказал ему о кровавой атаке у Бзуры в январе Пятнадцатого (ещё при Николаше) — сколько, сколько положили за деревню Большой Камион — взяли, вослед сами и отошли. Грустно. Не удержался, и вслух: „А для чего это нужно было?" Никогда об этом эпизоде и не слышал.

Погода позволяла обычную загородную прогулку на моторах. Выехал раньше, заехал в Братский монастырь (за высокой стеной он был близко на городской улице), приложился к чудотворной Могилёвской иконе Божьей Матери, помолился отдельно за бедную калечку Аню Вырубову, и за всех своих, и за всю нашу страну.

Съездили по шоссе на Оршу.

После чая пришла, сегодня не задержалась, петербургская почта — драгоценное письмо от Аликс, вчерашнее и длинное. И ещё — от Марии. Успел жадно пробежать их, но надо было идти в собор ко всенощной.

Пошёл в кубанской казачьей форме.

Хорошо пели, и служил батюшка хорошо.

Воротясь, послал Аликс благодарственную телеграмму за письмо. И теперь сел перечитывать его несколько раз, с наслаждением и вникая. Много дорогих подробностей.

Она — неутомимо носилась между больными и даже продолжала деловой приём. Сколько же в ней сил, несмотря на все нездоровья, и сколько воли — собрать эти силы! Солнышко!

И в новом письме она снова повторяла свои уговоры последних дней: что все жаждут и даже умоляют Государя проявить твёрдость.

Все эти одинокие дни в нём и так уже прорабатывалось. Твёрдость — да, без неё нельзя монарху, и надо воспитывать её в себе. Но — не гнев, но месть: и твёрдость должна быть — доброй, ясной, христианской, только тогда она принесёт и добрые плоды.

Тут же Аликс напоминала о бунтовской речи некоего депутата Керенского, произнесенной в Думе дней десять назад. Говорят — он там призывал едва ли не к свержению монархии. Депутат — и открытый мятежник, это уж совсем парадокс, правда. Но уже немало обойдено Верховной Властью дерзких думских речей этой осени — хоть и Милюкова, хоть и Пуришкевича, или мятежных речей на съездах Земского и Городского союзов,— и что же? Ничего, всё спокойно обошлось. Поговорить, даже позлобиться — людям

надо давать, в это уходит их лишняя энергия, после этого они работают лучше.

Ещё просила Аликс — то о должности для генерала Безобразова (но после больших потерь в гвардии неудобно было пока его ставить), да не забыть очередной крест Саблину (это непременно), и поддержать адъютанта Кутайсова в конфликте с одним из великих князей. И ещё напоминала: непременно написать английскому королю о поведении посла Бьюкенена.

Это — верно она напоминала. Бьюкенен давно перешагнул все дипломатические приличия и правила. Он открыто сближался со всеми врагами трона, дружески принимал Милюкова, обвинившего императрицу в измене союзному делу, у него в посольстве думские вожди и даже великие князья заседали, злословили, обсуждая интриги против Их Величеств, если не заговоры.

А на последнем приёме, под Новый год, Бьюкенен перешёл все границы, выразившись, что Государь должен заслужить доверие своего народа. С изумлением посмотрел Государь в холодное лощёное лицо посла с рыбьими глазами. И ответил, что — не следует ли обществу заслужить доверие монарха прежде? Даже сесть ему не предложил, оба простояли весь приём.

И с того дня Бьюкенен не переменился, интригует даже пуще прежнего.

Неизбежно писать Георгу, да. Чтоб он воспретил, наконец, своему послу вмешиваться во внутреннюю жизнь России. Ибо это ослабляет русские усилия в войне и, таким образом, не идёт на пользу и самой Англии. Георг поймёт, исправит.

Просить большего — отозвать посла, Николай считал слишком резко, это будет Георгу досадно и даже оскорбительно. Но и о меньшем Николай всё откладывал написать. Потому что он любил своего двоюродного брата Джорджи и не хотел доставлять ему неприятных минут.

Да, ещё же писала Аликс о беспорядках с булочными в Петрограде, разбили вдребезги Филиппова. Всюду плохо с подвозом хлеба, да, мятели. Но теперь они прекратились — и всё скоро наладится.

И в это самое вечернее время, пока Николай сидел над письмом Аликс, намереваясь отвечать,— принесли от неё телеграмму: что в Петрограде „совсем нехорошо".

Вот тебе раз... Не знал бы что и думать, но тут же принёс Воейков телеграфное донесение Протопопова: просто — распространились по Петрограду слухи, что отпуск хлеба в день на человека будет ограничен по фунту — и это вызвало усиленную закупку хлеба, рабочие забастовки и довольно большие уличные беспорядки, шествия с красными флагами, задержки трамваев, пострадало несколько полицейских чинов, ранен один полицмейстер, убит один пристав.

Довольно серьёзно,— нахмурился Государь. Но тут же прочёл дальше: что зато, напротив, буйствующие толпы местами приветствуют войска, а ныне принимаются военным начальством энергичные меры. В Москве же — спокойно.

Молодец, Александр Дмитрич. Умница. (А то стало казаться поздней осенью, что у Протопопова — какое-то перескакивающее внимание, несосредоточенность, видимо последствие болезни. Но, слава Богу, преодолел. Чудесный человек!)

И от военного министра Беляева была телеграмма, что меры приняты, ничего серьёзного нет, к завтра всё будет прекращено.

Аликс могла просто слишком принять тревогу к сердцу, да при больных-то детях. Государственные дела надо воспринимать с холодком, а она слишком всегда горячится.

Но — всё никак не удавалось Николаю сесть за письмо к жене. Какой-то урожай телеграмм: пришла ещё и от князя Голицына, и странная: что он просит либо расширить его полномочия — либо назначить вместо него другое лицо.

Бедненький князь Голицын, не по нему эта должность. Куда ж ещё шире ему полномочия, чем председатель совета министров — и с подписанным готовым указом о перерыве в занятиях Думы, только проставить дату?

Но — где найдёшь для России достойного премьер-министра? Нету их.

Телеграфно успокоил Голицына, подтвердил его полномочия...

Что ж такого? — забастовки, беспорядки, но идущие к концу? Бывало и раньше.

37

Даже смерти хотелось. Именно смерти: чтоб ничто другое не пришло на смену этому.

Ушла в себя — значит, ушла в его тепло. Он — речной, ветряной, а от него идёт тепло,— даже не то, которое передавалось руке. Всё от него — тёплое.

И теперь жила этим теплом, не тратя его.

Почти всегда можно скрыть плохое настроение. Но такое чудесное — скрыть невозможно. Кто видит, каждый спрашивает: что с тобой?

Ни — читать, и ничего делать. Просто сидеть и наслаждаться таким чудом.

Все мешают. И поклонник-революционер. Отойдите, оставьте меня.

А могло — ничего не быть. Он мог не оказаться там в ту минуту. Или не решилась бы подойти. (Это в ней не своё проявилось — подойти.)

Знает Ликоня, что глупо вела себя в сквере. Но он — так добро встретил.

А может быть потом — раскаялся?

Почему он сказал — „не раскаивайтесь"?.. Боже, да поверил ли он, что у неё никогда *такого* не было? Что́ он подумал о ней?..

...Но вот чего не ждала — что он вмешается в этот день снова! Рассыльный принёс от него — записку!

Что-нибудь плохое??.. Со страхом горячим разрывала конверт.

Нет, хорошее...

Что он не всё сказал ей в сквере, и непременно хочет видеть сразу, как вернётся.

А тогда — рано! Хорошее — рано! (И так уже вся — смятая...) Слишком много для одного дня! Нужно время! Она нуждается во времени — разобрать в душе полученное, зачем ещё и записку сразу?

А теперь хочется вобрать и записку. Нет, он не подумал о ней плохо, нет...

Задохнуться можно!..

Разбавить...

Уж нынешней ночью не будет сна совсем, это видно.

А, так и надо! Не по частичкам, не по дозам, а — сразу! Так и хочу: сразу!!! Пусть задохнусь!

Пылают щёки на ветру —
Он выбран! он — Король!

От наслоения чувств, от скорости их — всё вихрится внутри, до кружения. Исхаживаться по комнате! Швырять себя на кушетку! Искручиваться.

И только стрелки часов накаминных прозреваются всё на новом месте, каждый раз — на час, на полтора дальше.

Ночью смогла стихи читать.

... Мне счастья не надо,— ему
Отдай моё счастье, Бог!

Так!

38

Карточки на хлеб! — в девятом часу вечера, в городской думе на Невском, с её вознесенной конструкцией-каланчой, изломанными лесенными всходами, взбрасывающими наверх, в Александровском зале, где бывали и пышные приёмы иностранных гостей, открылось совещание гласных думы совместно с санитарными попечительствами и попечительствами о бедных.

Но такое возбуждение кипело в грудях ото всего происходящего в городе, и такая была потребность где-то говорить и слушать, что сюда, в этот безопасный зал, куда не могут наезжать конные, собралось со всего Петрограда немалое число и просто *сознательных*. Очень ждали самого Родзянку, но он никак не мог. А прибыл и занял место в президиуме постоянный болетель о народном продовольствовании депутат Государственной Думы Шингарёв.

Городскому голове консерватору Лелянову, собравшему совещание, вопрос не казался сложным: что хлебные карточки надо вводить — уже согласились все: и правительство, и Дума, и общество, и так было сделано в других воюющих странах. Предстояло обсудить, кем и как будут готовиться материалы, кто будет ведать составлением списков и раздачей карточек.

Но первый же оратор, известный либеральный сенатор Иванов, со страстью изменил постановку вопроса: настоящее собрание не может и не должно биться в таких узких рамках — техническое введение карточной системы. Уж раз собравшись, мы, конечно, должны обсудить положение общее. Что ж так поздно додумалось правительство передавать продовольственное дело в руки города? А теперь мы должны обсуждать шире!

И тон был задан! И радостно отозвались ему сердца со всех концов зала! Именно и хотелось того всем: поговорить и послушать — *вообще*! А карточки сделать немудрено, с ними и попечительства справятся.

И поддерживая этот порыв как бы с верхов, своими вензельными эполетами, гласный генерал-адъютант Дурново — призвал не верить обещаниям правительства, также и в отношении хлеба. Сейчас привозят муки на Петроград — 35 вагонов в день. А правительство пусть-ка обеспечит по 50 — а иначе мы должны сообщить населению.

Аплодировали. Радовались. Уж если генерал-адъютанты так говорят — значит, сгнил режим, сгнил!

Тщетно пытался гласный Маркозов перенаправить собрание: не надо зажигательных речей, а давайте лучше займёмся делом.

То есть что же — вот этой самой техникой составления списков и выдачи карточек? Он просто смеялся над собранием!?

А когда осмелился сказать, что в продовольственном кризисе виновато не одно правительство, но также и общество — это просто оттолкнуло от него собравшихся, его уже и не слушали дальше.

Но опасность собранию увязнуть в малых делах — была. Выступил с нудным докладом председатель городской продовольственной комиссии. Он перечислял вагоны, отдельно ржаной, отдельно пшеничной муки, и пересчитывал вагоны на пуды, и ещё вникал в пропускную способность пекарен,— и получалось, что город полностью обеспечен мукою на две недели, даже если не поступит ни одного вагона больше, а они даже при мятелях поступают в размере трёх четвертей от нормы.

Ах, разве о том нужно было говорить! В этих скучных выкладках терялось главное: тупая неспособность власти справиться даже с хлебной проблемой! Неужели в этот зал собирались из мятежного города, иные пешком с Выборгской или Московской стороны, чтобы послушать сии выкладки? Не так важен сам хлеб или не хлеб, как свидетельство бессилия власти.

Тут вскинулся на трибуну пламенный адвокат Маргулиес — и языками огня стало лизать лица в зале. Он именно в *общем* виде говорил — о неспособности, о тупости, о полицейских ограничениях — не допускают избрания рабочего класса в районные комитеты по распределению продуктов... Так рабочие выберут свой Центральный Комитет! Он мог бы, видно, и вдесятеро ещё назвать и пересказать правительственных злоупотреблений — но взмахами рук своих, но всплесками голоса уже передал залу всё необходимое — и поджёг его радостно-безвозвратно!

Следующий гласный потребовал захватывать комитеты явочным порядком, не считаясь с тем, что думают в *сферах*.

Я в о ч н ы й порядок — ударом набата прозвучал в зале: явочный порядок был самой сутью славной революции 1905 года: каждый человек и каждая общественная организация делала то, что считала нужным, не спрашивая правительства. Именно такой порядок и должен быть в России! Именно так пришла пора поступать и теперь! Блики пожарных огней радостно перебегали по лепному потолку и стенам.

И вышел говорить Шингарёв. Всегда любимый оратор общественности,

с его удивительной искренностью и тем набуханием чувства, где, уже близко, за одной переломной гранью могут хлынуть и слёзы, слёзы сочувствия к страдающим и слёзы назревшего самоосвобождения, своим голосом неповторимо сердечным коснулся он всех сердец. Он не говорил „явочный порядок", но отстаивал именно его: право рабочих и общества — самим решать, а властям бы — не вмешиваться! Да, город может сам взяться за распределение хлеба — но если правительство обеспечит подвоз, пусть дадут гарантии! А то нет ли здесь ловушки: они довели до развала, а город возьмётся распределять, а хлеба нет — и будет виновата городская дума?

Бурными долгими аплодисментами провожали народного любимца.

А тут вышел ещё один гласный, Шнитников, совсем не левый, и перекинул собрание прямо к делу: нынешнее правительство как абсолютно неспособное должно вообще у й т и !!! А вместо него пусть возникнет коалиционный кабинет!

В разламывающих аплодисментах объявили перерыв: уже непосильно было только слушать, но хотелось ходить в кулуарах и делиться друг с другом.

В перерыве ещё разогрелись, ещё тысячу раз высказали это и ещё это, и ещё следующее,— и уже после перерыва трибуна бы не выдержала скучного благоразумия, ни серых подсчётов,— теперь каждый оратор говорил, о чём хотел, и председатель уже никого не останавливал. Заседание потекло вполне революционно.

Выскочил Каган, кажется даже не гласный,— и сенсационно сообщил о расстреле: вот тут, рядом с самою думой, около часовни Гостиного Двора! — стреляли в толпу, убили и ранили! — и о каком же хлебе можно говорить теперь тут, рядом, в думе? Надо что-то сделать, что-то обязательно сделать, и не позже этой ночи!

— Но что же сделать? — отчаянно крикнули из зала.

— Я не знаю, что сделать! — задыхался Каган на трибуне.

Раздался чей-то смех, но был оборван, как неприличие. Зал негодовал. Какая-то дама крикнула:

— Надо, чтобы не стреляли в народ!

Да, да! Гул одобрения. Запретить им стрелять в народ!

Тут вышел новый оратор и предложил почтить память невинно-погибших вставанием.

Зал поднялся. И грозно выросло короткое молчание.

И так собрание переступило ещё одну ступень чувств.

И снова говорил оратор от кооперативов: разве движение — только за хлеб? Разве рабочим нужен только хлеб, а не участие в управлении? И даже не унизимся просить каких-то гарантий от правительства, как предлагал депутат Шингарёв. Мы не верим правительству больше ни в чём! Мы — сами всё возьмём! Изберём продовольственные комитеты от всего населения — и всё возьмём сами!

Тут выступил гласный Бернацкий, профессор. Он вот как высказал: может быть, голод и утолят, правительство как-нибудь извернётся и утолит голод,— но всё равно! не дадим начавшемуся движению остановиться! революционное движение не должно остановиться!! — но валом докатиться до конца!!

Ах, замечательно! Эта мысль овладела собранием: не в голоде дело! — но пусть докатится всё до конца!!!

И в эту разгорячённую минуту — кто же? о, кто же? чья лёгкая стройная фигура вдруг промелькнула по залу — над залом — уже узнаваемая, уже трепетно приветствуемая, и вот захлёстнутая бурею аплодисментов?! Сам Александр Керенский, оратор среди ораторов, излюбленный трибун, бесстрашный революционер, чуть прикрытый легальностью, посетил нас! — вступил на трибуну! — и вот уже говорил вне очереди.

Говорил страстно, что — была, была, была возможность уладить продовольственный вопрос — но тупое правительство, как всегда, не вняло голосу общественности,— и вот упущено, упущено, упущено. А теперь, когда совсем уже безвыходно, правительство хочет увильнуть от ответственности и всё свалить на городские самоуправления. Это кажется уступкой, но это — дар данайцев, и общество не должно на этом попасться! Город должен поставить твёрдые условия, чтобы правительство уж тогда вовсе не вмешивалось бы в продовольственное дело. И даже — совсем ни во что! уж тогда совсем бы устранилось! Населению должна быть дана полная свобода собирать собрания о хлебе. Свобода собраний! Свобода собраний! слова! и печати! А вот, какой-нибудь час назад некоторые рабочие кооператоры собрались в Рабочей группе Военно-промышленного комитета — а полиция окружила помещение — и некоторых арестовали! Вот наша свобода! Наши товарищи шли сюда, чтоб объяснить городской думе,— и вот наша свобода!

Поднялся шум, какого ещё не было. Пока, значит, мы здесь заседаем о свободе — а где-то арестовывают?! Какое же возможно содействие в продовольственном деле, какая мирная работа, когда...

В бурных возгласах было решено, чтобы Шингарёв и городской голова немедленно спросили и требовали от правительства!

И они двое тотчас пошли звонить по телефону.

А тут появился ещё один член Государственной Думы — Скобелев, его сперва и не заметили в блеске Керенского. А у этого была смазливенькая наружность, звонкий приятный голос, но глуповатое лицо,— зато известный социал-демократ. Он объяснял собранию, что продовольственный вопрос нельзя решать отдельно, он слишком тесно связан с политическим, а политический — ещё трудней. И надо использовать теперешнюю растерянность правительства! Что правительство нашло свой путь борьбы с продовольственным кризисом — *расстреливать едоков*, но мы, здесь присутствующие, должны заклеймить такой предательский способ — и должны п о т р е б о в а т ь в о з м е з д и я!!! Правительство, обагрившее руки народной кровью, должно у й т и!

Тут выступил рабочий лесснеровского завода Самодуров, большевик из больничной кассы: что современный государственный аппарат невозможно никак, ничем исправить — а только у н и ч т о ж и т ь д о о с н о в а н и я! Только тогда наступит в России успокоение, когда нынешняя правительственная система будет в ы р в а н а с к о р н е м!

Аплодировали.

Снова вылез со скучной ползучей речью гласный Маркозов: не выходить с требованиями на улицу, не повторять печальных событий Пятого года, в условиях войны это было бы предательство родины...

Ах, мы же ещё и предатели?.. Нет, *именно на улицу!* — отвечал Самодуров,— вываливать всем на улицу, а не ждать, пока дома арестуют.

И верно! И мы именно х о т и м повторения атмосферы Пятого года! мы *хотим* дышать тем грозовым воздухом!

Возвратился Шингарёв. Он разговаривал с министром-председателем Голицыным. Тот сказал, что об аресте рабочих ничего не знает и будет...

Ах, уже виляют?! Ах, уже дрогнули?? Так стройнее наши ряды! так яростней напор на правительство! — чтоб оно опрокинулось!!! Не надо нам их подачек, мы сами всё возьмём!

Снова возвысился узкий Керенский — и строго призвал собрание е щ ё р а з почтить вставанием память погибших сегодня рабочих.

И собрание поднялось — ещё раз.

Пронёсся гул, что сейчас внесут сюда и трупы.

39

Сегодня, в субботний вечер, в Мариинском театре Саша Зилоти вместе с Жоржем Энеско давал концерт. И, конечно, Марья Ильинична пошла.

И, конечно, Александр Иванович остался дома — и отдыхал, и наслаждался этими часами, что её нет. Он, разумеется, не имел желания, чтобы уличные беспорядки задержали её на обратной дороге, но и нисколько не беспокоился от такой возможности.

А вот завтра, напротив, она будет дома — а он уедет куда-нибудь, только бы не сидеть с ней воскресный вечер, ощущать, как она дуется. Уедет к Ко-

ковцову разговаривать хоть о финансах, или к другому отставному государственному мужу, они любят поговорить, и всегда есть чему у них поучиться. Уедет хоть к молодым Вяземским, брату или сестре.

Даже самому страшно становится, что не просто тоскливо с ней, но отвращенье наплывает на неё смотреть. Потом проходит.

Были годы, и недавние,— они здесь, в петербургской квартире не пересекались вообще: в думские сессии он жил тут один, дети с гувернанткой, родители менялись по согласованию, удивляя детей: гнали-гнали к папе, а папа уехал два часа назад и маме оставил где-то ключ. Или только что проводили маму, а папа вернулся, эх ты, папа, как же ты опоздал?

А последние месяцы, после смерти Лёвы, вопреки непрощенью, как могла она не уберечь мальчика, деревянное не материнское сердце,— вопреки этому, напротив, при оставшихся двух младших стали жить вместе.

Как бы — вместе.

Потому ли, что постарели. Что силы уже отказывают перебарахтывать все несчастья. Что уже не осталось сил для отдельных резких движений.

Но когда Марья Ильинична была тут, в квартире, хоть за тремя стенами,— каким-то косым каменным углом вступало Гучкову в грудь, присутствовало постоянно. Даже если не ожидалось, что она войдёт в кабинет и что-нибудь скажет, взмутит. И вот любил он, когда её не было дома.

Что такое дурная женитьба! Это горе — совершенно неотклонимое, неустранимое. Как бы ни текла вся остальная жизнь, хотя бы блистательно (но не текла...),— дурной уклад семейной жизни вложен в нас как испорченное лёгкое или печень, их невозможно сменить, от их болезни невозможно забыться.

И постоянное долголетнее неисправимое сожаление: зачем женился? Зачем вообще женился?

Всё это вместе живёт в мужской душе: иметь свободу движений, не дать опутать рук и ног, и — дать опутать их, о, если бы их увязить! Увы, это не *вместе*, венчан богами тот муж, кому это послано вместе.

А — как начинается? Как эти царапины первые наносятся на кожу? Ты их и не замечаешь, как ветки бы раздвигал, позже смотришь: когда это поцарапался?

На пороге твоих тридцати лет. Поздняя тёплая Пасха. Знаменское под Избердеем, тамбовское имение весёлой, многолюдной, гостеприимной семьи Зилоти. С девятнадцатилетнею Машей ехали на шарабане, въехали в лесок — а пошёл дождь. Александр остановил лошадь, развернул свой тяжеловатый непромокаемый плащ — на Машу. Нет. Нет? То есть да, но — чтоб и он тоже. И решительным движением приняла на себя — но лишь половину плаща. Одно вот это движение больше иных слов, разговоров, переглядов — приняла на себя его покров, разделила с ним, плечо к плечу.

И запало в душу? Может быть и нет. Может быть, это она потом внушила — что это движение решило всё. Забыл.

А какой весёлый дом! Дворянская семья, но сильно смещённая в искусство. Сама и Знаменка особенная, с приворотной башней, с особенной этой Иаковской церковью. Два своих исключительных пианиста в гостиной запросто: Саша Зилоти и двоюродный брат Серёжа Рахманинов. А старший брат, Серёжа Зилоти, морской офицер, на липецких водах влюбился и уже на правах невесты привёз в родительский дом — Веру. Эта Вера бредит о театре, простительно юной девушке. Этой Веры фамилию — Комиссаржевская, ещё в России не знает никто. Их женитьба с Серёжей не состаивается, но сколько веселья, влюблённости и шума среди этой молодёжи!

Ещё год, ещё два,— а ты, при молодости, уже член московской городской управы. И вдруг — букет. Ему — от неё. От той девушки, с которой он на шарабане... Игра, кто в этом возрасте не играет? Ответить галантным письмом. Куртуазности, легко доступные тому, кто читал французские романы (да если ещё и с французской кровью сам). Не дремлет и Маша: вам что-то не нравится во мне! скажите — что именно?.. Ах, коварная Вера Фёдоровна! Я думал, она передаст вам только то, что вам приятно, она же, видимо, передала вам всё. Теперь вы ставите меня в тупик. Но ещё вопрос, выиграете ли вы, когда мне

в вас будет нравиться всё. Ещё письмо на письмо, и вот уже выпытывает Маша: *только имя!* Только — имя той, которая нравится вам! — Отвечать не прямо (да если имени такого определённого и нет?), а как-нибудь этак: вот, вы пишете, что сильно меняетесь, тогда и это *имя* может измениться...

Но всё это — туманится, блекнет, отодвигается. Чаще видится Вера Фёдоровна, передающая Машины письма. Они дружны где-то там, куда Александр не ездит больше, но дружит Вера и с Варей Зилоти, а Варя теперь замужем за Костей Гучковым — и к ним на московскую квартиру из Вышнего Волочка приехавшая третьим классом бескостюмная безденежная безызвестная Вера блестяще проходит первую театральную пробу на инженю.

И сегодня законно, и как будто вне ревности, висят в его кабинете несколько фотографий Веры — она одна, и с Машей в обнимку, и с Машей на штабеле брёвен у старого провинциального забора,— Маша со взором ищущим, а Вера — отрешённым.

Для чего-то же так рано, через нескольких Зилоти, скрестились их пути с Верою Комиссаржевской? Но где бывают наши глаза, чем отвлекается наша воля, чем затрудняется наша речь в какие-то короткие часы или дни,— и оброненное вытягивается, вытягивается потом на годы? Грудь борца и завоевателя не тотчас ощущает, что отпущено ей вдохнуть аромат разбора высшего. Да и острый взгляд хрупкой женщины что-то видит вдали более важное, мимо плеч завоевателя. И — годы. У тебя — второпланная женская череда, у неё — крушенье любви и кручинная болезнь. В те самые годы, когда на арену политики тяжелоступно вышел крепчающий Гучков,— на сцену театра, поздно для женщины, вышла воздушным шагом Комиссаржевская. Так совпадало: почти ровесники; он создал свою партию — она свой театр; он бесстрашно шёл против газетного воя — и она; он был деловой человек — однако чудом каким так точна в делах артистка? Он произносил свои лучшие речи — она играла свои лучшие роли. Только ему как мужчине ещё предстояло много возраста, зрелости и силы, а она в сомнениях шла к надлому. И была у неё смелость — оборвать, когда путь её театра показался неверен. (Тогда ещё не ведал Гучков, что скоро и ему к своей партии октябристов понадобится эта смелость.)

Был Гучков не просто поклонником, собирающим её программки, фотографии, посылающим по-купцовски неохватные букеты, но барьером ложи замыкающим свой восторг — от этих слёз, слишком искренних для игры, когда душа урывает вверх из тела невесомого, а ещё слишком весомого для себя; от этого голоса ворожебного, уводящего за самое сердце. Он — и живые руки её нередко брал в свои, и её глаза — слишком синие, слишком провидческие, видел так близко, как только можно сдвинуться двум головам. Но велеть — „иди за мной!" — никогда не мог. Не смел.

Потому что *она* не могла пойти *за.* Как редкий из мужчин знала она свой жребий: до конца изойти собственный путь.

Александр Гучков, всю жизнь занятый движеньями материальных масс — партийных сторонников, армейских колонн, госпиталей, станков, капиталов,— удостоился сокоснуться ненадолго — с этим ангелом напряжённым, никогда не весёлым, вот забредшим к нам, а вот и уходящим.

Нет, не ангелом никаким, она — женщина была и ещё как терзалась самым плотским, но то, что простым женщинам доставляет цельную радость, её приводило в угнетённость и в новый толчок — очиститься и взлететь. Она — женщина была, но в ролях играла не женщин, а души их. Своим волнующим голосом, своим утлым станом — выводила их, выпевала,— необычно сложных, с такою внутренней тоской, на вечную нам загадку.

Она прошла через жизнь Александра Гучкова как будто простой собеседницей, шутницей, посредницей (то букет, то записка от Маши, поручения, что купить в Берлине для Машиной мамы), телеграфные поцелуи ему, как и, равно, Гучкову-отцу,— но только потом, после смерти её понялось: она прошла неотмирной тенью, как чтоб навсегда оставить ему одинокость, показать другую ступень бытия, не того тщетного, каким занимался он, другую ступень обладания — не того, что забывается воином через час, но цветком засохшим,

а пахучим бессмертно, носится под кольчугой — или под костями грудными? — столько лет и столько битв, сколько ему осталось до последней.

Прошла — и растаяла. Уже решив поворот своего дела — бросить театр, на этом непосильном изломе ушла из жизни, запахнутая псевдонимным плащом подвернувшейся чёрной оспы. Умерла так далеко от Петербурга, как только достала,— в Ташкенте. Умерла в те самые недели, когда *его* борьба требовала все силы собрать: когда он стал председателем своей Третьей Думы.

И в чём-то же был смысл, рок (или насмешка), что именно Вера постоянно передавала что-то от Маши, напоминала о Маше, склоняла к Маше: в Маше вы найдёте человека, который вам больше всех нужен. Кто бы мог жить с таким шалым, как вы? Она — всё сделает для вашего счастья. Маша — исключительная натура!.. Там шарабан-не шарабан, разделённый покров плаща, но это зерно забытое никакого роста бы не дало, когда б не постоянное внушение Веры: Маша — избранная натура, приглядитесь!

Вера как будто восполняла, чего сама на земле подарить не могла навечно: своего изменившего мужа женила на той подруге, с которой изменил. А другую подругу подарила Гучкову вместо себя. И, поженив их, ещё семь лет улыбалась, шутила, сносила шутки, звала в Италию, приезжала в Знаменку...

Так забылся Гучков — зазвонил телефон, застав его перед фотографиями Веры у стены.

Так забылся — что за дни в Петрограде, и что за мерзкое правительство у нас, и что же с ним делать,— но даже коротких минут забывчивости грустной не отпускается бойцу.

Зазвонил телефон. И сообщали, что в помещение Рабочей группы на Литейный пришла полиция. Арестовала собравшихся там рабочих кооператоров — и ещё двух членов Рабочей группы, до сих пор уцелевших с январского ареста!

И — слетела с Гучкова вся мерлехлюндия и рассредоточенность, взвился, как на ногу наступили! О, тупоумие бесконечное! О, как же *они* надоели, проклятые, как же он их ненавидит, когда мы от них избавимся!? В январе развалили, переарестовали Рабочую группу — и хоть расшибись о каменную стену. В феврале запретили в Москве даже съезд Военно-промышленных комитетов — душат всякую живую деятельность! — всё боятся за себя. Сами ни на что не способны — и другим не дают делать дело. Перевёл съезд в Петроград — запретили и тут: по данным департамента полиции съезд начнёт с выражения недоверия правительству. (Так и намеревались, разведка у них верна.) Жаловался Родзянке. Родзянко добился открытия съезда. Но местный участок не знал и пришёл закрывать. Опять Родзянке. Тот — бешено телефонировал градоначальнику: „Поеду сам и за шиворот выброшу пристава!“ Открыли наконец. Так теперь дотянулись опять в Рабочую группу.

А что такое? К чему придрались? Чем занимались?

Да кооператоры обсуждали, не избрать ли Совет рабочих депутатов.

Нет, нельзя спускать!

Дёрнулся — звонить градоначальнику. Сам не подходит, оттуда мекали, что на собрании присутствовали посторонние рабочие разных заводов... А хоть бы и разных?

И позвонил — тому же Родзянке. И тот тоже заревел по-медвежьи у телефона. И ясно стало, что надо сейчас, вот в ночь прямо, ехать в градоначальство и буянить.

Нет, поехать прямо домой к председателю совета министров!

Э т о г о нельзя было уступить. Именно потому, что уличные волнения в городе не удались, уже остывали,— надо было вытягивать линию Военно-промышленных комитетов и Рабочей группы во что бы то ни стало! Это был удачно найденный рычаг, которым Гучков сотрясал власть. Это была ему — замена Четвёртой Думы, куда его не выбрали, и твёрдая ступень в Пятую, будущей осенью. Пятая Дума будет его последняя верная попытка, уже в 55 лет, какое-то место в России занять и ещё поворачивать её спасительно.

Иначе — зря он бился все двадцать лет. Хуже нет этой муки бессилия: жить в стране и не мочь повлиять на жизнь её — никак.

Называется, посидел один вечер дома, помечтал...

40

Охта была весь день от города отрезана: стояли отряды войск на мосту Петра Великого, на набережной Невы и между Охтой и Выборгской стороной, никуда не выпуская охтенцев. Через реку по льду тоже не многие пошли: невский лёд против Охты выдался ненадёжен, да и весенний, против Смольного уже кой-где и вода его покрывала, чуть и не по колено. Так и не знали весь день: что же такое творится в других районах и по ту сторону Невы? Кто пробирался — рассказывал, что там большие толпы ходят по улицам, везде войска, а заводы ни один не работают.

Но Охта — и сама как отдельный город, только не столичный. Толпились охтенцы по своим захолустным улицам, собирались где большими кругами, где малыми, спорили, а то и речуны выступали, у кого язык хорошо ворочается.

Полицейские патрули проходили иногда, но разогнать такие толпища было им не под силу. Иногда проезжал казачий разъезд и страшно сек нагайками воздух — но только для острастки, никого не трогали.

Где узнавали охтенцы в своей толпе переодетых полицейских доглядчиков — отмолотили.

Был слух, однако, что дело добром не кончится. Что если только начнётся общий бунт — власти взорвут Пороховые, и взлетят на воздух вся Охта и пол-Питера.

Не все разошлись и к вечеру. Ещё долго шумел, бродил народ на улицах. Стали в разных местах разводить и костры, где наломавши досок от казённых заборов.

На набережной подле больницы Елизаветинской общины стояло с дюжину казаков в конном строю и посматривали на один такой костёр.

А от костра — на них. То подсмехались вслух над ними, то свистели им. Потому что — нутро бередят, зачем стоят, что за надсмотрщики? Громко об них:

— Продажные герои!

— Кудрявые лыцари!

Ино дети да подростки подбегали к ним ближе, кидали снежками. Тем — и хочется детей стегануть, да взрослые близко.

Ладно, как будто их нету. Вылез на кучу твёрдого снега один мастеровой пожилой, да и пьяненький, и голосом, как плача, рассказывает про Пятый год:

— И сам министр Витте на коленях елозил перед нашим Носарём, во как было! А — всё у нас отобрали. А всё — из-за этих длиннокудрых псов! — И рукой туда, на казаков.— Каб не ихние нагайки, так до сих пор бы... Сволочи они, вот что!

И — туда на них зазявился. И — все туда на них.

И вдруг казаки — всё слышали! — тихо двинулись. Шагом. Сюда!

Замерла толпа. И бежать стыдно — и устоять как? Боязно.

И чем бы решилось, но парень один смекнул, схватил варежкой головешку из костра — и кинул прям в них! Да метко: один казак еле увернулся, стряхнул.

Чего-то грозное крикнули.

— Я те дам, холуй царский! — крикнул кто-то отчаянно, как резали его.— Бей их, ребята!

И поддержали:

— Бей!

— Бей их!

И зашевелилась толпа — кто за головешкой, кто за ледяшкой, кто досчину остро обломанную метнул. Заревели! засвистели!

И казаки — попятились на конях. И — на поперечную улицу.

Попятились шагом — но вослед им досочки, ледяшки.

И — вскачь укинулись казаки.

— Хе-ге-ге-ей! — завеселилась, заулюлюкала толпа.— Удрали, сволочи?!

А на небе — сполохи сильные играют. Синё, красно.

41

* * *

Перед темнотой у Гостиного Двора демонстранты запели революционные песни и выкинули флаги „долой войну!". Офицер учебной команды 9-го кавалерийского полка, пришедшей на отдых в проулок у Гостиного, предупредил прекратить. В ответ из толпы раздалось несколько револьверных выстрелов, метили в офицера, а ранили одного драгуна в голову. Взвод спешился и открыл ответный огонь по толпе, убил троих и ранил десятерых. Толпа рассеялась.

Эти трупы и вносили потом в городскую думу.

* * *

Генерал Перцов, помощник генерала Хабалова, жил в казённой квартире при Главном Штабе. На субботу 25 февраля он задолго назначил на 40 кувертов торжественный обед, какими славился. Днём стал по телефону напоминать приглашённым, чтоб не опоздали. Сестра возразила: „Серёжа, какой обед, сейчас революция". Генерал рассердился: „Паникёры вы, трусы! Кучка хулиганов на улице скандалит, а вам уже революция!"

Но — никто не приехал. И у пышного стола, засыпанного цветами, генерал горевал о паникёрстве. И пропал бы роскошный обед, если б не прибежал к нему племянник из Кредитной канцелярии: там его все сослуживцы не могут разойтись по городу из-за волнений, сидят голодны. „Тащи их всех сюда!" — махнул рукой генерал Перцов. (А через два дня был уже и арестован.)

* * *

Только этим вечером, третьего дня городских волнений, были посланы в Ставку первые сообщения о них: от министров внутренних дел, военного и генерала Хабалова. Изо всех трёх донесений понималось, что хотя и возникли некоторые беспорядки, они успешно и почти бескровно подавляются.

* * *

А между тем день был проигран властью во всех отношениях: было явлено толпе, что полиция изолирована от войск, а войска подавлять не будут.

* * *

Уже немало полицейских участков на окраинах было разгромлено и не имело связи с центром.

Пристава полковника Шелькина, 40 лет служившего в одном из выборгских участков, рабочие — знали его хорошо — переодели в штатское, кожаную куртку, перевязали голову платком как раненому — и увезли перепрятать, пока полицию громят.

Пристав дальнего Пороховского участка скрылся от толпы в подъезд, там купил у швейцара лохмотья (швейцар потребовал 300 рублей) и в таком виде ночью, когда всё успокоилось, пошёл к семье на Невский.

* * *

К 10 часам вечера с Невского ушли все манифестанты до последнего, и центральные улицы стали мирно-пустынны, только кое-где военно-полицейские посты. Да разъезды конной стражи, драгун, казаков.

Все демонстранты разошлись по домам и покойно спали, не опасаясь налётов, обысков, арестов.

Так идёт революция.

А днями — погода не холодная, гуляй, манифестируй.

* * *

Брат Государя, великий князь Михаил Александрович, приехал со своей супругой Натальей Брасовой на автомобиле из Гатчины в Михайловский театр на французский спектакль. Но заметив скопленья народа на Невском и узнав о сегодняшнем убийстве пристава, под тяжёлым впечатлением отказался от театра. Просидел вечер на квартире своего секретаря Джонсона, писал письма. После спектакля подъехал к театру за женой — и уехали в Гатчину.

* * *

Увеселительные места — театры, кинематографы и лучшие рестораны, были и сегодня вечером полны, как всегда. В императорском Александринском театре показывали премьеру лермонтовского „Маскарада" в необычайно роскошной даже для императорских театров постановке, её готовили несколько лет, и дорого. В конце спектакля по особому замыслу режиссёра Мейерхольда вместо обычного занавеса опускался тюлевый чёрный прозрачный с белым венком — а за ним молча проходил скелет в треуголке. Успех был грандиозный, бенефициант Юрьев в ударе, ему много аплодировали, потом чествовали при открытом занавесе — и поднесены были ему от Государя золотой портсигар с бриллиантовым орлом, и от вдовствующей императрицы бриллиантовый орёл.

Однако разъезд публики произошёл мгновенно: через четверть часа после окончания не было ни одного извозчика, ни автомобиля, площадь перед театром пуста.

И город вымер.

* * *

Поздно вечером в градоначальстве выслушивались рапорты и обсуждался минувший день. Командир 1-го Донского полка Троилин решительно отрицал, что казак мог убить пристава. Полицейские чины настаивали, что именно так. Генерал Хабалов, недовольный поведением казаков в эти дни, решил во всяком случае на завтра оставить их в казармах, а на смену он ждал кавалерийские части из Красного Села и Новгорода. Да с лошадьми, целый день не поенными, кавалерия выматывалась на разгоне толп, ничего не давала.

Но — что же делать? По выслушании докладов начальников военных районов все высказались за энергичное применение оружия.

Решиться на оружие? И самовольно, без приказа сверху?..

Хабалов нехотя дал согласие: если толпа большая, агрессивная и с флагами — после троекратного сигнала открывать огонь. И распорядился составлять новое воззвание к населению в решительной форме.

Приехал в градоначальство и Протопопов. Всех поразило его истерически-приподнятое настроение, глаза его сияли. Произнёс напыщенную речь благодарности верным защитникам, велел объявить свою благодарность в приказе по градоначальству, молитвенно вспомнить погибших и выдать пособия раненым.

— Молитесь и надейтесь на победу!

* * *

Охранное отделение докладывало на совещании, что бунтарство повидимому будет продолжаться и завтра, но у руководителей и до сих пор нет согласованного плана.

Не было его и у Департамента полиции. Арестовывать? — кого? в каких размерах? не будет ли хуже? До арестов устрашительно-массовых ни у кого и мысль не доходила. Известных пять членов Петербургского комитета большевиков взяли всех потому, что они все собрались на одной квартире. Скольких-то взяли в помещении рабочей группы на Литейном. Ещё немного случайных, тут близко в центре. Всё-таки — не бездействие.

* * *

Шляпников не пошёл на квартиру к адвокату Соколову, где думали встречаться с Керенским и Чхеидзе. Вечером на Сердобольской, на квартире Павлова, собралось несколько человек большевицкой верхушки, отдельной от ПК. Вывели, что дела идут хорошо, стачка почти всеобщая. Но надо проникать агитаторам в казармы, а на улицах устраивать братание рабочих с солдатами. Теперь нужна хоть самая небольшая воинская часть, которая перешла бы на

сторону рабочих. Очень надеялись на Самокатный батальон, расположенный в Лесном.

Завтра конечно — опять на Невский!

* * *

Вечером по Невскому солдаты тянули телефонный провод. Разжигали костры, перегреться.

* * *

Пустынны были улицы, и мало кто видел: в этот вечер пылало редкое сильное северное сияние. По небу, за облаками, метались языки света, ярко синие, лиловые, красные.

42

Наконец в городе всё глубоко успокоилось. А в эту квартиру на Моховой, казённую квартиру председателя совета министров в хорошем старом доме, и днём-то не шумно доносилось. А сейчас и тяжёлые оконные шторы были задёрнуты, до конца замыкая комнатное пространство. И внутри был отчётливо слышен каждый звук отдельно — негромкие переговоры министров, и все двенадцать звонко-втягивающих ударов полночи в коробке стоячих пристенных часов.

Где только не заседал этот совет министров (не вовсе этот, не слишком этот, потому что состав его менялся, менялся, менялся), — и в Зимнем дворце, и в Мариинском, и в Елагином, и в Ставке, и в Петергофе под председательством самого Государя, когда в мундирах со всеми орденами, когда в чёрных сюртуках, когда в ослепительно белых кителях. Но даже и давнишние здесь министры — трёхлетний Барк, двухлетний Шаховской (а самый давний Григорович болел, не присутствовал), — никогда не заседали на этой квартире, ни при Горемыкине, ни при Штюрмере, ни при Трепове. Это правительство своею кожею не помнило тех лет, когда министров рвали на бомбах, — и не было обстоятельств, чтобы встречаться им так поздно и так тайно. Не хотелось ли князю Голицыну два раза ехать по городу — он назначил заседание не в Мариинском, а тут, у себя, когда всё успокоится. И автомобили министров были закачены с улицы во двор, чтобы снаружи не привлекать внимания.

Никто не мог бы подумать или укорить, что они прятались: они могли другого времени не найти за тревожный день из-за городских волнений. А теперь, передвинувшись в ночь, они как бы переехали в другой, спокойный город.

Но сами-то понимали, что — прячутся.

В этой квартире предусмотрены были комнаты для торжественных приёмов и раутов, а вот комнаты для делового заседания не было. Собирались в большой гостиной и рассаживались где придётся — за овально-фигурным лакированным столиком, за малым круглым в стороне, просто в креслах, стульях, стоящих отдельно, и на золочёном диване с тёмно-зелёной бархатной обивкой. Горела верхняя люстра, но не слишком ярко, не так, чтобы много писать, — да как будто не предполагалось протокола этого ночного заседания, не было секретаря, и сами министры не выражали склонности записывать. Если б не будничные их одежды, можно было представить, что они приехали к министру-председателю с визитом, но по случаю не радостному.

Не сразу собрались, неровно. Пока разговаривали частно, негромко, по двое, по трое, больше и не о делах. Подлинно объединённым правительством они никогда и не были: каждый министр мог вести политику своего ведомства довольно независимо, сам докладывая Государю и от него получая указания, а дела политики внешней и военной министрами вовсе не заслушивались, и даже председатель мало знал о них. А сейчас ещё — министры были много раз перетрясены, обновлены, пятеро было двухмесячных, включая и самого председателя, трое — всего лишь с ноября, они ещё и не все перезнакомились как следует, и каждый день ожидали новых перестановок и увольнений, всё это не придавало уверенности.

Среди собравшихся выделялся отнюдь не министр-председатель, а прокурор Святейшего Синода Раев — мужчина крупный, в расцвете лет и сил, безотносительно к своему духовному поприщу весь налитый здоровостью, весёлостью и плотоядием. И в масляном взоре его и в усах дуговых, кавалерски вскинутых, выражалось это радостное поглощение жизни. Да он и держался здесь едва ли не всех свободнее — шутка ли, на посту уже состоял полгода, ветеран.

А самые-то ветераны, Барк и Шаховской, от этих частых смен тем более чувствовали себя здесь засидевшимися, чужими, они были последние из тех восьми министров, кто дерзнул подписать коллективный ультиматум Государю (тогда такая волна была дерзкая), пятеро давно были уволены, один умер, — а их вот и не отпускали. Уже по дважды и по трижды они просили у Государя отставки, не ожидая, пока их прогонят, — а он всё не давал им увольнения. Впрочем, Барк до последних тревожных месяцев и сам держался умело. Слишком долгий путь он шёл к министру финансов — ещё Столыпину обещал русификацию кредита, а попавши в министры стал невольно расширять космополитичность его, и сам вёл крупный банк и тесен был с Манусом и Рубинштейном, и не давал провести государственный надзор над банками, нравился Горемыкину, не дерзил Распутину, избегал острых диспутов в совете министров, устоял против атаки Хвостова-племянника, угождал англичанам и считался незаменимым у Государя. Но зачем это всё теперь, когда остро ощущал он, что всё здание шатается?

А ещё в эти дни Барк — упитанный здоровяк, с толстыми, далеко разведенными и тоже вскрученными усами, был в нервных нарывах, сидел больной и безучастный.

Шаховской тоже прошёл к министерству торговли-промышленности свой немалый путь, в другом роде — от мичмана гвардейского экипажа, камер-юнкера в 26 лет, и камергера потом, и гофмейстера, очень угодил Государю устройством путешествий, был близок к великому князю Александру Михайловичу, и нравился императрице вдовствующей, и охотно делал доклады императрице царствующей, и первый привёз ей мерзкое письмо Гучкова к Алексееву, и принимал у себя в доме Распутина, и всё это не потому, что не имел талантов, — он имел их, был деловит, одушевлялся делом, умел работать, присмотрчив, быстро вникал, уверенно решал, и подвижен (худощав, сам водил автомобиль), — а даже и при талантах все эти подкладки были необходимы, но к чему теперь всё? Удержавшись после „министерской забастовки" Пятнадцатого года — до какого позорного кабинета он дослужился? Последние месяцы, чтоб ускорить отставку, — он даже говорил императрице неприятное против Штюрмера, против Протопопова, — нет, не отпускали! Защемился тут.

Печально-полусонный, вчуже поглядывая, сидел на диване Покровский — любимец общества, знаток экономики, но с контролёрства вот назначен с ноября на министерство иностранных дел, как всех теперь назначали неуместно. За эти три месяца он уже четырежды просил у Государя отставку (больше всего — из-за позорной невыносимости соседствовать с Протопоповым) — и не получал. Что ж, служить — так служить: всего лишь в минувший вторник, перед отъездом Государя в Ставку, он подал всеподданнейшую записку о необходимости нам овладеть проливами — собственными силами, д о конца войны, не позже октября 1917. Если Государь утвердит — то многое надо изменить в наших условиях.

А лысый старичок Кульчицкий, с января министр просвещения, как будто нарочно взятый из грибоедовских персонажей очаковских времён, — сидел в углу с выражением недоуменным, как будто он недослышивал или недовиживал, не приёмист к мыслям извне.

Никто в комнате не курил.

Всего в правительстве состояло роковое число тринадцать. Четырнадцатого, министерства народного здравия, Дума никак не давала создать. Только неявкой того или другого министра, как сегодня Григоровича, обещало сохраниться приличное число двенадцать. Впрочем, никак не ехал Протопопов, его и ждали.

Впрочем, на сегодняшнее заседание ещё были вызваны командующий военным округом Хабалов и градоначальник Балк. Они прибыли раньше и уже сидели, как раз по обе стороны от стоячих часов.

По обе стороны часовой башенки сидели как будто сторожами далеко укрученных стрелок утекающего ночного времени.

Протопопов как раз и опаздывал, всех задерживая! Но в такие грозные дни министр внутренних дел мог быть и занят несравненно с ними, остальными?

Протопопов — не ехал, а ещё бы лучше совсем не доехал, сломил бы где-нибудь голову. Без него — даже этот пёстрый кабинет, кажется, мог бы существовать, мог бы прийти к согласию. Но не с ним!

Наконец появился — в великолепно сшитом костюме, сером, в цвет к седеющим тёмно-русым волосам, с великолепными, тонко подкрученными, на дамский вкус, усами на гладком бритом лице, и так на ходу чуть поводя присогнутыми локтями, как если б он ими слегка-слегка отряхивался. Очень хорошо он был бы сложен, если б не сутуловат.

Итак, они могли начать? — князь Голицын сидел у стены в кресле с высокой спинкой, ею подравнивая слабую спину. Да вот начать с неприятного объяснения: что там за аресты произошли сегодня вечером, и опять в этой злополучной „рабочей группе", вот звонил из городской думы Шингарёв? Александр Дмитрич, неужели нельзя не предпринимать самовольных шагов, посоветоваться сперва? В такой важный острый момент — как можно допустить такую неосторожность?

Протопопов был похож на только что разгримированного артиста с ещё не угасшим острым взором от сложной психологической роли, с задержавшимися оттуда и частью движений, слишком эффектных для здешнего серого сборища. Ещё он весь витал на тех высотах, а тут его спрашивали... ?

Нет, он решительно ничего не знает об этом случае.

Но как это может быть? Как будто специально для агитации — на ту же болячку... Вот и Керенский уже схватился, и Гучков. В нынешней раскалённой обстановке разве можем мы допускать?..

Нет, нет, дорогие мои, министр внутренних дел ничего не знает. (У Протопопова была такая привычка: говорить „дорогой мой" даже по первому знакомству, а уж после десятка фраз — с несомненностью. Из него изливал избыток доброжелательства, и даже так сладко-льстива была его манера разговаривать, что его и называли „Сахаром Медовичем".)

Но тогда нам объяснит господин градоначальник?

Нет, генерал Балк тоже не знает.

А генерал Хабалов? Тем более.

Ах, вот упустили: нужно вызвать сюда ещё начальника Департамента полиции.

Пожалуйста. Чуть отряхиваясь локтями, Протопопов сходил к телефону и вызвал.

Вообще, жаловался Голицын, в городской думе этим вечером произошёл ужасный революционный митинг. Собрались для организации хлебных карточек, а перешли к требованию сместить правительство!

Кое-кто об этом уже слышал, а Протопопов — нет, не слышал.

Князь Голицын как новичок в правительстве ещё не совсем привык, но впрочем как всякий русский образованный горожанин должен был бы и привыкнуть: любое собрание в крупном русском городе для того и собирается, чтобы потребовать отставки ненавистного мерзкого правительства, а пока перейти к действию безо всякого правительства.

И будь ты хоть не без ума и способностей, но вступив в эту проклинаемую кучку — каково тебе в этом правительстве быть?

Князь Голицын в 66 лет ещё был и не стар, да уж очень донимала его подагра, отчего ноги порой приходилось просто волочить, подхрамывал. И с зубами был не полный порядок, слегка присюсюкивал. А ещё — он вовсе, вовсе был лишён инстинкта власти,— и вот пребывал в состоянии безысходной озабоченности от момента своего внезапного назначения под Новый год,— назначения, которого он никогда не домогался, не ждал, и даже просто умолял

Государя, чтобы чаша сия миновала его, и чернил себя перед Государем как только мог, и объяснял, что устарел от своих давних губернаторств, не способен, 14 лет его работа была не государственная, а судебная, сенаторская, назначение будет неудачно,— всё тщетно: рекомендовала его императрица! И сразу после Нового года князь снова был высочайше принят, и отважился нарисовать Государю мрачную картину состояния умов, особенно в Москве и Петрограде, и что даже жизнь царственной четы в опасности, в гвардейских полках открыто говорят о провозглашении другого царя! Но к изумлению Голицына Государь ответил невозмутимо: „Мы — в руке Божьей, и да будет воля Его". И тогда с новой силой князь взмолился об отставке — и снова отказ.

И вот, едва начав,— доправился до нынешних тревожных дней, и резолюции о ненавистном мерзком правительстве сыпались на его сребровлосую голову.

И что это за расстрел рабочих около часовни Гостиного Двора? — как раз же рядом с городской думой и как раз же перед началом её заседания! нарочно не подгонишь! Как же генерал Хабалов объяснит: трое суток мы воздерживаемся от стрельбы, в этом наша тактика,— и именно в такой момент и в таком месте стреляем?

Хабалов, низко на мягком стуле у башенки часов, как незаконно присевший часовой, теперь тяжело поднял грузное тело. Это был генерал солдатского типа, туповатый на вид.

Мы и воздерживались. Но если войска при оружии, то и нельзя отвечать за каждый ствол. Из толпы стреляли раньше.

Но мы, настаивал князь, только на том и держимся, что не стреляем.

Протопопов с лёгкой морщью лба и перебирая пальцами свой оголённый раздвоенный подбородок, беглым замечанием, как полупропущенная реплика, возразил, что как раз наоборот: беспорядки должны подавляться только силой. И как раз в данный момент опасения абсолютно неосновательны: в беспорядках участвует не рабочее сословие, а небольшие кучки, все вместе не больше 10 тысяч человек, и они раздроблены по районам, и нет вожаков.

Так может быть министр осветит события подробней?

Увы, оживляющий тон Протопопова сразу и опал. Он этими событиями непосредственно не занят. Вот здесь командующий округом, вот градоначальник.

Голицын старался ровно держать больное тело и говорил строго вежливо, но уже и он был измучен этим Протопоповым, как язвой,— за что этой мукой наградил их всех Государь? Его предшественник Трепов был уволен на том, что не мог выгнать Протопопова. И сам Голицын на высочайшей аудиенции девять дней назад от имени всех министров и уже не первый раз просил Государя освободить их от такого коллеги — и тщетно.

Тогда попросим его превосходительство командующего округом?

И опять поднялся тяжёлый Хабалов. Особенно после легколётной полурассеянной протопоповской манеры Хабалов выказывался тяжелодумом. Как медленно выползали его слова, сколько времени отнимали! — да это мычанье было скорей, и без ясной связи. Вот он говорил — а всё не складывалось: так что же именно происходит, и насколько успешно для правительства? И какие меры он предполагает дальше? И чьим капризом он высунулся из всеобщего незнания, из захолустного уральского края — да на столичный военный округ, на вершинный пост Петрограда? Никто его тут близко не знал, никто не мог вспомнить за ним ни одного боя.

В общем, Хабалов предполагал, что беспорядки прекратит. Количество пехоты — достаточно, а кавалерию он ещё усилит, вызовет добавочный полк. Да сейчас он ещё не может доложить всех подробностей, так как до полуночи ещё не получил донесений от начальников всех войсковых частей.

И правда, сколько раз другие волнения кончались — отчего бы и этим не кончиться?..

Да пристало бы тут спросить высшего военного мнения — военного министра Беляева? Но генерал Беляев как пришёл, своей нетвёрдой походкой,— сидел в уголке дивана беззвучный, насупленный, узенький, впалогрудый, редковолосый, а глазками так углублёнными в глазницы — настоящая

„мёртвая голова'', как звали его в армии. И не высматривал из глазных впадин, а так и пребывал темно углублён в себя,— даже вызывала сомнение его подлинность: он — человек или маленькая кукла?

Он не только не просил слова, но он всем отстранённым видом показывал, чтоб его не смели спрашивать и не смели к нему притрагиваться. Если морского министра нет,— то зачем тут он, военный, сидит — неизвестно. Лишний человек, зачем-то втянутый в их глупую политику, его дело — снабжать воюющую армию. (Он и был назначен с Нового года министром за то, что говорил по-английски и по-французски и имел опыт поездок за границу по военному снабжению — а то уже падал он в своём служебном положении до того, чтобы принимать дивизию на Румынском фронте.) Если министр внутренних дел ничего не может сказать, то почему должен знать военный?

Тогда — попросили доклад от градоначальника Балка. Этот был — специалист полицейского дела, но, увы, лишь недавно назначенный из Варшавы, а в Петрограде тоже чужой. Всё же он описал главные события этих трёх дней — с профессиональной резкой точностью полицейских донесений, прочитывая с бумаги и точные места, и точные часы-минуты.

И вдруг — этих событий выгрудилось сразу так много, и таких жестоких,— они переваливали через представления министров, хоть и проезжавших по улицам в эти дни, но не попадавших в главную сутолочь.

Так что ж это делается, позвольте, господа? — вполне серьёзно некоторые задумались лишь впервые.

Кульчицкий тревожно выставил одно ухо — и, как будто, всё слышал.

Министр юстиции сенатор Добровольский не скрыл не то что кислую, но отчаянную гримасу. Светский человек и бонвиван, однако замученный трёхлетней болезнью жены (и полтора года она без сознания), запутанный в денежных долгах и векселях, он так добивался министерского поста, так рассчитывал поправить свои дела,— и только назначен в декабре — и вот попал теперь, зачем и добивался?

Ах, какие незаконно вторгшиеся события, отвлекающие от главных дел. В голове энергичного маленького Шаховского — снабжение железом, расценки по нефти, закупка в Америке новых рудничных машин,— а тут?..

А уж лысый Кригер-Войновский, всю жизнь страстный инженер — по тяге, по движению, по эксплуатации подвижного состава, никогда не знал ни свободных вечеров, ни воскресений, то на Балтийских дорогах, то на Юго-западных, то управляющий Владикавказской, преобразившей Ростов-на-Дону, и оставаться б ему там — но по военному времени вручили ему весь железнодорожный транспорт страны, а потом и товарищем министра, а Трепов вдруг уволен, и вот пришлось принять с декабря управление министерством путей, от сильных морозов полопались трубы в тысяче двухстах локомотивах — а тут какие-то городские волнения, что такое, зачем?

Да и всё правительство собралось вовсе не для того, чтоб этими досадными петроградскими волнениями заниматься, это только потому речь зашла, что звонил Шингарёв. У правительства своя извечная проблема — война с Государственной Думой, а не случайные городские беспорядки.

У градоначальника прозвучала и жалоба на армию: что полиция одна сопротивляется, несёт потери, многие же армейские части вовсе бездействуют.

Хабалов молчал, будто к нему не относится.

Вопросы к градоначальнику?

Никто не задал.

Какие же меры предполагает генерал Хабалов для водворения порядка?

Генерал отвечал без уверенности. Даже и пресекая оружием. Сейчас печатаются и до рассвета будут расклеены по городу объявления в большом количестве, что скопища будут рассеиваться оружием.

А — правильно ли это будет? — прошло по министрам сжатие.

Покровский, едва за пятьдесят, обычно вяловатый, с приспущенными веками, обвисшими усами, в речи и обращении всегда мягкий, даже сладкий,— тут твёрже обычного выразил, что подавлять оружием ни в коем случае нельзя, подавление не поможет. А надо — идти на крупные уступки.

Но это уже был разговор внутренний. Князь Голицын отпустил Хабалова и Балка.

И, уже никем не охраняемые, часовые стрелки закатывались далеко за час ночи.

Министры негодовали, что военное командование ничего не знает и не умеет.

То — не прения были, мнения не подсчитывались, а так, скольжение мыслей рядом и вокруг. Покровского поддерживает общество, к нему надо прислушаться. Но министры имели слишком мало власти, далёкий Государь не уполномочил свой кабинет на такие действия — „крупные уступки''. Да, конечно, какие-то реформы нужны — но разве Государя переубедишь?

Кульчицкий поворачивал ухо на каждого говорящего, а сам ничего не выражал. У Раева был вид самый удовлетворённый, у Добровольского самый кислый, но они не вмешивались. У Барка нарывы, Беляев, может быть, просто нарисован на канцелярской промокательной бумаге, глаза за большим пенсне, а усы приклеены? Протопопов отдыхал, красиво закинув голову. Государственный контролёр Федосьев, самый тут молодой, моложе сорока, долголицый, лысый, умный, пристально следил и хотел говорить, но его ещё не пригласили высказаться. Тревожными фразами обменивались Риттих, Шаховской, Кригер — все деловые. Но и они знали каждый только своё ведомство и не ведали, что делать против неугомонной толпы.

Если развешивать такое объявление — так это что ж, начало осадного положения?

Осадное положение имело бы то преимущество, что тогда по закону прекратились бы всякие собрания,— а значит и занятия невыносимой Государственной Думы? Или нет?

Распространяется ли на Думу? Это спорный вопрос.

Да вот какая теплилась надежда у князя Голицына: завтра — воскресенье, в воскресенье забастовка не имеет смысла, её нет, и на улицу не повалят, каждому своё время будет жаль,— и тут всё утихнет? Так и кончится, дай Бог?

В этом правительстве, столько раз за войну сменявшемся, сменявшемся, сменявшемся — до потери уверенности, до потери значения каждого, и где половина, включая председателя, только и думала, как бы отделаться от своей должности,— на что ж и могла быть надежда? — на умеренность, на соглашение, на течение времени. В этих двенадцати грудях оставался ли хоть кубик настоящей борьбы?

Оставался. В министре земледелия Риттихе, по молодости втором. Из младших сотрудников Столыпина, он и с Думой состязался бесстрашно, как было забыто со столыпинских времён,— и сейчас, не теряя холёного вида, отличных манер, с пенсне на привскинутой голове, говорил твёрдо, волнуясь.

Что жестоким уличным беспорядкам и массовому калечению полиции может быть противопоставлена только сила и ничто другое, как это и делается во всякой иной стране, хотя бы и Франции, в подобных обстоятельствах. Если в войска уже стреляют из толпы — то что же остаётся войскам? Беспорядки потому и приняли такой затяжной характер, что власти хотели избежать кровопролития. Но ужас перед пролитием крови обманчив: если упустить время, прольются несравненно большие потоки, даже моря крови. Только решимость не останавливаться перед немногими жертвами может остановить это расхлябанье.

Очень непреклонно и неприкрыто это сказал. Все стихли.

И тогда Покровский, кривя губы, несильным голосом, но с призвуком насмешки отозвалсся:

— Вздор. Вот это и есть губительный путь, 9 января. Только — крупные уступки. И безотлагательно.

Надо было на что-то решаться? О, как не хотелось! Да смеют ли они без Государя? А он — в Ставке.

О, скорей бы возвращался Государь!

Тут доложили о прибытии вызванного начальника Департамента полиции. Пригласили его для объяснения.

Какие бывали раньше легендарные главы полиции! — всем существом в струне полицейской службы, воодушевлённые вровень с революционерами и полагавшие собственную жизнь на защиту политического строя. Вошедший действительный статский советник Васильев был — нет, совсем не из них. Показался он неуверенным, даже жалким — и только один Протопопов озарился ласковой к нему улыбкой. Имя „Васильев" никогда не гремело, и тут не помнили, как он выдвинулся и почему. (А нравился он жизнелюбивому Курлову тем, что за службой не забывал себя, любил выпить, играл в карты. При Курлове он хорошо поднимался, потом застыл, а сейчас при коротком возврате Курлова в министерство, под его рукой, стал директором департамента.)

Место щекотливое, но Васильев старался не замазаться в реакционность, а слишком мрачные предсказания петроградского охранного отделения последние месяцы освобождал от пессимизма, чтобы не огорчать начальство. Так и сейчас в эту тихую ночную комнату Васильев вступил не овеянный, не обуренный событиями этих дней, но с подсчётом своих донесений. Вот и разъясняемый случай с сегодняшним вечерним арестом оказался совсем и не серьёзным, это только раскричались: совсем не Военно-промышленный комитет и не его рабочая группа (уже прежде посаженная), а — в её помещении постороннее публичное собрание. И арестованы такие, кто уже и раньше привлекались к следствию за участие в незаконных сообществах.

Ну, как хорошо. От этого разъяснения и всем полегчало.

Всё-таки надо быть чрезвычайно осторожным и каждом мелком шаге. Всё может вызвать...

Смотрели на этого Васильева. И видно, что — не настоящий. А не ущипнёшь, доводы сходятся у него. Отпустили.

А Васильев, кланяясь, напомнил почтительным взглядом Протопопову: сегодня ждёт министра к воскресному обеду, ведь вон уже воскресенье, стрелки — за два часа завалились.

И никто не мог удержать их хода.

Ах, какая отдохновительная тишина в отшумевшей ночной столице! И что бы ей задержаться на наступающее воскресенье! И потом после воскресенья?..

Да главный-то вопрос был — не улица сама, а конечно — Государственная Дума. Она-то и была возбуждающий центр волнений, она и поддерживала духом своим беспорядки. Но она же могла стать и ключом к успокоению, если с ним освоиться? Завтра, в воскресенье, не будет и Думы, как хорошо. Но в понедельник там ожидаются резкие речи — и как их остановить?

Покровский, мало шевелясь на своём диване, меланхолически отозвался, что с Думой надо ладить, с Думой надо уметь работать, а без Думы жить нельзя.

Как ни уныло это было произнесено, но очень убедительно. Да эти запуганные измученные министры только и искали, как бы поладить с Думой. Восклицания думских ораторов — это были ужалы от тучи ос, министры не знали, как отмахиваться.

Как же однако с нею можно поладить, возражал уверенно Риттих, если вот по хлебному вопросу после всех речей совершенно ясно, что Дума ничего существенного не может возразить против мероприятий министра земледелия, а одобрить голосованием тоже не может, потому что никто в Думе не имеет морального права соглашаться с правительством.

А у князя Голицына тут дома, в столе, лежал уже подписанный Государем указ о перерыве думских занятий — и он уполномочен был проставить число и опубликовать. Но — что верно? Прервать Думу? А не лучше ли сговориться? Худой мир всегда лучше доброй ссоры. И тогда просить членов Думы своим престижем облагоразумить толпу? — вот и самый лучший выход из волнений.

Вот это и был главный вопрос сегодняшнего заседания. Голицын поставил его в равновесной форме.

Покровский, от спинки дивана, устало и как об известном: но для этого кабинету придётся принять все требования Думы. И может быть — уйти самому.

Всему кабинету? Или некоторым из нас?

Никто не был назван, но все поняли намёк на Протопопова. Кого же больше ненавидела Дума, чем своего изменника-перебежчика? Из-за кого же и всем им тут доставалось на орехи, если не из-за Протопопова? (Недавние министры не ощущали, что и раньше так было: только вот *этого* уступить, Щегловитова, Николая Маклакова или Горемыкина, и сразу отношения улучшатся?) Никто тут Протопопова не любил, никто за него не держался, он был камень, топивший их всех.

Но тут — он вполне очнулся. И предупредил, со значительным мановением руки: смена кабинета — это лозунг, за которым скрываются другие требования революции, совершенно неприемлемые.

А деляга Кригер-Войновский, ничем не враждебный Думе, напротив: если этот состав правительства не угоден Думе — так и разумнее всего ему уйти в отставку. И опять Покровский, без энергии, но это так ясно:

— Да, господа, это единственный выход! Немедленно всем нам отправиться к Государю-императору и молить его величество заменить нас всех другими людьми. Мы — не снискали доверия страны и, оставаясь на своих постах, ничего не достигнем.

И самовдохновлённому Протопопову всё более приходилось спуститься в это заседание с высоты, где он витал. С ласковым изумлением он оглядел этих приземлённых людей, своих коллег. (Одного Барка он здесь боялся, по старой памяти: когда тот был директором банка в Симбирске, много лет от него зависела вся судьба векселей Протопопова, да он ещё и щедро ставил поручительства на векселях чужих, за это в дворянстве любят.) Никогда он не баловал заседания кабинета длинными выступлениями, справедливо понимая, что не здесь, а в других, частных и высших, аудиенциях решаются все дела. Но поскольку тут действительно начинали доверяться собственному заблуждению — может быть, впору было им и объяснить? И стараясь быть очаровательным и для них — он стал изъяснять описательно.

Господа, геометрически это можно представить себе так: разноцветные сектора — красный, оранжевый, жёлтый, синий, чёрный... Но сектора не разделены навечно, они дышат, то расширяются, то сужаются, и имеют способность втягиваться друг в друга и поглощать один другой.

Он — видел эти переливы, и увлёкся, и с интересом отдался блеснувшему вдохновению, как если бы был в обществе дамском.

Министры подозрительно переглядывались.

Подобна этим секторам и наша политическая жизнь, разнообразие партий и правительственных течений, та же живая непринуждённая игра. Но что происходит в последнее время? О, это очень важно! За последнее время сектор революционного течения втекает в сектор оппозиционного, и так жёлто-оранжевые цвета подменяются красными. И вот для государственной власти оказывается невозможным иметь равномерные отношения с оппозицией, потому что оппозиция перестаёт стремиться к устойчивой равномерности, но единственно к захвату власти. А если так — то мы не можем уступать!

Министры переглядывались: напугали их эти секторы. О Протопопове и раньше было известно, что у него мысли скачут. А сейчас — во всём его повышенно подвижном лице, остро-переброслúвых глазах, а улыбке при этом растерянной,— была же явная сумасшедшинка? Весьма опасная для министра внутренних дел.

А Протопопов не понимал, как они не понимают такого ясного?

Раз оппозиционное течение переменилось в самом своем составе, втянуло в себя анархо-революционные струи, мы и должны поступать с ним как с анархо-революционным, то есть — бороться с ним решительно! Как же можно складывать и отдавать портфели, когда в столице бунтует чернь? Дума — слишком взвинчивает настроение страны, нам с ней не дотянуть до конца войны. Дума — и направляет рабочие волнения. Если она пойдёт так и дальше — она поставит под уклон саму монархию. Надо перестать забегать и заискивать перед Думой! Она стала средоточием революции — и её надо вовсе распустить. Не на короткий срок прервать, но — распустить, закрыть совсем, до осени,— а осенью полномочия её кончаются, будем выбирать Пятую.

Распустить Думу — совсем? Министры отшатнулись от такого ужаса.

— Ничего особенного! — победоносно декламировал Протопопов.— Япония одиннадцать раз распускала парламент, почему мы не можем?..

Но, к облегчению, вопрос не стоял так срочно именно сегодня. В воскресенье Дума не заседает, прерывать её или не прерывать можно только с понедельника.

А нельзя ли было бы об этом самом — и договориться с Думой по-хорошему? Чтобы не было этих возбудительных речей, которые жалят и воспаляют публику. Не попробовать ли завтра, пользуясь воскресеньем, войти в сношения с лидерами фракций и личным обменом мнений выяснить возможный компромисс? Позондировать настроение благоразумных членов Думы.

Вот, Покровский наиболее вхож в думские круги. И для равновесия ему — Риттих, противоположная точка. И как-нибудь договориться, чтоб выйти из положения. Тихо, мирно.

А Голицын попробует завтра поговорить с самим Родзянкой.

В эту тихую ночь, и уже к трём часам, таким усталым, ка́к им хотелось — тихо, мирно.

Они не знали, что в этот самый вечер городская дума постановила: „С этим правительством, обагрившим руки народной кровью...”

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

43

* * *

В четвёртом часу ночи в полицейский участок Московской части явился в нетрезвом виде поручик 88 Петровского полка Забелло и потребовал от дежурного полицейского принять устное заявление. И стал ругать всех чинов полиции грабителями, бунтовщиками, мародёрами, и сожалел, что мало их пострадало при стычках. Вот если бы послали усмирять толпу его — он бы прежде всего перестрелял всех чинов полиции.

* * *

В градоначальство явился пороховский пристав, который вчера покупал себе лохмотья у швейцара,— и доложил, что пороховский участок больше не существует. И подсчитать убитых и раненых полицейских — некому.

* * *

Утром 26 февраля на стенах Петрограда появилось ещё новое объявление:

„Последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилиями и посягательствами на жизнь воинских и полицейских чинов.

Воспрещаю всякие скопления на улицах.

Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для наведения порядка в столице.

Командующий Петроградским Военным округом
ген.-лейт. Хабалов”.

Но как это объявление было уже третье подряд, а и первые два не выполнены, то и это не звучало. Если до сих пор не стреляли — то уж, видно, не будут стрелять.

Да и прочли объявление поздно: воскресенье, не торопились подыматься, не торопились на улицу выходить.

Мимо приказов шли, почти не читая.

* * *

Сегодня в Петрограде не вышла ни одна крупная газета.

* * *

Фабричные районы замерли: не гудели, не дымили заводы, не дребезжал трамвай. Только громыхали ещё поезда пригородных железных дорог. На четвёртый день забастовки утянуло из воздуха всю муть. Небывало чистое небо.

* * *

Сегодня с утра в рабочих районах полиция уже не появлялась, даже и конная.

* * *

Василеостровские большевики и объединенцы собрали собрание из 28 лиц на 14-й линии у товарища Грисманова. Всем раздавали заготовленные воззвания к солдатам. И приняли резолюцию: 1) Продолжать демонстративные выступления, доводя до крайних пределов. 2) Насильственно заставлять сегодня предпринимателей кинематографов и содержателей биллиардных закрыть их, чтобы оторвать рабочих от праздничных развлечений, а заставить их быть на улицах. 3) Собирать оружие для боевых дружин. 4) Разоружать городовых неожиданными нападениями.

* * *

Среди рабочих слух, что в Москве и в Нижнем Новгороде то же самое творится, что и в Петрограде, наша берёт!

* * *

Вчера был первый день без трамваев, сегодня — первый день без извозчиков: напуганные угрозами, они не выехали нигде.

* * *

В городской образованной публике такой слух: все эти волнения правительство допускает нарочно, чтобы изобразить революцию и иметь право на сепаратный мир. И будто многие демонстранты — не рабочие, а переодетые дворники. И будто одного ударил городовой, а тот: „Полтинник в день плотите и ещё драться будете?”

* * *

Только в самом центре ещё стоят сдвоенные посты городовых. Их всегда привыкли видеть уверенными, строгими, так странно — растерянными.

Зато войск сегодня было выведено больше, чем те дни. Все невские мосты и протоптанные переходы по Неве охранялись цепями патрулей.

Но малыми группами, как бы семейными, рабочих пропускали.

А где валили уже и большими группами, запрещёнными, топтали и новые дорожки через Неву.

И солдаты отворачивались, чтоб не видеть.

К самим патрулям теснились рабочие, работницы и уговаривали их.

* * *

Все эти цепи и патрули тоже были как вымученные: будто ждали насилия над собой. Будто даже хотели, чтоб их прорвали, разоружили.

44

С утра Шингарёв позвонил в несколько мест Петрограда своим знакомым, кто мог бы видеть новые уличные события. Все отвечали, что ничего не происходит, спокойное воскресное утро.

А вчера в городской думе так бурлило, не поверить бы, что разойдутся, успокоятся, опустеет. Андрей Иваныч и спал тревожно, ему и мерещились толпы, сборища, состояние невозвратимо упускаемого чего-то. Никак не разумно было бы желать новых волнений — а из внутреннего задора почему-то желалось! Совсем странно было, что вот — спокойное утро, нигде ничего. И можно было заняться какой-то работой? А у него и неотложное лежало, были материалы военно-морской комиссии, послезавтра заседание. А сегодня днём в 3 часа — заседание бюро Блока. Но сейчас, с утра, можно позаниматься.

Хлеба в доме не было, вчера за свежим девочки не стояли, а тот уже подъели. А высших сортов Шингарёвы принципиально не покупали. Андрей Иваныч выпил кофе с сыром, поговорил немного с девочками, радуясь их цветению и беззаботности, обещал, что этим летом поедут в Грачёвку вместе. И пошёл в кабинет.

Не так сразу голова и переключалась: инерция вчерашнего бурного вечера и вся эта продовольственная перебудоражка, да и после собственных выступлений в Думе Андрей Иваныч не быстро отходил. В последние месяцы втрепало его ещё и в продовольствие, но, вот они, лежали глубинные дела, от которых воистину зависела судьба России: как продолжено в последние недели, после союзнической конференции, снабжение армии к весеннему наступлению? Уже второй год занимаясь военным бюджетом, этим цифрам Шингарёв мог только изумляться, год назад и присниться не могло ничто подобное: за всю войну до конца 1916 мы произвели 34 миллиона выстрелов, а сейчас наготовлено было 72 миллиона. Через месяц русская армия начнёт наступать — и поразит врага такой лавиной огня, какой никогда на Восточном фронте не бывало, а только под Верденом.

И, собственно, это одно перевешивало и решало всё. И несомненность близкой русской победы. И, значит, зря вся их горячка думских боёв: власть — останется на своём месте, самое большее — сшибут одного-двух министров. Который раз из полной, кажется, безвыходности *они* выскальзывали.

Работы тут было довольно — по соотношению казённых и частных заказов, по срокам и долям оплаты. Но мысль Андрея Ивановича с трудом сосредотачивалась на деталях, а по разгону этих дней всё текла в каком-то общем виде. В общем виде — и в общей какой-то неуяснённости, недоверии или тревоге. Цифры были самые ободрительные для русской победы, а настроение всё равно смутное. Смысл отчёта был самый неуклонный,— но какое-то заползающее чувство повевало тревожным холодком и мешало терпеливой работе.

Тут раздался не звонок в дверь, но почему-то стук — троекратный, а как будто клювом птицы. Как будто в дверь, но он не повторялся и даже не был похож на то, как обычно стучат. Фроня не отозвалась, да ей было и дальше. Может — и не было стука? Андрей Иваныч всё же пошёл проверить.

А за дверью таки стоял — не птица, а в пальто, и в мягкой шапке пирожком — высокий, но теряющий рост на сутулости, никак не старый человек, но и не молодой, с прекрасными напряжёнными глазами, по которым на светлой лестнице сразу и узнавался — Струве!

— Пётр Бернгардович! А я думал — послышалось. Вы почему же не позвонили?

Впустую было его и спрашивать: не видел он звонка. Он мог и полной аудитории не заметить: прийти на лекцию, подняться к кафедре, достать из портфеля книгу и стать её про себя читать.

Со своим удивлением навстречу:

— Андрей Иваныч, вы дома сидите? Как это?

— А что же? — ёкнуло у Шингарёва.

— К Василию Витальичу я зашёл — его нет,— милым оскрипшим голосом то ли жаловался, то ли хвалил.— Хорошо вспомнил, что вы в этом же доме.

— Да что же случилось? Да зайдите, Пётр Бернгардович, раздевайтесь.

— Где там раздеваться,— с беспокойством ответил Струве, поводя головой.— Надо идти.— И оставался на лестнице. Была в его руках одна простая ходовая палка с крученой головкой, больше ничего. Где пуговица недостёгнута, где горбилось пальто, рыжеватая и с проседью редкая бородка не подстрижена, но смешного ничего, а передавалась едва ль не жуть.

— Куда ж идти?

— Не знаю,— тревожно отвечал Струве и покручивал в пальцах головку палки.

— Да что же случилось?

От сутулости и приклонённости головы у Струве манера смотреть получалась как бы исподлобья и оттого пронизывающая, да ещё через пенсне. Нутряно-тревожным голосом отозвался:

— Андрей Иваныч, неужели вы не чувствуете? Да как же можно в квартире сейчас усидеть? Я, например, не мог... Я даже среди ночи проснулся... Да ведь где-то что-то... А?

Он повёл головой вкруговую, с недоверчивостью — как будто вынюхивал гарь, не горит ли их дом тут.

И в Шингарёве сразу соединилась эта тревога гостя с его собственным неуложенным чувством. Вдруг отдалось ему, что не могло не быть событий, никак не могло, верно! — только о них ещё не известно. И все, кто его по телефону успокаивали,— ошибались. А сердце говорило правильно. И на окраине в четырёх стенах всё просидишь и пропустишь.

Сразу объяло его — и теперь уже, он чувствовал, если и не пойдёт со Струве, то всё равно дома не усидит, покоя не будет. Конечно, рано — 10 часов, а бюро Блока в 3, но там, в думской комнате, была у него и другая работа. И в такие дни правильней всего находиться в Думе, конечно.

— А вы на чём приехали, Пётр Бернгардович?

— На чём же! Извозчиков тоже не стало. На одиннадцатом номере, вот с палкой.

Это из Сосновки, от Политехнического! Был Струве на год моложе Шингарёва, но от сутулости, от некрепости, от пренебрежения телом вызывал к себе ощущение едва ли не как к старику. Тело его было — временное, неудобное помещение для духа, и перемещалось не по своим потребностям, а как духу было надо. И даже часто очень подвижно.

Нет, теперь окончательно не усидеть! Тревога так и побежала по коже. Сказал Фроне. Оделся и сам. Пошли.

Ловил себя на том, что хотелось поддерживать Струве на спуске с лестницы, на шагах через порог. А ведь ничего, и без лифта поднялся.

Стоял ясный морозный день, градусов на восемь Реомюра. На улицах было совершенно спокойно, и даже пустей обычного. И даже казалось, после вчерашнего гула, что люди разговаривают вполголоса.

Правда, легче, когда ноги движутся: столько накопилось за эти дни, на месте трудно сидеть.

С Большой Монетной свернули на Каменноостровский — и нигде не видели следов волнений или погромов, не попадались им и разбитые магазинные витрины. Тем более Каменноостровский без трамваев и извозчиков казался пуст. Без трамвайного грохота и звонков — казалось бы спокойнее нервам?

Нет.

— Обойдётся,— успокаивался Шингарёв. (Или, наоборот, разочаровывался? Какое-то раздвоенное чувство.) И с чего им обоим показалось? Город был мирен, как никогда, всё кончилось.— И хорошо, потому что с этими беспорядками до чего докатилось бы... Не обойдётся только с нашим правительством. Терпеть его — невозможно.

— Зато посмотрите, как терпят *они*,— рыжеватыми бровями над пенсне увеличивал Струве ищущий охват своих глаз.— Просто ангелы терпения. Не стреляют, а? Ведь никакая бы немецкая, английская полиция не выдержала? — Шёл и приспотыкивался о бугорки утоптанного снега.— Андрей Иваныч, никакое рассмотрение не плодотворно, пока не исследуешь точку зрения противника. Станем на их точку зрения: а что им делать?

Шингарёв кому только не пересочувствовал за жизнь! Но не хватало ему ещё забот — ломать голову: что делать *им*?

— Уходить! — безжалостно знал.— Если мы мало терпели их, то сколько можно ещё? Камни треснут!

Ноги Струве не ступали уверенно, это не были здоровые ноги, перетомившиеся от сидения.

— Уходить?? — неловко пошатнулся он и подкрепил пенсне.— Но это не нормальное человеческое движение. А скажите: что́ мы им оставляем делать последние, ну, пятнадцать?

Дней, понял Шингарёв, Струве не всегда кончал фразы.

— Да почему ещё в этой хлебной катавасии я должен за них...

— Лет! — неожиданно докончил Струве.

— Что лет?

— Пятнадцать. Скажите... Если будет политическое сотрясение, мы... не... ?

— Что?

— Обеднеем?

— Да в чём же?

— А... а...— потянул.— Духовный организм, возникающий из толпы... это загадка для мистиков. А — что мы там черпнём в недрах народного духа?

Шингарёв покосился с удивлением. Это и был человек удивительный, давно известно, ни на кого не похожий. В бурном русле русской политики он всю жизнь брёл, как и все брели, понуждаемый мощным течением,— но, не как все, ещё совершал непрерывное боковое перемещение: губернаторский сын, начал у самого левого берега — с анонимного „открытого письма Николаю II" в ответ на его „бессмысленные мечтания". Потом — автор первого манифеста РСДРП и создатель социал-демократической партии у нас. Тут же вскоре вослед что-то заговорил о Боге, первый среди марксистов. Передвинулся чуть правей, но — в крайние радикалы: главный редактор незабываемого „Освобождения", беспощадный грозный эмигрант герценовского размаха, „штутгартский рыцарь". Однако уже с первых дней свободы Пятого года — затаённый первый „веховец" ещё не задуманных „Вех", и уже с этих пор его жизнь была — вереница вызовов общественному мнению. В кадеты он вступил с большими колебаниями, после милюковских уговоров. И дальше, слева направо, он перешёл, перебрёл весь кадетский поток, перебыл и членом ЦК кадетов и депутатом гневной Второй Думы (где Шингарёв, разумеется, не подымался из кресла выслушивать тронную речь, а Струве всех поразил, поднявшись). И сбивался всё правей, сердя Милюкова, наконец в позапрошлом году и вовсе вышел из партии. С думской трибуны он оказался негоден, слишком комнатен, невнятен, да вообще не давалась ему практическая политика, не было у него политической хватки. Но отчётливое у него было перо, и поведя „Русскую мысль", он уверенно продолжал всё то же движение: из оппозиции — и вправо, в государственника, патриота. И когда в первое военное лето понадобилось от имени Верховного Главнокомандующего писать воззвание к полякам наполеоновским языком — то совсем неожиданно для этого пригодился Струве. И вот сегодня на Монетную он пришёл сперва к Шульгину, а не к Шингарёву. Уже сильно прибивало его к правому берегу. А вместе с тем — как будто никуда и не уходил, оставался свой вполне.

— Да что же, Пётр Бернгардыч, мы можем там черпнуть, кроме самой здоровой, родниковой основы? На этом — вся наша вера, вся наша деятельность, двадцать — тридцать — сорок лет...

Да что доказывать, обоим ясно.

Но Струве — не было ясно. Он — запнулся в ходьбе, остановился, не сразу нашёлся в речи. Голова его приклонялась, и взор был снизу вверх:

— А — удержимся ли мы в чувстве меры?.. Свободное избрание путей — о-о-о... На строгую свободу духа способны очень немногие.

— Ну-у! ну-у! Что уж вы в такую высь заоблачную!

Струве укрепил пенсне на носу и смотрел, высвечивая взглядом, что не вталкивалось в речь:

— А если мы не достигнем э т о й свободы — то не освободят нас и самые

свободные политические формы. Возможность свободы — ещё не есть свобода.

— Да о том ли речь! — отмахивался Шингарёв.— Нам бы — посадить толковых министров. Улучшить веденье войны, чтоб её не проиграть. Снабжение фронта и городов. Элементарные исправления внутренней политики. Ведь что эти чучела делают! Сколько они напутали!

— Это самое лёгкое — искать ошибки у противника, а не у себя. Но если именно я... э... сидя за границей, в Четвёртом году, доказывал Трубецкому моральную неправомерность понятия „крамола"? А потом, воротясь в Россию, в разгар, как было не увидеть, что это... э... реальное понятие?

Струве волновался, как не мог бы волноваться перед Шингарёвым. В его горле фразы как будто уплотнялись и спорили, какой раньше проскочить. Он для того и останавливался, чтобы легче говорить. И свободной от палки рукой делал странные движения, как будто искал, на что б и второй руке опереться.

— Да, правители проспали. Но и мы гипнотизировали себя всё одной блистающей точкой. Мы с такой страстью... столько лет против правительства, будто главные интересы России в этой борьбе. Или как будто вообще можно жить без правительства. Если мы умней — так первые должны были опомниться: с какой осторожностью надо решать задачу освобождения... Не политическое землетрясение, но нормальная эволюция. А мы только вели войну против власти, одну войну! Мы всё настаивали, что государство не стоит без свободы — но и свобода же не стоит без государства! Это порок нашего сознания: в собственной стране жить постоянно на мятежном положении.

— Ну, Пётр Бернгардович, понимал бы я раскаяние, если бы это мы им шею свернули. А то — они нам скручивают, аж хрястит. А царь? Даже не имея выдающегося ума, мог бы он с самого начала править нами иначе. Ведь ему не пришлось переступать на трон через убитого отца и при этом услышать ультиматум народовольцев. Царь умер внезапно, страна была действительно в скорби. Самодержавия никто не оспаривал, общество было — спокойным, и всего только просило: чтобы за земствами было признано... Чтобы до престола доходило мнение не только ведомств. И никто б не попрекнул молодого царя в слабости, если б он пошёл тогда навстречу обществу. Возобнови он линию 60-х годов — и подмораживание Александра Третьего было бы даже оправдано: самодержавие доказало бы, что оно сильно и сделает всё само. А молоденький Николай... заминку отца объявил как курс на вечные времена.

Струве всё же поддавался идти. Он шарил глазами, то ли видя тротуар под ногами, то ли нет, и проверял его палкой, и в отчаянии искал, искал рукой соскочившее на привязке, отболтнувшееся пенсне и снова его насаживал. Мысль выжигала его раньше, чем он успевал произнести, и в самом процессе говорения он её нагонял, и уплотнял фразы, насаживая следующую на неоконченную.

— Он — мог иначе, но и мы?.. А какие были наши вот, Союза Освобождения, инструкции? Я сам их печатал. Не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт между обществом и самодержавием... Как пошло от выстрела Засулич: правонарушение простительно, если направлено против врага. Для торжества в одном коротком бою мы не боялись оставить любую тяжесть следующему поколению. Как мы злорадствовали убийствам министров. Мы же наперебой... с революционерами. Даже в Париже... совещание с террористами. Мы поддерживали всякий террор, вы только вдумайтесь! И грозно обругивали тех, кто осмеливался террор осудить. От правительства мы всегда требовали только безусловной капитуляции, ничего другого! И сегодня то же самое. Разве мы когда стремились к какому сговору, реформам? Наш лозунг всегда был один: уходите прочь!

— А *он*?? — Лично в себе Шингарёв не набирал ненависти к царю, но когда говорил обобщённо: — Он раздул вопрос о самодержавии так, что ничего больше не осталось под небесами. Это — его советчики объявили, что лояльное земство — враг самодержавия. Неужели никогда ни одного вершка нельзя было уступить либералам?

— Как так? — запнулся Струве, и палкой нащупывал твёрдость.— А Святополка кто же оттолкнул? И моё же „Освобождение" поносило его. Да больше всего на свете мы ненавидели именно компромисс! Мы же

и посылали инструкции на все банкеты: принимать непременно резкие резолюции. А с земствами как наш Союз играл? Просто использовали их названье и вывеску.

Странно это было слышать от недавнего кадета, но ещё странней была манера Струве спорить: он как будто отсутствовал, и не Шингарёву всё это говорил, а только распирался мыслями изнутри. Как будто отсутствовал, а первый заметил, и закрутил головой даже испуганно: они — как в комнате разговаривали, настолько не было никого вокруг, не гремели, не скрипели снегом, не ехали, не обходили их на тротуаре, не видели их, не слышали,— и оттого вдруг пронзило, как будто весь Каменноостровский их слушает, и даже весь город.

— Устал народ,— с сожалением объяснил Шингарёв.— Отдыхают.

Струве кивнул. И дальше понёс пригорбленные плечи, как нагруженные:

— Разве мы когда-нибудь серьёзно относились к нашей исторической власти? Да все учреждения прошлого всегда были для нас только обузой и никак не частью возможного будущего. Зато любая революция была нам предпочтительней существующего. Под революцией мы всегда понимали нечто прекрасное и оздоровляющее. А революция... всегда неестественна.

Свободной рукой схватился за своё отогнутое длинное ухо. Потоптался как пританцовал. И брёл дальше:

— Высшей целью считалось — сохранить репутацию в левых кругах. Наша постоянная ошибка была: не отмежеваться резко от левых, от всех *эсов*.

Наконец, Шингарёв уже серьёзно заволновался. Многое можно было этому чудаку простить, но не столько. Повёл его за рукав дальше:

— Мы и начали эту войну с доверия правительству. Но вот сложилось — удивительно, позорно: что правительство само себе не желает победы! Что народ должен выиграть войну — помимо правительства!

— Нет! Нет! Нет! — живо предупреждал Струве дыханием прерывистым, недостающим на плавность. И несносно опять остановился, чтобы удобнее углубиться в собеседника. Так наклонял голову, что лучи глаз его прорезались уже через брови: — Не может быть, Андрей Иваныч, чтобы вы думали так. Это вас партия заставляет! Вот она, трудность свободы: надо быть выше партийности! Ну неужели вы серьёзно верите в измену на верхах или даже в придворных кругах? Ведь это — партийная клевета, ничем не доказано!

Нет, так грубо не думал Шингарёв, не измена. Но — равнодушие. Но какая-то закоснелая бездарность, которая умеет даже победы обращать в поражения:

— И вот всё обернулось на сто восемьдесят градусов: мы, пораженцы японской войны, теперь единственные верные патриоты.

Они как раз дошли до барельефа „Стерегущего". И вышло напоминание: вы-то были пораженцы, а мы, двое последних на мёртвом миноносце, затопили себя, чтобы не сдаться.

Струве опять остановился, упнулся палкой:

— Мне ли вы об этом говорите! Я перехватывал побольше вашего! Когда пришло известие о Цусиме — я дрожал от радости, и именно в этом считал себя патриотом. Я очнулся только когда в Париже японский агент стал совать мне деньги...

Далеко раздвинулся проспект, они выходили на площадь перед крепостью. Нельзя было не заметить какой-то особенной чистоты в воздухе, небывалой синевы неба. Могло ли так показаться обоим? Или уж особенно сверкало солнце?

При такой просторности и особенной тишине на улицах, и так особенно чисто в небе, и такое особенное солнце,— стоял над петровской столицей как будто праздник. Как будто ожиданный давно.

— Мы и сегодня всё полагаем, что управлять государством легко.

— Ну, и не так уж трудно! — бодро возразил Шингарёв.— Думская работа тоже нас кое-чему научила.

— Вы так полагаете?

— Мы готовы.

— Ну, завидую вашей уверенности.

Справа сверкала в солнце петропавловская колокольня — до взнесенного ангела. Мирно, налито глыбностью, дремали толстые башни и куртины крепости, когда-то грозной, а вот уже давно не сидели там узники, и уже не будут: всё-таки льётся смягчение нравов и к нам.

Блистательно и покойно. Даже слишком.

А сердце почему-то подавливало.

— А что ж нам остаётся? Если императорская власть изменяет своему долгу быть вождём империи? Можно ли хуже развалить, чем он уже сделал?

Струве опал из подъёма, будто и не спорил. Кротко:

— Все мы Россию любим — да зряче ли? Мы своей любовью не приносим ли ей больше вреда?

— Пётр Бернгардович! — положил ему Шингарёв широкую кисть на несильное плечо, и голос его стал срывчатым.— Сказать, что мы Россию любим,— это банальность, и неловко даже повторять. Но я вот — ничего кроме России не люблю. И не вынес бы узнать, что служил ей — не так. Что любил её — не так, не правильно. Я лично — ни к какой власти не рвусь, я хочу только, чтобы было хорошо России. Но если наши глаза видят лучше, а *их* глаза отказали, а по дурности нрава они не хотят ни советоваться, ни осмотреться, ни прислушаться? Как же нам с ними сотрудничать? Они это сами исключили.

Устал ли Струве говорить? окунулся в мысли? — ничего не возразил.

Поперёк входа на Троицкий мост стояла редкая цепочка солдат, но пропускали свободно всех.

Люди всё-таки шли. И рабочие, одетые по-праздничному, кто и в котелках.

Шингарёв и Струве пошли по плавно-медленному взъёму моста, по правому тротуару, у бетонного парапета, вот уже за черту петропавловских бастионов и набережной линии. Налево посмотреть было ярко, невозможно. А направо. Белела Нева под снегом. На нём, потемней, сохранялись пересекающие поперечные тропки, проделанные вчера многими пешеходами. Выше Дворцового моста, недостроенного, с деревянными будками, нарушавшими стиль, чернело вмёрзшее на зиму судно. А пройдя дальше — видно было и несколько таких, за Биржевым, у Пенькового Буяна.

За первым тройчатым фонарём потянулась узорная решётка перил, убранная мелкими иголками изморози.

И самый Троицкий мост, в двух рядах гроздевых фонарей,— без трамваев, без извозчиков, почти и без пешеходов,— невероятный, завороженный, праздничный стоял в этом морозном солнце.

Невозможно было не остановиться, не посмотреть направо, к солнцу спиной.

По левому берегу, без обычной колёсной суеты, и без вальяжных экипажей, тянулись пустынно-праздничные гранитоберегие набережные перед столпищем дворцов — от серого Мраморного до многолепного бурого Зимнего. А справа, поперёк Невы подпоясанная простыми затягами Дворцового и Биржевого мостов,— мощно, царственно стояла Биржа, как античный храм, на своём возвышенном гранитном стилобате — с преднесенными ростральными колоннами, как дивными подсвечниками, и с уходящей двумя набережными василеостровской симметрией. А ещё правей, в вечных каменных жёлтых складках, молкла Петропавловская крепость, ни движения не было на ней.

— В нашей свободе,— медленно говорил Струве, щурясь,— мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь. И московские думы. И новгородскую волю. И ополченцев Пожарского. И Азовское сиденье. И свободных архангельских крестьян. Народ — живёт сразу: и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым — мы обязаны. А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру.

Всё, всё видимое было беззвучно глубоко погружено в какой-то неназначенный, неизвестный праздник, когда свыше и очищено небо, и все земные

движения запрещены, замерли в затянувшемся утре долгого льготного дня. И щедро было подарено этому празднику торжественное солнце.

Как будто весь завороженный город обдумывал свои десятилетия.

Суетливым петебуржанам, всегда мчащимся в своей занятости, как было не застояться сейчас? Тревожными глазами глядеть и не насладиться?

Однако — нигде ничего не происходило. И — куда они так рано пошли, зачем?

Нигде ничего не происходило — и жаль. И — жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащит Россию по старой колее.

И в беспокойную голову Петра Струве, растесняя кипящее там прошлое и кипящее будущее — тоже вдвинулась эта архитектурная несомненность настоящего, заставляя молчать и преклоняться.

И — сладко было смотреть, но глазам обеспокоенным не всласть. Праздник был до того торжественный, что сердце пощемливало опасением. Всё было — даже уж слишком мирно, неправдоподобно.

Прошли за середину моста. Уже открылось им и Марсово поле, весело залитое боковым солнцем. И высвечивался без резких контуров заслеплённый Инженерный замок.

— Что бы ни случилось,— взмахнул щедрой кистью Шингарёв,— наш народ найдёт правильный путь, в это я верю. И этот правильный путь будет демократическим развитием. Понадобятся десятилетия культурной работы — мы приложим их, как уже и делали. Надо — верить. Сомненьям — нельзя дать собой овладеть. Мой старший брат всё мучился над вопросами жизни — и в двадцать пять лет отравился цианистым калием.

Вышли к Троицкой площади, к Марсу-Суворову.

А до бюро Блока — ещё много времени.

И что так спохватились? и куда пошли?

— Мороз не велик, а стоять не велит,— сказал Шингарёв.— А знаете что? — зайдёмте-ка к Винаверу. Он — тут на Захарьевской, не так далеко. Если есть какие новости, мы там узнаем. У него хорошие друзья в левых кругах. Если действительно что намечается — он должен знать.

45

Максим Моисеевич Винавер окончил гимназию и университет в Варшаве, но адвокатскую практику начал почти сразу в Петербурге, в конце 80-х годов. Юриспруденцию он избрал отчасти потому, что еврею в России эта карьера была менее затруднена, отчасти к тому вели его многие качества: владение ораторским искусством, до афоризмов, умение говорить увлечённо, аргументировать богато, сильный юридический диагноз, аналитический ум, чутьё к настроению зала и суда. Он не занимался криминальными, ни политическими делами, избрал цивилистику — область, наиболее свободную от государственных интересов, имел хорошую практику, стал очень известен,— и сам искренно любил судебную систему Александра II. Легко прославиться на защите уголовной — тут реакция прессы, публики, а знаменитость цивилиста достигается трудно: его могут оценить только судьи да коллеги. Первые же работы его похвалил сам Пассовер. Как еврея Винавера долго не пускали в звание присяжного поверенного, всё держали в „помощниках",— но и он умел отыграться на Сенате: так выступить там, что сенаторы немели. И вёл их инициативно: то в защиту их же традиции против новшеств, то в защиту нововведений против традиции,— однако всегда к тому решению, которое Винавер считал нужным. А ещё и — много юридических разборов вышло из-под его пера.

Но перо-то — перо влекло его и дальше! Он заметил, что среди юристов отличался удачностью письменного способа выражения. Он осознал, что истинное его призвание — не юрист, а литератор. Юриспруденцией был насыщен ум его, но не чувства,— чувства влекли его в литературу. И он стал издавать также и очерки лиц, встречаемых на жизненном пути, затем — и крупнейших событий, в которых привелось ему участвовать. Эти книги самому ему доставили высокое наслаждение.

Однако сердце далеко не насыщалось и этой деятельностью. Не меньше душевных сил и энергии ему удалось за десятилетия отдать еврейскому движению. Ещё в начале 90-х годов он вошёл в кружок петербургской молодой еврейской интеллигенции, собиравшей сопротивление надвигающимся тёмным силам. Винавер преобразовал „Общество для распространения просвещения между евреями России", возглавил его историко-этнографическую комиссию — духовный центр, где вырабатывалось национальное самосознание и обреталась бодрящая вера в неиссякаемые силы еврейства. Прикосновение к еврейской старине было для этой молодёжи как для Антея прикосновение к матери-земле. Начав свою деятельность хмурыми в вялыми — они вышли из неё крепкими и ясными. К тому же Винавер стал редактировать журнал „Восход" — и на рубеже века уже оказался в центре борьбы с еврейским бесправием и погромной агитацией. В Петербурге они создали „Бюро защиты" евреев: „Мы должны сохранять активное настроение. Мы только начинаем проявлять свою политическую силу. Мы, наконец, нашли арену для действия! Мы организуем борцов". Линия Винавера была: ни в коем случае не усваивать пунктов от отдельных политических партий, русское еврейство должно быть сплочённым. „Теперь — единственный момент, когда в наших руках быть может решение нашей судьбы!" Главным орудием защиты они наметили прессу — в России и заграничную: повсюду опровергать клеветнические наветы, активно привлекать общественное мнение на Западе, а к нему русское правительство всегда прислушивается. После кишинёвского погрома 1903 года этот род их деятельности усилился, а с 1906 был создан в Париже и специальный орган печати о положении русских евреев. Но и как адвокат выступал Винавер. В Вильне организовал защиту Блондеса, обвинённого в убийстве прислуги с ритуальной целью,— и выиграл процесс. А по гомельскому погрому впервые выступил в уголовном процессе истцом от имени евреев — что вызвало сенсацию среди евреев России. Там же он произвёл и демонстрацию: объявил ведение суда пристрастным — и увёл с процесса всех адвокатов, защищавших евреев. Это выступление в Гомеле в октябре 1904 создало ему такую популярность в еврейских массах, что он стал практически их всероссийским вождём, в марте 1905 в Вильне председательствовал на съезде всех еврейских партий и групп и возглавил „Союз полноправия еврейского народа". В 1905 разные еврейские союзы возникали во множестве, и во все Винавер входил, и почти во все — как председатель. Он не входил в „Союз Освобождения", не вёл общеполитической борьбы до Пятого года, придерживался чисто-еврейской. Но тут у него произошёл раскол с сионистами, большинство ушло туда, а демократ Винавер возглавил лишь антисионистов. Роль еврейского вождя миновала его. Тут он вступил в кадетскую партию и быстро выдвинулся в ней.

В ноябре 1905 он в составе делегации евреев посетил Витте с требованием уравнения в правах. Витте отвечал: чтобы он мог подвять этот вопрос — евреи должны усвоить себе совсем иное поведение, нежели которому следовали до сих пор, а именно отказаться от участия в общей политической распре: „Не ваше дело учить нас революции, предоставьте это всё русским по крови, заботьтесь о себе". И некоторые члены делегации согласились, но Винавер пылко ответил, что как раз теперь-то и наступил момент, когда Россия добудет в с е свободы и полное равноправие для всех подданных,— и потому евреи должны всеми силами поддерживать русских в их войне с властью.

И никогда с тех пор он не склонился к разделению еврейских интересов и общереволюционных. Ов только настаивал всегда, в кадетской партии, затем и в Думе, чтобы вопрос о равенстве евреев был выделен из общего вопроса о равенстве национальностей как наиболее острый:

> Мы не видим для себя иного спасения, как только спасение всей России от той кучки, которая ею владеет. Нас очень мало, но у нас огромная сила — сила отчаяния, и у нас есть один союзник — это исполненный человечности весь русский народ.

И бросал Горемыкину с трибуны:

> Доколе не уберёте тех насильников, которые не только попускали, но и содействовали и подталкивали на путь погромов, до тех пор не будет умиротворения в стране! Своим молчанием на крик отчаяния, вырвавшийся из груди 6-миллионного народа, вы доказали, что желаете идти дальше старыми путями. Мы сливаем свои голоса со всеми, кто говорит вам: уходите! Мы пойдём только с тем правительством, которое будет соответствовать воле народа.

И напоминал в думской комиссии:

> Мы, евреи, народ исключительного долготерпения, мы слишком долго терпели.

И вадо сказать: еврейская проблема во всю ширину, со всей категоричностью, с высшим сочувствием — изо всех Дум была встречена именно в Первой.

Распространённое мнение о Винавере было, что он — холодный разум, отличный умственный аппарат, мастер отточенной формы, логической аргументации, умеет находить среднюю примирительную формулу для спорящих, умеет затушёвывать слабые стороны своих суждений и выдвигать сильные. А на самом деле он всё более кипел общественной страстью, он ощутил себя призванным политическим вождём. Эта новая яркая страсть, политическая борьба, отбивала вкус к прежним занятиям —

юриспруденции и литературе. Винавер стал председателем учредительного съезда кадетов в Москве, тотчас же вошёл в их ЦК и уже оставался в нём до конца. Он не был единоличным лидером кадетов, но входил в фактическую правящую четвёрку, ещё и нежной дружбой связанный с Петрункевичем и Кокошкиным, а в Петербурге все главные решения принимали вдвоём — Винавер с Милюковым.

Для выборов в Первую Государственную Думу повсеместно создавались еврейские избирательные комиссии, и Винавер сперва выставлялся от евреев Вильны — затем, однако, получил более почётное выдвижение от Петербурга, по кадетскому списку,— и в самой Думе правил кадетской фракцией в триумвирате с Петрункевичем и Набоковым.

Первой Государственой Думе, в её незабываемые 72 дня, Винавер отдал всю свою энергию, запас умственных сил, поэзию души — и уж, конечно, перо: они с Кокошкиным считались лучшими стилистами кадетской фракции, вдвоём составляли во взлётные дни дерзкий ответный адрес на тронную речь, а в горький день — Выборгское воззвание, блеск молнии. В эти дни раскрылись высшие силы их душ, преданность великим идеям, самозабвение, пламя восторга. (Тогда казалось: они только готовятся жить. Потом оказалось: вот это и была сама их жизнь, зенит их жизни, в с я их жизнь — эти счастливые вдохновенные 72 дня.) Почти музыкально вёл Думу, возвышался над ней величественный седовласый Муромцев, и эпически восседал на первой скамье большинства Петрункевич,— эти два народных избранника, выразителя истинной России.

Первая Дума совершила своё державное блистательное шествие, вдохновенный полёт эпохи, в короткое время одолела все трудности новизны, и уже чертила контуры нового государственного строя, обновляла всё государственное здание — когда нанесен был Думе жестокий коварный разгон,— и вся постройка рухнула.

В жестокий день разгона Винавер ехал на извозчике к Петрункевичу, оглядывался на лица людей, ища гнева, даже на мёртвых петербургских камнях ища отражения совершившегося несчастья,— нет! И это — заключительный аккорд великой эпопеи? Таков был отзыв и благодарность глухой страны... Народ — не поддержал своей Думы. В этом была катастрофа — и откровение. Кричать хотелось от боли и ужаса.

Через три года Винавер издал книгу — „История Выборгского воззвания". Чем большим мог он почтить его? Он объяснял, почему оно было психологически неизбежно и не могло не прозвучать.

Он стал певцом этого умершего колокола.

Даже и некоторые подписавшие стали потом отрекаться. Даже и бывшие друзья Первой Думы — смеялись...

А верные — как пушкинские лицеисты, каждый год потом, в одну и ту же годовщину созыва Первой Думы, 27 апреля, собирались на товарищеские обеды — и с благоговейным чувством вспоминали и переживали прежние веянья и прежние увлеченья. Если были между кем разногласия — забывали их, как на могиле дорогого покойника. Дух народной любимицы, вся поэзия пережитого снова соединяли её членов.

Шли годы — но когда бы Винавер ни вспомнил свою Первую Думу — его морщины разглаживались, и глаза принимали мечтательное выражение. Сколько было потом Дум — ни одна не шла ни в какое сравнение с Той.

После Выборга он потерял право избираться, был вышвырнут из политики снова в юридистику, лишь остался вторым человеком в кадетском ЦК. И, разумеется, не оставлял защиты евреев: участвовал во множестве еврейских изданий, культурных организаций, при деле Бейлиса — активно снабжал материалами мировое общественное мнение. Он твёрдо перестоял несколько лет депрессивной атмосферы. А в эту войну насылались на евреев и наветы в шпионстве, начались массовые высылки — Винавер снова был во главе борьбы за равноправие, но не теряя связи с общей освободительной борьбой.

Он как будто продолжал — и с блеском — все виды доступной деятельности,— не мог же он оставить их в 45-летнем возрасте. Но огонь сердца и свет глаз постоянно были под пеплом — и все минувшие 10 лет он как бы каждый день снова и снова хоронил и оплакивал свою незабвенную Первую Думу. И оттого тон жизни получался — как будто и не состоявшейся.

Зато эти последние дни — как раскалённая пирамидальная игла, прорывая серое прозябание, выдвигалась в небо. Максим Моисеевич и Розалия Георгиевна жили в светлых предчувствиях, не находя себе места. О — е с л и б ы это прорвалось до конца! — нельзя же дальше жить в такой нуди и беспросветности! О — если б это не кончилось „беспорядками"!

Закрылись редакции, духовная жизнь столицы замерла, но сведения притекали по телефону и от очевидцев (и прислуга приносила хозяевам вести с улицы). Эти дни собирались у Гессенов. Сведения грозно нарастали! И вдруг оборвались сегодня с утра, всё затихло, как кончилось.

Неужели кончилось? Неужели??

Винавер от знающих добивался по телефону намёками или через посыльных: не *предполагается*? — но — что-то же предпринимается?

Не могло, не должно было так просто утихнуть, он верил!

Сейчас Максим Моисеевич читал в кабинете, вошла Роза и с удивлением:

— Ты знаешь, пришли — Шингарёв и Струве.

Винавер поднял брови:

— И Струве? Они предупреждали?

— Нет.

— Бесцеремонно.

При нынешнем падении кадетской думской фракции, когда не стало в ней имён и умов, игрою времени Шингарёв стал вторым лицом во фракции и даже едва ли, так сказать, не гремел на всю Россию. (А Винавера, с Шестого года,— забывали, забывали...) На самом деле был он не только другого идейного поколения, чем основатели кадетской партии, но и — недоученный провинциал, так и не прикоснувшийся к истинной петербургской культуре. Серьёзно вести с ним разговор на равных Винавер бы никогда не стал, они и не дружили никак, ну, встречались на заседаниях ЦК, на совещаниях. А Струве,— Струве был исконный давний освобожденец, и яркий деятель, и тонкий человек — но тем более непростительно, что изменник: покинуть левый лагерь и сознательно перейти к консерваторам — этого нельзя простить! это отвратительно! И со Струве — Винавер уж совсем ничего общего не имел, и неприятно встречаться.

И — зачем они вдруг пришли? Как всякий серьёзно занятый человек, Винавер этого не любил.

Но, может быть, принесли новости?

Он вышел к ним в гостиную умеренно любезен, но и давая почувствовать холодноватость, как он умел. Впрочем, они и сами были стеснены, чувствовали встречу, едва присели. Шингарёв сразу оговорился:

— Простите, Максим Моисеевич, простите, мы только на минутку. Всё-таки, положение необычное, и это была моя идея, осведомиться у вас: что вы знаете о скрытой стороне событий: что-нибудь б у д е т ? Намечается, т а м ?

Ну вот, они даже ничего и не принесли.

Действительно, Винавер отличался и в кадетской партии во всём политическом движении, что у него никогда не было врагов слева — ну разве малые столкновения, когда те по горячности навязывали чересчур неосуществимое. Напротив, слева — у него всегда были союзники, и он обычно знал больше других.

И присутуленный неряшливый потерянный Струве и простак Шингарёв — хотели теперь занять знания?

А Винавер не только мог знать, но обязан был знать, но и добивался узнать тайный план революционеров.

Однако — не было его.

Тайна знания была у него, но само знание состояло, увы, в н е т.

Но ещё глубже этого знания была у него сердечная вера, что: должно быть! Что слишком долго мы страдали под этим режимом, и подходят же концы терпению!

Но — и не ославиться неудачливым оракулом. Посетители могли получить фактический ответ:

— Увы, господа. Я узнавал. Ничего не будет. *В кругах* — ничего не предполагается, не задумано.

Лица обоих перед ним не то чтобы вытянулись в прямом разочаровании, но — в тенях.

Винавер тоже вздохнул. Уж ему-то досталось этих разочарований в жизни. Лицо его было желтовато, или от комнатного недосвета. Лоб, далеко

залысый на всё темя. Поседевшая круглая борода. Пронизывал умными глазами. И сказал ослабясь:

— Ничего не будет, господа, займёмся своими делами. Проиграли мы — в Шестом году, и видно надолго.

46

Вадим Андрусов был по матери внуком Шлимана, раскопщика Трои, и, от него ли сохраняя неуёмный ищущий нрав, всё никак не мог определиться в жизни: перед войною кончив гимназию, дважды поступал в Академию Художеств и дважды проваливался. Поступил на историко-филологический факультет — остался недоволен, перешёл на юридический. Тем временем уже во всю шла война, и надо было как-то избежать мобилизации. Брат Вадима, эсер, ощутил себя также и толстовцем, заявил толстовские убеждения — и стал санитаром. А Вадим не додержался: уже в 16-м году был мобилизован со второго курса и отправлен в Красное Село на ускоренные 5-месячные курсы прапорщиков. Но и всё не кончался 16-й год, а курсы кончились — и неизбежно было получать следующее назначение. Казалось, с таким хилым военным образованием, ещё вполне штатский, да сын разночинца, Андрусов мог получить назначение только в захудалую пехоту куда-нибудь за две тысячи вёрст,— нет, его назначили в Императорскую гвардию, куда прежде добивались из самых богатых и знатных семей, в знаменитый Павловский полк, в запасной батальон его, стоящий в самой столице! — не за какие-нибудь успехи молодого человека, а потому что совсем не было офицеров. Правда, он считался не на полной службе в полку, а лишь прикомандированным: не мог остаться в Павловском после войны и не имел права носить его формы мирного времени — красной ленты по груди и белых обшивок по рукавам. Но шинель была гвардейская, без внешних пуговиц, и по-гвардейски приходилось подписывать листы пожертвований и по-гвардейски же проходить экзамен хорошего поведения, то есть отлично пить водку, чем знаменит Павловский полк. Как быстро и круто может меняться судьба человека — и вот уже начинаешь вживаться в новое положение, какое оно ни странное. Да ночевать-то отпускали домой, на Васильевский остров.

И назначили Андрусова в учебную команду, то есть в отборную часть внутри полка, где готовятся унтер-офицеры. Было там два таких прапорщика и два подпоручика, не намного умелей, и над всеми ними — штабс-капитан Чистяков, офицер настоящий, глаза как пистолеты. На Марсовом поле, прямо перед своими казармами, проходили они строевую и штыковую подготовку, раз возили их за город на газовые учения, а до стрельб ещё не дошло.

Ещё как-то в феврале раза два посылали их учебную команду гулять по городу с духовым оркестром: музыкой и строевой выправкой подбодрять население. А с началом городских волнений посылали в караульное помещение в Гостиный Двор.

Там и был Андрусов в воскресенье днём, когда телефон сообщил ему, что от Знаменской площади движется по Невскому громадная толпа и надо её задержать. Андрусов вывел свою команду и по новой инструкции, на случай необходимости стрельбы, не расставил, а положил, лежком рассыпал своих солдат поперёк Невского, против середины Гостиного. А все лавки его по воскресному дню были закрыты, торгового движения не было, и людей вообще не много. Сам Андрусов расхаживал впереди, перед штыками, а сзади сбоку был трубач.

На небе по-зимнему светились ложные солнца, ещё четыре вокруг одного — и бело-серебряные пояса тянулись к ним от главного.

Толпа стала хорошо видна, как поднялась на Аничков мост. Беспрепятственно и густо стекала с него, заливала Невский. Андрусов велел трубачу дать первый сигнал рожком.

Но толпа — шла, надвигалась,— и вот уже равнялась с Елисеевским магазином. Тут Андрусов кивнул трубачу, дали второй сигнал.

Но толпа и тут не вняла или не понимала, или далеко ещё было — весь квартал до Садовой, Садовая, половина квартала Гостиного,— и вдруг раздались выстрелы! без третьего сигнала солдаты сзади Андрусова стали стрелять?

Для того и положили, чтобы стрелять (лёжа не выстрелишь в воздух), для того и трубач, чтоб дать третий сигнал — но не было третьего! Начали стрелять позади прапорщика — смотри, самому ноги пробьют.

Андрусов отскочил назад через стрелявших — и шашкою в ножнах стал бить по задницам лежащих солдат, чтобы перестали стрелять.

Но уже стрельба сделала своё дело. Толпа рассыпалась — одни отхлынули к Александринке, прячась за выступ Публичной библиотеки, другие — в Екатерининскую улицу, мимо Елисеева, третьи — назад, кто жался в подъезды и к воротам домов — середина проспекта очистилась, стала пустынной белой полосой, а на снежной мостовой — убитые и раненые.

И один солдат-павловец лежал, как лёг: с какого-то этажа или с крыши его пулей пришило после второго сигнала. И наверное от того выстрела — возбуждённые солдаты и стали стрелять.

Со стороны Адмиралтейства подкатывали автомобильные санитарные кареты — и забирали раненых. Потом и убитых.

Через четверть часа на пролётке прикатил из полка штабс-капитан Чистяков со своей постоянно перевязанной от ранения рукой. Через всё самообладание скрыть он не мог, что изумлён и расстроен.

Движенья по Невскому больше не допустили.

Солдатские наряды ходили к рассеянной толпе и уговаривали расходиться.

Но от толпы перенялось, и шепотом, шушуканьем и даже вслух потекло: Павловский полк покрыл себя позором!

47

Все эти дни Всеволод Кривошеин, под видом того, что в университет, уходил с утра из дому и сколько угодно толкался по улицам, и бегал от шашек, и ложился на снег, и в ворота прижимался,— наиспытался и насмотрелся всего, очень интересно, редкие переживания, и почему-то так и тянет на опасность. Верней, понимаешь, что опасность, и надо бы, конечно, бояться,— а страха внутри как-то нет. Только вчера, когда досталось ему бежать в толпе со Знаменской площади под крики „рубят! рубят!'' — не сами эти шашки, которых взнесенных он так и не видел, а общая безудержная паника толпы, друг от друга передаваемая рёвом, тиском, сжатием, толканием,— вполне захватила и Всеволода. Но и то был не настоящий страх смерти, вот вдруг перестать жить, а мелькало, что смерть — какая-то бессмысленная, ненужная: непонятно, за что он умирал, убегая в этой толпе. (Но ещё они бежали, как со стороны площади, им в спины, донёсся рёв торжества и ликования — и всё остановилось и стало возвращаться на площадь — и передавали друг другу, что казак убил полицейского конного офицера, а остальная полиция разбежалась. Толпа долго радовалась, и ничего больше не происходило.)

Однако сегодня так просто уйти из дому было нельзя: воскресенье, никакого университета нет. К тому ж вернулся домой и отец — с Западного фронта, где он служил теперь уполномоченным Красного Креста,— чтобы присутствовать в понедельник на сессии Государственного Совета, чьим членом он состоял после отставки с министра земледелия, обычный удел всех, кому позолачивали отставку. Он ехал, ничего не зная о происходящем в Петербурге,— и тем более омрачился по приезде. Сразу вся обстановка в доме сгустилась сильно озабоченная — и младшим мальчикам неприлично стало выказывать оживление или самовольничать.

Из пяти сыновей Кривошеиных двое старших уже были офицерами на фронте. Средний Игорь тоже теперь прапорщик, готовился на фронт. И Всеволод, по-домашнему Гика, хотя студент, всё оставался в младших — с самым младшим, 12-летним, у кого ещё и гувернантка была.

Квартира Кривошеиных, хотя и наёмная, в доходном доме, была сама как замкнутый дом, 15 комнат и ещё подсобные, по двум сторонам коридора,

настолько длинного, что мальчики по нему катались на велосипеде. Парадные комнаты, выходящие зеркальными окнами на Сергиевскую, походили даже и на музей — были обставлены старинной богатой мебелью, увешаны мраморными барельефами, множеством старинных картин, не самых знаменитых мастеров, но достаточно ценных, отец много их скупал. Семья жила здесь уже 30 лет. Хотя потом 8 лет подряд отец был министром и мог бы жить на казённой квартире на Мариинской площади, но предпочитал свою: так он избавлялся от необходимости давать официальные обеды и рауты.

Гика сидел за утренним кофе со взрослыми и томился. Он тщетно изобретал предлог, зачем бы ему нужно в город. Но отец сидел до такой степени расстроенный и тёмный, и мать и тётка были строги, как если бы в доме случилось несчастье,— и неловко было что-нибудь сболтнуть.

— Довели,— говорил отец. И ещё потом после большой паузы: — Довели.— И еще с долгим промежутком: — Кто? Кого набрали? — И ещё потом: — Отгородились от мира, ничего не представляют.

В этом году ему исполнялось шестьдесят, и появилось в нём стариковское.

Послал Гику за газетами — но только до угла Воскресенского, до киоска, и чтоб сразу назад.

Тут, до Воскресенского, было неинтересно, совершенно мирно, обычно. Но и газет таких, настоящих, которые бы отец стал читать, не оказалось ни одной, не вышли, а только черносотенные — „Земщина", „Свет", нечего и брать. Купил „Правительственный Вестник" — там назначения, перемещения, распоряжения, они всегда интересуют отца,— но безо всякого следа происходящих событий, безмятежный.

Отец сидел в углу прямоугольного большого дивана в кабинете, как бы ссунутый в угол, опёрся локтем о валик. И всегда рыхловатый, а тут как бы беспомощный, белолицый, с повисшими, неподстриженными усами,— вот тут впервые понял Гика, насколько же серьёзное творится. Жалко стало отца. Но не было привычки приласкаться.

А отец был поражён, что нет газет, он ждал кипы, заказал полдюжины. Раскрыл „Вестник" сразу — и осматривал хмуро. И опять ворчал:

— Ничего не предпринимают... Три дня не утихает — власти не смотрят... Идём к анархии.

Потом Гика томился у себя в комнате, с окном во двор. Открывал форточку, никаких грозных звуков, ни стрельбы, тихо. Коридорный телефон (у них было два в квартире) звонил часто, и мама, и тётя, и сам Гика, и мадмуазель тоже звонили друзьям, узнавали что где,— но нигде ничего не происходило.

Убедясь в этом, отец после такого же тяжёлого, подавленного дневного завтрака отпустил Гику погулять — но только в центре и не больше двух часов. А младшему — никуда.

После яркого утра с боковыми солнцами свет по небу стал радужный, рассыпанный, как будто расплывался в облачка.

Едва Гика вырвался — сразу пошёл, конечно, к Литейному, а по нему на Невский. Как и вчера, не было трамваев, но не было нигде и ни одного полицейского, ни солдат,— а только висел на домах ещё новый приказ генерала Хабалова, угрожавший оружием. Кое-где висел со вчерашним рядом, кое-где все три, а то полузаклеены один другим или полусорваны.

Так и шло подряд жирно: Хабалов — Хабалов — Хабалов, и ощущалось обидно, что у русского правительства к русскому народу в такие дни — нет другого голоса, нет другой подписи.

Невский заполняла обычная для воскресного дня гуляющая публика, густые реки пешеходов по обоим тротуарам — нарядные дамы, офицеры, студенты, чиновники гражданские, чиновники военные, женщины с детьми и колясками, раненые солдаты, приказчики, прислуга,— но и мастеровые с окраин, явно они, их тут не бывало раньше. Однако все удерживались на тротуарах, и середина проспекта была пуста.

Вдруг — показалась толпа со Знаменской площади — тысяч больше двух, кого там только не было, много студентов, курсисток, интеллигентов в котелках, но более всего — рабочих в простых шапках, работниц в платках, но

одетых почище обычного, не будничная чернота,— и к ним ещё доливалось с тротуаров. А в передних рядах несли, высоко держа, два красных знамени: «Долой самодержавие!» и «Долой войну!».

Шествие шло — никто ему не препятствовал, не перегораживал дорогу. Шло медленно, заливая всю мостовую, нигде не встречая пикетов. Оно нагоняло Гику около Аничкова моста, когда он перед ходом его перешёл на ту сторону Невского, к Екатерининскому скверу. И ещё подумал, вслед отцу: до чего ж мы дожили! вот такая толпа идёт — во время войны — с такими знамёнами — по Невскому — и никто не мешает. Что это значит?

Как нарочно: промелькнула такая мысль — и вдруг услышал он неизвестно откуда резкие удары, как толчки или как рвали бы большую ткань,— Гика никогда такого больше не слышал, не догадался бы, если бы толпа не стала раскидываться по сторонам, бежать и кричать, что — стреляют. И как давеча на Знаменской, Гика вместе со всеми побежал, не успевши нисколько испугаться. Только уже в беге, видя как испуганы другие, стал и он перенимать испуг или какое-то смутное состояние.

Побежать ему пришлось за укрытие Публичной библиотеки. Здесь стрельба слышна была глуше, и, видимо, пули достать не могли, толпа стояла плотно.

Все хотели знать, что произошло,— но не идти же назад, а отсюда за спинами никому ничего не видно.

Однако постепенно стало по толпе передаваться, что стреляли от Гостиного Двора, остались на Невском убитые и раненые.

Серьёзно.

Толпа постепенно рассасывалась — в обход Александринского театра.

Сошлось их тут близко две синих студенческих фуражки: стоял рядом и громко возмущался высокий студент. Он бранил военную власть, бранил самодержавие, потом сказал соседу:

— Коллега, эти негодяи вас напугали. Стреляют по толпе, какая низость, палачи! Уже ничего не стыдятся. Вам, может быть, далеко до дому? Где вы живёте?

Гика назвал.

— Далеко,— сказал тот: — Невского сейчас не перейти.

А между тем толпа быстро рассасывалась, опасаясь чего дальнейшего, как бы и сюда не завернули с выстрелами. Хотя они прекратились.

— Меня зовут Яков, а вас? Пойдёмте пока ко мне на квартиру, я живу тут близко. Там и переждём. Да хоть и ночевать оставайтесь.

— Ну, что вы, ночевать! Мне — надо домой, меня ждут.

Но тронут был этим приглашением, этой вседружественной теплотой студенческой корпорации: как бы ни худо попал — нигде ты не один, а тысячи у тебя друзей.

Пошли через Чернышёв мост. В невыразительном сером переулке невыразительный серый петербургский дом, мрачная лестница с невеселящей клетчатой плиткой на площадках, тёмный коридор, из него двери, большая комната с серым светом внутреннего двора-колодца, удивительно неуютная, до неопрятности, хотя ничего грязного не было, в беспорядке заполненная мебелью, вещами, а посередине — стол, но не обеденный, а с бумагами, книгами, и над ним свисала не горевшая сейчас лампа под бордовым абажуром. И стоял запах накуренного.

Там уже были студент и курсистка. Яков объявил:

— Всеволод. Шимон. Фрида. Вот привёл товарища, а то его чуть не пристрелили на Невском.

Встретили любезно. Но приход постороннего студента утонул в обсуждении происшедшего. Все негодовали, достойных слов не находили бранить царских чиновников, хотя были и подавлены.

— Осмелились-таки!

— Я думал — не решатся.

— А Николай Второй,— желчно сказала Фрида, она сидела у окна нога за ногу,—конечно, удрал в Ставку. Всегда, конечно, он подальше от ответственности.

— Но никуда он от неё не уйдёт! — блеснул Шимон.— Войска не могли стрелять сами. Был дан приказ, и приказ этот, через царского холуя — его личный. И ему это запомнится.

— Но чего стоит наша жалкая толпа! — сжигалась Фрида у окна, колена с колена не снимая.— Стоило дать несколько выстрелов, чтобы все разбежались.

— Да, но завтра может начаться снова! — пообещал Яков.

— Не-ет, не-ет! — замахала руками Фрида с каким-то даже злостным удовольствием против самой себя.— Всё-о! Движение — подавлено! Завтра — уже никто не выйдет на улицу.

Тут пришли ещё два студента и с ними курсистка. И обсуждение пошло во много голосов сразу: подавлено или не подавлено?

Склонялись больше, что — подавлено. И не надо было начинать, а помнить, что народ неспособен к настоящей революции. Теперь изо всей ситуации самодержавие выйдет только более окрепшим.

Гика почти не говорил, сидел в неловкости: весь тон высказываний был непривычен ему, резал слух и сердце. И он уже понял, что они догадались, что он — *белоподкладочник*, хотя ни в чём внешнем это не выражалось. Да и взаправду он ощутил себя белоподкладочником: было ему тут чужо, неприятно. Эта комната, эта обстановка так разительно отличалась от их домашней — даже не на улицу захотелось, тоже суматошную, а к себе, в покойное «дома». А самое неловкое было бы, если бы сейчас спросили его фамилию: соврать он не мог, да не унизился бы лгать, но и произнести здесь фамилию хоть и либерального, но царского министра, да ещё столыпинского сподвижника,— было невозможно. (А два часа уже прошло, что там отец? Не говорить, что попал под стрельбу.) Гика досиживал как-нибудь ещё, до приличия, и вскоре бы уйти. (Может быть ещё и потому Яков его сюда привёл, что принял за еврея? Гику и cáмого старшего брата частенько принимали.)

Непрерывно курили, дым уже повисал.

Скорей домой, и отдышаться, вернуться в привычное.

Вошли ещё двое — и с порога объявили, что на Невском ранили Юльку Копельмана, и сейчас увезли в автомобиле.

Это — разорвалось! Все вскочили, загудели. Это был случай уже живой, он задевал больше, чем общие сожаления. Ещё — живой ли? Ещё останется ли жить? Настроение стало грозней и злей, но и унылей.

Как меняются события! — вчера и сегодня казалось, что жалкий позорный режим проваливается в тартарары, совсем ослаб и беспомощен. А вот — в нескольких местах постреляют, и он может надолго снова укрепиться — и ещё долго будет длиться его зловонное существование!

— До каких пор ему гулять на свободе? — говорили о царе.

Кто-то стал рассказывать о некоем Грише:

— Знаете, такой маменькин сынок, сионист? Говорит мне: «нас, евреев, здешняя революция не касается, это пусть русские занимаются». Вот мерзавец, или скажете нет?

Загудели против этого Гриши и против сионистов: это настоящие предатели общего дела, только ищут, как уклониться от революционной борьбы.

Тут вошел молодой прапорщик — красивый, стройный, с гордой осанкой, не по-офицерски безусый, гладко выбрит.

Все его, видимо, знали, шумно закричали:

— Саша, что же это делается?

— Ленартович, вы же офицер! На вас падает пятно! Что ж вы теперь — вместо казаков?!

Роста выше среднего, ещё и держась подтянуто, он стоял на пустом придверном пространстве один, всем видный во весь рост, ещё сняв фуражку и открыв густой пышноволосый русый зачёс назад.

Он не сразу ответил, и за это время все замолчали. В тишине сказал торжественно и вызывая веру:

— Можете быть спокойны. Этого дня мы им так же не простим. Как и Девятое января.

48

Легко жить уцепистым ловкачам: они всегда сухие выскочат. Таков, знать, был и подпрапорщик Лукин, фельдфебель 1-й роты учебной команды. Вчера уже поздно вечером, заполночь, когда воротились со Знаменской площади в казармы, был приказ, что наутро волынцы опять пойдут, но уже 1-я рота, и с пулемётами.

С пулемётами!..

Полегчало Кирпичникову, что теперь-то не он. А по особице спросил Лукина:

— Неуж ваши будут стрелять? Я предлагаю: давайте лучше не стрелять.

Лукин поглядел тоуро:

— Да нас завтра же и повесят.

Так и не договорились.

А рано утром, глядь, Лукин, ушёл в лазарет, будто зашибся. И там остался.

Пришёл начальник учебной команды штабс-капитан Лашкевич. Кирпичников доложил ему, что Лукин в лазарете.

Лашкевич — вот уж барин, кровь чужая, тело белое. Носит золотые очки, а через них так и язвит глазами. Ответил как укусил:

— Не время болеть!

Будто — это сам Кирпичников уклонялся.

И метнул: Кирпичникову быть сегодня фельдфебелем 1-й роты, а свою 2-ю передать пока другому.

То есть третий день так переменялось, что Тимофею всё идти, и идти, и идти? Да заклятье, ну просто взвоешь! Ну сил уже нет, отпустите!

Но — не Лашкевичу говорить. Он из тех, кто к солдатскому сердцу не прислушлив. Цуриков — другое дело. Ко времени любит солдат и строгость, но за ласковое слово душу отдаст.

Нечего делать, вскоре и пошли — с боевыми патронами в подсумках и покатя пулемёты. И при роте пошёл сам Лашкевич, за все дни первый раз. Сошла рота опять в тот же подвал, но Лашкевич не пошёл сидеть в гостиницу, а выходил смотрел и сюда же возвращался. И Кирпичникова держал при себе. А велел посылать дозоры по площади, разгонять толпу.

Но разгонять пока что, полдня, было некого. И стал Тимофей полагаться: может, ничего и не будет, обойдётся.

А на небе света — больше солнца, полосами и пятнами.

Нет, часам к двум стала публика стекаться, поднапирать: по другим улицам никак гулять не хотят, а вот тут, у памятника, им сладко.

И начали гудеть, попевать, покрикивать.

Близ к вокзалу полиция их не пускала. Казаков — вовсе не было сегодня. А дозоры волынцев — разгоняли плохо. И Лашкевич на площади бранил ефрейторов, что тряпки, а не солдаты.

А ефрейтор Иван Ильин перетоптался, ответил ему:

— Не солдатское это и дело, разгонять.

Лашкевич аж как ужаленный дёрнулся — и приказал сейчас же снять с ефрейтора лычки.

Как это? — заслуживал лычки годами — а тут в один миг и снять? Волей Лашкевича?

Ох, не привыкли от народа правду слышать.

И кому же лычки срывать — опять же Кирпичникову?

Ну, хорошо — Ильин не дался срывать. Сам снял.

У Тимофея такое чувство, будто с него самого сорвали.

Чужая рота, Кирпичников не знал этого Ильина. Но отводя его в дворницкую, на лестничке в подвал пожал ему руку:

— Молодец!

А самому — тяга, нудь: теперь Кирпичникову и поручил Лашкевич наблюдать за дозорами.

Ну, голова служивая, всё на тебя!

Пошёл сам между дозорами по площади. И вежливо, и без надежды просил публику разойтись.

— А ты что? — вылупливались рабочие.— Мы тебе не мешаем. Мы же тебя не просим уйти.

И ничего не скажешь.

А ещё велел Лашкевич передать всем дозорам, чтобы по звуку рожка бежали к Северной гостинице. Кирпичников, толкаясь по площади, передавал унтерам и ефрейторам, кого видел. А какому из них, ещё смерясь (не своя же рота), добавлял:

— Только не очень торопитесь.

За это — не повесят. Кто и донесёт — ещё не докажешь.

Опасался Тимофей этого хужего момента, когда созовут по рожку и прикажут стрелять из пулемётов — вот тогда что делать?

Лашкевич сказал: сам пойдёт с Кирпичниковым и с одним дозором и покажет, как разгонять.

Пошли. Первого же попавшегося штабс-капитан поддал кулаком и ногой — тот, правда, сразу убежал. И другие вблизи стали растекаться.

А барышня стоит гордо — мол, её не тронешь.

— Уходите скорее прочь! — скомандовал Лашкевич.

Стоит, не шевельнётся:

— Торопиться мне некуда. А вы будьте повежливей.

Вот — что с такой делать? А их — все тут такие.

Но штабс-капитан длинной рукой схватил и её за шиворот и начал потрёпывать. После этого она сразу ушла. А он заметил, что Кирпичников — в стороне, мнётся:

— Вы что, не хотите присутствовать? Такой добрый? А как же иначе порядок навести?

Стоит другая барышня. Лашкевич ей:

— Уходите с площади сейчас!

Стоит.

Тогда рядовому Березенскому:

— А ну-ка, прикладом её подправь!

Березенский подступил, замялся:

— Барышня, будьте добры, уходите домой. А то мне...

Кирпичников отстал, в толпе перешёл к другому дозору:

— Ну что, ребята? Настаёт гроза, цельная беда. Что будем делать?

Те:

— Да... Верно, беда... Так и так погибать.

Никто ничего не знает, никто ничего не решается. И подкрепил их Тимофей:

— Прикажут стрелять — не стрелять нельзя. А бейте вверх.

Перешёл к третьему дозору:

— Мало нас учили-били. Думайте больше.

Понял и Лашкевич, что дозорами не разгонишь. Приказал выводить роту из подвала, строить от Северной гостиницы и к памятнику. Горнисту — сигнал.

Вывели. И перед строем разъяснил, золотоочкастый:

— Здесь перед вами — те негодяи, кто бунтует на немецкие деньги, когда идёт война. Пойдёте на них — с винтовками наперевес. Нужно — и бить прикладами, нужно — и колоть. А понадобится — будет команда и стрелять!

Назначал команды по разным местам площади.

Прапорщику Воронцову-Вельяминову приказал пойти с отделением стать против Гончарной и там рассеивать. И Кирпичникова — с ними.

Вельяминов выстроил свою дюжину поперёк Гончарной — а та вся запружена людьми, напёрли с Невской стороны. Скомандовал сигнальщику играть сигналы.

Один.

Два.

Три.

А люди, видно, не понимают, к чему такое рожок, или делают вид — но не расходятся.

А военная машина — неотклонная, раз рожок — значит стрелять. Скомандовал прапорщик:

— Прямо по толпе! — шеренгою!.. — предупреждаю — раз! два! три!..

Не расходятся.

— ...Четыре!.. До семи. Пять!.. Шесть!..

Не расходятся.

— Пли!

И — залп!

И с верхних этажей посыпалась извёстка. Толпа шарахнулась, раздалась — но не видно, чтобы единого ранило, не то что убило.

Значит, все били вверх. Молодцы.

А в толпе стали подсмеиваться.

И прапорщик рассердился:

— Лучше цельтесь! В ноги! Шеренгою — раз! два! три! — пли!!

Опять залп. Опять колебнулась толпа, разбежалась.

А — ни убитых, ни раненых.

Прапорщик:

— Да вы стрелять не умеете! Зачем волнуетесь? Стреляйте спокойно.

Приказал ефрейтору:

— А ну, стреляй вон в того!

Ефрейтор дал три выстрела, третьим сшиб фонарь. А тот — скрылся во двор.

Тогда Вельяминов уже так рассердился — сам схватил у ефрейтора винтовку и стал стрелять. По тем, кто к парадному жался, к воротам,— на середине улицы уже людей не осталось.

И ранил барышню. Та села на тумбу и плачет, держится выше колена.

А на Вельяминова — вот тебе, ниоткуда — накатил генерал! Важный, с белыми толстыми усами:

— Прапорщик! Что же вы смотрите! Женщина ранена, надо оказать помощь!

Кто генерал, откуда,— а что прапорщику делать? Своим пальтом генеральским заслонил, прекратил всякую пальбу. Пошёл к барышне, расспросил, вызвал отсюда двоих солдат, вызвал свой автомобиль — посадили её, увезли. И генерала.

А толпа опять стала собираться, наседать и смеяться.

Вельяминов сказал:

— Питают доверие к докторам. Знают, что их вылечат.

Сел на тумбу и стал из винтовки целиться. И отделению скомандовал — залп! (Кирпичников — без винтовки, и ни при чём.)

Дали залп!

Толпа — опять вся разбежалась по подворотням.

Но на снегу остались тела. Кто и шевелится.

Угодили всё-таки...

Вот и дошутились. Вот и война. На городской улице.

Больше толпа не собиралась, не напирала.

А Тимофею мутно. Ох, мутно!

Приехала скорая помощь и забирала раненых. Им помогали, и оттуда на солдат кричали. Но сюда не пёрли.

А солдаты стояли поперёк Гончарной, ружья к ноге. Никто больше не напирал. Но в подворотнях толпились, затаились.

Кирпичников всё был позади, теперь подошёл к офицеру:

— Ваше благородие, вы озябли. Пойдите в гостиницу погрейтесь. А я за вас тут побуду и докажу.

И Вельяминов тряхнулся, самому легче:

— Правда, побудь.

И пошёл быстро. А Кирпичников послал за ним солдата — проследить, войдёт ли в гостиницу. Как воротился солдат и доложил — Тимофей махнул публике:

— Идите кому куда нужно, поскорей.

А солдатам:

— Мало нас секли. Думайте больше, куда стреляете.

Прошли, ушли, разрядилось. Гончарная чиста. Трупы тоже увезли.

Вернулся Вельяминов:

— Ну, как тут? Стрелял?

Показал Кирпичников:

— Вон, всех разогнал.

49

Сердце подымалось и падало: уж как раскачалось! такого ещё не было! И неужто опять не выбьем? опять отхлынет, отольёт?

В воскресенье утром, когда Шляпников снова пересекал город пешком,— стояло так спокойно, как ничего и не было.

От воскресенья? Или устали?..

Теперь, когда вовсе не стало ни трамваев, ни конок,— так тем более только ноги остались. На воскресенье ночевал у сестры за Невской заставой, теперь ему утром надо было переть через весь город на Сердобольскую, оттуда днём — в центр, а на ночь опять на Сердобольскую. С утра послал племянника по явкам — поискать курсистку, из тех, что при БЦК, какая б могла сегодня же вечером ехать в Москву, осведомлять тамошнее большевицкое бюро. И назначил ей свидание, перед московским поездом, на Песках.

На Выборгскую утром перейти ничего не стоило, да в ту сторону и всегда пропускают.

По тысячезнакомому Сампсоньевскому проспекту шагал мимо корпусов, домов, заборов, мимо казарм Московского полка, потом Самокатного батальона. Везде было смирно, а заводы пустые молчали.

У Павловых огорошили: на Сампсоньевском арестовали весь Петроградский Комитет, 5 человек, когда они сошлись.

Видно, что по доносу. (Надо раскрыть!) ПК всегда был обставлен провокаторами.

Вот тебе — и не нужна конспирация! Вот тебе и бездействие власти. Хватают.

Был бы — разгром, если бы ПК составлял что-нибудь порядочное. А так — пятая нога.

Тут собрались сормовские — Павлов, Каюров, Чугурин. Совещались, как быть. Решили просто: пока все полномочия ПК передать выборгскому райкому. (А другого райкома у большевиков и не было, тут и всё.)

Завёлся спор об оружии. Сормовичи, особенно Каюров-забияка, точили зубы — вооружаться! Схватить от полиции, сколько удастся, ещё где-нибудь. Шляпников отвечал: много не соберёте, стрелять не умеете, а по горячности примените нетактично — всё испортите. Если употребить оружие против солдат — то только раздражить их, они ответят оружием. Сормовичи настаивали: но как же нам стать вооружённой силой? надо создавать рабочие дружины и вооружать их постепенно! Шляпников: нет-нет-нет, кустарщина, это — не оружие. Один наш верный путь — дружба с казармами. Надо — агитировать армию, пусть солдатская кислая шерсть пропитывается революционностью. И вот когда армия сама присоединится — тогда... Эх жаль, нет у нас в запасных полках партийных организаций. Ни к чему мы не готовы.

Вполне может быть, что на этом и вся забастовка кончилась. Сегодня, в воскресенье, отгуляют, успокоятся — а завтра потянутся на работу. А армия — так и не шевельнулась.

Ничего больше не решили. И пошагал Шляпников в центр, посмотреть, где что, может, делается.

На голове у него была приличная мягкая шляпа пирожком, виден галстук на шее, вид мелкобуржуазный, даже и попытки не могло быть задержать его на мосту.

Да никого не задерживали: толпа не напирала, а для приличных одиночек проход свободный.

И вот так жалко, ничем — всё кончилось?

Но нет, в центре — толпы были. И солдатские цепи. И митинги около них, разлагающие сознание солдат.

И около Казанского собора — море разливанное.

И на Знаменской площади.

И наконец у Гостиного Шляпников попал под обстрел: вдоль проспекта стреляли! — все ложились, и Шляпников лёг с радостным сердцем.

Стреляют! Это хорошо. Значит, так не пройдёт. При всех случаях запомнится.

И на Владимирской постреляли. И на Знаменской — серьёзно, десятка два наверно ранили, есть и убитые.

Запомнится!

Засновали кареты скорой помощи. Появились — кто-то догадался — гимназисты с широкими повязками Красного Креста на рукавах пальто. И курсистки настаивали: ехать вместе с ранеными и ухаживать за ними. На правах общественной помощи-контроля, как теперь везде. И полиция робела, допускала курсисток.

Нет, снова на улицах умякло. И стрельба кончилась. Кончилась. Сгустились солдатские и полицейские оцепления.

Снесли и это.

Шляпников пошёл на одну из Рождественских улиц, где назначил явку курьеру-курсистке. Пришла такая, «товарищ Соня». Дал ей денег на дорогу. А само поручение — расплылось, само поручение было почти никакое, что же было посоветовать московским товарищам? Призывать их теперь к выступлению — было бы провокацией. Очевидно и самим тут придётся кончать. Все оборонцы уже так и хотят, ПК и вчера, перед арестом, постановлял прекратить демонстрации, Залуцкий отговорил их.

Чего дальше можно было ждать от движения? И как его направлять? Вот, постреляло правительство — а ответить нам нечем.

Плохо мы организованы. В который раз пролетариат не готов ни к какому бою. Зря эти дни метались, толкались...

50

— Да *спасать* его надо! Спешить — спасать! От самого себя, от доверчивости! От этой женщины, безусловно насквозь испорченной, если она способна затягивать женатого человека! Ах, зачем вы меня задержали! Если бы я сразу поехала — я бы застигла их вместе! Он меня ещё не знает!

— Алина Владимировна, вы сделали бы хуже.

— И осенью вы меня отговорили, а как я рвалась! И что результат? Вы видите...

— Такая встреча, если б она имела скандальный конец,— могла бы вызвать огласку.

— А-а, это им двоим страшней, я ни на какой службе! Моё самолюбие — и так уже растерзано! *Он* смел мне изменить, вы подумайте! Посмел предпочесть мне — другую! После десяти лет восхищения, преклонения! Поставить её со мной на одну доску! Меня — жжёт, я не могу на месте, без действия! А вы думаете — сестра не в курсе? Эта святоша конечно соучастница, если не сводница.

— И, наконец, как точно мы ни сопоставили — а вдруг ошибка? А вдруг это, всё-таки, не Андозерская?

— Ну, тогда принесли бы ей извинения, значит — претензии не к ней. Ах, не хватило у меня выдержки тогда осенью, выведать у него самого, уже близко было, я сорвалась. Нетерпение меня срывает. Я б уже тогда поехала, всё ей вылепила! А так — что ж, они и решать там будут без меня?

Тогда — постепенно дознались, кто такая, какая: маленькая, изящная, талантливая, реакционная,— и *уже*, уже много было увлечений. Так тем более — безумец, тем более его надо спасать! Но Сусанна Иосифовна в первую минуту удержала, а потом, как и всякий яркий порыв у Алины — круто обор-

вался, и почувствовала себя мертвецом. И душевного подъёма хватило только — написать ему письмо в Могилёв, это Сусанна одобрила. И забоялась, скисла — как он в ответ? Уже хотела порвать письмо — но отослала, и — новый порыв, чередование! — чувство выздоравливающей: от того, что сама первая разрывает,— легче. Послала письмо — и бросилась в парикмахерскую, менять причёску! И замыслы — о прожигании жизни! И в тот же вечер пошла в театр. Пылать так пылать! И уже в голове кружилась перестановка в квартире, и зрели планы безумств — как иронически-горько отметить близкую годовщину их свадьбы, кого пригласить! Но тут пришла ответная жалобная телеграмма Жоржа. И насколько же легче стало узнать, что и он разбит.

— Но, Сусанна Иосифовна! Но чего ж это всё стоило, если они теперь опять вместе?!

— Что ж я могу, милая Алина Владимировна?.. Я могу только плакать вместе с вами...

Сусанна уже второй раз подавала ей валерьянки сегодня и двадцать раз за эти дни — умеряла жгучую готовность Алины вот отсюда прямо бежать и мчаться в Петроград,— а вот опять порыв опал, как проколотый, Алина утонула в диване и обвисла руками, и теперь Сусанна распорядилась принести, наоборот, крепкого кофе.

Бессильно утопленная в мягком, Алина вялым голосом жаловалась:

— С этих осенних страшных переживаний веду дневник. И записываю — спала ли, и сколько часов. И видно теперь, сколько пережито этих провалов, когда просыпаешься с сосущей болью, живой мертвец, потерян всякий интерес ко всему в жизни. Потом, среди дня, медленно светлеет.

Несчастная женщина, не придумано было её страдание. Ей надо было преподать совсем другую линию женского поведения, но она упрямо не способна была усваивать, а только подбрыкивала по своему наторённому:

— Какой же я была жалкой! Восемь лет я прилаживала себя к его роду жизни, к его занятиям, и эта жертва меня саму и загубила. Я должна была ехать учиться в консерваторию. Как я рано сложила крылья! Мне нужен был простор для развития, а не быть тенью другого. Но у меня в центре жизни была любовь, я привыкла слышать: ты моя необыкновенная, ты моя единственная, ты моя звёздочка! — и верить этому. Я всё пригибалась для него, только в войну стала полноценно жить и дышать — и сразу такой удар?! Ах, дура, почему я не первая изменила ему? Он поймёт, что во мне упустил, но будет поздно! Сусанна Иосифовна, ведь все мы — личности, и я — незаурядный человек, а я так была подавлена! Вот теперь, без него, я только и почувствую себя раскрепощённой. Не хочу деревянеть, хочу играть и петь! А почему я должна сдерживать себя ради изменника? Вы знаете, последнее время у меня находят новое что-то в лице, говорят — глаза...

Она сама не слышала, что говорила.

Сусанна Иосифовна уцепилась за её же выражение:

— Вы правильно говорите: раскрепоститься. Вы попробуйте так и смотреть на всё. Прежде всего вы должны стать независимы от поворотов этой истории. И когда вам больно — научитесь притворяться, что вам не больно. Достойно молчать.

Чего Алина ни разу за эти месяцы видимо не предположила: что это может быть и разгром всей её жизни, а только — что смели кого-то с нею сравнить. И — как ей это высказать? Не отвага её вела — вела слепота. Нисколько не настаивая, вполне теоретически:

— Алина Владимировна... вы знаете, бывает такая мужская черта: с какого-то момента часть внимания переносится на других женщин. Вообще всяких встречаемых женщин. Вы... не допускаете, что ещё раньше всех этих происшествий... ослабло его чувство к вам?

Алина вскинула голову:

— Нисколько! Он по-прежнему меня боготворит! Вы ещё далеко не все письма читали, я могу вам показать! Он безумно меня любит, и он всё равно раскается, но я хочу, чтоб его раскаянье было глубже!

— Вы помните, я и осенью предупреждала вас... А вы настаивали, что женщины — вне круга его внимания.

— Но это — и было так! — сверкнула Алина и выразительно настаивала бровями.— Я совершенно не понимаю, как это переломилось! Что его может оправдать — это только незнание и непонимание женской души.

Она хорохорилась вот так, но уже потерянный был взгляд, и потерян порыв, и кофе не помог. Пригорбилась, вздохнула:

— Да, конечно, теперь он уведен от меня, захвачен... Втянут новым миром, который кажется ему ярким.

Сусанна с зябнущим движением плеч, плечи её как бы раньше всего передавали всякое чувство:

— И, значит, тем более потребуется длительное время, чтоб этот мир стал погасать и распался. Потребуются методические усилия, ваше правильное поведение... Более всего: он никогда не должен видеть вас плачущей и страдающей. У него от вас всегда должно быть ощущение л ё г к о с т и! Не упрекайте, не доказывайте, а молчите, как бы не было ничего. Всегда, при любых обстоятельствах — ощущение лёгкости! И ещё: будьте всегда для него причёсаны. И всегда — новы, всегда загадка,— вы понимаете? — с надеждой смотрела Сусанна.

Но лицо Алины приняло беззащитное, если не плачущее выражение:

— Это — красивый совет, заманчивый со стороны! А как ему следовать, если всё валится из рук? Если чувствуешь себя казнимой?.. Если душат слёзы...

Сусанна, ровно сидя на твёрдом стуле, строго покачивала головой:

— Вам не только нельзя было ехать за ним сейчас, но вы и в Москве не должны его дожидаться, если он вдруг приедет. В таком состоянии вы не годитесь для встречи.

— Это правда! — потерянно-обрадованно схватилась Алина.— Я уеду. Я даже боюсь с ним встречи сейчас. А теперь он не посмеет миновать Москвы.

— Вот-вот. Очень хорошо. А пока следующий раз увидитесь — многое прояснится, установится.

— Но я уеду — и оставлю ему решительное письмо! Что если он немедленно с ней не рвёт, то чтоб я никогда больше не видела ни его самого, ни его вещей в нашей...

— Вот этого не делайте! — живо забеспокоилась Сусанна.— Не повторяйте ходов. Он может взорваться, и эффект будет прямо противоположный.

— Теперь я уверена, что нет! — прихлопнула Алина по твёрдому валику.— Если он не взорвался на то письмо осенью, то и сейчас. Или потеряю безвозвратно, или завоюю навсегда! Ва-банк! — Её глаза сжигались действительно с картёжным азартом.

— Нет! Нет! Нет! — беспокоилась Сусанна.— Вы сделаете только хуже. И кроме того: ничего не узнаете для себя, никаких выводов...

Алина обеими руками взялась за виски и покружила локтями:

— Но как же я о нём узнаю?

И осветилась, и умолительно сложила ладони:

— Сусанна Иосифовна, дорогая! Если он приедет и меня не застанет, и никакого письма — он непременно кинется к вам спрашивать. Так вы — родненькая? — не возьмётесь ли с ним поговорить? Прощупайте его, поймите, узнайте?! А? Сделайте мне такое одолжение?!

И вот так мы затягиваемся в лишние дела, в чужие истории. Совсем ни к чему было Сусанне это посредничество — но и как отказать близкому горю?

— О, спасибо, спасибо вам, милая Сусанна Иосифовна! Это — так, наверно, полезно: посторонний человек, спокойное увещевание. О, повидайтесь! Но,— косая морщина прорезала снова погордевший лоб Алины,— пожалуйста, снисхождения мне не просите! *Выпрашивать* милости я у него не хочу!

— Ну вот именно, ну вот именно! — обрадовалась Сусанна. Украдкой взглянула на часы.

Продолжение следует

Анатолий ЧЕПУРОВ



◆◆◆

Каким хорошим
Был вчерашний день!
Светило солнце,
Холодила тень.

Как шелк, шуршала
В тишине вода.
И мыслилось легко,
Как никогда.

И не было
Житейских мелочей,
Пустых и оскорбительных
Речей.

До звездного сияния
С утра
Во всем была
Гармония добра.

И вволю насладившись,
Посуди:
Ведь это все
Осталось позади.

Ушло в ночную
Голубую тень...
Каким же будет
Наш грядущий день?

Прощание и встреча

Когда-то день, когда-то час настанет —
И сердце вдруг от вечного труда,
Как говорится, здорово устанет
И перестанет биться навсегда.

Прощанием и встречей захотелось
Назвать свои вечерние стихи.
Чуть в синеве земли ржаная зрелость,
Верхи деревьев пламенно тихи.

Горит огонь торжественный и ясный,
И возникают строки в тишине:
Мы встретимся еще в дали прекрасной,
Товарищи, неведомые мне.

◆◆◆

Безмерна даль. Поет весна,
Земля всей грудью дышит.
Над ней шатром голубизна,
Край неба солнцем вышит.

И сердце хочет подарить
Степям раздолье песни.
Но песню можно сотворить,
Когда душа на месте.

◆◆◆

Живу в предчувствии беды,
Порой так тяжело,
Как будто вытеснили льды
На долгий срок тепло.

«Что за несчастие грядет?» —
Спросил я темноту.
«Ты добрым был. Пришел черед
Платить за доброту...»

◆◆◆

Перед Отечеством
Мы все равны
И в мирный год,
И на полях войны,
И на земле родной
И неродной,
Коль посланы туда
Своей страной,
При самых
Знаменитых именах,
При невысоких
И больших чинах,
И в радости, и в горе,
В час любой,
Какой бы
Ни отмечены судьбой,
Всегда, везде,
Богаты и бедны,—
Перед Отечеством
Мы все равны!

Иоанна

У балтийского причала
Неожиданно в строке
Это имя зазвучало
В древнем польском городке.
Ни гитары, ни баяна,
Пело сердце не тая:
«Иоанна, Иоанна,
Иоанна — жизнь моя!..»

В синей дымке под луною
На простор морских дорог
«Иоанна...» — над волною
Нес то имя ветерок.
Ни гитары, ни баяна —
Пело сердце, не тая:
«Иоанна, Иоанна,
Иоанна — жизнь моя!..»

Я не знаю, кто такая —
Иль невеста, иль жена,
Но была душа мужская
В это имя влюблена.
Ни гитары, ни баяна —
Пело сердце не тая:
«Иоанна, Иоанна,
Иоанна — жизнь моя!..»

Я и сам запел негромко,
Не стесняясь никого,
Будто стала незнакомка
Дамой сердца моего.
Ни гитары, ни баяна —
Пело сердце не тая:
«Иоанна, Иоанна,
Иоанна — жизнь моя!..»

Провожая птиц...

Стою у отчего порога.
Клин журавлиный в небо вбит.
У птиц свой зов, своя дорога,
Их жизнь стремительно летит.

Куда они стремятся ныне,
И что им видится вдали?
Просторы вод, пески пустыни,
Пожары взорванной земли?

Они не скажут, не ответят.
Но, может, люди их поймут?
Поймут! И добрым взглядом встретят
Среди любых тревог и смут.

◆◆◆

Мглится тучею просинь,
Дождик брызнул опять.
Ставит на землю осень
Золотую печать.

Будут долгие ночи
И короткие дни.
Но любимые очи
Свет прольют и в тени.

И поверится снова
В то, что жизнь впереди,
И хорошее слово
Заалеет в груди.

◆◆◆

Дубовый листок оторвался...
М. Лермонтов

Увижу
Увядший листок на дороге —
И жалко мне станет его:
Машины проходят,
Касаются ноги,
И пыль не слетает с него.

Но помнятся, может,
Минуты благие,
Когда, сапогами примят,
Лежит он, безмолвный,
А листья другие
Над ним, зеленея, шумят?

Их солнце ласкает,
И шепчется с ними
Идущий с полей ветерок.
И судьбы людские
Бывают такими,
Как этот увядший листок.

Лежит и молчит
От зари до заката,
Но если б язык разумел,
Наверно, сказал бы:
«Шумите, ребята,
Я тоже когда-то шумел!»

Михаил
ЧУЛАКИ

ПРАЗДНИК ПОХОРОН

«Помогите!.. На помощь!.. Убивают же!..»

Ничего страшного — просто за дверью в прихожей живет телевизор. Прихожая просторная, и к тому же нейтральная территория, телевизор здесь не мешает никому в особенности — и мешает всем вместе, потому что слышен везде. Владимир Антонович постарался изолироваться, обил дверь своей комнаты поролоном, но это почти не помогло.

Владимира Антоновича донимает эта бурная телевизионная жизнь, потому что он любит работать дома после работы. А живет телевизор столь полной жизнью, потому что престарелая мамочка ничего так не любит, как смотреть кино и спектакли, так что Владимиру Антоновичу иногда кажется, что продолжается одно бесконечное кино. Что эти консервированные страсти могут кому-то мешать, мамочке в голову не приходит. Ей уже ничего в голову не приходит — только уходит.

Разумеется, и сам Владимир Антонович поддается телевизионным искушениям. Но он любит живые беседы — сейчас таких передач стало много: всевозможные круглые столы, живые эфиры. И вот если ожидается очередной стол или эфир, Владимир Антонович, да и все остальные — и Павлик, сын, и Варя, жена — с трепетом смотрят в программу: а что по другим каналам, не идет ли какой-нибудь фильм? Потому что окончательный выбор всегда за мамочкой — она и вообразить не может, чтобы решала не она. Усаживается и провозглашает:

— Я буду смотреть кино. Сегодня кино — как его?..— ну кино.

Раза два Павлик по молодости и строптивости включал свое — и не разрешал бабуле переключить на кино. Тогда она все равно усаживалась и начинала комментировать: «Ну что за глупости говорят!.. Слушать — и то опасно!.. За что им деньги платят? Безобразие прямо!.. Раньше только умным разрешалось, а теперь всякий дурак болтать может!..» — и смотреть под такое сопровождение было невозможно.

Работать на работе Владимиру Антоновичу почти не удается: там надо читать лекции, вести лабораторные, не говоря о всевозможных заседаниях, потому и приходится заниматься настоящим делом дома по вечерам. Под телевизионный шум. Владимир Антонович изобретает. Или лучше сказать, разрабатывает перспективные направления, потому что изобретательство, в нашем понятии, занятие кустарное, прибежище чудаков и анахоретов, а Владимир Антонович вполне официально работает в Институте автомобильного транспорта, он там единственный специалист по электронике, которой предстоит улаживать отношения колеса с дорожным покрытием: регулировать давление в шинах, определять тормозное усилие для каждого колеса в отдельности, чтобы избежать блокировки — все это уже появляется на экспериментальных образцах где-нибудь в Японии, ну а у нас передовая мысль скована отсталой технологией. «Я в цепях технологии»,— привык повторять Владимир Антонович. Цепи эти сковывают не только появление моделей в металле, но и собственное продвижение Владимира Антоновича: он — доцент, а его профессор занимается проблемами более реальными, зато и постоянно внедряет свои примитивные конструкции. В Японии профессором был бы Владимир Антонович, а его здешний профессор — дай бог, старшим лаборантом.

Бесконечное кино, кажется, прервалось, послышался нормальный голос диктора. Догадалась бы Варя выключить болтливый аппарат! Все бы передышка. Но не суждена передышка — мамочка встала от телевизора и тотчас заглянула в кабинет к Владимиру Антоновичу (в спальню-гостиную-кабинет, но в данный момент как раз в кабинет):

— Почему ты не говоришь, не звонила ли Оленька?

Не то вопрос, не то претензия. Высказала — и тут же мелко сплюнула вслед.

— Потому что не звонила.

Ольга — старшая сестра. Хорошо устроилась: за дорогой мамочкой сама почти не ухаживает, зато очень о ней заботится — по телефону.

Мамочка исчезла, но через минуту голова ее просунулась снова:

— Мне только справку: Оленька сегодня звонила?

— Нет. Ты же только что спрашивала!

— Я все прекрасно помню, у меня идеальная память... Вот у тебя форточка напрасно открыта: опять простудишь гланды.

Черт! Мамочка так и не смогла усвоить, что он уже вырос, что не нужно ему делать замечаний, не нужно его опекать! Вовсе это и не забота — про «гланды» (и слово какое-то почти исчезнувшее) — это потребность сказать, что он что-то делает не так. Оказалась бы форточка закрытой, тоже сделала бы замечание: «зачем не проветриваешь? У тебя жарко!»

— Ты забыла, что у меня с десяти лет не осталось никаких гланд.

— Я ничего не забываю, у меня идеальная память.

— То-то ты за минуту два раза спрашиваешь об одном и том же со своей идеальной памятью.

Раньше и думать нельзя было предъявить мамочке какие-нибудь претензии! Но теперь она все равно сразу забудет, что́ ей говорилось.

— Я не спрашивала об одном. Я просто зашла спросить. Навести справку.

— О чем?

Глупо, конечно, пытаться доказать мамочке, что она ничего не помнит.

— О том, о чем спрашивала.

— Ты два раза подряд спросила, не звонила ли сегодня Ольга. С интервалом в одну минуту.

— Вот-вот, правильно! Я прекрасно помню, о чем я спрашивала. Просто оговорилась. Я хотела справку, не звонила ли тоже Сашенька?

Сашка — племянница. Девица весьма бойкая и решительная, вся в Ольгу, так что полумужское имя ей очень идет. И так же, как Оленька — любимая дочка, Сашенька — любимая внучка. Павлик — куда менее любимый внук — наверное, потому что постоянно на глазах.

— Нет, и Саша не звонила. Извини, я работаю.

— Кто тебе не дает? Я сама тебя воспитала, что работа — главное в жизни.

Мамочка снова сплюнула и исчезла.

Сплевывает она постоянно. Не грубо харкает, а почти незаметно избавляется от капли слюны — таким движением, словно соринку с губы сдувает. Но все-таки сплевывает. Пока мамочка работала, она строжайше соблюдала официальность во всем, в том числе и в медицине, не признавая никаких отклонений «от рекомендаций профессуры», но уйдя на пенсию, стала впадать в медицинские ереси, читать гуляющие по рукам шарлатанские рукописи и вот где-то вычитала, что «со слюной выделяются из организма грязные шлаки» и потому слюну ни в коем случае нельзя проглатывать, но нужно «выделять естественным путем» — попросту говоря, непрерывно плеваться. Что она и делает. Потому что очень заботится о своем здоровье и хочет прожить еще долго. Про то, звонила ли сегодня любимая дочка — не помнит, но, что нужно «выделять слюну естественным путем», не забывает ни на минуту!

Впрочем, полбеды, если бы только сплевывала. Жить бы и радоваться, если бы только сплевывала! Нет, каждую минуту может произойти и худшее. Точно, не прошло и получаса, как снова открылась дверь, но на этот раз заглянула Варя.

— Пойди полюбуйся: опять мыть после нее!

«Она», «вее» — в их семье понятно, о ком речь. И почему надо мыть пол, надо застирывать белье — тоже понятно без дальнейших объяснений. У совсем еще маленьких детей и совсем уж маразматических стариков «конечные продукты обмена», как иронически формулирует Павлик, выделяются беспорядочно. Ну, стирка пеленок, хотя и утомительная работа, но все же и милая — о пеленках легко говорят с друзьями, о пеленках острят юмористы. И запахи детских выделений — совсем другие запахи. Смешно вспоминать, но пока Павлик пачкал пеленки, запах его младенческого кала Владимиру Антоновичу даже нравился: что-то чудилось свежее, здоровое. Совсем не то — старческие недержания. Войдешь в квартиру со свежего воздуха — сразу поражает застоявшийся запах. Потом, правда, когда посидишь, перестаешь ощущать. Но все равно неудобно позвать людей в гости — ну кроме самых близких. Уже года три почти никто и не приходит. К Павлику девочки не заглядывают — тоже, небось, стесняется, гуляет где-то на стороне. Когда Сашка в качестве любимой внучки явится раз в месяц, всегда капризно выговаривает двоюродному брату: «Ну, Павка, живешь как медведь! Все бы у тебя здесь перетрясла!»

Еще счастье, что квартира у них трехкомнатная: у Павлика своя комната, у Владимира Антоновича с Варей большая семнадцатиметровая и у мамочки своя. А если бы не было у мамочки отдельной комнаты, кто бы выдержал с нею вместе? К ней и войти-то страшно: все разбросано, куча каких-то тряпок преет в углу, любимые мамины



Рис. И. Дяткиной

пластинки (вторая ее страсть после телевизора — проигрыватель) валяются прямо на вечно не прибранной кровати. Сколько Варя пыталась наводить порядок — бесполезно. Ольга, бывает, зайдет, нашумит по своему обыкновению, чего-то повыкидывает — через два дня та же куча тряпья на том же месте. А прямо сверху кучи, опасно накренившись — громадный чемодан, каких теперь уже и не купишь: картонный, оклеенный сверху не то коленкором, не то дерматином, с прибитыми уголками. Мамочка постоянно роется в своем знаменитом чемодане, а когда он окончательно съезжает на пол, зовет Владимира Антоновича поднять его и взгромоздить на тумбочку, с которой этот монстр непостижимым образом снова перекочевывает на кучу тряпья.

Обо всем этом неудобно говорить с посторонними — да, наверное, и не нужно,— но это есть, это каждодневная жизнь, никуда от такого бедствия не спрячешься. Судьба. Как раньше выражались: крест.

Кстати, крест этот имеет дополнительную перекладину: пачкает не только мамочка, но и ее любимая кошка Зоська. Зоське не то четырнадцать, не то шестнадцать лет, она тоже уже выжила из ума — и часто забывает дойти до уборной, где в углу и ее поднос с рваными бумажками. Давно надо было бы усыпить впавшую в маразм кошку, но мамочка не дает, мамочка повторяет, что ее Зосенька необыкновенно умная. И мамочка же за Зоську прячется: если Варя не выдерживает и тычет мамочку носом в очередную лужу (фигурально, разумеется!) мамочка всегда кричит: «Это не я, это Зоська!» Сколько Владимир Антонович ни повторял, что бесполезно ей говорить, все-таки раз в месяц примерно Варя не выдерживает.

А Владимир Антонович каждый раз старается быть справедливым. И сейчас он переспросил в ответ на Варин рапорт:

— А это действительно она? Не кошка?

— Что я — отличить не могу?! Могу пойти лаборанткой: любой анализ мочи на глаз сделаю! И говна!

Варю словно утешают грубые слова: да, возится она каждый день с говном и не желает как-то смягчать картину! Варя — филолог, она знает цену словам.

У Вари мать умерла пять лет назад. Умерла легко, заснула и не проснулась, и была до самой смерти в достаточной памяти — во всяком случае, в чистоте сама себя содержала. И Варя теперь словно бы гордится легкой смертью своей матери, вслух не говорит, но подразумевает: моя мать не была обузой, а твоя... Словно бы Владимир Антонович виноват.

— Ты ж знаешь, не пойду я любоваться,— со вздохом сказал он.— Могла и не докладывать.

— А мне, думаешь, приятно без конца за ней убирать? Не убирала б всю жизнь, стала бы кандидатом не хуже тебя!

— Хорошо, и уберу. Но просто так любоваться — ни к чему. Не Эрмитаж.

— У нас не Эрмитаж — это точно! Сиди уж. Ты уберешь — только размажешь.

Называется — высказалась, отвела душу.

И не осудишь ее: кому действительно достается, так ей. Недавно нечаянно подслушал, как она выплакивалась по телефону какой-то подруге:

— ...ты ж знаешь, как я живу. Постарела за эти три года — лет на десять. Она уже давно не в себе, но последние три года: стирка и уборка, стирка и уборка — вот и вся жизнь. Я теперь если на улице вижу старуху, у меня одна мысль: доносит она до уборной или не доносит? Главная характеристика человека...

Владимир Антонович тихо отошел и постарался плотнее закрыть дверь. А потом всматривался Варе в лицо: и правда, до чего же постарела! Каждый день видишь — не замечаешь...

Только-только Владимир Антонович немного поработал спокойно, послышался звонок в дверь. Кого это привесло? Слышно было, как Варя открывает, неразборчиво разговаривает — и тут же заглянула снова. Ну невозможно же так!

— Пожалуйста, там этот несчастный Жених заявился. Как всегда — в дугу. Прикажешь пускать?

Нижний сосед, интеллигентный алкоголик лет пятидесяти. Инженер. Мамочка с ним познакомилась в лифте года два назад, и с тех пор он регулярно является к ней с визитами — всегда под градусом. Вот Варя и объявила однажды: «Жених у твоей мамочки завелся!» Прозвище прилипло, и никто теперь иначе соседа не зовет. Ольга с Свшкой приходят, тоже спрашивают: «Как Жених — ходит исправно?» А на самом деле Жених является, чтобы читать стихи. Он их производит в несметных количествах, а мамочка — чуть ли не единственная во всем свете, кто соглашается их выслушивать. И сама в ответ читает — Пушкина. Она со школы знает наизусть несколько стихотворений и обожает их повторять в доказательство своей идеальной памяти.

— Да пусти, конечно. Чего каждый раз спрашивать?

— Твоя мать — ты и должен решать, нужно ли ей общаться с пьяницей. Тихий-тихий, а когда-нибудь померещится ему — и стукнет ее по голове. Тем же Пушкиным.

У мамочки среди тряпья валяется огромный однотомник Пушкина послевоенного

издания — тогда печатали такие книжищи на газетной бумаге. Вот уж кирпич так кирпич!

— Я же не могу ее ограничивать. С кем хочет, с тем и водится. Взрослый же человек!

Мамочка в свое время очень даже мешала ему водиться, с кем он хочет. «Потому что я отвечаю как мать и старший товарищ!» Ну, а Владимир Антонович мстит ей теперь великодушием: мог бы держать немощную старуху как бы под домашним арестом, не пускать знакомых, тем более таких — но *он* уважает ее свободу.

— Ну смотри. Я предупредила.

Жених прошаркал по коридору, и через минуту послышалось монотонное завывание — это стихи свободно потекли, а закрывать дверь в свою комнату мамочка ужасно не любит.

Все-таки забавно, что она познакомилась с этим Женихом, что общается с ним — хотя бы и на поэтической почве. Как старость меняет людей! Прежде и помыслить невозможно было, чтобы она познакомилась в лифте: «Я с незнакомыми не знакомлюсь!» И вообще она всегда казалась почти что бесполой.

Мамочкин мимолетный муж — первый и единственный — отец Ольги и Владимира Антоновича, был геологом. Может быть, у мамочки в душе шевельнулись робкие ростки романтики, когда она его встретила: все-таки «геолог» тогда звучало почти как «летчик» или «полярник». Романтическая специальность Антона Гусятникова позволила ему исчезнуть незаметно, как бы раствориться: экспедиции становились все длиннее, на побывках он казался посторонним жильцом — и наконец после особенно долгого отсутствия пришло какое-то письмо... Алименты поступали исправно, сам же геолог потерялся среди необъятных просторов нашей Родины. Скоро и Оля с Володей перестали спрашивать: «А когда приедет папа?», а мамочка, погрузившись в работу, похоже и не помышляла о поисках мужа — прежнего ли, нового ли — безразлично. Владимир Антоноаич ни разу не видел мамочку кокетничающую, мамочку в легкомысленном платье: служебные платья-костюмы напоминали офицерскую форму, и, когда мамочка шла в баню,— в старой их коммунальной квартире не было ванны,— юный Володя ощущал смутное беспокойство: что-то не так, не должна мамочка при людях раздеваться, это для других женщин естественно — раздеваться, а мамочке — неприлично, ее платья-костюмы казались приросшими к ней. И когда узнавал в школе волнующие и постыдные тайны пола, казалось, они не имеют никакого отношения к мамочке, казалось, та устроилась как-то иначе, нашла Олю с Володей уже готовыми — не в капусте, разумеется, а в каком-нибудь официальном учреждении. И когда прошел у них по классу слух, что одна девочка — не родная дочка у родителей, а взятая из детдома, Володя тайком боялся: а вдруг он тоже из детдома?!

(Интересно, что и Ольга отчасти повторила мамочкину судьбу: ее муж тоже оказался мимолетным, тоже предпочел откочевать в бескрайние просторы, хотя и не затерялся совсем: известна точка его местонахождения — Тюмень. Вот на́ тебе, повторила, хотя мысль о том, что ее платья к ней приросли, не могла мелькнуть ни на секунду!)

Про мамочку тоже в свое время пустили слух — и куда более зловредный, чем про детдомовское происхождение той девочки. Какой-то доброжелатель во времена первого разоблачения культа объявил, что мамочка просто-напросто засадила своего мужа, донеся на него за какой-то анекдот — до того она была убежденной и преданной! Но это чистая клевета. Если бы отец сидел, не было бы никаких алиментов. Мамочка действительно была убежденной и преданной, но муж сбежал от нее сам — и не столько, по-видимому, из-за ее убежденности, сколько из-за неженственности. (Хотя свойства эти — убежденность и неженственность — в сознании Владимира Антоновича соединились навсегда: кокетливая обаятельная женщина, по его понятиям, не может быть глубоко убежденной! Что поделаешь, людям свойственно свой личный опыт распространять на всю эпоху, на целое поколение.)

Уже настало время ужинать, а Жених не уходил: доносилось и доносилось его поэтическое подвывание. Впрочем, церемониться с ним никто не собирался: читает — и пусть зачитывает мамочку до потери сознания, звать его пьяного за стол, разумеется, невозможно. А мамочка, раз занята с Женихом, поест после — даже и хорошо, а то ведь у нее привычка и за столом каждую минуту слегка сплевывать — не очень-то приятно сидеть с нею.

Владимир Антонович пошел на кухню — и тут как раз подвывание Жениха сменилось мамочкиным громогласным чтением. Она и всегда говорит громко, а уж стихи читает — словно в рог трубит:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгий вид,
Невы державное теченье,
Передовой ее гранит.
Твоих наград узор чугунный...

Павлик тоже услышал и развеселился:

— У бабули всегда все передовое — иначе не отрапортовать. А представляешь, если бы награды были чугунными! Кто бы мог носить? Сколько она себе медальку хлопотала — так она ж алюминиевая небось?

Мамочка всю жизнь проработала на мелких должностях в исполкоме.

Приятно, что Павлик дома. Редкий случай. Владимир Антонович прекрасно помнит притеснения, которым сам подвергался в молодости, когда должен был о каждом своем шаге отчитываться перед мамочкой, и потому сам никогда не допытывается, где был Павлик, с кем, когда вернется. Если вообще дома не переночевал — тоже не страшно: взрослый уже парень, на четвертом курсе. Сам не допытывается и Варе не разрешает, хотя очень хочется знать: где и с кем?! Поэтому и разговоры с сыном выходят какие-то дипломатические, состоящие из косвенных вопросов:

— Ну как поживает бунтующее поколение?

— Ну уж бунтующее. Реплики в публику иногда себе позволяем, не более того.

Павлик когда-то пытался поступить в театральный, потому у него мелькают иногда сценические сравнения. С театральным не вышло, но все-таки он постарался устроиться поближе к искусству: учится на киноинженера.

— Каковы же последние реплики? Твои в частности?

— Да все те же: чтобы вволю было воли!

Это означало: не лезьте в мои дела.

Варя вмешалась:

— Давай-давай, торопись: женишься, ребенка родишь — никакой тебе воли не останется.

— Намек понял: я вас держу в неволе, дорогие предки. А я-то думал, что вы меня.

— Взаимно. Все друг друга держат взаимно.

Владимир Антонович не просто нашел компромисс в лучшем дипломатическом стиле, он высказал выстраданное убеждение: действительно же, все друг друга держат, все друг с другом связаны, и чем ближе — тем теснее связаны, тем чаще мешают друг другу — и толкаются, и невольно ударяют локтями...

Кажется, Варя тоже хотела что-то сказать по тому же поводу, но Павлик вдруг привстал, прижал пальцем губы — мол, тсс! — и вышел на цыпочках. Слух у него молодой, да и сидел он у самой двери, ловил краем уха голоса из бабушкиной комнаты. Вернулся он через минуту — торжествующий:

— Слушайте новый шедевр! Начало я упустил, но все равно:

Целовался, нежность расточая,
Чуждым бедрам и чужим устам.
Ты ж всегда ждала за чашкой чая,
От забот всей плотью подустав.

«Чуждым бедрам и чужим устам», а?!

— «От забот всей плотью подустав»,— возразила Варя.— Очень даже образно. Этот Жених понял женскую душу: знаете, как устаешь всей плотью от бесконечных забот!

Женщина не может не пожаловаться. Владимир Антонович не стал спорить, наоборот, как бы подхватил за Варей:

— Действительно, мамочкин Жених прав: когда своя плоть подустала, невольно обратишься к чуждым бедрам!

Дорогая мамочка воспитывала его в чопорности: нельзя было не то что заговорить дома «о чем-то таком», но и подумать трудно! Потому Владимир Антонович постарался, чтобы Павлик не знал никаких дурацких табу, чтобы он-то никогда не мог подумать, будто родители нашли его уже готовым. Сделали! Вырастили из двух клеток! И это естественно, а значит — прекрасно. А сам Владимир Антонович, когда случается пошутить на «такие темы», испытывает чувство свободы: да, он шутит о чем хочет и плевать ему на ханжеские запреты!

Варя тоже любит разговоры «ниже пояса», и потому ответила с удовольствием:

— Ничего, плоть отдохнет и опять готова к употреблению. Как в анекдоте, помнишь? «Мы тоже страстные, нам просто некогда».

Как хорошо, что они смеются *об этом* вместе с сыном: меньше шансов, что Павлик будет когда-нибудь чуждаться их так же, как нынче Владимир Антонович чуждается своей мамочки.

Они втроем еще не отсмеялись, когда в дверях кухни замаячил Жених.

— Д-до свиданьица. Спасибо. Оч-чень душевно поговорили. Оч-чень душевная женщина. Первая меня поняла. Скоро и другие. Еще все увидят. П-поздние поэты тоже бывают. Тютчев тоже поздно. Сейчас везде выходят такие — народные. Хватит, нас душили официальные. Смешно: поэт — официальный. Везде чиновники — и поэты-чиновники. А теперь хватит!

Жених явно собрался говорить долго. Ну да лаконичных пьяниц свет, наверное, еще не видел. Владимир Антонович встал.

— До свидания. Спасибо, что заходите. Мамочка вас любит.

— З-замечательная женщина! Душевная! Хорошо вам с такой мамой! А моя в стихах ничего не пендрит. Ничего! Ей не понять.

— Да-да, спасибо.

Владимир Антонович теснил Жениха, и тот наконец оказался на площадке.

— З-замечательная женщина.

— Да-да, спасибо.

Слава богу, удалось закрыть дверь.

— «Целовался, нежность расточая, чуждым бедрам и чужим устам»,— пропел Павлик.— И как только бабуля поощряет такие вульгарные стихи?

— Действительно, все перевернулось,— в недоумении сказала Варя. Есть такой оттенок: недоуменное осуждение.— Чтобы раньше она потакала такому, с позволения сказать, поэту. Мало того что неофициальный, так еще ругает чиновников! Помните, как она любила жаловаться? «Ходят всякие в исполком, разводят стихийность!» Вот уж ничего не осталось от человека, если уже и стихийности не боится.

— И вульварности! — гнул свое Павлик.

А Владимир Антонович подумал о матери этого Жениха. Милая старушка, каждый день таскает тяжеленные сумки. Часто Владимир Антонович догоняет ее по пути от универсама к дому и всегда помогает донести. И вот, оказывается, Жених ею недоволен, мать, видите ли, его не понимает. Зато мамочка Владимира Антоновича для Жениха — «замечательная женщина». Владимиру Антоновичу бы такую — тихую, вечно копошащуюся по хозяйству, каждый день из последних сил семенящую по магазинам. Да, ему бы такую, наверное, Владимир Антонович искренне бы ее любил. Или закон такой, что легче любить чужую мать, чем собственную?

Никогда и никому он не признавался, что не любит свою мамочку. Ведь матерей полагается любить. Официально признанное «самое святое чувство». Во многих вольнодумствах Владимир Антонович с легкостью признается в наши либеральные времена — но не в этом.

Мамочка появилась сразу после ухода Жениха — торопилась поесть. В старости она стала очень много есть, весит уже сто килограммов. А до пенсии была худой и стройной, блистала офицерской выправкой в своих строгих платьях-костюмах.

— Что там у тебя? Положи мне тоже!

Мамочка обожает, чтобы за нею ухаживали. Как будто трудно самой положить себе на тарелку. Варя утверждает, что лень.

— Клади сама, сколько хочешь. Перед тобой же кастрюля.

На самом деле: Владимиру Антоновичу или Варе пришлось бы тянуться через стол, а мамочке только руку протянуть. Или совсем уж она не замечает ничего перед носом, или это фантастическая лень.

Мамочка наложила себе целую пирамиду макарон с мясом, сплюнула и стала поспешно есть. Редкие ее зубы не удерживали макарон, те падали обратно — в тарелку и мимо,— мамочка подбирала и снова запихивала их в рот,— зрелище неаппетитное.

А тут еще явилась Зоська, запрыгнула мамочке на колени и стала хватать мясо из ее тарелки — совсем обнаглела кошка! Владимир Антонович отодвинул свою тарелку: не мог больше есть.

С полным ртом мамочка еще и пустилась в разговоры:

— Вот видишь, не забывают меня. Приходит человек, делится. Приятно, когда еще нужна людям. Я всегда умела работать с людьми, Иван Павлович много раз говорил. Отмечал публично на собраниях.

Иван Павлович служил чином выше, занимал, кажется, даже отдельный кабинет, и в то же время мамочка «дружила с ним домами»: бывала у него в гостях, да и он раза два почтил ее по случаю каких-то праздников.

— Помнишь, мне всегда были два раза в год грамоты! А грамоты зря не давались!

— «Твоих наград узор чугунный»,— негромко процитировал Павлик.

Мамочка не расслышала.

Она горячилась, вспоминая, и обращалась при этом к одному Владимиру Антоновичу не потому, что хотела обидеть Варю или Павлика — просто она не понимает значения таких нюансов: «вот видишь» сказать или «вот видите». А Варя обижается каждый раз. Павлик — нет, Павлик давно уже не принимает свою бабулю всерьез, а Варя никак не может понять, что на мамочку обижаться бессмысленно. И теперь она с удовольствием отозвалась:

— Этот ваш...— она не сказала «Жених» — этот ваш поэт, который не забывает, он алкоголик несчастный! Его из дому гонят, вот он и ошивается.

— Вы не умеете судить людей. Я всю жизнь проработала с людьми, я их понимаю с первого взгляда! Очень интеллигентный человек, стихи прекрасные пишет.

Павлик подавился от смеха. Пришлось постучать ему по спине.

Варя заварила чай и полезла в буфет доставать сладкое. И тут же демонстративно вытащила какой-то мешок, держа его, как держат нагадившую кошку.

— Я же вас сколько раз просила: если уж накупили ваших батончиков, вы их ешьте. Смотрите, черви завелись. Только вчера такой же мешок выкинула — и снова. А вообще вам вредно — и при вашей полноте, и для желудка. Мы заботимся о вас, а все заботы насмарку.

Неизвестно с чего, но в старости мамочка вдруг полюбила соевые батончики. Пока еще сама выходила, обязательно покупала, забывая, что еще не съела предыдущие. Три месяца уже не выходит с начала зимы, так напутствует всех: «Не забудь купить батончики!» Варе однажды пришло в голову, что соя слабит, и тогда составился заговор вообще не покупать мамочке эти батончики. Но мешки с ними и до сих пор попадаются где угодно — столько она их запасла в свое время. Да и Жених в сильном подозрении: что пополняет мамочкины запасы.

— Я батончики меньше всех ем. Может быть, штучку в день. Я прекрасно помню, где кладу, у меня идеальная память. Это Павлик их покупает и всюду разбрасывает. Потому что не воспитали в нем аккуратности, я всегда говорила. Вот Володю я воспитала в аккуратности! — и мамочка победоносно сплюнула.

Владимир Антонович досадливо дернулся: ему всегда неприятно всякое напоминание о мамочкином воспитательном гнете. Дернулся, но промолчал, чтобы избежать бесполезных разговоров. Зато Павлик ответил:

— Я и в уборной за собой не спускаю, такой невоспитанный!

Дело в том, что мамочка за собой не спускает. От нее этого никто и не требует: донесла по назначению — и слава богу!

— Да уж, приходится мне за всем следить! — подтвердила мамочка.

Владимир Антонович очень выразительно взглянул на Павлика — и тот, наконец, ничего не ответил.

Некоторое время пили чай молча. Слышались только громкие чмокающие звуки — всякую жидкость мамочка засасывает, словно помпа.

Зоська, видать, не нахваталась мяса из мамочкиной тарелки и решила попробовать чаю. Она протянула лапу, коснулась горячего, резко отдернула — так что капли разлетелись по столу, попадая в другие чашки, в варенье.

— Кыш! — замахнулась на нее Варя.— Совсем обнаглела! Как можно так кошку баловать? Мы же договаривались, чтобы вы не пускали ее за стол!

Зоська спрыгнула с мамочкиных колен и убежала, а Варя никак не могла успокоиться:

— Вот, придется выкидывать варенье! Заплевала! И вообще одна грязь от нее! Старая уже, слюни текут. Зачем она такая? Когда животные дряхлые, их полагается усыплять! Чтобы сами не мучились и других не мучили.

— Зоська давно в маразме! — захохотал Павлик.

Мамочка вдруг прекратила засасывать чай, сплюнула два раза и сказала как-то особенно — без той назидательной интонации, с какой повествовала про воспитание аккуратности:

— Я тоже старая... Вы бы меня тоже — с удовольствием!

С минуту, наверное, никто ничего не решался сказать. Потом Варя заговорила поспешно:

— Что вы говорите! Вы уж, действительно, сами не понимаете! Я только про кошку, потому что шерсть, слюни текут, лужи делает... Столько делаешь для всех... и для вас, между прочим, тоже, и вот вместо благодарности... Убираешь-убираешь...

Варя встала и быстрыми шагами ушла в ванную. Слышно было, как потекла вода. Необходимо было что-то сказать и Владимиру Антоновичу.

— Ты действительно, мамочка. Варя столько делает, на ней все хозяйство. Нельзя же так. И убирать ей приходится, если уж откровенно.

— Варя убирает за Зоськой — и теперь говорит, чтобы усыпить. Варя убирает за мной — и думает то же самое. Только пока не говорит.

Бывают такие минуты — просветления. Вдруг возвращается логика. У мамочки и глаза блеснули, и спина распрямилась.

Но только минуты. Видно, такое просветление требует очень много сил. И вот глаза снова сделались мутными, спина согнулась, мамочка привычно сплюнула и заговорила нормальным своим поучающим тоном:

— Чего убирает? Кто убирает? Все я прекрасно делаю сама. Соблюдаю исключительную гигиену. Теперь не знает молодежь исключительной гигиены!

Владимиру Антоновичу сразу стало легче: потому что невозможно было даже минуту прожить под пронзительным всепонимающим взглядом. А так — все нормально: ничего мамочка не понимает, несет обычный бред.

Павлик тоже словно бы простоял минуту под рентгеном. И тоже облегченно захохотал:

— И Зоська соблюдает исключительную гигиену! Которой нынешняя кошачья молодежь не знает.

— Да, исключительную гигиену,— с убежденностью подтвердила мамочка и несколько раз мелко сплюнула.

Вернулась Варя из ванной. Владимир Антонович попросил ее глазами: не продолжай опасную тему! Варя ухмыльнулась и принялась мыть посуду, но как-то особенно — *демонстративно*,— только женщины так умеют. Спина, мелькающие локти — все сделалось необычайно красноречивым: вот, убираю, вся жизнь здесь у раковины! Но мамочка безмятежно досасывала чай, не замечая предназначенной ей демонстрации.

А Павлик продолжал веселиться — словно представление давалось специально для него: и Варина демонстрация, и жадное чавканье бабули. Он еще убежден, что мир создан для него, что мать обязана готовить для него, убирать за ним, что бабушка должна юродствовать перед ним. Владимир Антонович давно уже потерял подобную счастливую уверенность, он уже не убежден, что жена должна быть служанкой,— так принято, так везде делается, и в их семье тоже, но уверенности в своем неотъемлемом мужском праве у него нет.

— А что нынешняя кошачья молодежь слушает, какую музыку? — резвился Павлик.— А, бабуля? Небось, и нынешние коты распевают не так, как прежде?

Мамочка не уловила, что речь идет о котах. До нее дошло только слово «распевают».

— Да, раньше пели лучше. Душевнее. Жизнь была душевнее, люди любили друг друга.

— То-то доносы строчили друг на друга. От любви.

— Когда враг, надо сообщать. Органы разберутся. Врагов, знаешь, сколько было! Да и сейчас.

Про хрущевские и позднейшие разоблачения мамочка забыла. Или никогда по-настоящему в них не поверила. Еще в те времена, когда была в здравом уме, всегда повторяла одно и то же: «Врагов, знаешь, сколько было? Настоящих! Когда кругом империалисты! Кирова убили, Горького убили. Отравили. А если иногда ошибались органы — так все ошибаются, кто работает. Больше работают — больше ошибаются. Просто работы было очень много!» И бесполезно было спорить.

Владимира Антоновича всегда приводит в растерянность, когда кто-то не понимает истин, для него очевидных. Теоретически он согласен, что сколько людей — столько и мнений. Но на практике — всегда кажется, что есть мнения бесспорные, факты доказанные, о которых нечего спорить. Но вот встречается человек, для которого бесспорная убежденность Владимира Антоновича — вовсе не убежденность. Непонятно и досадно! Да ладно бы какой-то отдаленный человек, а то собственная мамочка. Конечно, надо считаться, что мамочка иначе воспитана, что ей твердили десятки лет про врагов, что собиралась она на собрания, голосовала — за то, чтобы осудить, за то, чтобы расстрелять! (Только ли голосовала? А что, если и сама писала, сигнализировала?! Страшно представить! Владимир Антонович никогда не решался спросить об этом прямо — да и не призналась бы мамочка. Не решался спросить, решил для себя сам: такого быть не могло, доносов мамочка не писала! Вот ведь не написала же про своего мужа, слухи об этом — явная клевета. А раз не написала про мужа, значит, и вообще не писала — не очень логично, но утешительно...) Да, надо считаться с воспитанием, считаться с тем, что всю жизнь мамочка была чиновницей — и, следовательно, психология ее консервативная, охранительная. Но все же должна она была как-то осмысливать объективные факты — не сейчас, а когда еще была в состоянии осмысливать. А на мамочку никакие факты не действовали, она верная сталинистка. Действительно — культ, действительно — религия. Вера превыше разума — известно давно.

Вера и любовь. Когда-то мамочка рассказывала совершенно простодушно: «Вот повторяют: „верили, верили". Верить мало, а мы любили. Верили, конечно, безгранично: что мудрее всех, что видит то, чего мы не видим. Но мы любили. Внешность его, голос. Самая родная внешность. Да ты посмотри на лицо — ведь такого же нет второго, единственное на свете! Он наверху, недоступный, но если бы сказал слово — пойти и умереть! И было бы счастье — умереть по Его слову... А как теперь живут, когда ничего святого? Ни в кого не верят, никого не любят кроме себя. Пустыня в душе». Во какое красноречие вдруг прорезывалось! И глаза сияли. В такие моменты мамочка из вечной чиновницы, из существа почти бесполого превращалась во влюбленную девушку. Когда-то говорили про монашек — «невесты Христовы». Владимир Антонович долго не понимал, до чего же точно это выражение: потому что не просто бежали те монашки от мира, от горестей жизни — нет, они были влюблены в Христа как в возлюбленного! Многие. Понял он это, глядя на мамочку в такие моменты — ни о ком и никогда она не говорила так! Никогда она так не любила мужа — это ясно, но даже на маленького сына никогда не смотрела она такими глазами — по крайней мере, не помнит такого Владимир Антонович. Поистине — «невеста Сталинова».

(Владимир Антонович однажды живо представил, что случилось ужасное чудо, что

Сталин ожил и едет в открытой машине по Невскому — под пуленепробиваемым колпаком, разумеется. И вот сбегаются к нему восторженные полусумасшедшие старухи и старики — на костылях, на креслах-каталках. Сюжет для Гойи.)

От всех этих разговоров у Владимира Антоновича разболелась язва. Нормальные язвы болят до еды, но от самого вида мамочки, от ее разговоров язва Владимира Антоновича часто разболевается и после. Язва — объективный индикатор, вроде сигнальной лампочки — заболела язва, значит, раздражение проникло в самую глубину организма, в глубину, где воля не властна, где действуют таинственные законы притяжения и отталкивания, заставляющие нас любить и не любить.

А Павлик все не мог уняться:

— Органы — это жутко интересно. И те, и другие. Недаром тот гинеколог из анекдота представлялся, что работает в органах — перекрестные понятия. А литература какая самая растрепанная? Детективы и порнуха — обе которые про органы.

Для мамочки это слишком длинно, она уловила только последнее слово:

— Про органы нам знать не положено. Они на особом положении. Чего нужно, они сами узнают.

Владимир Антонович встал.

— Спасибо. Пойду еще займусь, если получится.

Скоро квартира заполнилась страстными вздохами оркестра, затем вступил детский хор с игрушечным военным маршем — мамочка поставила свою излюбленную пластинку. Ладно, это все-таки лучше, чем очередное кино.

Когда мамочка не смотрит телевизор, она слушает пластинки. Зная ее служебное прошлое, нужно было бы ожидать, что она больше всего любит бодрые советские песни, но нет — мамочка всегда слушает оперы. Любимых опер у нее несколько, но самая-самая — «Пиковая дама». И слушает мамочка всегда не какие-нибудь избранные места, а заводит с начала до конца, а по окончании всегда объявляет с мечтательным вздохом: «Нет, все-таки какой гений Чайковский!» «Онегина» она тоже слушает довольно часто, но после «Онегина» почему-то не объявляет о гениальности Чайковского. Еще среди ее фаворитов «Риголетто», «Фауст», «Аида» и «Иоланта». Сколько можно слушать одно и то же?! Владимир Антонович подарил ей нарочно «Бориса Годунова» и «Богему» — мамочка два дня сообщала всем знакомым по телефону, какая у нее заботливая дочь Оленька, дарит ей прекрасные оперы, но ни «Бориса», ни «Богему» так, кажется, ни разу и не завела.

Пора уже было ложиться, а мамочка дослушала только до сцены в спальне старухи-Графини. Сама она не остановится, тем более, что день и ночь она различает смутно. Пришлось Владимиру Антоновичу идти в спальню к мамочке и сообщить, что уже поздно, что стучат верхние соседи: от просьбы самого сына или невестки она бы отмахнулась, но вот права соседей уважает.

Едва он показался, мамочка сказала торжествующе:

— Ага, ты мне поможешь поднять чемодан!

Знаменитый чемодан опять съехал с кучи тряпья и стоял на полу раскрытый. Стало видно, что половину его занимают связанные в пачки открытки — мамочка хранит все поздравления чуть ли не со школьных лет. Владимир Антонович взгромоздил неизбежный чемодан на тумбочку и сообщил про протесты соседей.

— Ах, жалко не узнаю, чем кончилось,— сказала мамочка.

Ну не могла же она забыть — даже в теперешнем беспамятстве! Значит, и в тысячный раз она переживает оперу, словно в первый.

— Германн застрелится от такой жизни,— сообщил Владимир Антонович.— Старуха его доведет.

— Да, Чайковский все-таки гений,— вздохнула мамочка, никак не комментируя печальный конец Германна.

Раздеваясь, Варя говорила:

— Она всё прекрасно помнит и соображает, напрасно ты думаешь. Просто притворяется, когда ей выгодно. Вымыть посуду — сил нет, а для своей драгоценной Олечки ворочать чемоданы, рыться в барахле — силы есть!

— Она всегда зовет меня или Павлика поднимать чемодан. Вот только что.

— Конечно, зовет, когда вы рядом. Она пальцем не шевельнет, когда можно заставить кого-то. А когда одна — ворочает не хуже грузчика!

Отчасти Варя права... Потом ночью Владимир Антонович просыпался и слышал шарканье за дверью — мамочка всегда встает по ночам, даже иногда по нескольку раз: и в уборную, и просто так. Варя тоже проснулась.

— Ну что? Идти смотреть, чего она там наделала? Не нужно ли убрать? Нет у меня сил каждый раз вскакивать!

— И не надо.

— А засыхать будет до утра, впитываться? И так невозможно войти в квартиру — будто входишь в общественный туалет. Еще счастье, что у нас кухня электрическая: газом не отравит. А сколько случаев, когда старухи газ напускают!

Вот именно: сколько случаев! Тысячи семей мучаются! Газ напускают, лежат парализованные в одной комнате со всей семьей — сколько случаев! Тысячи семей куда отчаяннее мучаются. Они еще очень благополучно живут.

— Зачем говорить, если ничего не изменится от разговоров?

Варя не ответила. Владимиру Антоновичу показалось, что она вспомнила сегодняшний мамочкин миг просветления: «Вы бы и меня тоже хотели усыпить — не только кошку!..»

Он лежал, не спал и под нытье язвы старался вспомнить, когда он понял, что не любит свою мамочку. Во всяком случае, задолго до того, как она потеряла память и стала неопрятна. Наверное, началось с того, что он рос — и не взрослел! В детстве казалось: вот вырасту, буду сам себе хозяином, не буду никого слушаться! А он рос — и продолжал слушаться мамочку. Чувствовать себя вечным недорослем — от этого избесишься. А кто он — как не недоросль? После школы хотел пойти в мореходку, мечтал — вероятно, наивно — о дальних странах, но мамочка настояла на «солидном вузе», потому что моряк — «специальность ненадежная», а дальние страны ее вообще пугали: «неизвестно, какая будет завтра обстановка в разрезе заграничных связей». Когда в первый раз попытался жениться, мамочке не понравилась его Ева — так ее звали, потому что она была наполовину полька, приехала из Вильнюса,— все это мамочку крайне настораживало, она подозревала Еву в посягательствах на прописку и ленинградскую жилплощадь; а потом открылись иностранные дядюшки и кузены Евы, грозящие непоправимо испортить не только сыновью, но и ее собственную анкету: в исполкомовских кругах не было принято обзаводиться такой родней. Должен был тогда Владимир Антонович хлопнуть дверью, поступить по-своему — но не хлопнул и не поступил... Интересно, что против Вари мамочка вовсе не возражала, но все равно Варя с самого начала невзлюбила свекровь — будто мстила за неведомую ей Еву.

А постепенно, уже ближе к окончанию института понял Владимир Антонович, что не только в угнетении дело, не только в том, что мамочка все еще считает его ребенком и все за него решает,— нет, и на жизнь они с мамочкой смотрят по-разному. Появились темы, на которые с мамочкой невозможно говорить. Например, про новых дворян, которые всё захапали в жизни. Мамочка и сердилась, и пугалась одновременно:

— Ну что ты говоришь?! Никогда так больше не говори! У нас все делается для народа — а для кого же? Просто сразу не успеть для всех. А кто выдвинулись, они что же — не народ? Они самого пролетарского происхождения. Или крестьянского, как я. Наполовину пролетарского, наполовину крестьянского. Просто страна такая большая, что не хватает на всех. Но постепенно у всех будут квартиры, вот увидишь. Мы же работаем.

— Когда — будут? Когда дедушками? Так и проживут всю жизнь в трущобах?

Как раз тогда мамочкиными молитвами они получили квартиру — совершенно законно, в порядке очереди, но даже законная очередь у исполкомовских служащих подходит быстрее и глаже. Получили квартиру, но Владимиру Антоновичу приятно было сознавать, что он не продался за квартиру, что думает и чувствует по-прежнему.

— Какие трущобы?! — мамочка и вовсе ужасалась.— Что ты говоришь?! Никогда не произноси такого слова! Трущобы только у них — на Западе!

— Трущобы! — с удовольствием повторял он.— По пять человек в комнате, по десять хозяек на кухне — самые настоящие трущобы! Просто мы боимся слов!

Мамочка всегда боялась слов. Сколько у нее таких табу: «трущобы», «нищета», «бездомный». Был период, когда Владимир Антонович находил особенное удовольствие в том, чтобы пугать ее:

— А жить на семьдесят рублей — не нищета?! А если вдвоем, втроем?!

Или:

— Ах, я забыл, у нас не бездомные, а бомжи, которые сами во всем виноваты, которые преступники, потому что им жить негде. Им за это новый срок лепят, как бродягам в средневековой Англии.

— Да что ты говоришь?! Не смей! У нас самое гуманное построение!

От волнения мамочка путалась, соединяя слова из разных, но одинаково привычных ей клише — в данном случае из «самого гуманного общества» и «построения коммунизма».

Но недолго Владимир Антонович пугал мамочку подобными вольнодумствами. Сколько-то времени он спорил с нею искренне, еще сколько-то забавлялся, глядя на мамочкин испуг — такую он освоил форму протеста против мамочкиной опеки — но наконец подобные забавы наскучили, и он перестал заговаривать с нею на серьезные темы. Так и знал: об этом с мамочкой говорить бесполезно, и об этом тоже, и еще об этом, и еще, и еще — да обо всем, что ни касалось самых конкретных тем: иду туда-то, купил то-то. О том, куда идет, он бы тоже с удовольствием не докладывал, но мамочка расспрашивала неукоснительно, будто он все еще учится в школе, притом в младших классах: «Куда идешь? Когда вернешься?» Он злился, но докладывал.

Как вообще все повторяется в жизни. Вот не любит Владимир Антонович свою мамочку — никому не признается, но про себя-то знает — однако во многом он, пожалуй, похож на нее? Вот и собственную мамулю — бабушку Владимира Антоновича — мамочка не любила. Причин тому Владимир Антонович никогда толком не знал. (Потом, много лет спустя после смерти бабушки, Ольга рассказывала, будто бы в молодости мамочка безумно кого-то любила, а бабушка ей помешала — Владимиру Антоновичу трудно было представить мамочку безумно влюбленной, но если правда, как же сама она могла потом воевать против Евы?! Получается какое-то извращение, месть за собственную изуродованную жизнь!) Жили они все тогда в коммунальной квартире в одной, но очень большой комнате, и вот однажды во втором или третьем классе он пришел домой и увидел, что в комнате *перестановка:* бабушкина кровать, прежде стоявшая у стены примерно на половине расстояния между окном и ненужной давно уже печкой, теперь задвинута в угол к этой самой печке и отгорожена двумя шкафами. Получился как бы полутемный чулан, в котором бабушка и лежала все время, потому что у нее болели ноги и ходила она мало. Мамочка так и объяснила: «А то лежит посреди комнаты, никого в гости позвать неудобно!» Володя не очень любил бабушку и раньше, потому что та всегда обращала к нему лишь несколько назидательных фраз: «Кушать надо как следует, кушать!» или «Уроки надо делать со свежей головой, а потом играть!», ну а теперь, когда он убедился, что мамочка тоже не любит бабушку, то и вовсе перестал ее слушать, а на очередное назидание ответил: «Не приставай ко мне, ты!» Бабушка на время и перестала приставать, лежала в своем закутке тихо, но потом сделалась разговорчивее — много позже Владимир Антонович понял, что с этой разговорчивости и начался бабушкин маразм — и все время старалась рассказать, как она в молодости работала горничной у штатского генерала; особенно старалась бабушка рассказывать о своем горничном прошлом, когда кто-нибудь приходил, и тут мамочка досадовала вдвойне: и оттого, что мешает разговаривать, и оттого — и это тоже Владимир Антонович понял много позже,— что бабушкина работа в горничных как бы подмачивала мамочкино рабоче-крестьянское происхождение. Действительно, можно ли горничную считать чистой пролетаркой? «Расскажи лучше, как в вашей деревне на сенокос ходили!» — призывала мамочка, но этот излюбленный народниками всех времен сюжет почему-то совершенно не волновал бабушку, и она гнула свое про посуду, которая была у ее генерала, или про платья генеральши, или про обеды, а заодно и про вороватую кухарку Таньку, которую она, бабушка, лично и разоблачила, явно нарушив тем самым пролетарскую солидарность. Последний рассказ особенно скандализировал мамочку, так как неизбежно компрометировал ее саму в глазах ее исполкомовских друзей: ведь яблоко от яблони... Постепенно бабушкин маразм стал явным для всех: она вставала ночью, пыталась куда-то идти, а мамочка кричала: «Да перестань ты шаркать, спать не даешь!»; прятала объедки под матрас, а сверху тот же матрас пачкала естественным, так сказать, путем. Установился в комнате тот самый запах, который нынче здесь в квартире уже от самой мамочки. Соседи ругались, потому что запах доносился и в коридор. Мамочка пустила в ход свои связи, и бабушку наконец забрали в сумасшедший дом, в старушечье отделение. Стоило это мамочке таких усилий и волнений, что и сама она почти сразу попала в больницу — с сердцем. Бабушка пробыла в своем сумасшедшем доме месяца два и благополучно умерла, Мамочка еще лежала в больнице, врачи не советовали ей выписываться ради похорон, и она не стала, «чтобы не пошло насмарку все лечение». Похороны организовывала главным образом Ольга — она училась на втором курсе и тогда уже была сверхэнергичной девицей,— к тому же мамочкины исполкомовские знакомые очень помогли, так что все сошло вполне пристойно. Народу, правда, пришло совсем мало — так откуда взяться народу? Подруг у бабушки давно не было. Ольга с Володей очень радовались, что бабушка наконец умерла, но, разумеется, на людях вели себя тихо и скромно. Только когда ушли все посторонние, они взглянули друг на друга, расхохотались и стали скакать по комнате...

На том Владимир Антонович и заснул наконец.

Спал он долго, потому что на следующий день у него была свободна первая пара — в институт нужно было только к одиннадцати. Павлик с Варей тихо ушли, а он проснулся в девять. Проснулся, полежал немного. Как-то необычайно тихо было в квартире. Встал, вышел в коридор. Дверь в мамочкину комнату была как всегда открыта, но оттуда не доносилось ни малейшего звука — ни дыхания, ни шевеления.

Как-то уж слишком тихо.

Владимир Антонович пошел в ванную, вернулся — все так же тихо. И вдруг он подумал: а жива ли мамочка?! Что если сама не заметила, как умерла во сне?!

Он осторожно заглянул в комнату, не решаясь переступить через порог. Мамочка лежала на спине, лицо бледное и словно бы заострившееся — у умерших всегда заостряются лица, это же написано в любом романе. Тихо. Зоська спала не на кровати рядом с мамочкой, как она любит, а на груде тряпья под боком у знаменитого чемодана,— может быть, почуяла смерть и потому ушла с кровати? Животные ведь боятся мертвых.

Неужели случилось, наконец?! Свершилось?! Во сне, без страданий — самый лучший исход! Так естественно в семьдесят семь лет — заснуть и не проснуться.

И все-таки Владимир Антонович не решался войти, приложить ладонь к ее лбу, чтобы удостовериться, что лоб уже холодный. А вдруг нет, вдруг она всего лишь спит? Проснется от прикосновения, поймет, что он проверяет, жива ли она. Вдруг догадается, что он мечтает о ее смерти?! Ведь наступают у нее внезапно минуты просветлений. Вот вчера — как она сказала? «Вы бы и меня хотели усыпить, как кошку!»

Но неужели, наконец, свершилось?! Неужели освободился?! Владимир Антонович лишний раз прошел из кухни в комнату и обратно, осторожно взглядывая на мамочку через распахнутую дверь. Она лежала все так же неподвижно. Неужели?! И все-таки он старался ступать тихо, чтобы не разбудить ее нечаянно — хотя от смертного сна никакими пушками не разбудишь. Неужели?! Он чувствовал благодарность к мамочке: ведь и не в таком уж она была маразме, многие куда сильнее мучаются со своими стариками. Значит, все-таки умерла вовремя, освободила от себя. Очень это благородно — умереть вовремя. Все-таки она вставала, ходила, не так уж много приходилось за нею убирать — нет, мамочка молодец!

Владимир Антонович машинально жевал свой любимый самодельный творог, который Варя приготовляет из кефира для его язвы, и невольно думал, что вот и кабинет у него теперь появится, и гостей можно будет снова звать... Позавтракал, оделся. По-прежнему тишина в комнате мамочки. Но не мог же он так и уйти, не зная своей судьбы! Он снова остановился в дверях ее комнаты. Она лежала все так же на спине. Заостренное бледное лицо, полуоткрытый рот. Челюсть, кажется, полагается подвязать. Неужели?!

Все-таки он должен был узнать.

Он шагнул внутрь, подошел к кровати, стараясь ступать как можно тише. Вгляделся. Вслушался. Нет, не слышно дыхания. Не видно, чтобы хотя бы слабо шевелились ноздри. Нерешительно, толчками он протянул руку, помедлил — и положил ладонь к ней на лоб.

Лоб был теплым.

Он отдернул руку — но она уже открыла глаза!

— А, это ты? Сколько времени?

— Десять. Почти десять.

— А, еще рано. Спать хочется. Это ты меня погладил?

Ирония? Нет, она неспособна к иронии!

— Я. Кто же еще?

— Как приятно. Ты давно меня не гладил.

Да никогда он ее не гладил — сколько себя помнит.

— До свидания, мне пора, у меня лекция.

— А сегодня разве не воскресенье?

Почему — воскресенье? Потому что у нее теперь вечное воскресенье?

— Сегодня четверг.

— Это Павлик мне сказал, что сегодня воскресенье! Я утром встала приготовить ему завтрак, и он сказал, что сегодня воскресенье.

Владимир Антонович не удержался:

— Завтрак ему готовила Варя. Она всегда всем готовит.

— Нет, я готовила. Встала рано. Я всегда готовлю, всегда забочусь!

Мамочка несла обычную чушь, и Владимир Антонович больше не боялся, что она могла понять значение его прикосновения.

— До свидания.

— А ты подал заявление на дачу в Комарове?

Какое заявление? Какая дача? Это бродят в мамочке исполкомовские воспоминания, когда казенные дачи были близки и доступны. Правда, не в Комарове: Комарово мамочке было не по чину, зато под Лугой они жили летом часто — маленький Павлик там бегал, маленькая Сашка.

— Мне не нужна никакая дача.

— Я лучше тебя знаю, что тебе нужно. Нужно позвонить — ну ей, этой... дочке позвонить. У нее девочка маленькая!

Такого еще не бывало, чтобы мамочка забыла, как зовут любимую дочку. Значит, еще какие-то клетки в мозгу сегодня ночью умерли. Значит, все-таки коснулась ее сегодня ночью смерть. Самое это страшное — умирать понемногу, умирать отдельными клетками. Разум разлагается, а сердце бьется и бьется...

Возвращаясь вечером домой, Владимир Антонович вынул из почтового ящика первые три мартовские открытки для мамочки. Теперь пойдут!

Мамочка пишет к каждому празднику бесчисленное количество поздравительных открыток — и получает в ответ почти столько же. На подобные открытки в их семье у мамочки полная монополия: Владимир Антонович поздравляет по телефону нескольких близких знакомых с Новым годом — это действительно исконный праздник, а все другие какие-то искусственные; и Варя с Павликом тоже обходятся телефоном. Стандартные же послания на безвкусных открытках Владимира Антоновича раздражают. Почта существует, чтобы люди сообщали друг другу новости, обменивались мыслями, а какая новость в таком тексте: *«Дорогая Валентина Степановна! Поздравляю Вас с Международным женским днем 8 марта, праздником Весны и труда, желаю здоровья и успехов — Ваш И. П. Городецкий»?* Или то же самое: *«с Международным днем солидарности трудящихся 1 мая!»?* Для мамочки же — новость, она с гордостью оповещает всех знакомых: «Уже и Иван Павлович поздравил! Он никогда меня не забывает, такой внимательный!»

Зато Варя встретила его новостью в своем роде:

— Она опять весь творог съела!

Для самодельного творога Варе приходится таскать тяжеленные сумки с кефиром, поэтому творог предназначается только для умилостивления язвы Владимира Антоновича. А мамочке покупается сырковая масса, которая встречается в магазине гораздо чаще, чем творог. Сладкую массу Владимир Антонович не любит, а мамочка, наоборот, и творог-то посыпает сахаром, так что масса ей в самый раз.

— Ну что делать,— покорствуя судьбе, возразил Владимир Антонович.— Что попалось ей на глаза, то и съела. Ей говорить бесполезно.

— Прекрасно она все понимает, когда ей выгодно. Обязательно ей нужно назло съесть творог! Что ты ее не знаешь? Как это я вожусь, таскаю бутылки — и не для нее! Все должно быть для нее! Прекрасно она соображает! Пьеса такая была: «Дура для других — умная для себя» — вот точно про нее! А мне надоело! Анекдот есть новый: знаешь, как называется жена, которая каждый день таскает пудовые сумки? Потаскуха! Вот мне и надоело быть такой потаскухой — и не для тебя, а для нее, для ее упрямства!

До чего же тягостны такие разговоры! Когда проблема возникает из-за творога. Но ведь и действительно проблема, как ни стыдно в этом признаться. Творог Владимиру Антоновичу необходим как лекарство, но ведь никто не возразит, что доставание лекарства — серьезная проблема. Ради того, чтобы доставить лекарство, бывает, задерживают самолеты и останавливают поезда. А таскание сумки с десятком бутылок — маленькая каторга для Вари. Какая-нибудь великая мировая проблема — для нее далекая абстракция, зато пудовая сумка — реальность. Постарела она раньше времени не из-за споров в ООН и даже не из-за трагедий нашей истории, а потому что истаскалась она по очередям, оттого что жизнь проходит в таскании сумок — каторга и есть! И усугублять эту каторгу в два или три раза, потому что мамочка не то назло, не то по беспамятству поедает творог вместо специально купленной для нее сырковой массы — ужасно! Варю можно понять. Презрение к мелочам, из которых и состоит жизнь — это подлость сытых благополучных людей, у которых все есть, которым все принесено! Владимир Антонович сам бы притащил проклятые бутылки, но когда он идет из института, в молочном отделе уже полная пустота, а Варя успевает раньше.

— Обойдусь завтра без творога.

— Чтобы обострилась язва.

— Авось, не обострится. А в крайнем случае — моя язва, что хочу с ней, то и делаю. Все мое: и мамочка — моя, и язва — моя.

— Думаешь? Ничего твоего отдельного нет! Обострится твоя язва — мне больше таскать, мне бегать по аптекам. И она,— Варя кивнула в сторону мамочкиной комнаты,— она больше моя, чем твоя. Убирать — мне, по аптекам — мне.

Все — чистая правда. А что делать? Зачем жаловаться, если судьба такая? Вот не умерла мамочка ночью — только зря подала надежду. Заснула — и благополучно проснулась. У нее такое сердце, что хватит еще на десять лет: единственный раз оно у нее заболело, когда довела ее собственная мамуля; но мамуля умерла, и с тех пор — как часы! Да, хватит еще на десять лет, и за эти десять лет загоняет Варю так, что Варя сама станет дряхлой старухой. И Владимиру Антоновичу достанется, но Варе — вдвойне и втройне. Такая уж судьба. Самая обычная в наше время судьба, так что смешно жаловаться. Полумертвые хватают живых, тянут за собой.

Послышалось знакомое шарканье в коридоре, щелчок — и громкий телевизионный голос. Но не кино, а нормальный разговор. Может быть, «круглый стол»? Владимир Антонович выглянул. Говорила какая-то актриса с иссушенным лицом фанатички. Говорила она о некоей космической энергии, которая не только притекает к нам откуда-то из Вселенной, но и циркулирует здесь на Земле между людьми. Причем некоторые люди ее выделяют, а другие сосут у ближних — «вампирят», как без всякого затруднения выговорила актриса. Говорила она даже чуть небрежно, как о чем-то само собой разумеющемся — вот и к ним в театр пришли ученые с приборчиком и сразу в точности измерили: кто вампирит и у партнеров, и у зрителей, а кто транжирит собственную энергию. До того, как в рассказе появился приборчик, Владимир Антонович слушал с интересом, готовый почти поверить: ведь в самом деле, около одних людей легко, около них сам сразу становишься сильнее, около других же — тягостно, жела-

ние действовать исчезает. Да и в принципе: раз в человеке бродят всевозможные биотоки, естественна мысль, что он излучает и поглощает какие-то волны. Японцы уже пытаются как-то прямо соединить человеческие биотоки с автомобильной электроникой — Владимир Антонович читал несколько работ. Но нигде он не встречал хотя бы реферата о приборе, который бы вот так буквально измерял, вампирит человек или не вампирит, а если вампирит — то насколько? Или что-то слишком уж новое, или приходили шарлатаны и разыграли доверчивых актеров... Ну ладно, пусть нет прибора — но самая эта мысль, что одни излучают энергию, а другие тянут из окружающих жизненные силы — самая эта мысль Владимиру Антоновичу сразу же запала. Может быть, потому-то так тягостно ему рядом с мамочкой? Может быть, сама его нелюбовь к ней — чувство чисто биологическое, естественный протест организма, из которого качают и качают жизненные силы? Присосалась мамочка и к нему, и к Варе, и к Павлику — к тем, кто постоянно рядом с нею?

Актриса уже показывала, как энергия прямым лучом выходит из солнечного сплетения — но тут вдруг пришла Ольга, отвлекла на самом интересном месте. Объявилась. Наверное, месяца два, как не показывалась, любила дорогую мамочку исключительно по телефону — и объявилась.

Ольга всегда ужасно деловая. Всегда на бегу. Расцеловала мамочку, чмокнула породственному Варю, тут же выложила сверток с сосисками килограмма на два — она всегда является «не с пустыми руками», чем раздражает Владимира Антоновича, потому что подобными подношениями как бы платит за визит, точно они не брат с сестрой. А Варя рада Ольгиным сверткам: «Мне таскать меньше, а Олечка на машине, ей ничего не стоит подбросить». Ольга разъезжает на машине, что ей очень идет: водит она так же порывисто, как вообще все делает, но каким-то чудом обходится без происшествий: тьфу-тьфу... Такое семейное разделение труда: Владимир Антонович занимается автомобилями теоретически, а Ольга — чистый практик.

Мамочка забыла про телевизор и семенила вокруг своей ненаглядной Оленьки (интересно, а как зовут дочь вспомнила с утра?). Это тоже загадочный феномен: в свои служебные времена мамочка одинаково спокойно относилась и к Володе, и к Оле, донимала обоих наставлениями и обходилась без всяких нежностей; но когда начала дряхлеть, в ней оттаяли материнские чувства — оттаяли, словно долго хранились замороженными — и излились исключительно на Ольгу. Мамочка семенила, а Ольга, расцеловав ее и объявив, что мамочка выглядит прекрасно, что даже помолодела с тех пор, как они виделись в последний раз,— выполнила тем самым свой дочерний долг и стала обращаться исключительно к брату с невесткой — впрочем, мамочка была в восторге уже оттого, что видит дорогую Оленьку: она уселась напротив и уставилась на дочку болезненно страстным взглядом.

Владимир Антонович наблюдал происходящее и думал, что только что услышанная теория хорошо объясняет эмпирические факты. И чрезвычайную энергичность сестры — мамочка из нее не вампирит непрерывно, вот энергия и накапливается! И мамочкину любовь — в редкие посещения Ольга сразу отваливает ей энергию громадными порциями, мамочка испытывает прилив сил и благодарна дочке за это. Да, забавно бы объяснить таким образом все человеческие отношения...

Ольга самозванно председательствовала на семейном совете:

— Ну что? Что-нибудь нужно мамочке достать? Как у нее с пальто демисезонным? Весна ведь уже скоро.

Ольга и не делала вида, что такие вопросы можно обсуждать с самой мамочкой, она признавала само собой разумеющимся, что мамочка — существо несмышленое, что ею нужно распоряжаться — для ее же впрочем пользы. Но делала это Ольга как-то легко: несмышленая — ну и что же, все нормально, никаких трагедий. Наверное, потому, что ей не приходится каждый день убирать за несмышленой мамочкой. Но оттого, что Ольга не делает из мамочкиного состояния трагедии, невозможно и жаловаться ей на мамочкины художества. Варя и не пыталась никогда рассказывать, что вот не тот творог съела мамочка, что придется из-за этого тащить лишнюю сумку с бутылками,— как-то сразу менялись масштабы происшествия: съеденный творог только что казался преступлением — и превратился в пустяк, о котором если и рассказать, то со смехом.

— Ты такая заботливая! Все у меня есть! — умиленно сообщила мамочка.

Ольга только отмахнулась пренебрежительно от мамочкиных слов и посмотрела вопросительно на брата: мол, а как дела в действительности?

— Есть у мамочки пальто. Прекрасно она в нем ходит. Просто вообще она редко выходит. Сейчас и не нужно, когда скользко.

— Я каждый день гуляю, дышу свежим воздухом! — похвасталась мамочка.— И всех заставляю гулять и дышать. Без свежего воздуха нельзя, как без витаминов. Варечке особенно необходимо после газа на кухне. Они сами не понимают, хорошо что я лучше знаю, что им нужно. Приходится их тащить.

Если бы не присутствие Ольги, Варя непременно стала бы уличать мамочку в фантазиях: и сама-де она не гуляет, и никому не нужны ее фальшивые заботы, и в кухне у них не газ, а электроплита — но при Ольге всем становится совершенно ясно, что отсутствие памяти — милая слабость, которая как бы даже украшает будничную рациональную жизнь.

— Я знаю, что пальто есть, но я подумала, что оно уже плохо выглядит. Ведь то самое пегое?

— Не пегое, а вполне приличное,— обиделась Варя.

У Ольги противная манера держаться богатой родственницей.

— Ладно, посмотрим. А где Павлик? Нету как всегда? Кстати, как бы нам по второму разу не породниться!

Владимир Антонович не сразу понял, о чем речь. Зато Варя поняла.

— Да ну что ты! Они же брат и сестра!

— Двоюродные! Я тоже сначала так думала, что просто по-братски заходит. Потом смотрю: что-то слишком часто, нынче таких братских чувств не бывает. А тут на днях вхожу: они целуются на кухне! Я говорю: «Вы что?!» А они, нахалы: «Ну и что? Для того и созданы мужчина и женщина!» И ушли вместе. Мужчина и женщина — видали? Я потом говорю моей кобыле: «Ты что?! Он же твой брат! Ты знаешь, как это называется, когда с братом?» А она: «Не брат, а двоюродный! В Англии очень даже принято!» В Англии! Так бы надавала по щекам. Да ведь моя кобыла и сдачи даст, теперь они такие!

Это точно: Сашка сдачи даст и не задумается! Такая же шумная и решительная, как ее матушка. Если такая будет здесь постоянно в доме — совсем бежать придется! Сноха, мамочка, телевизор — действительно, казни египетские.

— Но ведь запрещено жениться между родственниками! — это Варя законопослушница.

— «Запрещено»! Так они и спросят разрешения. Мы еще будем плакать и просить: «Переженитесь, пожалуйста!» А они ответят: «Обойдемся!» Теперь ведь нынешние иначе смотрят. А что запрещено, так кто узнает в загсе? Фамилии разные, отчества разные.

— Но ведь, правда, опасно! Вырождение возможно! — Варя.

— Я моей кобыле тоже говорила: «Слово есть научное для этого дела. Как это — альцест?»

— Инцест,— машинально поправил Владимир Антонович.

— Вот-вот! Вовка у нас все знает, недаром профессором дразнили... Не знаю. Столько сейчас вырождений и без всяких альцестов — или как их там, а наши хоть не алкоголики — уже хороший шанс. Моя даже не курит, а у них три четверти курса дымит. Во всех газетах, что курение вредно для будущего ребенка,— словно не им писано! И в Англии, действительно, веками на кузинах женились, и ничего — очень даже породистая аристократия.

Ого, куда докатились: до английской аристократии!

— Чего ж мы тогда зря говорим, если они сами решат и нас не спросят?

— Нельзя уж лишнего слова сказать! Интересно нам, не посторонние все-таки, вот и разговариваем.

— Что, заболел кто-то? — обеспокоилась мамочка.— Нужно лечиться системой йогов. Вот я лечусь.

О системе йогов обожает рассуждать Жених, вот и у мамочки что-то задержалось в голове.

— Тут йоги не помогут! — захохотала Ольга.— Хотя есть какой-то трактат индийский, моя кобыла еще в восьмом классе тайком читала. А я осталась непросвещенной. Так и жизнь проживу, не узнаю индийских способов. Теперь вот все Павлику достанется.

— У йогов способы дыхания,— сообщила мамочка.— Я только по-йоговски и дышу!

И сплюнула по-своему.

— Вот-вот, о дыхании и речь,— елейно подтвердила Варя, а Ольга захохотала еще громче.

— Так, что мы постановляем, а? Семейный совет в Филях.

— Постановляем, что сие от нас не зависит.

Владимир Антонович всегда считал, что нужно уметь покориться обстоятельствам.

— Не зависит — это точно! Сейчас войдут и объявят: «Здрасьте, а мы с сегодняшнего дня живем вместе!» Только жить будут у вас: не в моей же однокомнатной!

— Кто у нас будет жить? — забеспокоилась мамочка.

— Сашенька, может, у нас поживет,— объяснила Варя.

— Это кто такой? Новый мальчик?

Владимир Антонович выразительно посмотрел на Ольгу, но та ничуть не обескуражилась:

— Мальчик будет потом, мамочка, а сначала девочка. Внучка твоя, Сашенька!

— Я так люблю Сашеньку. Такая заботливая девочка.

Раз в год Сашка тратит пять минут на свою бабулю — и вот, оказывается, заботливая девочка.

Ольга сообщила все, что могла, и засобиралась мчаться дальше.

— Куда же ты? — взывала мамочка.— У нас... у нас котлеты, я пожарила. Поешь с нами!

— Правда, поужинай. Котлеты у нас, правда, были неделю назад, но что-нибудь найдется.

— Значит, такие у тебя замечательные котлеты, Варюша, что мамочка их помнит лучше, чем собственную внучку... Нет-нет, не могу, мне еще в три места успеть!

— Не гони слишком, гололедица ведь! — напутствовал Владимир Антонович.

— Ничего, по льду веселей, если умеючи!.. Надо бы молодым сообразить машину, если, правда, все свершится. Павлик уже примеривался: «Теть Оля, дай порулить!» Ему хочется.

Наверное, надо. Ольга ушла — и сразу стало просторнее.

Варя сказала:

— Машину им хочется! А как мы прожили без машины?

Можно было бы ответить обычной банальностью: «Теперь другие времена, другие потребности...» Но Владимир Антонович возразил обреченно:

— Им хочется самостоятельности. Чтобы мы не мешали.

— Ну да! Машину-то будут вымогать у нас!

— Зато рулить будут сами — куда захотят. А нас в лучшем случае пару раз прокатят в багажнике.

Странно, но Владимир Антонович думал в связи с Сашкой и Павликом не о последствиях близкого родства — действительно, у многих народов женитьба на кузине считается обычным делом,— а о том, что постоянно будет присутствовать рядом шумная полная жизненных сил Сашка, копия своей матери. Он-то рассчитывал, что когда-нибудь, когда освободится мамочкина комната, можно будет наконец устроить себе кабинет — теперь можно сразу и навсегда забыть о несостоявшемся кабинете. Теперь молодое поколение начнет невольно и неотвратимо вытеснять их с Варей из жизни так же, как сами они вытесняют мамочку, как мамочка когда-то вытеснила свою мамулю... Да, они с Варей заботятся как могут о мамочке, жертвуют свободой и многими удовольствиями — но ведь и вытесняют самим фактом своего существования. Вытесняют нетерпеливым ожиданием, когда же, наконец, мамочка не проснется утром?! Не признаются друг другу — и ждут... Точно так же лишними и мешающими станут они сами. Сначала очень даже нелишними — пока дарят подарки, пока Павлик с Сашкой получают только стипендии. Но скоро станут самостоятельными, но родят ребенка или двух — и задумаются: зачем эти старики занимают самую большую комнату?! А не переселить ли их в маленькую, где когда-то доживала бабуля?! Первой задумается Сашка — с ее энергией, с ее бесцеремонностью! Она же первая заметит, как дядя Вова перепутал детское питание со своим... И получится, что вот до пятидесяти он так и не стал взрослым и самостоятельным при мамочке, а после — сразу же станет отживающим стариком при сыне. Без перехода.

— А что Павлику оставалось делать? — вне всякой связи сказала Варя.— Он же после школы ни одну девочку сюда не пригласил — стеснялся из-за нее. Жениться на квартире? Тоже недостойно мужчины, Павлик для этого слишком благороден. А если привести жену сюда и заставить ухаживать за маразматической бабушкой — кто же выдержит?! Только Сашка своя, он ее единственную не стеснялся. Все потому. Другого никакого выбора у него не было. И если все-таки вредно для наследственности — только из-за нее так случится! Я из-за нее уже старуха — пускай. А если еще ребенок больной родится?

Тоже правда.

— Но ведь женятся всякие герцоги, у которых не трехкомнатные квартирки. И что ж теперь, объяснять Павлику, что он вынужденно влюбился?

— Я тебе объясняю.

Павлик появился поздно, когда Владимир Антонович с Варей уже улеглись. Они слышали, как хлопнула дверь — но не вставать же, не расспрашивать. Да и вообще не нужно лезть к сыну с расспросами — Владимир Антонович столько раз подвергался мамочкиным расспросам, что усвоил это накрепко. Вот если бы сын заговорил сам!..

На следующий день Владимир Антонович шел домой с надеждой, что Павлик расскажет о своих делах. Ну хотя бы потому расскажет, что Ольга вчера вернулась и объявила, небось, своей Сашке, что выдала секрет — уж Ольга-то не станет тактично молчать! Сашка объявит Павлику — и тот поймет, что дольше тянуть нельзя.

В квартале от дома он догнал мать Жениха. Старушка тянула неизбежные сумки. Владимир Антонович подхватил в каждую руку мало не по пуду, и сразу же грубо напомнило о себе земное притяжение — даже он, достаточно сильный мужчина, с трудом удерживался, чтобы не согнуться. Да еще дорожки обледенелые как всегда — дворники исчезли из жизни постепенно, как сгущенное молоко или весенние ландыши. Как много всего исчезло буквально за десять лет!

— Что же вы так поздно? Ваше время дневное, когда все на работе.

— Я и днем тоже. А сейчас соседка прибежала, что картошку завезли.

— Пусть бы ваши сходили. Сын, невестка, внук ведь взрослый.

— Оки устали с работы. А я чего ж, я дома цельный день. Тоже сидеть не умею. И за что такая самоотверженная мама этому алкоголику?

Владимир Антонович не удержался от провокационного вопроса:

— И не обидно вам, что заставляют тяжести такие таскать? Они молодые, сильные!

— Разве тяжесть — принесть с магазина? Мы в колхозе мешки таскали! А в лесу чурбаки. Они работают, а я чего ж — не сидеть же. Какая ж обида?

Около почтовых ящиков Владимир Антонович поставил сумки, достал очередные открытки.

— Пишут,— одобрила старушка.

— Это мамочке поздравления.

— Мой Вася ее хвалит, что душевная женщина. Вот и пишут. А мне — не пишут. Ей — не пишут?! Если уж кто душевная — так эта старушка! И выходит, для нее что-то значили бы эти безвкусные открытки?

Вынести сумки из лифта на своем этаже она Владимиру Антоновичу не позволила — подхватила сама.

Павлика дома не оказалось — ну это естественно. Но и Вари тоже — что немного странно. Мамочка возбужденно шаркала по коридору и сплевывала чаще, чем обычно. И Зоська носилась из кухни в комнату, чего с нею давно уже не случалось — в воздухе что ли что-то возбуждающее?

Мамочка бормотала:

— Где-то оставила... Где-то оставила...

— Что оставила? Кто оставила?

— Где-то она оставила... ну она... она!

Скорее всего — Ольга. Клад мамочке мерещится, что ли?

— Ольга оставила, да?

— Не мешай, я все прекрасно знаю, у меня идеальная память! Где-то оставила — да, Оленька.

Пусть ищет. Хорошо хоть не требует, чтобы он ей помогал.

Владимир Антонович ушел в свою комнату, в спальню-гостиную-кабинет,— и попытался поработать. Из-за двери слышалось упорное шарканье — и это отвлекало. Наконец шаги затихли. Сколько-то времени Владимир Антонович спокойно сидел и думал. Думал бы и дольше, благо никто ему не мешал — такой редкий случай! — но захотелось в уборную.

От дверей уборной видна половина кухни — мамочка что-то делала за столом. Уж не творог ли опять поедает?! Чтобы Варя устроила маленькую трагедию! Владимир Антонович заглянул.

Перед мамочкой была банка. Плоская квадратная консервная банка. Владимир Антонович сразу узнал: исландская селедка, которая досталась Варе в каком-то заказе и сберегалась для праздника. Добралась мамочка! В руках у нее был консервный нож и молоток: нож такой конструкции, что нужно сначала проколоть крышку банки силой рук — сил не хватало, вот мамочка и отыскала молоток. И ведь сообразила! А на помощь Владимира Антоновича не позвала — значит, решила полакомиться селедкой в одиночестве. Вот сколько сообразила — и про консервный нож, и про молоток, и про то, что вдвоем придется делиться — права Варя: когда ей чего-то нужно, мамочка очень даже соображает!..

И тут Владимир Антонович разглядел, что банка вздута, что верхняя ее плоскость выпячивается пологой волной!

Слышал он, много раз слышал, что́ означают вздутые банки,— что в них завелся смертельный консервный яд!

Он буквально впрыгнул в кухню!

— Ты что, не видишь, что банка испорчена?! Это же яд! Выкинуть надо, немедленно выкинуть!

Владимир Антонович выхватил у мамочки банку. Консервный нож соскочил и процарапал голубой пластик кухонного стола.

— Глупости! Спрятали нарочно. Твоя жена все прячет от меня! Как ее зовут... у меня идеальная память... твоя жена все прячет! Чтобы продукты не переводить на старуху!

— Никто не прячет! Никто не будет есть! Выкидываю я, видишь, выкидываю! Потому что яд!

— Глупости! Такая вкусненькая!

Владимир Антонович выскочил на лестницу, демонстративно оставив дверь распахнутой, и выбросил опасную банку в мусоропровод.

— Глупости! Ничего нельзя выкидывать! Такая вкусненькая! Прячет она нарочно... та, которая твоя жена.

Владимир Антонович не пытался больше ничего доказать, ушел к себе.

Но не мог успокоиться, не мог больше работать.

И ведь едва она не успела открыть, едва! Ну послышался бы какой-то стук — Владимир Антонович и не подумал бы выйти. Открыла бы, съела... Вот так жизнь могла пойти по другому варианту, если б не захотелось ему в уборную. Но не пошла... Владимир Антонович не колебался, врываясь в кухню,— да он и подумать ни о чем не успел, действовал инстинктивно. Даже подумать нельзя, чтобы он тихонько отступил в комнату, увидев вздутую банку в мамочкиных руках: ничего не заметил, ничего не знает... Нет, о таком даже подумать нельзя. Но ведь он мог искренне не знать о том, что происходит на кухне. И никто не был бы виноват — судьба. Судьба, что мамочка нашла эту банку, судьба, что сообразила, как ее открыть...

Тут Владимир Антонович вспомнил научный фильм по телевизору — про интеллект обезьян: как шимпанзе догадывается соединить две палки, чтобы достать банан. Вот и мамочка сообразила соединить консервный нож и молоток — как-то очень пообезьяньи. Владимир Антонович даже засмеялся.

Владимир Антонович сидел — и его знобило. Оттого что так близко прошла судьба.

Ни Варе, ни Павлику потом поздно вечером он не рассказал о том, что судьба прошла так близко. Просто сообщил, что нашел подозрительную банку и сразу выкинул — от греха. Павлик захохотал:

— Надо было дать Зоське! Подохла бы или нет? Где-то написано у классика, что грибы сначала давали пробовать дедушке, а потом уж ели все, а мы бы дали Зоське — во как гуманно!

Если бы Павлик знал, что у них дома чуть было так и не получилось — по классику!..

Если бы Павлик знал, может быть, он не отнесся бы так беспечно к следующему капризу своей бабули. Или ничего мы не умеем предугадать заранее, сколько ни учись на своем и чужом опыте?

Владимир Антонович вернулся домой как обычно около восьми — и сразу каким-то образом ощутил, что мамочки нет дома. Всё было как обычно — и запах прежде всего, а вот мгновенное ощущение пустоты в квартире. Просторнее словно. И не понимая, с чего он это взял, Владимир Антонович спросил Павлика, брившегося в ванной при распахнутой двери — не иначе, на свидание собрался:

— А чего мамочки не видать — не слыхать? Неужели ушла куда-нибудь?

Она ведь уже с осени не выходила!

— Ага! Представляешь, заявился этот ее Жених, увел на какой-то вечер! Сказал, он там будет читать стихи, и вот хочет, чтобы поприсутствовала. Ну ладно бабуля, но неужели найдутся еще идиоты, чтобы его слушать? «Целовался, нежность расточая, чуждым бедрам и чужим устам...»

Павлик был в полном восторге.

— Зачем же ты ее отпустил?! Скользко ж на улице! И холодно, она отвыкла, простудится.

— А чего? Она же взрослый человек, как я ее не пущу? И Жених проводит туда и назад, он клялся и божился.

— Проводит! Небось, уже поддатый пришел?

— Даже и не очень. Ну есть немного, конечно.

— «Взрослый человек»! Что она соображает? Она уже давно не взрослый человек!

— Бывают «еще не взрослые». А про «уже не взрослых» я не слыхал. Обратный ход времени, как у Стругацких, да?

И Вари нет, как назло! Если бы Варя дома, она бы не пустила: уж Варя-то понимает, что в случае чего, ухаживать за мамочкой в первую очередь придется ей.

Павлик побрился и ускакал, а Владимир Антонович спокойно поработал в пустой квартире. Какое это блаженство — пустая квартира!

Потом пришла Варя и повторила то же самое, что Владимир Антонович уже высказал Павлику. Только более страстно. А зачем? Не Владимир же Антонович отпустил мамочку. Все равно ничего сделать невозможно, и остается одно — ждать.

В десять мамочки еще не было. Но этот дурацкий вечер мог затянуться, да и денег на такси у Жениха наверняка нет, а ходит мамочка очень медленно. Работать Владимир Антонович больше не мог, только смотрел на часы каждую минуту.

И в одиннадцать — нет.

В половине двенадцатого, наконец, раздался звонок. На площадке стоял вдрызг пьяный Жених. Один.

— А где же?!

— Так что из-звините, уважаемый Владиантоныч, но ваша дорогая мама упала. Такая замечательная женщина! Очень несчастный случай. Я ее держал, не выпуская рук, но она сама. На ровном месте. Я ее не оставил, сразу вызвал самую «скорую». Оч-чень скоро приехала, замечательно! Сразу упаковали — и в больницу.

Ну вот и случилось.

— В какую больницу?!

— Н-не сказали. Оч-чень скоро приехали. Сразу упаковали. Я не оставил, с-сразу вызвал. А потом мне надо на выступление. Публикум ждет. Мой первый выход после пяти лет трудов.

— Да перестаньте вы про ваши дурацкие стихи!.. Значит, мамочка упала, еще когда шла туда? Уже давно, несколько часов назад?!

— Оч-чень несчастный случай! Оч-чень замечательная женщина! Оч-чень стихи мои понимала! А вы — «дурацкие». Напрасно обижаете.

— Да где она упала?! Когда точно, в какое время?! Сломала себе что-нибудь?! Почему сразу в больницу?!

— Она упала — приехали и упаковали в машину. Я же не доктор. Оч-чень скорая помощь! Оч-чень несчастный случай!

Больше ничего не добьешься. Владимир Антонович захлопнул дверь перед носом у Жениха. Хорошо, есть специальный телефон для справок о пропавших — Владимир Антонович в свое время вырезал из газеты, и тогда же мелькнула тайная мысль: может понадобиться, чтобы разыскивать мамочку.

По телефону отвечала сонная недовольная девица.

— Без документов?

— Наверное, без документов.

— Что же вы отпускаете без документов!

Не хватало выслушивать мораль!

— Нет, никакой Гусятниковой не поступало... Одну неизвестную подобрали без сознания... Еще с улицы подобрали Суконникову и Попову.

Владимир Антонович не сразу сообразил, что ведь мамочкина девичья фамилия — Попова. Могла назваться! Что угодно ей могло взбрести в голову!

— Поповой известно имя и отчество?

— Валентина Степановна.

Нашлась.

— Куда отвезли Попову?

— В больницу Ленина, в старушечью травму.

Надо было слышать, с какой интонацией сказано: «в старушечью травму»!

Времени было уже двенадцать часов. Даже десять минут первого. Ну что толку ехать сейчас в больницу? Врача наверняка нет. Да и мамочке, возможно, дали снотворное. Или уснула так — зачем будить?

— Только не вздумай ехать туда ночью! — сказала Варя.— Совершенно нечего там делать ночью.

А он и сам понимал, что нечего. И вовсе не хотелось ему бежать в больницу, вот что главное. Такое было чувство, что мамочка все устроила назло: пошла с идиотом-алкоголиком, чтобы доказать, что дома за нею никакого присмотра, попала в больницу — и теперь заставит и Владимира Антоновича и всех ездить ее навещать. И долго ли там пролежит? «Упала». Сломала, наверное, что-нибудь! Руку или ногу? Классический старческий перелом — шейка бедра. Владимир Антонович наслышан об этих шейках, у них на кафедре у старшего лаборанта мать уже больше года лежит с такой шейкой. Самое страшное — старческая неподвижность, полная беспомощность — и непрерывный уход.

— Надо позвонить Ольге,— продолжала Варя.— Известить. И пусть сама решает, ехать ей или нет: у нее машина, она может и вернуться когда угодно.

Вот это правильная идея! Мамочкина любимая дочка должна немедленно узнать про несчастный случай — чтобы потом никаких упреков.

Ольга уже спала, судя по долгим гудкам. Если дома. Может, и не быть дома — у нее обширная личная жизнь. И Сашка где-то с Павликом... Нет, отозвалась:

— Ну, что? Кто это?

— Мамочка попала в больницу. С улицы. Ушла и там упала, что-то себе сломала. Мы только что узнали: она в больнице Ленина.

— Да ты что?! Как же она вышла на улицу?! Зачем ты отпустил?! Ой, я уже приняла снотворное, ничего не соображаю. Если ты думаешь, чтобы я ехала, то я не могу после снотворного. Она же в больнице, да? На койку положена? Чего ж еще ночью?

Ну вот, все согласились, что можно подождать до завтра. Не один Владимир Антонович такой бессердечный, любимая мамочкина дочка — тоже. Надо было спросить, где Павлик с Сашкой. Гуляют, наверное. И не знает оболтус, что произошло из-за него. Не мог он, видите ли, помешать взрослому человеку!..

Утром Владимир Антонович все высказал Павлику. Правда, второпях — оба уже опаздывали. Павлик оправдывался вяло:

— Все бывает. Дома тоже падают и ломаются — на ровном месте. Это как судьба. А не был бы я дома? Не дежурить же при ней круглые сутки!

— Без тебя мамочка могла звонка не услышать: она часто не слышит звонка.

— А могла и услышать. Жених бы звонил долго: он же знает, что мамочка всегда дома. Прием граждан круглосуточный, как в Большом доме!

Не чувствовалось в нем раскаяния.

На кафедре Владимир Антонович подошел к старшему лаборанту Игорю Дмитриевичу расспросить про состояние его матери.

— Четыре месяца лежала на вытяжении, пока срослось! Четыре! Ведь все процессы вялые в этом возрасте. Пролежни пошли. А встала первый раз — и сразу же сломалась снова. В том же месте! Теперь уже точно не срастется, на вытяжение больше и не кладут. Зато ворочать легче, перестилать.

Владимир Антонович растерянно посочувствовал и уже отходил, как вдруг Игорь Дмитриевич спросил заговорщически:

— А вы знаете, что Лиля Брик с собой покончила? Та самая!

Владимир Антонович не знал. И растерялся от неожиданного вопроса. Странный скачок мысли. Хотя, конечно, если год провести около неподвижной больной, можно, наверное, слегка тронуться.

— Я думал, она пережила тогда. Ну, переживала, конечно. Вот за Есениным покончила одна — жена или не жена — Бениславская.

— Прекрасно пережила! Почти на шестьдесят лет! Она недавно покончила — год или меньше. Не от каких-нибудь страстей или раскаянья, а сознательно! У нее получился такой же перелом шейки, и она спокойно рассудила, что ходить больше не сможет, станет всем в тягость. Какая женщина! Недаром и Маяковский!..

Глаза у Игоря Дмитриевича сумасшедше сверкнули.

На этот вечер у Владимира Антоновича давно было запланировано зайти к знакомому, тот обещал показать свежие японские автомобильные проспекты, а пришлось вместо этого идти в больницу — все планы сбились из-за мамочки! Около больницы он высматривал Ольгин зеленый «Москвич», но не высмотрел — занята дорогая сестрица, не торопится.

Ничего хорошего в смысле благоустройства или ухода Владимир Антонович найти, разумеется, не ожидал, но на самом деле все оказалось гораздо хуже. Привычный дома, но десятикратно усиленный, запах мочи и разложения уже в коридоре предупреждал: «старушечья травма!», так что не пришлось спрашивать дорогу. Распахнул дверь — и ударил запах вовсе уж нестерпимый. Огромная палата, почти зала — и вся как-то странно шевелящаяся. Косо вверх торчали загипсованные ноги — Владимир Антонович прекрасно знал, что такая конструкция называется вытяжением, тем самым вытяжением, под которым напрасно промучалась четыре месяца мать Игоря Дмитриевича. Металлическая арматура, на которые были уложены торчащие вверх ноги, была похожа на огромные булавки, которыми пришпилены жертвы — еще живые, но уже еле живые бабочки.

Где тут она? Кого спросить? К Владимиру Антоновичу обратились изуродованные болью и дряхлостью лица — зашамкали, закричали:

— Человек пришел, человек!

— Сынок, ты к кому?

— Помощничек, иди сюда!

— Бо-ольно!

Все тянутся, всем от него чего-то нужно.

Быстрыми шагами — чтобы не зацепили, чтобы не удержали — пошел Владимир Антонович по узкому проходу, стараясь не смотреть прямо в глаза старухам, потому что, если посмотришь, невольно обнадежишь — вдруг ты и есть долгожданный «помощничек». Боковым зрением он фиксировал: «не она... не она...» И увидел мамочку.

Та лежала точно в такой же позе, как недавним утром: на спине с полуоткрытым ртом и провалившимися щеками. Вытяжение ей налажено не было — или потому что уже не нужно?! Тем более, что невозможно же спать в таком гаме, и если лежит она вот так с отвалившейся челюстью, значит... Но почему тогда не уносят, не накроют хотя бы простыней? Или никто еще не заметил? Здесь могут долго не заметить...

— Мамочка.

Он наклонился над нею, боясь присесть на кровать.

— А?.. А-а, это ты...— Жива. Спала.— Вот видишь, какая неприятность. Сколько я говорила... ну ей, твоей жене, чтобы пол не натирала.

— Какой пол? У нас вообще линолеум в коридоре.

Владимир Антонович огляделся, не увидел поблизости стула и присел-таки на кровать.

— Пол. Я на полу поскользнулась, потому что она... ну твоя жена, она помешана пол натирать!

— Ты упала на улице! Зачем-то пошла с этим твоим... ну пьяницей!

У ЛУКОМОРЬЯ

Фотоэтюды ЮРИЯ БЕЛИНСКОГО



«Вновь я посетил...»



Вечер над Соротью



Мельница в Михайловском



У могилы А. С. Пушкина



С. С. Гейченко — почетный хранитель Михайловского заповедника



На тройке



В кабинете поэта

Владимир Антонович давно уже забыл, как зовут мамочкиного нелепого Жениха. Но сейчас заметил, что речь у него сделалась в точности как у мамочки: «ну с этим твоим...» — «ну сй, твоей жене...» — и испугался! Что, если неспроста такое сходство?! Что, если это наследственность, и станет он вскоре таким же, как мамочка?!

— Я упала дома на паркете! Я прекрасно помню, у меня идеальная память!

Мамочка смотрела злобно и непримиримо. И Владимира Антоновича охватила ответная злость. Захотелось непременно вдолбить в голову этой безмозглой старухе, что ничего она не помнит и не соображает!

— Ты ушла на какой-то дурацкий вечер! Павлик свидетель...

Новый взрыв криков со всех коек: «Сюда идя!.. Помошничек!.. Бо-ольно!..» — значит, еще кто-то появился в палате.

И Владимир Антонович замолчал — вспомнил, где находится, в тысячный раз сказал себе, что на мамочкино беспамятство обижаться глупо. Помолчал, спросил совсем другим голосом:

— Как ты сейчас себя чувствуешь?

— Такое внеплановое происшествие! Главное, не могу пошевелиться! А у меня такие широкие планы.

Это что-то новое, до сих пор ни о каких планах мамочка не объявляла. Видно, из-за травмы произошел очередной сдвиг в голове.

— Нога-то болит?

— Конечно, болит! Все вокруг удивляются, как я стойко переношу!

Всем вокруг дела нет друг для друга. Рядом лежала совсем ветхая старушка с лицом морщинистого младенца. Соседка с другой стороны накрылась с головой.

— Как здесь кормят? Что говорят врачи? Сестры подходят?

Владимир Антонович по инерции задавал вопросы, забывая, что ничего мамочка не может ему сообщить, кроме своих фантазий.

— Здесь прекрасно кормят! Ты же знаешь, у нас своя система, я прикреплена!

— Где у тебя перелом? Почему тебе не сделано вытяжение?

— У меня замечательный перелом, который быстрее всего срастается! Скоро я везде буду ходить по своим делам!

Такая болезненная бодрость тоже как-то называется. Но нужно было наконец узнать, как дела в действительности.

— Подожди, полежи: я пойду найти кого-нибудь из врачей.

С облегчением вышел Владимир Антонович из палаты. Коридорный воздух показался прохладным и чистым. В оба конца, сколько хватало взгляда, не было видно ни одного белого халата. Зато прогуливались больные — значит, здесь не только старушечья травма.

В конце коридора Владимир Антонович рассмотрел все-таки стол под лампой и стеклянный лекарственный шкаф. Он знал, что это называется *пост*, и отправился туда. Сестры не оказалось, но сидели двое самоуверенного вида больных — помощники или поклонники.

Владимир Антонович осведомился о враче, чем очень развеселил сестринских помощников.

— А хоть сестра?

Помощники продолжали веселиться. Бывает — хорошее настроение у людей. С выздоравливающими это случается часто.

— Ну хоть санитарки есть?

Уровень притязаний Владимира Антоновича стремительно понижался.

— Чего тебе санитарка? Санитарка одна, а их вон сколько — лежаков. Сам и выноси, пока пришел.

Было наконец сказано вслух то, о чем Владимир Антонович и думать не хотел! Не хотел думать, потому что понимал надвигающуюся неизбежность.

Не то что бы Владимир Антонович настолько брезглив, чтобы вообще был не в состоянии вынести судно. Не самое приятное, разумеется, занятие, но так уж устроено природой, что всякое живое существо выделяет дурнопахнущие отходы. Но материнская моча, материнский кал — это что-то другое. Именно с мамочкой такая степень интимности была ему непереносима. Вот и дома всегда убирала Варя не только потому, что уборка — женское дело. За Зоськой, например, если та нагадит в коридоре, Владимир Антонович, если замечал первым, тут же и убирал сам, не дожидаясь Вари — неприятно, разумеется, и если бы не мамочка, давно надо было бы усыпить выжившую из ума кошку, но ничего постыдного в этом нет. Все дело именно в постыдности, в том, что именно мамочкой Владимир Антонович был воспитан с раннего детства в сознании постыдности тайн плоти, тайн пола — и потому именно к ее тайнам прикасаться было бы отвратительно. Но теперь, когда мамочка слегла прочно, может быть, слегла окончательно, когда здесь, в больнице, санитарки — почти миф, вроде снежного человека, невозможно всё свалить на Варю и Ольгу, теперь и ему придется равноправно дежурить, равноправно выносить судно — это ясно. И переодевать тоже. Материнская

нагота перестанет быть для него тайной — притом в старческом ужасающем виде, нагота тучной неопрятной старухи... Господи, об этом не только что не говорят, но, кажется, и не думают воспитанные люди; годами можно внушать себе, что грязных сторон жизни и вовсе как бы не существует — но вот есть, есть, есть! И по контрасту того и гляди покажется, что только грязь и существует, она — правда, а остальное — трусливая ложь!

По поводу санитарок иллюзий не осталось. Но нужно было еще и попытаться узнать, что же случилось с мамочкой. Насколько все серьезно.

— А как бы мне, ребята, заглянуть у вас в историю болезни? С вашей умелой помощью.

— Не полагается, капитан.

Он, оказывается, капитан. С чего бы?

— Ну, должен же я знать, что с моей мамочкой. Привезли еще вчера вечером, врача нет.

— Врачебная тайна называется. Ладно, посмотрим. Как фамилия?

Кто ее знает, как записали мамочку — Поповой или Гусятниковой? Наверное, Поповой, раз в справочном так значится. Надо же — вспомнила девичество!

— Попова. Валентина Степановна,— а то вдруг здесь несколько Поповых.

Помощник важно перебирал папки, наконец вытащил самую тонкую и, не давая в руки Владимиру Антоновичу — врачебная тайна как никак! — прочитал сам, демонстрируя, что ему привычно разбирать врачебные записи:

— Та-ак... Ну, значит, у вашей матушки перелом шейки бедра слева.— И добавил фамильярно: — Месяца два гарантировано. А может, и не сростись — реактивность организма в старости низкая.

Ну что ж, Владимир Антонович сразу же поставил точный диагноз — заочно. Вспомнился Игорь Дмитриевич, сумасшедше сверкающий глазами.

— Почему же не сделали вытяжение сразу? Ведь полагается!

— Не всегда сходу делается,— значительно объявил сестринский помощник.— Полагается по показаниям!

Хотя и непонятно, но как бы и объяснение.

Владимир Антонович медленно пошел назад, мечтая, чтобы за время его отсутствия появилась Ольга. Если нет — не миновать выносить мамочкино судно. А то и переодевать — брр!..

Еще он подумал, что нужно все-таки переправить фамилию в истории. Потому что все может случиться, и тогда придется приносить мамочкин паспорт, чтобы выписывать свидетельство — паспорт не совпадет с историей, и получится неразбериха. Он так и подумал: «все может случиться» и «свидетельство», не уточнив — какое. И тут же, поправляя себя, подумал, что и для обычной выписки нужно, чтобы совпали фамилии в паспорте и в истории, а то иначе и живую мамочку тоже могут отказаться выдать.

Владимир Антонович открыл дверь в палату, прошел сквозь мольбы и крики, подошел к мамочке. Ольги не было.

Мамочка все еще пребывала в неестественной бодрости — видать, выспалась и отдохнула.

— Что же ты не идешь? Три дня здесь лежу, только она за мною и ухаживает. Ну она... А тебя нет как нет! Нельзя же, чтобы всё она...

— Ольга — что ли?

— Ну она же, я говорю!

Владимир Антонович сообщил ровным голосом, даже улыбаясь:

— Тебя привезли только вчера вечером, Ольга здесь еще не была ни разу, а я пришел час назад и только отошел минут на пятнадцать навести справки.

— Чепуха! У меня идеальная память! Она от меня не отходит. Оленька!

Может быть, такой бред и к лучшему? Владимир Антонович попытался поймать мамочку на ее бредовом слове, спросил с надеждой:

— Ну хорошо, так, значит, тебе ничего не нужно? Если Ольга от тебя не отходит и все делает?

— Да, мне ничего не нужно! Все у меня есть! Только будь добр, возьми из-под меня — это... как это...

Ну вот, никуда не денешься. Стараясь хотя бы не увидеть того, чего не хотелось видеть, больше на ощупь Владимир Антонович рывком вытащил судно.

— Осторожно! Больно же! Ничего ты не умеешь делать!

Если бы только больно — от рывка плеснулось на простыню содержимое. Ладно, ничего не поделаешь.

Самое неприятное — вытащить. Нести и выливать — уже ерунда. Правда, уборная для больных, дорогу к которой ему указали ходячие, оказалась не по-больничному грязной — Владимир Антонович сосредоточил вагляд на специальной сливалке для суден и постарался не заметить натуралистических подробностей, но после пропитанной отвратительными запахами палаты и трудно было ожидать чего-то другого.

Владимир Антонович благополучно вернулся и поставил судно на пол, не зная, нужно ли сразу водворять его обратно. Лучше бы не водворять. Да и полезно, наверное, мамочке отдохнуть, нельзя же все время лежать на железе.

— Вот смотри, тут тебе сок в банке и апельсины — я кладу на тумбочку. Открытки вот еще пришли поздравительные.

— Не забывают... А батончики принес?

— Нет.

— Принеси батончики.

Если исходить из гипотезы, что соя слабит, батончики здесь окажутся особенно неуместными.

— Не обещаю. Они редко сейчас в магазинах.

— Я ей скажу, она найдет. Принесет. И ты ходи. Где-то увидишь. Ходить полезно. Я тебя дома заставляла гулять, а теперь некому!

Оставаться дольше смысла не было. Что можно было сделать — сделал, а разговаривать с мамочкой не о чем.

— Ну я пошел тогда. Лежи, выздоравливай.

— Ты пошел, а все оставил на нее. Никакого стыда в тебе нет!.. Гуляй больше, гуляй!

Владимир Антонович ушел, оставив судно на полу около кровати,— пусть является любимая Оленька и вдвигает это приспособление на его естественное место — под мамочку! Он думал, что встретит Ольгу на лестнице, но не встретил.

Какое счастье выйти на улицу! Какое счастье — чистый воздух! Надо побывать в жуткой клоаке, надышаться зловонных испарений, чтобы оценить наслаждение дышать чистым воздухом. И оказаться подальше от мамочки — ну пусть не счастье, но уж облегчение — точно! Даже меньше его раздражали незаслуженные дифирамбы Оленьке, чем постоянные наставления: гулять, видите ли надо! Все правильно — надо гулять. Правильные наставления — они самые несносные.

Когда-то Владимир Антонович принес домой самиздатовского Орвелла — «Звериную ферму». Очень смешная книга! И чистая правда. Показывать мамочке у него, естественно, в мыслях не было, но она сама полезла в стол и нашла. (Как вообще жить, если не гарантирована неприкосновенность хотя бы собственного стола?!) Был ужасный скандал, но что хуже всего, мамочка мелко-мелко порвала все страницы и спустила в унитаз — она сама сообщила: именно в унитаз, потому что даже в самом мелко изорванном виде она не могла доверить такую бумагу мусоропроводу,— кто-то же внизу имеет дело с мусором, может заинтересоваться! Мамочка оказалась совершенно права: у одного ассистента в их же институте были из-за Орвелла громадные неприятности: выгнали с работы и чуть не посадили. Могло то же самое ожидать и Владимира Антоновича: ведь прочитав, он собирался дать папку с криминальными листками кому-то еще. Да, мамочка оказалась права, но можно ли простить такую правоту? Можно ли всю жизнь оставаться ребенком, которого мудрые наставники оберегают от любого ложного шага?

Владимир Антонович прошел пешком две остановки, прежде чем залезть в автобус: нужно было как следует проветрить легкие, как бы отмыться морозным воздухом от налипшей скверны. (Выходит, последовал мамочкиному наставлению — погулял?) А подъезжая к дому, предвкушал, как залезет в ванну.

Дома он нашел настоящий субботник. Варя с Сашкой мыли полы, Павлик вытаскивал мусор. Знаменитый чемодан стоял в коридоре перед телевизором, и Павлик набивал в него какие-то старые боты, траченные молью муфты, лет сорок, возможно, не видавшие света божьего.

— Къебенизируем! — азартно закричал Павлик, довольный и самим занятием, и словом, которым он это занятие обозначил.

С таким же азартом Сашка мыла пол. Достаточно было посмотреть на нее — и не нужно было задавать никаких вопросов относительно их с Павликом общих планов на будущее. Она просто и естественно — де-факто — вошла в их семью. Без драматических объяснений.

— А где твоя мама? Я думал, встречу ее в больнице.

— Она сегодня не может! У нее сегодня вечером кройка и шитье!

Тоже причина.

Трудовой порыв, может быть, и похвальный, но все-таки надо было напомнить, чтобы эти борзые молодые соблюли хоть какое-то приличие. Владимир Антонович шагнул в разгромленную комнату.

— Вы документы там разные, письма самые главные — сохранить чтобы!

— Что ты, дядь Володь, что ты! Мы — конечно!

Ишь ты — какая покорная невестка!

Зато Павлик покорности не демонстрировал:

— Но открытки-то эти — «с праздником трудящихся» не хранить, надеюсь? За последние сорок лет. От ее иванов павловичей и николаев егоровичей.

— Ну открытки — ладно.

— А смотри, дядь Володь, как она газеты читала. Под матрасом. Без противогаза не входить!

Сашка приподняла матрас. Ударил запах уже не мочи — аммиака. Прямо на кроватной сетке оказалась груда влажных спрессованных газет. Не груда, а масса. Владимир Антонович шагнул назад и напомнил, задержавшись в дверях:

— Так аккуратнее с документами. И вещи — которые самые любимые.

За его спиной Павлик что-то сказал и засмеялся.

Владимир Антонович долго и с наслаждением мылся. Участвовать в домашнем субботнике он не собирался. Павлик с Сашкой явно старались для себя, демонстрируя, что бывшая комната их дорогой бабули — теперь их собственность. Ну а если мамочка выйдет из больницы?! Вон она какая сейчас бодрая! Владимир Антонович даже заспешил из ванны, так ему не терпелось задать этот вопрос!

— А если мамочка благополучно срастит ногу и вернется, что вы ей скажете? Почему выкинули ее вещи?

— Мы же не все выкидываем,— заступилась Варя.— Если у нее что новое, хорошее, мы оставляем. Мы гниль выкидываем, чтобы не дышать этой гадостью. Чтобы и ей не дышать, между прочим. Вернется, будет дышать свежим воздухом. Еще и спасибо скажет. То есть она-то ни за что не скажет, но все равно и ей польза.

— А Зоська где? Напугали ее совсем вашим погромом?

— А я и Зоську — къебенизировал! — захохотал Павлик.— Тоже от нее запах. Теперь, когда бабуля не пахнет, чего ж здесь Зоська будет вонять?!

Владимир Антонович вообще никогда не любил кошек, и Зоську в том числе. Терпел, раз мамочка любила. Но все-таки ему стало неприятно. Вспомнил, как совсем недавно мамочка сказала: «Вы бы и меня рады усыпить — как кошку».

— Куда ж ты ее?

— А в мешок да в воду! В ванне утопил и в мусоропровод выкинул. Хватит ей гадить! Тоже уже в кошачьем маразме.

А Владимир Антонович только что сидел в этой самой ванне. Блаженствовал.

— Это живодерство! Не знал, что у меня сын — живодер! — вдруг визгливо выкрикнул он.

И сам как бы со стороны удивился: никогда не догадывался, что в нем таится такой визгливый голос. Надо же — прорезался.

— Ну что ты, действительно,— сказала Варя.— Действительно, она уже старая и больная. А снесли бы в лечебницу — думаешь, там лучше усыпляют? Мне на работе рассказывали.

— А что мы мамочке скажем? Ее любимая кошка!

Сейчас Владимиру Антоновичу захотелось, чтобы мамочка вернулась, чтобы напрасными оказались поспешные труды Павлика с Сашкой. Ишь — хозяева!

— Да бабуля забудет! Или скажем: «Ты что, забыла, что она еще при тебе мирно умерла в своей постели? Окруженная рыдающими родственниками!»

Сашка прыснула. А Павлик продолжал, увлекаясь своей импровизацией:

— А бабуля скажет: «У меня идеальная память, я все прекрасно помню! Я сама приняла у нее последний вздох! Она мне шепнула: „Я явлюсь к тебе во сне и расскажу, как там, на том свете". Я сама закрыла глаза своей дорогой Зосеньке!» Так и скажет бабуля, за нее не беспокойся.

Сашка снова прыснула:

— «Во сне явлюсь и расскажу»! Ну ты даешь. А бабуля во все поверит, как официальная атеистка!

Никакого живодерства, все правы: и Зоське незачем жить дальше, и дорогой мамочке. Но все-таки Владимиру Антоновичу была отвратительна эта жизнерадостная откровенность Павлика. Да, Владимир Антонович давно мечтает, чтобы мамочка поскорей умерла — тихо и безболезненно; но, мечтая, вырвал у нее банку с консервной отравой! А Павлик рассудит, что незачем жить в маразме, и не только из рук не вырвет, но еще и сам поднесет яду! Ведь не любил же Владимир Антонович и Зоську, но готов был терпеть, не смог бы топить своими руками. А Павлик — пожалуйста! Несчастная кошка рвалась из мешка, а сынок держал мешок под водой и смотрел пытливым взглядом исследователя: дергается еще или перестала?

Не хотел Владимир Антонович, а сказал:

— Когда-нибудь и вы станете дряхлыми и беспамятными!

И ушел в свою комнату, в спальню-кабинет-гостиную. Не сказал он Павлику с Сашкой, что сначала дряхлыми и беспамятными станут Владимир Антонович с Варей — и, значит, Павлик так же жизнерадостно къебенизирует и родителей.

Из-за двери он услышал приглушенный голос Вари:

— Все-таки она его мать, а вы хохочете.

Да не в этом же дело! Не в сыновних чувствах. А в том, что нельзя доставлять страдание. Никому!

Владимир Антонович в который раз уперся в вечное противоречие: когда молодые сживают маразматическую старуху со света — это аморально; но когда старуха не дает жить молодым, отнимает у них лучшие годы — разве это не вморально?! Каждый имеет право жить — не заедая чужой жизни, но и не позволяя заедать свою! Сочувствие всегда должно быть на стороне страдающего, но как быстро страдание переходит с одной стороны на другую: только что страдающей стороной была жалкая старуха — но чуть ее пожалели, чуть она вошла в свои права, как всё переменилось — страдающей стороной становятся ее дети, попавшие в рабство к деспотичной в своем безумии старухе. Где равновесие? Кого пожалеть? Мамочку или Варю? Павлик сейчас неприлично ликует, но сколько лет Павлик не мог пригласить к себе друзей, потому что стеснялся пропитавшей квартиру вони! И кошачий запах он больше терпеть не желает — все понятно и правильно. Но в мешок да в воду все-таки нельзя! Когда Павлик страдает и терпит — бедный Павлик. Когда Павлик убивает — для начала хоть кошку — бедный Павлик в секунду превращается в отвратительного Павлика!

Очень хрупкая штука — правота. Только что человек был прав, только что был несправедливо унижен — и так легко продолжать по инерции считать его жертвой, когда он успел уже превратиться в палача.

А мамочка всю жизнь считала себя рабочей, гордилась, что родителей ее эксплуатировали и что сама она успела проработать три года на заводе — и следовательно, приобрела на всю жизнь непогрешимую классовую правоту, а сама давно превратилась в мелкую, но цепкую бюрократку, помыкающую просителями, благо те и сами готовы кланяться в исполкоме всякому столоначальнику. Саму ее давно пора было свергать, а она всё носилась со своей принадлежностью к бывшему порабощенному, а ныне самому передовому классу. Носилась, пока не превратилась в жалкую старуху — снова достойную жалости...

Владимир Антонович вспомнил, что не пил чаю на ночь. После ванны особенно захотелось чаю. Он решился выйти из своего добровольного затворничества и со строгим лицом, на котором было написано отчуждение от праздничной суеты, прошествовал в кухню. А в квартире продолжалась поспешная работа — только что старались ходить потише и говорили чуть приглушенными голосами — как же: «Все-таки она его мать, а вы хохочете». И вот сдерживались, не хохотали.

Владимир Антонович принялся сам себе заваривать чай. Каждый вечер это делает Варя — но сегодня Варе не до того. Через минуту в кухню вошла Сашка — с самоуверенностью всеобщей любимицы.

— Дядь Володь, давай пить чай вместе. Пить хочется ужасно — пылищи наглоталась!

Владимир Антонович молча поставил вторую чашку.

— Дядь Володь, я, знаешь, что думаю — про то, что ты сказал? Что тоже станем старыми? Я думаю, что везде должны быть профессионалы.

Выговорила она это слово с какой-то особенной плотоядной интонацией, и Владимир Антонович подумал некстати, что дай бог Павлику во всем соответствовать — как мужу. А то если раз или два у него получится не очень убедительно, не доведет он Сашку до полного любовного изнеможения, та сообщит ему с безжалостной улыбкой: «Везде должны быть профессионалы, во всяком деле! Зачем мне твое любительство?» Эта девочка не пропадет.

— Старыми и дряхлыми тоже должны заниматься профессионалы: ухаживать и все остальное. Сейчас позором считается: «Он отдал отца в дом престарелых!» А должно быть нормой. Ведь никто не говорит: «Какой позор, он не оставил жену рожать на своей постели, а отвез в казенный дом!» — Сашка кивнула на дверь, за которой слышалась работа: мол, не позор же будет для Павлика. Очень легко она произнесла про роды — видно, давно примерила ситуацию на себя.— Наоборот, считается дикостью, если родит дома. Потому что понимают, что в роддоме профессионалы, что там женщине лучше и безопаснее. И в домах престарелых должен быть такой уход, какого нет дома, старикам там должно быть лучше. В ясли тоже детей отдают профессиональным воспитателям — считается нормальным. И учат в школе профессиональные учителя, а не родители дома. Только почему-то для старости исключение. А надо, чтобы стало нормальным, чтобы наоборот говорили: «Какой позор, он держит старуху-мать дома, вместо того, чтобы о ней заботились специалисты по старости!» И в смысле общения. Сейчас психологи знают, что самое главное в жизни — человеческое общение. И легче всего общаться в своем поколении, а между поколениями всегда конфликт. Ты ведь тоже нашу бабулю не очень понимаешь, ведь правда? А она — тебя. А когда вокруг сверстники, они бы вместе судачили, вместе ругали молодежь, сразу понимали бы друг друга и были бы довольны. А родные навещали бы раз или два в неделю.

Из этого складного монолога Владимир Антонович понял, что Сашка давно все обдумала сама и Павлика убедила, так что при первом же удобном случае они сдадут родителей в руки профессионалов. То есть Владимира Антоновича с Варей.

Этого соображения он ей не сообщил, а заметил другое:

— Теоретически очень замечательно. При условии, что у каждого отдельная комната, что медсестры и санитарки — ангелы во плоти. Тогда, конечно,— старики довольны, гуляют по парку, дружно, как ты сказала, ругают нынешнюю молодежь и играют в разные настольные игры. Но ты знаешь, что это у нас такое на самом деле?! Теоретически и больница прекрасное гуманное место, где профессионалы любовно склоняются над больными и прописывают идеальное лечение. А вот я посмотрел сегодня. И раньше кое-что знал, а сегодня убедился: это клоака! — неожиданно взвизгнул он тем же голосом, каким недавно кричал на Павлика.— Это клоака! И дома для престарелых — клоака! Чтобы гнить заживо!

Что с ним такое? Раньше он так не кричал. Сашка, небось, думает: «Дядя Володя сам близок к маразму».

Жизнерадостная племянница сделала вид, будто и не слышала жалких криков:

— Надо сделать хорошими — и больницы, и дома эти. Ты же не говоришь, что не надо класть в больницу, оттого что больница плохая. Когда тяжелый случай, все равно без больницы не обойтись. И старость бывает как тяжелый случай, с которым без профессионалов не справиться. У моей подружки бабушка два года в параличе лежит!

«А у нашего Игоря Дмитриевича — больше года с переломом шейки!» — чуть не ответил Владимир Антонович.

— Ну конечно, ты права — в идеале,— Владимир Антонович снова заговорил тихо.— Только когда он настанет — твой идеал? Через десять лет или через пятьдесят? А мы живем сегодня. У нас в крови: воображать идеалы и не замечать того, что вокруг. А жизнь у нас одна — сегодняшняя. Я бы на десять лет запретил мечтать об идеалах — думать всем только о том, чтобы сегодня жить сносно! Закормлены мы мечтами об идеалах!

Владимир Антонович снова разгорячился, но уже нормально, без истерики.

— Ой, дядь Володь, ты прелесть: «Запретить мечтать об идеалах!» Этого еще никто не предлагал!

Одобрила девчонка — и Владимир Антонович испытал некоторое самодовольство.

Интересно, что Павлик не показывался. Небось, Сашка шепнула: «Пока не маячь, я сама его успокою». И добилась. Уже как бы и забылось, что любезный сын утопил в собственной ванне кошку. А что делать? Не проклянешь же и не выгонишь из дому. Значит, остается жить рядом и знать, что Павлик такой, что рука у него не дрогнет. Весело стареть, зная такое.

Совсем поздно позвонила наконец и Ольга.

— Ну что там? Шейка бедра? Я так и знала! Ну никак не могла сегодня успеть. И подумала: зачем мне, раз будешь ты? А завтра поеду я. Ты с санитаркой договорился?

Владимир Антонович и сам смутно чувствовал, когда уходил из больницы, что не сделал самого главного. И вот теперь прямой вопрос безжалостно разоблачил его недоделку. Преступную халатность.

— Нет,— через силу признался он.

— Так зачем же ты ездил? Это ж самое главное! Думаешь, к ней там подойдут, если не заплатить? О, господи! Ничего нельзя мужчине доверить практического. Платить-платить-платить — ничего другого там не нужно. Или самим дежурить круглые сутки. Но мы же не можем, мы же все заняты. Санитарки там не козы — они цветы не едят. И сестры. Будем платить — будут выносить. И чтобы лекарства не забывали.

Всю жизнь учила мамочка, а теперь принялась сестра. И ведь известно это все, но Ольга преподносила с таким апломбом, будто она сама первая открыла систему «платить-выносить». Да, все известно, но почему-то Владимир Антонович не нашел, не заплатил.

— Ну что, детки наши у тебя? Голубки? Сашка сказала, пойдет помочь говно выносить после бабули.

«После». Не рано ли обрадовались?

— Мамочка может вылечиться. Тогда ты ей и объясняй, куда ее любимые вещи девались. И любимая кошка.

— Они и Зоську выкинули? Ну дают! Метут чисто. Да подумаешь, объясним. Мамуля и не заметит. Скажем, так и было. Ну так, значит, завтра я поеду, разберусь там. Всегда приходится самой!

Всегда приходилось ухаживать за мамочкой Варе и Владимиру Антоновичу. И вот в кои веки Ольга еще только собирается что-то сделать — и уже заранее трубит в трубы!

— Что тебе приходится самой?! Ничего ты до сих пор сама не сделала для мамочки, все скинула на Варю! — В другом настроении Владимир Антонович не высказался бы так прямо, но сегодня его довели.

— Зато и квартиру мамуля сделала тебе, а не мне. Кто в трехкомнатной живет? А я там, где мне Сережа оставил.

Оказывается, и Ольга недовольна мамочкой: почему не ей сделала квартиру! Но у ее Сережи была же своя, естественно Ольга к нему и переехала. А потом успешно его выжила и стала полной хозяйкой. Не делать же было ей вторую квартиру!

— Ну теперь твоя Сашка возьмет реванш: все достанется ей.

— А чего ж? Только справедливо!

Прекрасно поговорили.

Павлик пошел провожать Сашку, и Владимир Антонович его не дождался. Но утром завтракали вместе, и Владимир Антонович высказался с удовольствием:

— Дурак ты будешь, если женишься на ней. Сам залезешь под каблук. Она же в точности повторение своей матери, а от Ольги ее Сережка сбежал, не разбирая дороги. Хороший был парень. До самой тундры бежал, не оглядываясь! А сама Ольга в мою мамочку — в нашей семье по женской линии передается железная воля. Неужели самому охота — на цепь и в будку?

Павлик покраснел, запыхтел, что никому не позволит... что он не мальчик...

Владимир Антонович смотрел — и ничего, кроме брезгливости, это пыхтение в нем не вызывало. Видать, и правда что-то порвалось вчера, не сможет он любить сына как прежде. Живодер в семье.

— Да делай как хочешь, раз не мальчик! — Владимир Антонович особенно подчеркнул голосом: «не мальчик».— Я сообщил тебе только свои генетические наблюдения. Мамочка, небось, когда-то и против генетики протестовала, как тогда полагалось, но ты-то ведь знаешь, что генетика — полезная наука?

Против генетики Павлик не нашелся, что возразить, еще попыхтел молча. Так ведь у живодеров не в споре сила: они молча пыхтят — и делают.

Владимир Антонович тоже молча доедал домашний творог и чувствовал, как прохладные творожные массы успокаивают его язву, как всегда нывшую с утра.

А квартира действительно преобразилась. Владимир Антонович в полной мере ощутил это вечером: впервые за несколько лет открыл дверь — и не ударил в нос запах мочи. И просторнее стало. Мамочкина комната — та вообще словно бы увеличилась в три раза, но и в коридоре просторнее, и в кухне, и в уборной, где не лезла больше под ноги Зоськина ванночка.

Владимир Антонович вошел, держа вечерние газеты, из которых торчали неизбежные поздравительные открытки. Обойдя в растерянности просторную квартиру, он помахал этими открытками перед носом у Павлика:

— Вы выносите, а тут созрел новый урожай!

— Ничего, отнесем в больничку, покажем бабуле и тут же потеряем!

Слушая жизнерадостного Павлика, Владимир Антонович вспомнил старый фильм про Айболита еще тридцатых, кажется, годов. Или сороковых. Там у Айболита имеется злая сестра Варвара, и вот эту Варвару не то акула проглотила, не то Бармалей, в результате чего счастливые герои идут и распевают: «Хорошо, что нет Варвары! Без Варвары веселей!» — и мотив такой заразительный.

Что Варю, его собственную жену, как раз полностью и зовут Варварой, Владимир Антонович при этом ничуть не подумал: к Варе песенка не имела никакого отношения. Но и правда, так заразительно: «Без Варвары веселей!» Вот-вот Павлик запоет: «Хорошо, что нет бабули! Без бабули веселей!»

Совсем поздно позвонила Ольга и торжествующе сообщила, что она все устроила, договорилась со всеми, всем, кому надо, дала — и что будут к мамочке вовремя подходить, выносить... Владимиру Антоновичу захотелось подозвать Павлика к телефону: «Вот послушай, как твоя тетка и теща все организовала. Вернется твоя бабуля, рано радуетесь!» Но вместо этого записывал под диктовку имена сестер и нянечек, к которым надо завтра подойти, столько-то каждой дать.

— Вот как надо дела устраивать! — победоносно закончила Ольга.— А то что толку от твоего вчерашнего похода? Пришел, только кашу размазал!

Впрочем, и Ольга не всё предусмотрела до конца. Когда на другой день Владимир Антонович явился в больницу и отыскал по инструкции Свету, та не захотела слушать никаких резонов:

— Сами перестилайте свою мамашу, сами! Не могу я ваших лежаков ворочать! Ни за какие ваши трешки! Попробуйте-ка четыре палаты! В ней, наверно, сто кило — в вашей мамаше! Грузовая тетечка! Мне еще детей рожать, их потом ни за какие деньги не купишь!

Света была девица крепкого сложения, чем-то напоминающая Ольгу, не так уж ей и страшно поворочать несчастных *лежаков*, раз уж пошла на такую работу, но она кричала с полным сознанием своей правоты, так что трудно было ей возразить — ведь право женщины рожать детей священно и никакими служебными инструкциями невозможно это право оспорить.

Высказывалась Света громким голосом, стоя прямо над мамочкиной кроватью. Мамочке было уже налажено вытяжение, она, как и все здесь, стала похожа на живую, еще едва трепещущую бабочку, приколотую косой булавкой — и, может быть, поэтому не решалась осадить нахалку, молча смотрела то на сына, то на здешнюю палатную

повелительницу. Сразу вдруг стало видно, что мамочка давно уже не вершительница судеб, а обычная слабая старушка.

— Давайте я попробую перестелить, вы только выдайте белье.

— Не напасешься белья, если каждый день ей стелить! Все равно через минуту обгадит!

Владимир Антонович сунул Свете в карман приготовленную пятерку, причем рука его непроизвольно проскользнула вдоль мощного бедра будущей мамы, и будущей маме это явно не показалось неуместным — она подернула бедром и впервые посмотрела на Владимира Антоновича с интересом. Не объяснять же ей, что он погладил мощное бедро совершенно случайно — и Владимир Антонович постарался молодецки улыбнуться в ответ на ее взгляд.

— Ладно, достану сейчас в бельевой. Идем уж.

Шагая за мощной Светой, Владимир Антонович невольно вспомнил вирши неудачливого Жениха, из-за которого мамочка и попала в гекатомбу: «Целовался, нежность расточая, чуждым бедрам...» Вот, стало быть, какие они — чуждые бедра.

В бельевой было полутемно и тесно. Света неторопливо открывала шкафы, перебирала пачки простыней, но, видно, находила их неподходящими и переходила к следующей полке. С некоторым запозданием до Владимира Антоновича дошло, что она предоставляет ему шанс проявить дальнейшую галантность. Не нужно было это ему вовсе, но как-то неловко было оказаться лопухом, который упускает столь заманчивый случай. Он стоял, не зная, проявлять галантность или нет, но тут Света наконец целеустремленно шагнула к шкафу, стоящему у самых дверей, и, проходя мимо Владимира Антоновича, прижала его в узком проходе к бельевому узлу. Тут уж деваться было некуда, пришлось расточить нежность чуждым бедрам и прочим выступающим частям могучего тела.

— Ишь, шустряк,— одобрила Света, хотя, видит бог, он никогда не бывал шустрым в таких делах.— Погоди, нельзя сейчас. Ночью-то дежурить останешься при мамаше?

Только не хватало Владимиру Антоновичу всерьез ввязываться в амурные дела с этой пылкой Светой.

— У меня жена ревнивая. Сказал ей, что домой приду.

— В другой раз не говори. А говори, что тяжелая стала твоя мамаша, что должен при ней всю ночь безотлучно, понял? Я в другой раз в пятницу в ночь дежурю, понял? Так и скажи. Не боись, подстелим сейчас твоей, пусть лишнюю простыню обгадит, если ей нравится.

Выпущенный из тесной бельевой, Владимир Антонович ощутил прелесть свободы. Никогда прежде он не бывал объектом такого приступа. Или эту девицу всегда обуревают столь пылкие страсти, и она собирает любовную дань со всех мало-мальски подходящих родственников здешних «лежаков», или он до сих пор себя недооценивал? Не догадывался, что способен внушать мгновенную страсть? Если так, то сколько наслаждений он упустил — но зато и скольких скандалов благополучно избег!

Они вернулись к мамочкиной кровати.

— Да, грузовичок,— тоном знатока подтвердила Света.— Ну давай.

И она решительно сдернула с мамочки одеяло.

Рубашка на ней совершенно некстати оказалась задранной. Владимир Антонович поспешно отвернулся и попытался одернуть подол — но рубашка сбилась под спиной и не поддавалась.

— Да чего, поздно ей стыдиться! — громогласно объявила Света.

— Наоборот, только сейчас и стыдиться! — яростным шепотом ответил Владимир Антонович.— Только молодым можно себя показывать!

— Ишь — молодым...— Света приняла на свой счет и хихикнула.— Судно надо сначала вытащить. Приподними, чтобы не расплескать, а я вытяну.

Владимир Антонович уже не мог отворачиваться, не мог не касаться жирного дряблого тела, не видеть складок на животе, разбухших вен на ногах. Мамочка была неподъемна, оторвать ее от кровати не удавалось, руки скользили — он делал тяжелую работу, и оставалось одно желание — справиться! Да, не позавидуешь здешнему персоналу! У грузчиков работа легче. Тем более, мамочка пришпилена аппаратом вытяжения, на бок ее не перекантуешь.

Рывком Владимиру Антоновичу все же удалось на миг оторвать мамочку от кровати, Света выдернула разом и судно, и простыню. Мамочка вскрикнула от боли, но Владимир Антонович не обратил на это внимания — нужно было справиться во что бы то ни стало, остальное значения не имело!

— Еще раз подними!

Владимир Антонович рванул мамочку вверх снова, она опять закричала, а Света в этот миг веером необычайно ловко пустила чистую простыню, продернула под спиной, расправила — да, большое нужно умение, у Владимира Антоновича ни за что бы так не получилось.

Оказавшись на чистой простыне, мамочка ободрилась.

— Как в ванне стало,— сказала она, и это была одна из самых удачных ее фраз за последние годы. Действительно же, чувство чистоты, чувство прохладной простыни должно напоминать погружение в ванну.

— Еще поездит грузовичок,— пообещала Света.

Владимир Антонович улыбнулся, как будто и он мечтает о том же. Да он, пожалуй, и мечтал в эту минуту, потому что так легко и приятно войти в роль любящего сына, чувствовать то, что полагается чувствовать.

— До свидания, мамочка. Завтра снова придем — или я, или Ольга. Лежи, поправляйся.

— Она смотрит... она приходит. Пусть батончики принесет. И дочка ее, такая девочка заботливая.

Сашка, стерва, и не навестила бабушку ни разу!

— Лежи. Тебе главное спокойно лежать.

— Да, хорошо. Лежать стало веселей.

О, господи! Как отозвался знаменитый лозунг. Как это? «Жить стало лучше, жить стало веселей!» Наверное, в свое время верноподданные покойники переиначивали так: «Лежать стало лучше, лежать стало веселей!»

Владимир Антонович со Светой пошли к выходу. Со всех коек неслось:

— Доченька!.. Подойди!.. Человека надо!..

Света не обращала внимания на молящих старух. Теперь Владимир Антонович даже не очень ее осуждал: сколько их тут? Двадцать? Или тридцать? Ну-ка пойти всех подряд перестелить! Он взмок, пока с одной справился.

В коридоре Света повернулась к Владимиру Антоновичу и спросила с неожиданной для нее задумчивостью:

— Ну что будем делать? Надо было тебе сразу просить — до того, как лебедку эту навинтили. Чтоб ее от окна отъехать. Теперь-то трудней. Она ж цепляет, лебедка, а проходы у нас — видал?

Владимир Антонович вспомнил, что и в самом деле мамочка лежит у окна. Он и не обращал внимания, потому что темно на улице.

— А зачем — отъехать?

— Да так. Это как хочешь. Кто-то воздуха боится. Форточку когда открывают. Кто-то простужается, а кто-то и нет.

Света говорила как-то странно. И зычность ее куда-то девалась, почти вполголос объяснялась.

Если б она спросила совсем прямо, наверное, и Владимир Антонович ответил бы прямо. Что-то ответил бы... А так оставалась возможность не понимать.

— Да она дома открывает форточку. Сама говорит, что свежий воздух полезен. Вечно нас гулять гонит.

— Ну раз любит...

— Так ведь кто-то ж будет лежать под окном. Если все не захотят...

— Кто-то, родичи, очень хотят, чтоб от окна отъехать, а кто-то и не очень.

Нужен был какой-то довод. Чтобы совершенно понятно, почему не нужно передвигать мамочку. Веский понятный довод.

— Раз уже лежит, раз наладили вытяжение... Теперь если двигать, можно только навредить. Что-нибудь сдвинется в переломе.— Постепенно он говорил все увереннее.— Главное, чтобы как следует срослась нога! Из-за этого нельзя рисковать! Тем более, двигать койку трудно, проходы узкие, обязательно заденет этим краном подъемным. А главное, чтобы срослась нога!

— Да, проходы узкие... Надо было сразу переезжать — если хотеть.— И Света без перехода объявила своим прежним громогласным голосом: — Так значит, в пятницу я в ночь!

По последнему пункту скрывать ей было нечего.

Как и в прошлый раз Владимир Антонович прогулялся на обратном пути. И чтобы провентилировать как следует легкие, и чтобы выполнить мамочкино наставление — она же так агитирует за свежий воздух!

Было время подумать о свежем воздухе в неожиданном аспекте.

Что ему сказала Света — если попросту? Что у окна много шансов простудиться. И что можно уменьшить эти шансы — почти свести к нулю,— если перетащить мамочкину кровать. А он — он оставил мамочку со всеми шансами на прежнем месте.

А если совсем попросту? Оставил с большими шансами умереть, потому что простуды в таком положении смертельно опасны.

Потому что — потому что он давно ждет, когда же она наконец умрет.

Потому что давно решил, что такое существование бессмысленно для нее — и мучительно для всех ее близких.

И прежде всего потому, что не хочет, чтобы Варя вскоре стала казаться мамочкиной ровесницей.

Потому что попробовал сегодня, что это такое — перестилка. А если так будет продолжаться год или два?!

Потому что помнит историю матери Игоря Дмитриевича.

Потому что поражен мужеством и благородством Лили Брик — но не может надеяться, что мамочка последует такому примеру.

Да, сегодня он взял на себя ответственность.

Хотя всего лишь устранился. Оставил все как есть.

В первый день, когда передвинуть мамочку было проще — хотя тоже ведь целая революция: двигать койку даже без этой косой лебедки! или тогда можно было перенести на носилках? — он искренне ни о чем не догадывался. Никто ему не намекнул. Да он и не нашел ни одной сестры.

Во второй... Интересно, делался ли подобный намек Ольге? Скорее — нет. И потому, что Света заговорила из-за особенного к нему расположения. И потому, что не Ольге ухаживать за мамочкой, если та вернется в безнадежно лежачем состоянии — живя отдельно, куда легче разыгрывать идеальную дочь.

А в общем-то — он же ничего не сделал. Мамочка в больнице? В больнице! И если врачи находят возможным, чтобы ее койка находилась там, где находится — значит все законно. На койках у окон постоянно лежат больные — почему один Владимир Антонович должен протестовать? Или почти один? А если бы мамочку перевезли — на это же место положили бы другую старушку! Что же, неужели Владимир Антонович тем самым обрек бы какую-то чужую ему старую женщину?!

Мамочка сломала ногу — не по его вине. «Скорая» привезла ее сюда. В больнице положили под окно — наверное, не было других свободных коек. И вот мамочку лечат, поставили вытяжение, санитаркам заплачено, чтобы подходили,— кто может его в чем-нибудь упрекнуть?!

Дома он даже смог перечислить свои достижения:

— Ну вот, весь штат вокруг мамочки бегает, свежее белье ей постелено! Она уже на вытяжении, так что полноправная больная.

Варя не очень заинтересовалась свежей сводкой из больницы: она смотрела телевизор. Вторую серию чего-то многосерийного. Владимир Антонович никогда не смотрит такие вещи, и он считал до сих пор, что кино по телевизору — ну кроме редких шедевров — смотрит одна только мамочка. Но оказалось — и Варя туда же! Прежде Варя просто прикрывалась мамочкой: мол, раз она все равно смотрит, я уж гляну заодно. Но мамочка далеко — и вот Варя прочно уселась сама.

Зато Павлик неожиданно спросил:

— А Пушкина она там тебе не читала?

— Почему — Пушкина?

— Ну читала же Жениху, помнишь? «Невы державное теченье, передовой ее гранит». Могла бы и тебе: «Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство...»

Павлик не продолжил цитату. Но стало как-то легче: если сам Пушкин понимал, что у постели безнадежного больного не хочешь, а думаешь: «Когда же черт возьмет тебя?» — значит, это нормально, а охи и вздохи — всеобщее лицемерие!

На следующий день в больницу должна была идти Ольга. Павлика не было, Варя возилась на кухне — очередной серии сегодня не показывали — и Владимир Антонович спокойно работал. Хорошо работалось — потому что и тихо, и чисто, и воздух свежий — и еще что-то. Если принять гипотезу той истеричной актрисы, может быть, дело в том, что «никто не вампирил»? Не сосала мамочка ту таинственную биоэнергию? Между прочим, и язва вела себя непривычно скромно: чуть поноет и перестанет.

Зазвонил телефон. Подошла Варя, чтобы он не отвлекался. Заговорила, заохала, так что Владимир Антонович равнодушно подумал, будто звонит какая-нибудь подруга, рассказывает романтическую сплетню. Но наохавшись, Варя заглянула в комнату:

— Возьми трубку. Тебя — Ольга.

Ольга так кричала в телефон, что больно было слушать. Владимир Антонович отвел трубку от уха и стал постепенно понимать смысл довольно-таки бессвязных восклицаний:

— У мамочки температура... пневмония... простудили открытой форточкой... нельзя поворачивать из-за гипса... в легких застой... очень опасно...

Как все быстро! Могло это произойти, он был готов — но не думал, что так все быстро!

— ...Найти какого-нибудь профессора... какие-нибудь новые антибиотики — самые сильные...

Неужели такие явные причина и следствие: вчера он отказался поменять мамочку местами с какой-нибудь менее удачливой старушкой — и сегодня уже температура?! Такое явное доказательство, что он и только он сделал роковой выбор?!

— Ну чего ты молчишь?! Есть у тебя какие-нибудь подходящие знакомые?!

— Нет.

— Ну как это нет?! У тебя в институте полно профессоров! Знакомы же они с медицинскими профессорами! Профессура всегда друг друга знает! Как это не найти в Ленинграде нужного профессора?!

— Просто не нужно напрасно мучить мамочку. Когда перелом шейки плюс пневмония — это безнадежно. Особенно при ее комплекции. Зачем мучать разными уколами?! Раньше давали морфию, чтобы человек дремал и не страдал напрасно, а теперь-то, небось, не допросишься. Если ты такая пробивная, достань морфию, а не профессора. Или хоть обычных снотворных побольше.

— Как ты можешь?! Надо же что-то делать! А вдруг?!

Проговорился, выдал себя. Теперь Ольга всю жизнь будет поминать.

— Надо реально смотреть на вещи. Спокойно уснуть — тоже счастье! А то мало того, что от перелома боли, так еще исколют, наделают абсцессов, да еще пролежни!

И ведь все правда, что он говорит. Даже в хорошей больнице — правда, это прекрасно поняла мудрая и мужественная Лиля Брик, а уж тем более в том аду, который называется «старушечьей травмой»!

— Я не могу так рассуждать! Надо использовать любой шанс!

— Попробуй. Только помни, что не надо мучать напрасно.

Мчаться тотчас в больницу не имело смысла, раз там Ольга, и Владимир Антонович отправился на следующий день — как всегда после института. Света в прошлый раз объявила, что дежурит ночью в пятницу, а был четверг, так что встреча с нею Владимиру Антоновичу не грозила. Владимир Антонович вовсе не боялся ее любовных посягательств — наверное, даже Света бы поняла, что при таком тяжелом состоянии мамочки всякие амуры неуместны. Но Света — единственная свидетельница, она знает, что он сделал выбор! Пусть все было обосновано наилучшим образом: двигать кровать со всей арматурой — значит, неизбежно потревожить обломки кости, помешать сращению перелома! И все-таки это был выбор, и Света об этом знает.

Владимир Антонович внутренне готов был найти мамочку в беспамятстве, но она его узнала.

— Вот видишь, перевели все-таки...— Она очень тяжело дышала и говорила с трудом.— Куда лучше, когда в Свердловке — видишь?

Пожалуй, это уже не нормальное ее беспамятство, а настоящий бред. Мечта всей ее жизни — лечиться в Свердловке, в больнице для лучших людей, куда она по малому своему исполкомовскому чину проникнуть не могла. И вот сбылось — хотя бы в бреду.

— Здесь особенными лекарствами лечат... которые только для патриотов...— С каким же трудом выговаривалось каждое слово!

Владимир Антонович осторожно притронулся ладонью к ее лбу. Горячий! Жар, бред, одышка страшная — неужели на самом деле конец?! Одно дело — ждать, высчитывать, и совсем другое — подойти к кровати и увидеть, что на самом деле...

— Тебе что-нибудь нужно?

— Достань, пожалуйста... Ну достань же!

— Что достать?

— Как ты не понимаешь! Я же русским языком: достань!

— Что?

— Ах, ну достань же!!

Наудачу Владимир Антонович полез за судном — как ни странно, оно оказалось пустым. Он даже не обрадовался этому обстоятельству: потому что тогда совсем непонятно, что же она просит достать. Он задвинул судно назад, надеясь, что самая эта операция успокоит мамочку — но нет:

— Ну что ты делаешь?! Я же прошу: достань!

Владимир Антонович беспомощно оглянулся на мамочкиных соседок: может быть, другие старухи понимают, что нужно их товарке? Но соседки лежали безучастно.

— Достань же! Неужели трудно для матери?!

Задыхалась она страшно. От волнения, должно быть, одышка усилилась. Нельзя было вот так беспомощно стоять перед кроватью — нужно было что-то делать, кого-то искать!

— Сейчас я найду! Подожди! Сейчас!

Владимир Антонович бросился на поиски — все равно кого. Кого-нибудь в белом халате, кто может что-то сделать! Сестры на месте, разумеется, не было. Комната с надписью «Ординаторская» — заперта. Владимир Антонович сообразил, что дежурные врачи обязательно должны быть в приемном покое — это где-то внизу. На лестнице курили больные, но он не стал их расспрашивать, сбежал вниз — и действительно сразу нашел приемный покой по особенному оживлению, отличавшему его от сонных отделений.

Здесь шла работа: провозили больных на каталках, толпились родственники. Никто не останавливал рыскающего по кабинетам Владимира Антоновича, и во втором или третьем он увидел врача — широкоплечего мужчину, который, засучив рукава, производил какую-то манипуляцию над распростертым больным. Владимир Антонович

смотрел в спину врачу, и казалось, тот делает движения как у тестомеса, хотя ясно, что на самом деле его занятие должно быть куда более тонким. Владимир Антонович стоял и ждал — не мог же он постучать врачу в спину.

Наконец врач оторвался от больного, повернулся, его сразу же атаковали с какими-то просьбами и вопросами, но Владимир Антонович протиснулся:

— Доктор, там моей матери очень плохо! На третьем этаже.

— Что такое?

— Задыхается.

— Почему же вы сами? Должив вызвать сестра. Если не справится сама. У нев должны быть назначения на экстренный случай.

— Я не нашел сестры.

— Найдите! Пусть вызовет сестра! Если родственники начнут сами нас дергать!..— и врач повернулся к следующему просителю.

Вот тоже вершитель судеб. Когда-то мамочка была вершительницей за своим столом: какой даст ход заявлению, куда направит. А теперь ее судьба в руках здешнего вершителя. Или уже поздно и ее судьба решена? Нет, не мог Владимир Антонович в это поверить! Умом понимал — а поверить не мог.

Сестры по-прежнему не было на месте. Владимир Антонович вернулся в палату. Пока он бегал вниз, здесь все переменилось: мамочка его не заметила, она, похоже, уже ничего не замечала вокруг. Она лежала, открыв рот, и дышала так же шумно и часто — но глаза были закрыты.

Ну вот — неужели все-таки... Чувствует ли она что-нибудь? Услышит ли, если позвать? Что, если прошептать ей — или прокричать,— чтобы услышала, чтобы легче ей стало в эти минуты: «Мама, я тебя люблю! Я тебя всегда любил, просто почему-то молчал!»? Что если? Может быть, услышит? Может быть, ей это нужно сейчас? Ведь это могут оказаться и последние слова, которые она услышит!

Владимир Антонович сидел на краю кровати. Молчал. Он не способен был солгать — даже сейчас. Что-то мешало. Хотя, нвверное, это была бы необходимая ложь. Благословенная ложь. Но не мог — и все тут. Молча взял ее за руку. Это — мог.

Но время шло — и ничего не менялось. Мамочка дышала тяжело, но ровно. Сколько? Он твк привык к ее прочности, что даже сейчас, понимая, что она умирает, все-таки не мог представить, что вот перестанет дышвть — и все. Что выздоровеет, он не верил, но что совсем затихнет, закоченеет — не мог представить. Казалось, так и будет бесконечно задыхаться.

Он встал и снова отправился искать сестру. На этот раз она оказалась около своего столика.

— Посмотрите, пожалуйста, может быть, вызвать дежурного врача? Там моя мама — она задыхается. И без сознания.

— Фамилия? Палатв?

Она выглядела такой усталой — немолодая, некрасивая сестра,— что Владимир Антонович не смог предъявить ей никаких претензий: почему не найти вас, не дозваться? Вместе они подошли к мамочке.

— Да, плохо, конечно. Чего тут врач сделает — уколы ей назначены — и для сердца, и антибиотики. Я уже колола. Могу еще.

Сказано это было просто, без намека: мол, сделаю как особое одолжение.

— Ну а вообще как? Доживет до утра?

— Кто знает. Это как сердце. В таком состоянии и по нескольку суток лежат.

Так что же — оставаться? Уходить? Если и в самом деле мамочка пролежит так несколько суток? Получится какое-то ненужное позерство, игра на публику: «Я ночами от нее не отходил!» Звтра у него две лекции, отменить он их не может, а какой из него будет лектор после бессонной ночи? И ведь смысла никакого от его дежурства.

Сестра сделала укол — но мамочка никак не отреагировала. Он сидел, держал ее за руку. Наконец догадался спросить:

— Хочешь чего-нибудь? Пить хочешь?

— Пить.

Значит, что-то все-таки доходит до нее! Сохранился островок сознания!

Владимир Антонович поднес поильник, стал осторожно лить тонкой струей в полуоткрытый рот. Мамочка понемногу глотала, но часть жидкости переливалась через угол рта — это был темный сок, и след от него на щеке и подбородке показался похожим на сукровицу. Владимир Антонович поискал полотенце, не нашел и обтер ей рот своим платком.

Вот классическая забота об умирающей — подносить питье. Отсюда и выражение крайней степени заброшенности: «Некому будет стакан воды поднести». Мамочке — есть кому. Наверное, только это сейчас и нужно.

Но что-то она слышит, как оказалось, что-то сознает. Снова он подумал, что должен он сейчас прокричать ей: «Мама, я тебя люблю! Люблю!» Пусть услышит в последние свои часы — или мгновения. Пусть легче ей будет уходить туда — в темноту, в пустоту.

Пусть мелькнет ей последний отблеск счастья от этих слов — словно рябь по воде. Да, ложь — но ведь святая! Самая святая, какая только может быть. Кричать, кричать: «Я тебя люблю, мама!»

Но по-прежнему он не мог. Что-то затормозилось внутри. Никак не мог. Множество раз в жизни он говорил мелкую неправду: что звонил, что говорил с кем-то — хотя и не звонил и не говорил. Все в таком роде. Но крупно лгать, лгать о самом главном ему не приходилось ни разу. Даже странно. Промолчать — промолчать случалось, но лгать о чем-то важном вслух — нет. И вот здесь, в этой ужасной палате, у постели умирающей обнаружилось, что он не может, никак не может прокричать мамочке о своей любви. Нужно — но не может.

— Хочешь пить?

— Да... пить...

Снова он лил в полуоткрытый рот питье, мамочка глотала, а тоненькая струйка сбегала от угла рта по подбородку.

Потом он тупо сидел рядом. Никаких изменений не происходило. И невольно думалось про завтрашние лекции, про то, что нужно все-таки выспаться. Все что можно — сделано. Даже лишний укол. А мамочка в таком состоянии может пролежать и несколько суток — сестра же знает, она почти каждый день видит таких больных.

— Пить хочешь?

— Пить...

Владимир Антонович напоил ее в последний раз и прокричал:

— Завтра я приду! Завтра!

Она ничего не ответила.

Он встал и пошел из палаты.

В коридоре ему встретилась та самая усталая сестра.

— Хотите прилечь в ординаторской? Там диван.

И Владимир Антонович не решился сознаться этой женщине, уверенной, что он должен ночевать здесь, что собрался идти домой.

— Да. Хорошо. В ординаторской.

Она отперла ему дверь.

— Вы уж так, без белья.

— Да-да, ничего не нужно.

Как ни странно, он сразу заснул.

Проснулся в шесть часов. И сразу пошел в палату.

Там было непривычно тихо. Старухи спали. Маму он увидел издали — она тоже лежала тихо. Много раз прежде он уже видел ее, лежащую так же неподвижно, видел и готов был принять за мертвую, но только сейчас он понял сразу и без всяких сомнений: да, умерла.

Он подошел. Лоб был холодный. И рука.

Даже вчера, прекрасно понимая, что мама умирает, он все-таки до конца не верил, что она совсем перестанет дышать, что кончится ее существование. Потому что единственным неизменным в его жизни была она. Что-то начиналось, что-то кончалось: вчера он был школьником, сегодня студентом, вчера холостым, сегодня женатым, звтра отцом — сыном он был всегда. Он не знал другого состояния — с момента рождения и до нынешнего утра.

Лицо мамы было спокойно. Глаза закрыты. Рот закрыт. Он сел рядом. Накрывать ей голову простыней он не хотел. Пусть лежит так — словно спит. Она была похожа на спящую гораздо больше, чем вчера вечером.

Зачем он не сидел здесь всю ночь?! Зачем не уловил ее последнего дыхания?! Зачем не прокричал ей слова святой лжи?! Да и лжи ли?! Уже несколько лет он был уверен, что обрвдуется освобождению, как радовался когда-то после смерти бабушки, а оказалось, смерть мамы — это очень больно! Может быть, он просто не догадывался всю жизнь, что любит ее?! Потому что такая близкая, что неотделима от него?! Никто же не догадывается, что любит собственную руку, собственный глаз,— и нужно лишиться руки, чтобы осознать потерю.

Нужно было что-то делать. Он встал и отправился искать сестру. На посту ее не было. Он заглянул в столовую — и увидел ее спящую на составленных стульях. Подошел.

— Мама умерла.

— А?

— Моя мама умерла. Надо сказать.

Сестра встала.

— Уже? Ну хорошо, что недолго мучалась. Да-да, сейчас позвоню дежурному.

Он сообразил, что ему тоже надо позвонить.

— А можно мне тоже — от вас?

— Нет, у нас только местный. Городской внизу, в приемном.

В приемном на него было закричали:

— Если каждый начнет...

Но он прервал веско:

— У меня мама только что умерла,— и дежурная придвинула ему телефон.

Смерть мамы, оказывается, давала какие-то странные привилегии.

У Ольги долго никто не снимал трубку. Неужели выключила телефон?! Должна же догадываться, что в любую минуту...

— Ну что? — голос такой, будто уже все знает.

— Все. Конец. Ночью.

Слышно было, как Ольга зарыдала. От ее рыданий собственная его боль многократно усилилась, он смог только выговорить:

— Приезжай! — и повесил трубку.

И ведь это он так решил! Можно было отодвинуть маму от проклятой форточки! Можно было спасти — а он не спас. Ведь это равносильно убийству? Оставил маму умирать под форточкой? И она умерла — так быстро.

Даже слишком быстро! Это была спасительная мысль: слишком быстро! Ведь есть какой-то — как это? — скрытый период, когда болезнь уже внутри, но еще не видна. И если Света ему объяснила вчера, а сегодня у мамы уже температура — значит, скрытому периоду поместиться негде. Да, слишком быстро! Наверное, все решилось раньше, еще до того, как он узнал, до того, как решил.

Боль чуть-чуть ослабела — и он смог позвонить Варе. Та не заплакала, спросила деловито, что нужно делать?

— Да скажут. Ты сегодня иди на работу. Не пойдешь, когда будут похороны. Или даже накануне, чтобы готовить поминки.

Он и сам поехал в институт и прочитал первую лекцию. Заставил себя ни о чем не думать, кроме своего предмета — и прочитал. На вторую ему нашли замену.

Непривычно рано пришел он днем домой. Никого. Зашел в мамину комнату. Сколько ни наводили порядкв, сколько ни выбрасывали вещей, это все-таки была пока еще ее комната.

Как мы не понимаем друг друга. Даже самых близких. Не соображает, заговаривается, промахивается мимо уборной — значит, не нужна такая жизнь? Кому не нужна? Близким? Обществу? Но свмой-то маме нужна! Подумвешь, плевала на пол и пачкала простыни — но находила смысл в такой жизни! Помнила стихи, слушала без конца «Пиковую даму», в телевизоре что-то улавливала для себя. Жизнь — это ощущения, радость ощущений. Как же можно решать за нее, нужна или не нужна такая жизнь?! Соевыми батончиками объедалась — тоже ощущение, тоже радость, тоже жизнь! А поздравления писала, а получала такие же поздравления — со сколькими людьми была связана!

И эту жизнь ей отказались продлить. То ли он один, то ли они вдвоем с Ольгой. Если даже Света заговорила поздно, если даже в тот момент пневмония уже невидимо засела в легких — все равно виноваты они! Как они могли мириться, что мама в этой жуткой палате, как оставили ее там?! Надо было хлопотать, надо было звонить исполкомовским знакомым, Ивану Павловичу знаменитому!

На стене над маминой кроватью еще висела фотография в рамке — не сняли Павлик с Сашкой. Снимут: им ни к чему. Владимир Антонович снял сам: мама в центре, молодая, непохожая на старуху, которая жила здесь в комнате, а к ней, к молодой маме прижимаются Володя с Олей. Лет десять ему примерно. Какие счастливые лица. Любил он маму тогда, любил! На обратной стороне надпись побуревшими чернилами: *«Мы втроем на даче в Ольгине»*. Была такая дача, было одно такое лето: они с Олей каждый день бежали наперегонки встречать маму с поезда: нужно было обогнать сестру и обнять маму первым! Да, были счастливы. Как больно вспоминать. Было и прошло — что может быть больней?

Так почему ж он не крикнул ей вслед, когда она еще могла расслышать?! Почему не крикнул чистую правду: «Мама, я тебя люблю!»?!

Он рыдал громко — и хорошо, что никто не слышал. Не нужно, чтобы на публику.

Как жаль, что он не мог поверить, что мамв, ее душа, видит его сейчас — видит, жалеет, прощает. Как легко жить, когда можно вымолить посмертное прощение. А если невозможно?! Если не исправить уже ни за что и никогда?!

Хорошо хоть оставались необходимые хлопоты — легче отвлечься. Надо было поехать в больницу, получить свидетельство о смерти. Там Ольга — но зачем же сваливать на нее. А может, и Ольга ушла.

В больнице он сначала пошел привычным путем в ту самую палату — неизвестно зачем. Мамина кровать стояла чисто застеленная и еще свободная. Словно не здесь меньше суток назад она задыхалась в агонии.

Старухи встретили его теми же криками: «Помощничек!.. Иди сюда!.. Больно!..» Не обращая внимания, привык, он подошел к знакомой кровати, обошел, оперся о подоконник. Из-под плохо заклеенной рамы явственно дуло.

Откуда-то из угла огромной палаты показалась незнакомая санитарка. Он вообще первый раз видел санитарку здесь. Толстая баба в грязноватом халате. Лицо простодушное, даже, пожалуй, доброе.

— Ну чо стоишь?

— Да вот. Кровать, смотрю, пустая.

— Отмучилась одна бабуля. Лежала да простыла. У нас называется, попала под сокращение. Место такое простудное. А ты свою привез? Сюда не ложи. Если только хочешь, чтоб пожила еще. А кому и не нужно. Другое твоей можем найти,— она посмотрела выразительно.— Можем найти, если, значит, хочешь.

Вот как. Ждала она, что ли, нового клиента? Может быть, и в тот вечер здесь ждали, когда привезли маму? А они с Ольгой не бросились вслед, не посмотрели, как устроили маму.

— Ей уже ничего не нужно. Она здесь и лежала, которая отмучилась.

Санитарка смутилась. Доброе лицо ее сморщилось.

— Получилось, значит! Никто ж не хотел. Проветривать же надо. Тоже нельзя все время в вони. У нас сам завотделением время, значит, утвердил, когда проветривать, а то некоторые возражают. А как же в вони задыхаться?! Проветривать надо!

Своим инженерным умом Владимир Антонович подумал, что можно бы проветривать как-то иначе, без форточек, без сквозняков — современная техника позволяет. Но о какой современной технике говорить в этих катакомбах?!

Нет-нет, не он один такой преступный сын! Все сыновья такие же, чьи матери здесь. Все общество испытывает тайную враждебность к немощным безмозглым старухам — иначе не мирилось бы с этой палатой, с этой больницей, в которой периодически проводятся *сокращения*! Да, все! От этой мысли стало легче: не он один. В компании всегдв легче, можно разложить преступление на всех, оставив себе только крошечную долю.

— Сколько лет ей было-то? — добрая санитарка продолжала сочувствовать.

— Семьдесят семь.

— А чо ж тогда? Дай бог всякому! Нам столько не прожить! Бабки эти от прежнего времени крепкие остались. Я тут вижу, как они борются да цепляются! Крепкие! Дай бог всякому столько!

«Борются»! Ну и с ними тут же борются — и успешно. Ладно, еще явится когда-нибудь любящий сын — и разнесет к чертям эту *старушечью травму*!.. Но не явился же до сих пор, не разнес...

— Да, семьдесят семь.

Потом, когда в загсе на улице Достоевского он регистрировал официально мамину смерть, и когда домой пришла женщина-агент оформлять заказы на все похоронные услуги, он снова и снова повторял удовлетворенно: «Семьдесят семь!» Женщина-агент сказала, что это самая старая клиентка у нее сегодня: в сорок лет то и дело умирают, в пятьдесят. И Владимир Антонович повторял:

— А мама в семьдесят семь.

Разве не доказывает сама эта цифра — а нет ничего объективнее цифр! — что сделано было для мамы все, что был он заботливым сыном? Никто не знает его тайных мыслей, никто не знает, что желал он маме легкой смерти, хотел поскорей освободиться; одна случайная медсестра знает про тот выбор, который он сделал, но выбор запоздалый, когда мама наверняка была уже простужена — никто не знает, никого это не касается, а вот объективный факт: о маме так заботились, что дожила до семидесяти семи! Куда дольше среднего возраста. Люди не бессмертны, никто ни в чем не виноват, срок пришел — и все претензии к господу богу!

Им с Ольгой вдвоем надо было решать: кладбище или крематорий? Странно было, что не слышвт они всегда уверенного маминого голоса, раздающего распоряжения. Вот и стали они окончательно взрослыми — решали сами. Вероятно, Владимир Антонович острее чувствовал запоздалое наступление взрослости: Ольга-то давно живет отдельно, а он всю жизнь с мамой, каждый день выслушивал наставления. И вот — сам.

Ольга заговорила, что кладбище как-то традиционнее: знаешь, что тут близко под землей родной гроб; трава вырастет, деревья будут шуметь. Недаром говорят: вечный покой! А крематорий — словно какая-то фабрика.

А Владимир Антонович был за крематорий. Потому что вечный покой — он на старых тихих кладбищах. А теперешние, на которых разрешают хоронить,— они голые и убогие! Могилы там, как солдаты в строю!

— А если где бабушка? К ней в могилу?

— Я уже забыл, где бабушка. После похорон не был ни разу — с десятого класса. И мама давно не была. Ходила, может, когда-то — и перестала. Что ей — бабушка? А ты помнишь?

— На Южном!.. Где-то на Южном... Ну можно же найти, наверное... Документы должны же быть...

— Я не знаю, где документы. А еще! Знаешь, как-то невольно и себя воображаешь... Так вот, больше всего меня пугает лежание в гробу: эта чернота, этот холод. Не

в том смысле, что проснусь от летаргии, но все равно. Хотя ничего не чувствуешь, все равно ужасно — так лежать в ящике и гнить. Черви! Потому что когда воображаешь — как будто и чувствуешь. А так — пепел: все чисто, гигиенично!

Ему самому понравилось последнее слово: именно *гигиенично*! Столько всего было негигиеничного вокруг мамы в последние годы — и дома, и особенно в больнице. А тут наконец — гигиенично.

И Ольга согласилась. Владимир Антонович решил и сумел настоять на своем — действительно, стал взрослым!

И все-таки как больно. Он занимался делами, неизбежно многочисленными накануне похорон, был как будто спокоен — и вдруг натыкался на лежащую почему-то отдельно пластинку из «Пиковой дамы» — и мгновенная сердечная боль: «Ведь мама могла еще раз послушать, порадоваться...» Новый мужской галстук отыскался с приложенным календариком 1983 года — не иначе, приготовила в подарок ему или Павлику, да и забыла. Значит, думала о них, хотела порадовать... Старухи на улице вдруг поголовно сделались похожи на маму. И даже старики. Идут куда-то — жалкие, беззащитные. Раньше он почти и не замечал на улице стариков и старух.

Мелкие, но тяжкие похоронные обязанности — отнести одежду, опознать тело, чтобы не перепутали роковым образом крематорские служители покойников — Владимир Антонович переложил на Павлика. Тот был все время бодр, и казалось очевидным, что совесть его совершенно спокойна, что не испытывает он мгновенной боли, натыкаясь на служившие его бабуле предметы. Но ведь и сам Владимир Антонович ни минуты не грустил, когда умерла когда-то его бабушка. Сашка помогала Варе готовить угощение для поминок — обе они работали бодро и не печалились.

Народу в крематорий пришло довольно много. Почтил маму и сам Иван Павлович — она была бы довольна. Когда заиграла музыка, Владимира Антоновича потряс новый приступ горя. Захотелось ему, чтобы мама тоже услышала эту музыку, как слушала столько раз любимые оперы. Знать научную истину — легко, но принять чувством, что ничего никогда она больше не услышит и не вспомнит, что сожгут сейчас тело и наступит полное уничтожение — нет, непостижимо!..

Первую речь сказал Иван Павлович. Сначала он напомнил о замечательных качествах умершей — и каждое слово казалось Владимиру Антоновичу чистой правдой: действительно ведь мама всю себя отдавала работе, действительно ведь скромно и неустанно служила людям, простым людям, которые шли к ней со своими бедами.

Но Иван Павлович увлекся и заговорил вообще о поколении, к которому принадлежала мама, о поколении, которое теперь пытаются опорочить неблагодарные потомки, о поколении, преданном идеалам, которые ныне утрачиваются. Гости чуть заметно заволновались. И Владимир Антонович при таком уходе в политику отвлекся от своего горя, стал с любопытством смотреть на маминых сослуживцев — таких старых, таких похожих на нее. Конечно, они одобряли каждое слово Ивана Павловича — но и опасались: можно ли так фрондировать, не страшно ли превращать похороны чуть ли не в демонстрацию? Некоторые даже сделали шаг назад, как бы показывая, что они не согласны с оратором, что они вынуждены присутствовать, но не одобряют, не разделяют...

Следующие выступающие говорили только о маме — о ее чуткости, о необычайной пунктуальности, так необходимой при работе с людьми, в особенности с многочисленными бумагами.

Среди старых служащих выделялся Жених — уже сильно пьяный как всегда. Видно было, что ему не нравится тон речей, и наконец он не выдержал, прервал очередного оратора:

— Да что вы о бумажкхв! Душа в ней была! Стихи она любила! Кто стихи помнит в семьдесят семь лет? Всего Чайковского наизусть! Душевная женщина, такой не найдешь больше!

Жених махнул рукой. Владимир Антонович почувствовал, что плачет. А Ольга заголосила громко. И не переставала, пока гроб не опустился в шахту.

Дома ждали столы. Владимир Антонович с утра не ел ничего, но язва его молчала. Она вообще затихла с тех пор, как умерла мама. Болела только душа. Видно, две боли разом человек не вмещает.

Сначала все было стройно и торжественно. Владимир Антонович кивал, когда говорились особенно прочувствованные слова — ведь все правда!

Варя рассказывала соседке:

— Валентина Степановна даже в последние годы чем-то интересовалась. В кино не ходила, а по телевизору фильмов не пропускала.

Владимир Антонович не сразу сообразил, что это о маме: так непривычно в Вариных устах звучало «Валентина Степановна» — ведь уже несколько лет Варя говорила только «она», «ее», «ей».

И снова Жених первым нарушил чинный порядок, спросил громко через стол:

— А чего кошки не видать, Зойки? Уж как ее ваша мамочка любила! Пусть бы и Зойка помянула!

— Зоська. Подохла она. Умерла.

— Поди-ка ты! Не иначе — с тоски! Смотри-ка ты — и животное чувствует!

Вот так и рождаются мифы о беспредельной преданности.

Голоса звучали громче. Иван Павлович снова говорил о поколении, о нынешней измене идеалам — и теперь остальные сослуживцы не опасались и поддакивали.

Владимир Антонович незаметно встал и вышел в мамину комнату. Открыл небольшой мамин стол. Павлик с Сашкой его еще не выпотрошили, и все ящики были забиты письмами. А что с ними делать? Ведь никто никогда их не будет читать. Сколько людей умерли вторично вместе с мамой — потому что она была последней, кто их помнил. А сама мама? Она будет жить призрачной жизнью в памяти Владимира Антоновича и Ольги — и умрет вторично и окончательно с ними. А он будет помнить! Радость и мука — помнить! Все помнить — от счастливого лета в Ольгино — до проклятой больницы, до своего выбора! Муки все-таки больше.

Кто-то кашлянул за спиной. Мать Жениха — трогательная старушка.

— Вы уж извините, что я сюда... Я вот что: она сейчас здесь. Она слышит. Я это очень знаю. Она слышит. Она вас любит. Как вы ее. Она слышит.

Это было слишком. Владимир Антонович зарыдал. Хорошо что не в голос.

Когда немного успокоился, старушки не было. Он еще постоял. Потом сунул наудачу руку в мамин стол — и точно, сразу наткнулся на полуистлевший бумажный мешочек с забытыми батончиками. Он взял их и вынес к столу.

— Ну что ты нашел? — сказала Варя.— Нельзя же на стол такую некрасивую штуку!

— Пусть стоит! Она любила! Батончиками надо маму помянуть! Ее батончиками!

Сейчас бы он закричал тем самым визгливым голосом, который прорезался впервые, когда узнал о живодерстве Павлика. Выручила Сашка:

— Правильно, дядь Володь, я сейчас, я высыплю. Бабулины любимые — точно!

И ласково тянула его в коридор.

Когда он снова смог вернуться к столу, там стоял сплошной гомон. Владимир Антонович расслышал, как Павлик спорит с Иваном Павловичем, какие машины лучше: передне- или заднеприводные? Павлик был за передний привод, за новейшие обтекаемые «Жигули», Иван Павлович — за задний привод и поминал «эмку», которая любым нынешним «Жигулям» даст вперед сто очков!

— Броневик был, а нынешние — консервные банки!

И у машин свой спор поколений.

Наконец стали одеваться. Владимир Антонович помогал одеваться старушкам, так похожим на маму (а ведь маме, еще когда она выходила на улицу, никогда сам не подавал пальто, пока она не потребует: «Иди и помоги мне, будь добр!» — и сколько еще предстоит таких вот укоряющих совесть воспоминаний?!), и вдруг услышал, как Иван Павлович говорит кому-то, стоя уже на площадке:

— Заботливый сын у нее, вот что! Тянул до последней минуты. Теперь редко встретишь таких. А уж про молодых нынешних и не говорю: отпляшут на радостях на поминках!

Вот он какой, оказывается...

Едва посторонние ушли, Варя виновато включила телевизор:

— Шестая серия. Я тихо.

Владимир Антонович смотрел на нее растроганно: и в самом деле, как постарела! Тяжело ей дались последние годы. Ольга по паспорту старше на десять лет, а на вид, наоборот, на столько же моложе.

Молодая и энергичная Ольга ходила по маминой комнате:

— Всю мебель сюда надо новую. Не жить же им с этой рухлядью!

Павлик с Сашкой дружно мыли посуду после гостей.

З. ПАСТЕРНАК

ВОСПОМИНАНИЯ

Все, кто стоял на ближних или дальних подступах к Борису Леонидовичу Пастернаку, уже поспешили высказаться и даже обнародовать свои воспоминания. Одни похожи на действительность, другие крайне далеки от нее.

Воспоминания же Зинаиды Николаевны Пастернак (1897—1966), его жены, остались в тени.

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Это — о ней, вдохновительнице, друге, жене. Вся книга «Второе рождение» — это поэтическая летопись зрелой и вместе с тем безумной влюбленности. «Какая может быть безвыходность, когда жизнь никогда не была для меня таким большим, таким прекрасным, таким облагораживающим выходом как Вы» (письмо Пастернака к Зинаиде Николаевне, 25 декабря 1930 года).

Жизнь Зинаиды Николаевны сложилась так, что, красавица, пианистка, она, защищая интересы Пастернака, вынуждена была заниматься «прозой жизни», домом, семьей.

Я, наверно, один из тех немногих, кто помнит Зинаиду Николаевну в молодости. Я познакомился с ней года за четыре до знакомства с Борисом Леонидовичем. Это был 1931 год. В начале лета она была в Киеве и жила в квартире профессора Перлина. Пастернак задерживался с приездом в Киев, откуда вместе с Зинаидой Николаевной по приглашению Тициана Табидзе и Паоло Яшвили они должны были отправиться в Грузию. Мне было обещано знакомство. Даже это одно обещание делало меня счастливым.

Зинаида Николаевна показывала мне тогда рукописи новых стихов Пастернака и увлеченно рассказывала о нем. Мы вместе играли сонату Франка для скрипки и рояля. Сквозь прорези пюпитра я разглядывал Зинаиду Николаевну. Смуглота, спокойное сияние глаз и всего облика подсказывали сравнение с живописью итальянских мастеров. Сравнение было уместным. Как я позднее узнал, мать Зинаиды Николаевны — наполовину итальянка. Отец ее — генерал инженерной службы Еремеев.

Позже и в Лаврушинском, в Москве, и в Переделкине я наблюдал за все возрастающей озабоченностью Зинаиды Николаевны. В войну она была в Чистополе, делила со всеми беды этой поры. Ей пришлось пережить раннюю смерть ее сына Адриана.

Когда в жизни Пастернака появилась другая женщина, Зинаида Николаевна великодушно терпела. Он не мог жить вне дома, вне обычной для него обстановки, вне родни и круга старых друзей, от которых его оттягивали и старались отучить. Когда-то Пастернак написал Зинаиде Николаевне: «...и умру с твоим именем на губах». Слова поэта всегда сбываются.

Шли годы. Зинаида Николаевна старела, или, как сама говорила, «стала сдавать». Но выносливость ее была велика. Общая обстановка вокруг имени и дела Пастернака была удручающе тяжела. Его смерть, отказы в изданиях, отказы ей в пенсии, несмотря на настойчивые хлопоты друзей, постепенно опустевший дом, который она хотела сохранить, прекрасно понимая, что со временем там должен быть музей...

Беды наслаивались и создавали своего рода психологическую незащищенность, неверие в успех новых начинаний.

В эту пору мы виделись часто, почти каждый день. Для подготовки первого посмертного издания стихов и поэм в Большой серии «Библиотеки поэта» мне была предоставлена возможность работать в кабинете Пастернака, за его столом. Жизнь меня вознаградила сверх меры. Наши беседы были длительными и очень важными для меня.

Сказала мне Зинаида Николаевна, что чувствует себя измученной жизнью, историей с «Живаго», продолжающейся и после смерти Бориса Леонидовича опалой. В это время, уже тяжело больная после перенесенного ею инфаркта, она начала диктовать свои воспоминания часто посещавшей ее З. А. Масленниковой. Она добавляла, что старается быть предельно правдивой. Все — как было.

Никакого постороннего вторжения в текст, написанный Зинаидой Николаевной Пастернак, никакой редактуры в ее воспоминаниях не было и не могло быть, так как попытки вторгаться в текст воспоминаний встретили резкий отпор сыновей Зинаиды Николаевны и всех ее друзей. Да и сам текст имеет все особенности именно диктовки, без источников под руками, чем и объясняется некоторая его неточность, особенно в датах, что так часто случается именно в воспоминаниях, написанных по памяти.

Умерла Зинаида Николаевна Пастернак через шесть лет после Бориса Леонидовича от той же болезни, что и он,— рак легких.

Незадолго до смерти Зинаида Николаевна просила меня защищать ее имя от возможных посягательств. Как показала жизнь, такого рода попытки делались и делаются, и в виде слухов, версий, и в виде рекламно-лживых мемуаров. Все это проникает в печать и на эстраду.

Важно услышать слова самой Зинаиды Николаевны Пастернак, услышать ее голос. В дальнейшем нам предстоит познакомиться с письмами поэта, адресованными Зинаиде Николаевне. Тогда, надеемся, ее образ предстанет в истинном свете.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем.

Будем верны воле поэта, закрепленной в стихах.

Лев ОЗЕРОВ

⟨...⟩ Однажды, помнится, это было в 1928 году, к нам пришли Асмусы, и Ирина Сергеевна принесла с собой книжку стихов Пастернака «Поверх барьеров». Она, Генрих Густавович[1] и Асмус[2] безумно восхищались его стихами. Мы всю ночь сидели и читали вслух. О себе я должна сказать, что я гораздо холоднее отнеслась к творчеству Пастернака, многие его стихи казались мне непонятными, а восторги мужа и Асмусов — наигранными. Их увлечение Андреем Белым мне тоже было непонятным, так как мое понимание современной поэзии заканчивалось на Блоке, которого я очень любила.

Спустя год Ирина Сергеевна радостно прибежала к нам и сообщила, что познакомилась с Пастернаком. Знакомство было оригинальным: узнав по портрету Пастернака, лицо которого было не совсем обычным, она подошла к нему на трамвайной остановке и представилась. Она сказала ему, что муж и она горячие поклонники его поэзии, и тут же пригласила его к ним в гости. Он обещал прийти в один из ближайших дней.

Ирина Сергеевна хотела, чтобы мы обязательно были у них. Я была уверена, что Пастернак не придет, попросила Генриха Густавовича пойти без меня и осталась дома с детьми. Оказалось, что Пастернак все же пришел и просидел с ними всю ночь. Все они пришли от него в какой-то раж и день и ночь говорили только о нем. Он произвел впечатление огнем, который шел как бы изнутри, и сочетанием этого огня с большим умом. Через неделю Пастернак пригласил Асмусов и нас к себе на Волхонку, в дом напротив храма Христа Спасителя, где он жил с женой[3] и сыном[4]. Мне очень не хотелось идти к ним, по всей вероятности, я где-то внутри боялась встречи с таким замечательным человеком. Я долго отказывалась, но Ирина Сергеевна настаивала. Она называла его чудом и вся была захвачена им. Я уступила, и мы пошли.

Этот человек тоже произвел на меня сильное впечатление. Он оказался хорошим музыкантом и композитором. Генрих Густавович много играл, и Пастернак был в восторге от его исполнения. Потом он читал свои стихи. Я всегда была прямым и откровенным человеком, и когда он спросил, нравятся ли мне его стихи, я ответила, что на слух я не очень поняла и мне надо прочитать их дома глазами. Он засмеялся и сказал, что готов для меня писать проще. Этой фразе я не придала никакого значения. Внешне он мне понравился: у него светились глаза, и он весь горел вдохновением. Я была покорена им как человеком, но как поэт он был мне мало доступен. Потребовалось время и вживание в его старые стихи, чтобы они стали постепенно проясняться, и со временем я полюбила их. Тогда же показалось, что как личность он выше своего творчества. Его высказывания об искусстве, о музыке были для меня более ценными, чем его трудно доступные для понимания стихи. Мы долго засиделись. Но мне очень не понравилась жена Пастернака, это невольно перенеслось и на него, и я решила больше у них не бывать. Асмусы и Генрих Густавович продолжали ходить на Волхонку, без меня, я отговаривалась занятостью и хозяйством. Наконец, Ирина Сергеевна призналась, что единственный человек, который ее по-настоящему в жизни захватил — Пастернак, и она в него влюблена. Она беспощадно обращалась со своим мужем. Он был милым человеком, очень страдал, и я удерживала ее от афиширования своего чувства к Борису Леонидовичу.

Через год пришла пора переезжать на лето под Киев, куда мы всегда отправлялись вместе с Асмусами. Ирина Сергеевна сообщила, что Пастернаки тоже хотят ехать на дачу под Киев. Все просили меня, любительницу путешествовать, поехать снять всем дачи. Выбор остановился на Ирпене. Собрали деньги на задаток, и я отправилась в путь. Я сняла четыре дачи: для нас, Асмусов, Пастернака Бориса Леонидовича с женой Евгенией Владимировной и для брата поэта Пастернака — Александра Леонидовича с женой Ириной Николаевной.

За две недели я собралась, и с двумя детьми (Адику было три года, Стасику — несколько месяцев), с нянькой, горшками, пеленками — мы тронулись в путь. Вместе с нами выехали в Ирпень Асмусы. Записаны были адреса всех дач, кроме нашей, и мы долго кружили вокруг нее на подводе. Генрих Густавович сердился. Как всегда, пришлось искать в Киеве рояль для Генриха Густавовича и перевозить его на подводе в Ирпень.

Дачи Александра Леонидовича и Ирины Николаевны Пастернаков и наша были рядом, а Борису Леонидовичу Пастернаку с женой и Асмусам я намеренно сняла дом подальше. Не помню уже точно, что побудило меня это сделать — вернее всего, ощущение опасности для меня частого с ним общения. Через две недели приехал Борис Леонидович с женой и сыном.

Первая наша встреча на даче была смешная. Босая и неприбранная, я мыла веранду, и вдруг подошел Борис Леонидович. Я была удивлена, когда он сказал: «Как жаль, что я не могу вас снять и послать карточку родителям за границу. Как бы мой отец — художник — был вос-

---

Печатается по тексту сборника «Воспоминания о Борисе Пастернаке». Составление, подготовка текста и комментарии Е. В. Пастернак и М. И. Фейнберг. Сборник готовится к выходу в издательстве «Советский писатель».

хищен вашей наружностью!» Мне казалось, что он смеется надо мной, и я высказала ему недоверие.

В то лето в Ирпене жили наши друзья — литературовед Евгений Исакович Перлин и его семья, несколько лет перед тем подряд снимавшие там дачу. Перлин, между прочим, обладал удивительной способностью предсказывать погоду. При ясном небе он мог объявить, что через десять минут пойдет дождь. Ему не верили, подтрунивали над его предсказаниями, но они неизменно сбывались. Всегда в жизни бывают памятные даты, когда помнишь событие и погоду в тот день. Он помнил погоду любого дня в году, и мы даже играли в такую игру: заставляли его отвечать на вопрос, какая была погода в такой-то памятный комунибудь из нас день, и он точно говорил. Он мне очень нравился, и у нас было нечто вроде начинающегося романа. Перлин часто заходил к Асмусам, а у нас бывал редко: чувствовал ревность Генриха Густавовича. Встречались мы чаще всего у Асмусов. Иногда даже назначали свидания и ходили вместе гулять. Он любил музыку и приходил к нам, когда Нейгауз играл и мы созывали знакомых.

Ирина Сергеевна все больше и больше увлекалась Борисом Леонидовичем и попрежнему настаивала, чтобы я ходила с ней к Пастернакам, а он все серьезнее, что я по-женски чувствовала, тянулся к нам. Он перешел с Генрихом Густавовичем на «ты» и все чаще попадался, как бы случайно, мне на пути. Я любила собирать хворост в лесу, и однажды он зашел ко мне и предложил свою помощь. Он так увлекся этим занятием, что собранного им топлива хватило на все лето. Меня удивило, что он так хорошо умеет все делать. Мне казалось, что такой большой поэт не должен быть сведущим в бытовых и хозяйственных делах. Генрих Густавович, например, утверждал, что предел его ловкости — уменье застегнуть английскую булавку. Когда в гражданскую войну Генриху Густавовичу пришлось однажды поставить самовар, то он насыпал уголь туда, куда наливают воду, а воду налил в трубу. Своей хозяйственной деятельностью он вызывал восстание вещей. Я была сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки хворосту. Я уговаривала его бросить, и он спросил: «Вам стыдно?». Я ответила: «Дв, пожалуй». Тут он прочел мне целую лекцию. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям, я это очень хорошо понимаю, твк как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией. Он рассказывал, что обожает топить печки. На Волхонке у них нет центрального отопления, и он топит всегда сам, не потому, что считает, что делает это лучше других, а потому, что любит дрова и огонь и находит это красивым.

Тогда я думала, что он мне подыгрывает, но в последующей жизни я убедилась, что это черта его натуры. Он любил, например, запах чистого белья и иногда снимал его с веревки. Такие занятия прекрасно сочетались у него с вдохновением и творчеством. Ежедневный быт — реальность, и поэзия тоже реальность,— говорил он,— и я не представляю, чтобы поэзия могла быть надуманной.

В Ирпене я избегала ходить к ним: мне все меньше нравилась Евгения Владимировна. Она всегда была бездеятельна, ленива, и мне казвлось, что она не обладает никвкими данными для такой избалованности. Мы были совершенно разными натурвми, и то, что казалось белым мне, то она считала черным. Бывать у них — значило терпеть попрание, иногда одной фразой, моих нравственных устоев и идеалов. Теперь, когда все позади, я думаю: не это ли несходство привычек и вкусов было причиной их расхождения? Возможно, что моя сдержанность в отношении их дома увеличивала его тягу ко мне.

Борис Леонидович всегда держался где-нибудь вблизи и искал случая помочь мне в домашних работах. Недавно Николай Николаевич Вильям-Вильмонт, живший в то лето тоже в Ирпене, вспоминал, как Борис Леонидович помогал мне достать шестом сорвавшееся в колодец ведро и квкой у него был счастливый вид. Вечерами собирались и слушали музыку. Борис Леонидович просто обожал игру Генриха Густавовича, а Нейгауз был влюблен в его стихи и часто читал их мне вслух наизусть, пытаясь приобщить меня к ним.

Однажды он выступвл в Киеве, играл E-moll-ный концерт Шопена для фортепьяно с оркестром. Надвигалась гроза, сверкали молнии. Концерт был назначен в городском саду под открытым небом, и мы волновались — не разбежится ли публика, но дождь хлынул после его исполнения. Посвященное Нейгаузу стихотворение Бориса Леонидовича «Первая баллада» навеяно именно этим концертом.

Ирина Сергеевна стала догадываться о чувствах Пастернака ко мне. Ей было больно, и она страдала. Я старвлась убедить ее, что он бывает у нас так часто из-за Генриха, а не из-за меня, и я не придаю никакого знвчения его увлечению, казавшемуся мне достаточно поверхностным. Однажды в его присутствии, забыв, что тут же сидит его жена, Ирина Сергеевнв попыталась меня уколоть, сказав, что я не понимаю его стихов. На это я гордо ответила, что она совершенно права, и я признаюсь в этом своем недостатке. Пастернак заявил, что я права, такую чепуху нельзя понимать, и он за это меня уважает.

В таких бурях прошло все лето. У Евгении Владимировны не было тогда оснований ревновать и беспокоиться — я вела себя скромно и совсем не поощряла его ухаживаний.

Осенью мы собрались в Москву. Страдающая Ирина Сергеевна с Асмусом уехали раньше, а мы поехали вместе с Пастернаками. Я с Генрихом Густавовичем и двумя маленькими детьми заняли одно купе, а в соседнем поместились Пастернаки. Поезд уходил из Киева в девять часов вечера. Уложив детей спать, я вышла в коридор покурить. Генрих Густавович уже спал. Открылась дверь соседнего купе, и появился Пастернак. Мы стояли с ним часа три около окна и беседовали. В первый раз я заметила серьезную ноту в его голосе. Он говорил комплименты не только моей наружности, но и моим моральным качествам. Когда он сказал, что я со своим благородством и скромностью представляю для него идеал красоты, я тут же со всей прямотой ответила ему: «Вы не можете себе представить, какая я плохая!». Он долго меня не отпускал и все допытывался, чем я плохая. Мне хотелось сократить этот затянувшийся разговор, и я наконец сказала ему, что с пятнадцатилетнего возраста жила со своим двоюродным братом, которому было сорок пять лет. Тогда мне казалось, что это предел большого чувства, при котором все разрешается, но, несмотря на это, я обвиняю себя в случившемся, и этот поступок всю жизнь меня преследует и мучает. Я говорила с ним со всей прямотой, мне казалось, что этим признанием я смогу охладить его чувства. Я побаивалась их, хотя он ни словом о них со мной не обмолвился. Увы, это привело к обратному. Он сказал: «Как я все это знал! Конечно, вам трудно поверить, что, первый раз теперь это слыша, я угадал ваши переживания». Тут я пожелала ему спокойной ночи.

Вскоре по приезде в Москву он пришел к нам в Трубниковский. Он зашел в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл двери, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала рукопись двух баллад. Одна была посвящена мне, другая Нейгаузу. Оба стихотворения мне страшно понравились. Генрих Густавович запер дверь и сказал, что ему надо серьезно со мной поговорить. Оказалось, Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил и что это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представляет себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они оба сидели и плакали, оттого что очень любили друг друга и были дружны.

Я рассмеялась и сказала, что это все несерьезно. Я просила мужа не придавать этому разговору никакого значения, говорила, что этому не верю, а если это правда, то все скоро пройдет.

Как всегда, в трудные периоды жизни я всецело занялась детьми, а Генриху Густавовичу сказала, что нам с Борисом Леонидовичем лучше не встречаться, пореже у них бывать. Генрих Густавович отвечал, что это, наверное, не удастся, так как Пастернак, видимо, будет часто приходить.

Ирина Сергеевна страдала и мучилась, наша дружба ломалась, и я горько это переживала, потому что она была моя единственная подруга ⟨...⟩

С Пастернаком мы встречались редко, главным образом у Асмусов, где он продолжал часто бывать. Все было очень трудно и сложно. Я чувствовала, что у меня пробуждается грандиозное чувство к нему и что все это жестоко по отношению к моей семье, Асмусам и к его семье.

В декабре Нейгауз поехал в большое турне в Сибирь. Борис Леонидович стал по три раза на день приходить ко мне. Тут он сказал мне всю правду: он не представляет себе, квк все сложится дальше, но какие бы я выводы ни сделала, он оставляет свою жену, так как жить с ней больше не может ни одного дня. Я говорила ему, что он преувеличивает, что нам обоим нужно бороться с этим чувством, потому что я никогда не брошу Генриха Густавовича и своих детей. Но все, что я ни делала для того, чтобы его оттолкнуть, приводило к обратному. Он ушел, и вскоре я узнала, что в тот же день он переехал от жены к Пильняку на Ямское поле. Оттуда он каждый день приходил ко мне, приносил новые стихи, составившие впоследствии книгу «Второе рождение».

В конце декабря он пришел как-то ко мне очень поздно, и я не пустила его на Ямское поле. Он остался в ту ночь у меня. Когда под утро он ушел, я тут же села и написала письмо Генриху Густавовичу о том, что я ему изменила, что никогда не смогу продолжать нашу семейную жизнь и что я не знаю, как сложится дальше, но считаю нечестным и морально грязным принадлежать двоим, а мое чувство к Борису Леонидовичу пересиливает. Письмо было жестокое и безжалостное. Я была уверена, что он все это переживет, и написала прямо, считая это более порядочным. Получилось ужасно, письмо пришло в день концерта. Как рассказывал мне потом его импрессарио, во время исполнения Нейгауз закрыл крышку рояля и заплакал при публике. Концерт пришлось отменить. Этот импрессарио потом говорил, что я не имела права так обращаться с большим музыкантом. Нейгауз отменил все последующие концерты этой гастроли и приехал в Москву. Увидав его лицо,

я поняла, что поступила неправильно не только в том, что я написала, но и в том, что я сделала.

Пришел Борис Леонидович, и мы сидели втроем и разговаривали, и каждое наше слово ложилось на всех троих, как на оголенную рану. Они стали спрашивать меня, как я представляю последующую жизнь. Я ответила, что для того, чтобы разобраться в себе, я должна от них уехать.

В Киеве у меня было много приятелей и друзей, и через три дня после этого разговора я взяла Адика и отправилась с ним туда.

Остановилась я у своей подруги — невестки Евгения Исаковича Перлина. Жизнь моя была мучительна. Слух, что я бросаю Генриха Густавовича, облетел весь Киев. Ко мне стали приходить его бывшие ученики с увещеваниями. Говорили, что я не имею права ломать жизнь такого большого музыканта, что у меня нет сердца, я жестокая, если его брошу, он погибнет, и я буду виновата в его смерти. Мать любимого ученика Генриха Густавовича — Гутмана — потрясла меня. Она предсказала мне ужасную жизнь с Пастернаком; как бы он меня ни любил, как бы мне ни поклонялся — у него есть семья, и всегда в наших отношениях будет трещина. Она рассказала, что у нее тоже такое было в жизни, и никакая любовь не могла залечить семейных ран. Иногда устраивали нечто вроде общих собраний у меня, напор был так велик, что я готова была поддаться и заглушить в себе чувство к Борису Леонидовичу.

Он писал большие письма по пятьшесть страниц и все больше и больше покорял меня силой своей любви и глубиной интеллекта. Через две недели он приехал ко мне и тоже поселился у моей подруги Перлиной. Он уговаривал меня развестись с Генрихом Густавовичем и жить только с ним. В эти дни я была совершенно захвачена им и его страстью. Через неделю ему пришлось уехать, так как в Киев приехал давать концерт Генрих Густавович, и Борис Леонидович не хотел нам мешать.

Как и всегда после удачного концерта, мне показалось, что я смертельно люблю Генриха Густавовича и никогда не решусь причинить ему боль. После концерта он пришел ко мне, и тогда возобновились наши супружеские отношения. Это было ужасно. Через двадцать дней, уезжая в Москву, он сказал мне: «Ведь ты меня всегда любила только после хороших концертов, а в повседневной жизни я был несносен и мучил тебя, потому что я круглый дурак в быту. Борис гораздо умнее меня и очень понятно, что ты изменила мне». Это была жестокая правда. Расставаясь с Генрихом Густавовичем, я обещала все забыть и вернуться к нему, если он простит и забудет случившееся.

Как бы чувствуя на расстоянии эту драму, Борис Леонидович писал мне тревожные письма. Потом он опять приехал в Киев и сообщил мне, что Паоло Яшвили, замечательный грузинский поэт, был в Москве и предложил ему забрать меня и отправиться в Грузию, обещая предоставить нам свою комнату. Как и всегда, увидев Бориса Леонидовича, я покорилась ему во всем и согласилась. Через три дня мы взяли билеты и уехали в Тифлис. ⟨...⟩

Устроили нас высоко в горах, в Коджорах, там всегда было прохладно. Полгода, проведенные в Грузии [5], превратились в сплошной праздник. Борис Леонидович и я впервые увидели Кавказ, и его природа нас потрясла. Кроме того, нас окружали замечательные люди — большие поэты Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Николо Мицишвили, Георгий Леонидзе. Нас без конца возили на машинах по Военно-Грузинской дороге, показывали каждый уголок Грузии и во время поездок читали стихи. Поразительная природа Кавказа и звучание стихов производили такое ошеломляющее впечатление, что у меня не было времени подумать о своей судьбе. Так мы объехали всю Грузию.

В августе мы переехали в Кобулети на Черном море, где познакомились с Симоном Чиковани и Бесо Жгенти. Мы жили с ним в одной гостинице. Здесь Борис Леонидович написал «Волны» и читал их вслух. Меня удивило, что через три дня все грузинские поэты, несмотря на недостаточное знание русского языка, запомнили эти удивительные стихи наизусть. Они любили Пастернака больше всех современных поэтов, носили его на руках, и их любовь переносилась на меня и на Адика. Пятилетний Адик не всегда мог присутствовать на наших пирушках, и поэты возились и играли с ним, а их жены уводили его и укладывали спать. Я подружилась с женой Тициана Табидзе, которая и по сей день большой друг нашего дома.

В Кобулетах мы прожили сентябрь и октябрь. Я забыла обо всей прошлой жизни. Генрих Густавович два-три раза напомнил о себе — в письмах звучала тревога, ему снилось, что в горах мы с Адиком летим на автомобиле в пропасть и гибнем, и он умолял писать. Послали две-три телеграммы, сообщая, что все благополучно. Я обещала с ним встретиться и поговорить по приезде.

15-го ноября [6] еще было тепло, все купались, и Паоло Яшвили провожал нас на вокзале в белом костюме, а в Москве было пятнадцать градусов мороза. Мои зимние вещи остались у Генриха Густавовича, пришлось дать ему телеграмму, чтобы он встретил нас на вокзале с нашими шубами. Мы оба, я и Борис Леонидович, были в легкомысленном настроении и ничего не соображали, куда мы денемся в Москве. Я понимала, что после этой поездки я не имела морального права явиться к Генриху Густавовичу. Борис Леонидович уговаривал меня поехать на Волхонку, так как жена была еще за границей, и он не представляет, где нам жить. Мне казалось неудобным приехать к нему на Волхонку в отсутствие жены. Он настаивал и говорил, что сейчас же потребует второго ребенка, Стасика,— мы должны жить вместе. Он надеялся своей добротой и с моей помощью смягчить страдания обоих людей — Евгении Владимировны и Генриха Густавовича.

Шубу и вещи привезла гувернантка Стасика. Она сообщила, что Стасик здоров и весел. Я другого не ожидала, была убеждена, что Генрих Густавович нас не встретит. Когда мы приехали на Волхонку, он пришел к нам. Тогда уже было напечатано «Второе рождение» [7]. Эти стихи каким-то образом отделили меня от Генриха Густавовича в его сознании. Как два больших человека Пастернак и Нейгауз имели свой общий язык, они часто встречались, и, когда Борис Леонидович попросил отдать Стасика, впоследствии Генрих Густавович эту просьбу выполнил.

На Волхонке мы прожили уже целый месяц, когда до жены Бориса Леонидовича, находившейся с сыном в Германии, дошли слухи, что он живет со мной уже как с женой, и она прислала телеграмму, извещавшую о ее возвращении. Нам надо было немедленно освобождать квартиру. Пришлось переехать к Александру Леонидовичу на Гоголевский бульвар.

Там было тесно, и мы спали на полу. Как всегда, первым пришел на помощь Генрих Густавович, он взял Адика и Стасика к себе, и у меня началась трудная и в нравственном и физическом смысле жизнь. С утра я ходила на Трубниковский, одевала и кормила детей, гуляла с ними, а вечером оставляла их на гувернантку. Мне было очень тяжело, и меня удивляло оптимистическое настроение Бориса Леонидовича. Ему было все нипочем, он шутя говорил, что поговорка «с милым рай и в шалаше» — оправдалась...

Евгения Владимировна мучилась ⟨...⟩ Я собрала свои вещи и села на извозчика, попросив Александра Леонидовича передать брату, что, несмотря на мое большое счастье и любовь к нему, я должна его бросить, чтобы утишить все общие страдания. Я просила передать, чтобы он ко мне не приходил и вернулся к Евгении Владимировне.

Я ощущала мучительную неловкость перед Генрихом Густавовичем, но он так благородно и высоко держал себя в отношении нас, что мне показалось возможным приехать к нему. Я не ошиблась. Я сказала ему, чтобы он смотрел на меня как на няньку детей и только, я буду помогать ему в быту, и от этого он только выиграет. Он хорошо владел собой и умел скрывать свои страдания. Меня поразили его такт и выдержка. Мы дали друг другу слово обо всем происшедшем не разговаривать. Я сказала ему, что, по всей вероятности, моя жизнь будет такова: я буду жить с детьми одна и подыщу себе комнату. Я находила утешение в детях, которым отдалась всей душой, и мне тогда казалось, что это хорошо и нравственно.

Но через неделю стали появляться люди. Первым пришел Александр Леонидович с женой. Они говорили, что Борис Леонидович просит меня вернуться, все равно он никогда не будет больше жить с Евгенией Владимировной. Он по моей просьбе вернулся к ней, но через три дня не выдержал и ушел. Я умоляла не тревожить меня, мне казалось, что со временем все уляжется, и я смогу перебороть себя. ⟨...⟩ Меня удивил тогда его брат. Он мне посоветовал опять уехать куда-нибудь, чтобы быть подальше от Генриха Густавовича и Бориса Леонидовича, пока я не разберусь в себе. Но мне не нужно было разбираться. Я уже решила пожертвовать своим чувством к Борису Леонидовичу, так как семья и дети оказались сильнее самой большой любви. Они ушли ни с чем. Через два дня пришел брат Ирины Николаевны — Николай Николаевич Вильям-Вильмонт. Он не хотел беседовать со мной наедине, позвал Генриха Густавовича и разговаривал с нами обоими. Он говорил, что Пастернак его любимый поэт и он не позволит так его мучить, что Борис Леонидович ходит сам не свой, говорит, что жить без меня не может, и нужно придумать какую-нибудь форму мыслимого существования. Вильмонт тоже любил Генриха Густавовича и был покорен его великодушием. Он просил принять Пастернака. Генрих Густавович сначала запротестовал, говорил, что он тоже человек и в такой раскаленной атмосфере не ручается за свои действия. Я молчала, так как Николай Николаевич, едва войдя, сказал, что такой жестокой женщины не видел. Я объясняю его слова его непрозорливостью.

Когда он ушел, Генрих Густавович спросил меня, как бы я хотела устроить свою жизнь. Я ответила, что больше всего хочу жить отдельно с детьми: мое призвание матери оказалось всего сильнее на свете. Через несколько часов приехала Нина Александровна Табидзе. Она сидела у нас и не понимала, почему я рассталась с Борисом Леонидовичем, ей это казалось чудовищным. Не знаю, она ли его позвала или он сам пришел, но открылась дверь, и вошел Борис Леонидович. Вид у него был ужасный! На лице было написано не

только страдание и мучение, а нечто безумное. Он прошел прямо в детскую комнату, закрыл дверь, и я услышала какое-то бульканье. Я вбежала туда и увидела, что он успел проглотить целый пузырек йоду. К счастью, напротив нашей квартиры на той же площадке жил врач, еще не посмотрев на Бориса Леонидовича, он крикнул: «Молоко! Скорее поите холодным молоком!» Молоко было у меня всегда в запасе для детей, и я заставила Бориса Леонидовича выпить все два литра, оказавшиеся на кухне. Все обошлось благополучно. Молоко вызвало рвоту, и жизнь его была спасена. Я уложила его на диван, и через некоторое время он смог разговаривать. Нина Александровна сидела около него и успокаивала и поклялась ему, что я к нему вернусь. Генрих Густавович был потрясен случившимся и сказал Борису Леонидовичу, что уступает ему меня навсегда ⟨...⟩ но он должен придумать такую форму существования, при которой я смогу спокойно жить, ничего не опасаясь.

Его нельзя было перевозить, и он остался у нас ночевать. Борис Леонидович мне говорил, что я должна жить с обоими детьми и с ним, и дал мне слово немедленно приняться за хлопоты о квартире. На другое утро мы переехали опять к его брату, и он начал хлопотать о жилье. Как ни странно, через две недели дали нам квартиру на Тверском бульваре из двух комнат со всеми удобствами. Но квартиру надо было чем-то обставить, и Генрих Густавович опять весьма великодушно отдал кое-что из мебели. Мы купили какую-то дешевую кровать для себя. Несмотря на бедную обстановку, мы были очень счастливы. При доме был садик, где я гуляла с детьми, а обеды мы брали тут же в литфондовской столовой. Таким образом, я обходилась без работницы.

Так мы жили спокойно три месяца. Потом опять появилась Евгения Владимировна. Квартира ей очень понравилась, и она попросила нас поменяться с нею. Мне очень не хотелось расставаться с этим уютным обжитым углом, к тому же я не доверяла ей и боялась, что снова придется куда-нибудь переезжать. Но площадь в квартире на Волхонке была больше, и Борис Леонидович меня уговорил.

Мне было больно, что Борис Леонидович живет с моими детьми и разлучен со своим сыном. ⟨...⟩ По-человечески вполне понятно, что Борис Леонидович мучился угрызениями совести. Впоследствии эти переживания были ярко выражены в том месте романа, где Лара приезжает с дочкой Катей к Живаго, и ему очень не хочется, чтобы Катя легла в кроватку его сына.

Когда мы переехали на Волхонку, все стало немного спокойнее. Евгения Владимировна к нам не приходила. Но вскоре до меня дошли слухи, что Генрих Густавович стал пить и быт его совсем разладился. К нам приходили его ученики и уговаривали на него повлиять. Мне пришлось написать родителям Нейгауза обо всем и попросить ускорить намечавшийся переезд в Москву.

(Когда я бросила Генриха Густавовича, его отец написал мне суровое письмо. Там была такая фраза: «Гарри говорит, что Пастернак гений. Я же лично сомневаюсь, может ли гений быть мерзавцем»). Но, к всеобщему удивлению, этот самый отец, придя к нам на Волхонку познакомиться с Борисом Леонидовичем и навестить своих внуков, сразу же влюбился в Бориса Леонидовича и, несмотря на свои девяносто с лишним лет, стал ежедневно приходить к нам пешком с Трубниковского, не считаясь с дальностью расстояния. ⟨...⟩ Для того, чтобы Нейгауз мог жениться на Милице Сергеевне, я должна была дать ему развод. Борис Леонидович обрадовался. Теперь все должно было стать на свои места: он дает развод Евгении Владимировне, я — Генриху Густавовичу, и мы с ним идем в загс.

Мы так все это и сделали. В загсе меня спросили, какую фамилию я хочу носить. Из-за детей я хотела оставить фамилию Нейгауз, но Борис Леонидович отвел меня в сторону и сказал, что он суеверен, что не может с этим согласиться и просит меня быть Пастернак. Мне пришлось вернуться и заявить, что я передумала [8].

Теперь все наладилось. Детей я устроила в детский сад. Борис Леонидович много работал, писал стихи, переводил. Часто приезжали грузины, и у нас устраивались вечера на двадцать пять человек.

В 1933 году его пригласили на Урал [9] посмотреть заводы и колхозы, познакомиться с жизнью в тех местах и написать что-нибудь об Урале. Поездка предвиделась на три-четыре месяца. Борис Леонидович поставил условие, что возьмет с собой жену и детей.

Мы пригласили в поездку двоюродную сестру Генриха Густавовича Тусю Блуменфельд (дочь известного композитора и дирижера Феликса Блуменфельда). Она очень любила детей и прекрасно с ними ладила.

Первое время мы жили в гостинице «Урал» в Свердловске. Столовались мы в обкомовской столовой. Потом нас переселили на озеро Шарташ под Свердловском и дали нам домик из четырех комнат. Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы уносили из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал крестьянке в окно кусок хлеба. Она положила десять рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги. Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старалась его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия и писать какую-то неправду, правду же писать было нельзя. Я пыталась его отвлекать, устраивала катание по озеру на лодке.

Однажды мы чуть не погибли. В ясную тихую погоду мы переехали на другую сторону Шарташа. Долго гуляли, собирали малину, грибы. Вдруг совсем неожиданно на озере появились белые гребешки, и Борис Леонидович уговорил нас ехать немедленно домой. Он взялся за весла, Туся — за руль, а я сидела на скамеечке с двумя детьми. На середине озера волны стали перехлестывать через борт, лодку заливало. Нас спасло лишь умение Бориса Леонидовича управлять лодкой, и мы чудом добрались до берега. Очевидно, физическое напряжение не прошло даром. Каждый мускул у Бориса Леонидовича дрожал, и он сильно побледнел. Все мы были измучены и как бы вернулись с того света.

Он стремился уехать в Москву. Я понимала, что ему тяжело жить в такой обстановке, видеть голод и несчастья крестьян. Отговорившись болезнью Бориса Леонидовича, мы попросили взять нам билеты в Москву. Предлагали подождать еще неделю мягкого вагона. Борис Леонидович был непреклонен и говорил, что поедет в жестком. На вокзал нам принесли громадную корзину со съестным. Он не хотел брать, но я настояла, так как на станциях ничего нельзя было купить, а ехать предстояло четыре дня. Всю дорогу до Москвы мы ехали полуголодными: Борис Леонидович запретил открывать корзину и обещал раздать все соседям по вагону, если я нарушу запрет. Я очень хорошо его понимала, но со мной ехали маленькие дети, и я с краешка корзины доставала продукты и кормила сыновей тайком в уборной.

Меня поразила и еще больше покорила новая для меня черта Бориса Леонидовича: глубина сострадания людским несчастьям. И хотя на словах я не соглашалась с ним, но в душе оправдывала все его действия. На каждой остановке он выбегал, покупал какие-то кислые пирожки и угощал ими меня и Тусю. Дома мы открыли эту корзину. Продуктов оказалось так много, что мы питались ими целый месяц.

По приезде в Москву Борис Леонидович пошел в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала без задних ног и ни строчки не напишет, ибо он видел там страшные бедствия: бесконечные эшелоны крестьян, которых угоняли из деревень и переселяли, голодных людей, ходивших на вокзалах с протянутой рукой, чтобы накормить детей. Особенно возмущала его обкомовская столовая. Он был настроен непреклонно и требовал, чтобы его никогда не приглашали в такие поездки. Больших усилий стоило заставить его забыть это путешествие, от которого он долго не мог прийти в себя.

Связь с Грузией продолжалась и крепла. Он был очарован грузинскими поэтами и переводил Т. Табидзе, П. Яшвили, С. Чиковани, Г. Леонидзе. В 1934 году мы отправились в Ленинград на пленум грузинских писателей [10]. Поселили нас в Северной гостинице (ныне Октябрьская). С нами были Паоло Яшвили и Тициан Табидзе с женой. Это был сплошной праздник для Бориса Леонидовича. Его подымали на небывалую высоту как поэта и переводчика грузинских поэтов. С нами неотлучно были Н. С. Тихонов и В. Гольцев. Тихонов часто приезжал из Ленинграда в Москву и останавливался у нас.

Я попала в Ленинград впервые после 1917 года. Мы показывали грузинам город, всюду их возили с собой. Мне была дорога эта поездка, я припоминала свое детство и мой первый роман с Николаем Милитинским. Как-то я сказала Нине Александровне Табидзе: как странно, что судьба забросила в ту самую гостиницу, куда я, пятнадцатилетняя девочка, приходила в институтском платье, под вуалью, на свидания с Милитинским. Никогда не думала, что она передаст этот разговор Борису Леонидовичу. С ним я была осторожна и бдительна в отношении моего прошлого, так как с первых дней нашего романа почувствовала его непримиримую враждебность и ревность к Николаю Милитинскому. Это мне было совершенно непонятно: я не испытывала никакой реальности к его прошлому. Особенно меня поразил один случай: когда мы жили на Волхонке, приехала дочь Николая Милитинского Катя с Кавказа и привезла мою карточку с косичками. Эта карточка была единственной, которая уцелела от моего прошлого, и я ею дорожила. Катя неосторожно сказала при Борисе Леонидовиче, что отец, умирая, просил передать ее мне со словами, что я была единственной женщиной, которую он любил. Через несколько дней карточка пропала, и я ее долго искала. Борису Леонидовичу пришлось признаться, что он ее уничтожил, потому что ему больно на нее смотреть. Уж если карточка имела такое действие, то что же с ним было, когда Нина Александровна

рассказала, что я встречалась с этим человеком в гостинице!

По приезде в Москву он заболел нервным расстройством — перестал спать, нормально жить, часто плакал и говорил о смерти. Я его начала лечить у доктора Огородова, но ничего не помогало.

В 1934 году [11] я повезла его на дачу в Загорянку и всячески старалась успокоить его и поддержать, но состояние его ухудшалось. Я не могла понять, как может человек так мучиться из-за какого-то моего прошлого.

До нас дошли слухи, что в Париже на антифашистский Конгресс писателей едет советская делегация [12]. Из крупных писателей здесь остались Бабель и Пастернак. Через два дня к нам на дачу приехали из Союза писателей просить Бориса Леонидовича срочно выехать на Конгресс. Он был болен и наотрез отказался, но отказ не приняли и продолжали настаивать на поездке. Пришлось ехать в Москву, чтобы позвонить секретарю Сталина Поскребышеву и просить у него освобождения от поездки. При этом телефонном разговоре я присутствовала. Борис Леонидович отговаривался болезнью, заявил, что ехать не может и не поедет ни за что. На это Поскребышев сказал: «А если бы была война и вас призвали — вы пошли бы?» — «Да, пошел бы».— «Считайте, что вас призвали».

Хотя и было страшно отпускать его в таком состоянии здоровья, я его усиленно уговаривала, надеясь, что перемена обстановки будет способствовать его выздоровлению. К тому же мы узнали, что открытие съезда задержали из-за отсутствия Пастернака и Бабеля. Я уговаривала его не потому, что боялась Поскребышева, а мне казалось, что Борис Леонидович будет там иметь успех и вылечится от своей болезни. На другой день после разговора с Поскребышевым почему-то ночью за Борисом Леонидовичем в Загорянку пришла машина. Мне не позволили его провожать, я волновалась, объясняла, что он болен и его нельзя отпускать одного. Мне отвечали, что его везут одеваться в ателье, где ему приготовили новый костюм, пальто и шляпу. Я этому поверила, это было неудивительно: в том виде, в котором ходил Борис Леонидович, являться в Париж было нельзя. Итак, он уехал.

Когда Борис Леонидович появился в Париже на трибуне (как мне рассказывали свидетели и очевидцы), то трехтысячный зал встал, и ему устроили овацию. Он долго не мог говорить [13].

Из Парижа я получила только одно письмо на тринадцати страницах, где он писал, что хотел было остаться там полечиться, но со всеми вместе выезжает через Лондон в Москву.

Все жены, и я в том числе, отправились на вокзал встречать поезд из Ленинграда. К моему ужасу, Бориса Леонидовича среди приехавших не было. Руководитель делегации Щербаков [14] отвел меня в сторону и сказал, что Борис Леонидович остался в Ленинграде, потому что ему кажется, что он психически заболел. Он, Щербаков, считает, что я должна немедленно выехать в Ленинград. На вопрос, вызывает ли меня Борис Леонидович, он ответил отрицательно, но, по его мнению, я должна была ехать. С большой любезностью Щербаков помог мне достать билет в Ленинград и дал письмо в Ленинградский Внешторг с просьбой выдать все вещи, приобретенные Борисом Леонидовичем в Париже и задержанные на таможне. Щербаков рассказал, что Борис Леонидович купил там только дамские вещи, это показалось подозрительным, и багаж не пропустили. Себе же он не купил и носового платка.

Я в смятении отправилась в Ленинград. После его нежного письма из Парижа я была потрясена тем, что он не хотел меня видеть. Я поехала по адресу его двоюродной сестры Ольги Михайловны Фрейденберг [15], жившей против Казанского собора на Грибоедовском канале. Я ожидала его увидеть в ненормальном состоянии, волновалась и всю дорогу думала, как мне быть — везти его в Москву или лечить в Ленинграде. Но, когда он вышел, похудевший, и, заплакав, бросился ко мне, я ничего не нашла в нем странного. Несмотря на обиды сестры, я тут же перевезла его в Европейскую гостиницу.

Он сразу повеселел, стал хорошо спать и гулял со мной по Ленинграду. Так мы прожили неделю.

Перед отъездом я сделала ему сюрприз и показала ему письмо Щербакова во Внешторг. Он обрадовался, но боялся, что будет высокая пошлина. Когда мы явились на таможню, нас ввели в комнату, где большой стол был завален действительно только женскими вещами, начиная от туфель и кончая маникюрным прибором. Нам сказали, что мы можем забирать все вещи бесплатно. Упаковав чемоданы, мы в ту же ночь выехали в Москву.

Борис Леонидович много рассказывал о Париже, о знакомстве с Замятиным [16], с семьей Цветаевой [17], французскими писателями. Он говорил, что на всех он произвел впечатление сумасшедшего, потому что, когда с ним заговаривали о литературе, он отвечал невпопад и переводил разговор на меня.

Он стал поправляться, но меня пугали его изжоги, и я уговорила его сделать анализ желудочного сока. Оказалось, что у него нулевая кислотность. Врач по секрету сказал мне, что это бывает только при раке. Я немедленно повела его на рентген желудка и пищевода, но никаких опухолей не оказалось. Ему прописали пить перед едой соляную кислоту, через месяц все боли прекратились и больше не возобновлялись.

На следующее утро мы поехали в дом отдыха «Одоев» под Тулой [18]. С нами снова была Туся Блуменфельд, горячо привязавшаяся к детям. Дом творчества оказался хорошим, со своим хозяйством, и мы прожили там почти полгода.

В августе 1934 года состоялся первый съезд писателей [19]. Борис Леонидович уехал на съезд из Одоева один. Через две недели он вернулся в Одоев в хорошем настроении. На съезде его поднимали на щит, он был избран в президиум. Только Сурков выступил против него [20]. Бросая фразы о его мастерстве, он принижал его, говоря, что он непонятен массам и ничего не пишет для народа. Борис Леонидович выступал на съезде.

В 1935 году зимой был пленум писателей в Минске [21]. Борис Леонидович не хотел ехать без меня и с большим трудом устроил мне поездку, так как жен писателей не брали (на пленуме оказалось только три жены: Сельвинская, Нина Табидзе и я). Везли нас по тем временам слишком роскошно, и Борис Леонидович возмущался тратой огромных средств на писателей, которые, по его мнению, не заслуживали такого большого внимания от правительства.

На пленуме писатели поделились на две группы. Мы оба с радостью встретили грузин: Паоло Яшвили, Тициана Табидзе с женой, Леонидзе, Чиковани и все время были вместе, вместе осматривали город и до полуночи засиживались, читая стихи. Меня удивило тогда, что каждый выступавший, начиная говорить о литературе, съезжал на Пастернака. Большинство говорило, что Пастернак величайший поэт эпохи, и, когда Борис Леонидович вышел на эстраду, весь зал поднялся и долго аплодировал, не давая ему говорить. Но в зале были и его враги, выступавшие против него, например, венгерский писатель Гидаш [22], который утверждал, что Пастернак не первый поэт эпохи, а средний. А также выступил Эйдеман [23], латышский писатель, который сказал: Пастернак действительно большой мастер, но везет только один вагон, в то время как мог бы везти целый состав.

Как всегда, речь Бориса Леонидовича была зажигательна и подчас рискованна. Едучи обратно в Москву, Борис Леонидович возмущался безумной тратой денег на банкеты и дорогую кормежку и все для того, чтобы выяснить вопрос, какое место он занимает в литературе. Он мне сказал, что никогда не интересовался тем, какое место он занимает, настоящий художник не должен иметь ощущения своего места, и он не понимает выступлений товарищей.

Вскоре после нашего возвращения в Москву в Союзе писателей состоялось собрание писателей. Я на нем была. Выступление Бориса Леонидовича снова было рискованным. Он говорил, в частности, что пора прекратить банкеты, все не так весело, как кажется, и государство не в таком состоянии, чтобы тратить на писателей столько лишних денег.

Наступил 1936 год. Писателям предложили строить дачи в Переделкине и одновременно кооперативный дом в Лаврушинском. Денег у нас было мало, так как переводы грузин давали немного, а к работе, в которой по настоянию врачей был перерыв со времен Парижа, Борис Леонидович еще не приступил. Но мы все-таки сэкономили и внесли пай на квартиру в Лаврушинском, а дачи ничего не стоили, их строило государство.

Наша дача находилась против дачи Пильняка, а с другой стороны был дом Тренева. Дачи строились на широкую ногу, по пять-шесть комнат, и все они стояли в сосновом бору. Мне не нравился наш участок — он был сырой и темный из-за леса, и в нем нельзя было посадить даже цветов. Мы были недовольны огромными размерами дома — шесть комнат с верандой и холлами, поэтому, когда в 1939 году умер писатель Малышкин [24], нам предложили переехать в чудную маленькую дачу с превосходным участком, солнечным и открытым. В этом нам помог Николай Погодин, который был в то время во главе Литфонда. Одновременно велось строительство дома писателей в Лаврушинском. Создали кооператив, в который надо было вносить деньги. За пятикомнатную квартиру полагалось заплатить 15—20 тысяч, а у нас было накоплено восемь тысяч, и хватило только на две комнаты. Сначала пятикомнатную я обменяла с Фединым на трехкомнатную, но в конце концов и ее потребовалось обменять на двухкомнатную. Ко мне пришел конферансье Гаркави и сообщил, что строит холостяцкую квартиру из двух комнат, расположенных на восьмом и девятом этажах, с внутренней лестницей. Наверху должен был быть кабинет с ванной, а внизу спальня с кухней. Гаркави предложил мне обменяться с ним. Боря уговаривал меня совсем отказаться от квартиры в городе и говорил, что можно обойтись одной дачей. Но я должна была заботиться о двух подрастающих мальчиках Нейгауза и хотела устроить для них этот угол, чтобы они могли учиться в Москве. Я тут же отправилась с Гаркави посмотреть эту квартиру. Я сообразила, что можно обойтись без внутренней лестницы, а общаться через лестничную клетку и сделать глухой потолок. За счет передней и внутренней лестничной площади на каждом этаже выкраивалось по маленькой комнатушке. Таким образом,

у меня получалось четыре небольшие комнаты. Это было удачно: писатель отделялся от детского шума и от музыки Стасика. Мальчикам предназначался верхний этаж, а нам нижний.

Устроить все это было трудно, потому что требоаалось разрешение главного инженера и согласие Моссовета, но у Гаркави были связи, мы с ним всюду ездили вместе и, наконец, с большими трудностями добились своего.

Я описываю это маловажное событие оттого, что и по сию пору всех удивляет эта двухэтажная квартира, а в особенности в 37 и 38 годах, когда начались аресты, пошли разговоры, не в конспиративных ли целях у нас такая квартира. Кстати, потом дом перешел в ведение жакта, все внесенные паи вернули, и оказалось, что мы зря отказались от большой квартиры.

Пока шло строительство дачи и квартиры, мы жили на Волхонке. Туда к нам часто приезжали Анна Ахматова, Николай Семенович Тихонов и Ираклий Андроников с братом Элевтером, гостили у нас, ночевали. В это время начались аресты. Однажды Ахматова приехала очень расстроенная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина [25]. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению ее этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приехал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры. Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенным, чем его. Сначала думали написать коллективно. Боря никогда не писал таких писем, никогда никого ни о чем не просил, но, увидев волнение Ахматовой, решил помочь поэту, которого высоко ставил [26]. В эту ночь Ахматовой было плохо с сердцем, мы за ней ухаживали, уложили ее в постель, на другой день Боря сам понес написанное письмо и опустил его в Кремлевскую будку около четырех часов дня. Успокоенные, мы легли спать, а на другое утро раздался звонок из Ленинграда, сообщили, что Пунин уже освобожден и находится дома. Борн еще спал, я влетела радостно в комнату Ахматовой, поздравила ее с освобождением ее мужа. На меня большое впечатление произвела ее реакция: она сказала «хорошо», повернулась на другой бок и заснула снова.

Мне некуда было девать свою радость, и я разбудила Борю. Он был очень рад и удивлен, что его письмо так подействовало. Я не удержалась и сказала ему, что поражена равнодушием Анны Андреевны. «Неужели все поэты так холодно воспринимают серьезные события?» — спросила я. Он отаетил: «Не все ли нам равно, как она восприняла случившееся, важно, что письмо подействовало и Пунин на свободе».

Мы долго ждали ее прихода к заатраку, но она не появлялась. Я боялась, что ей плохо, на цыпочках подходила к двери,— она спала. Выйдя, наконец, к обеду, она сказала, что поедет в Ленинград на другой день. Мы с Борей уговаривали ее ехать тотчас же. В конце концов она согласилась, мы достали ей билет и проводили на вокзал.

Через много лет я ей высказала свое недоумение по поводу ее холодности, она ответила, что творчество отнимает большую часть ее темперамента, забот и помыслов, а на жизнь остается мало.

К нам иногда заходил Осип Мандельштам. Боря признавал его высокий уровень как поэта. Но он мне не нравился. Он держал себя петухом, наскакивал на Борю, критиковал его стихи и все время читал свои. Бывал он у нас редко. Я не могла выносить его тона по отношению к Боре, он с ним разговаривал, как профессор с учеником, был заносчив, подчас говорил ему резкости. Расхождения были не только политического характера, но и поэтического. В конце концов Боря согласился со мной, что поведение Мандельштама неприятно, но всегда отдавал должное его мастерству.

Как-то Мандельштам пришел к нам на вечер, когда собралось большое общество. Были грузины, Николай Тихонов, многие читали наизусть Борины стихи, и почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мандельштам перебил и стал читать одно за другим свои стихи. У меня создалось впечатление, о чем я потом сказала Боре, что Мандельштам плохо знает его творчество. Он был как избалованная красавица — самолюбив и ревнив к чужим успехам. Дружба наша не состоялась, и он почти перестал у нас бывать.

Вскоре до нас дошли слухи, что Мандельштам арестован [27]. Боря тотчас же кинулся к Бухарину, который был редактором «Известий», возмущенно сказал ему, что не понимает, как можно не простить такому большому поэту какие-то глупые стихи и посадить человека в тюрьму.

Дело подвигалось к весне, и мы готовились к переезду на новую дачу, но пока все еще жили на Волхонке. В квартире, оставленной Боре и его брату их родителями, мы занимали две комнаты, в остальных трех поселились посторонние люди. Телефон был в общем коридоре. Я лежала больная воспалением легких. Как-то вбежала соседка и сообщила, что Бориса Леонидовича вызывает Кремль. Меня удивило его спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович»,— меня бросило в жар. Я слышала только Борины реплики и была поражена тем, что он разговаривал со Сталиным, как со мной. С первых же слов я поняла, что разговор идет о Мандельштаме. Боря сказал, что удивлен его арестом, и, хотя дружбы с Мандельштамом не было, но он признает за ним все качества первоклассного поэта и всегда отдавал ему должное. Он просил по возможности облегчить участь Мандельштама и, если возможно,— освободить его. А вообще он хотел бы повстречаться с ним, то есть со Сталиным, и поговорить с ним о самых серьезных вещах — о жизни, о смерти. Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики, очень непосредственно.

Он вошел ко мне и рассказал подробности разговора. Оказывается, Сталин хотел проверить Бухарина, правда ли, что Пастернак так взволнован арестом Мандельштама. Боря был совершенно спокоен, хотя этот звонок мог бы взбудоражить любого. Его беспокоило лишь то, что разговор могли слышать соседи. Он позвонил секретарю Сталина Поскребышеву и спросил, нужно ли держать в тайне этот разговор, и предупредил, что телефон находится в коридоре коммунальной квартиры и оттуда все слышно. Поскребышев ответил, что это его дело. Я спросила Борю, что ответил Сталин на предложение побеседовать о жизни и смерти. Оказалось, что Сталин сказал, что погоаорит с ним с удовольствием, но не знает, как это сделать. Боря предложил: «Вызовите меня к себе». Но вызов этот никогда не состоялся. Через несколько часов вся Москва уже знала о разговоре Пастернака со Сталиным. В Союзе писателей все перевернулось. До этого, когда мы приходили в ресторан обедать, перед нами никто не раскрывал дверей, никто не подавал пальто — одевались сами. Когда же мы появились там после этого разговора, швейцар распахнул двери и побежал нас раздеаать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпаясь в любезностях, вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обеды расплачивался Союз. Эта перемена по отношению к нам в Союзе после звонка Сталина нас поразила.

Мандельштама тут же освободили из тюрьмы, переселили в Воронеж [28], где он жил на свободе, работал и переаодил. И так он жил бы и работал, если бы не его вызывающее поведение. Не помню, сколько времени он прожил в Воронеже, но потом дошли слухи, что он снова арестован за какой-то новый выпад и сослан на Колыму, где он и погиб от дизентерии. Поздяее пошли слухи, что Боря виноват в гибели Мандельштама тем, что якобы не заступился за него перед Сталиным. Это было чудовищно, потому что я сама была свидетельницей разговора со Сталиным и собственными ушами слышала, как он просил за него и гоаорил, что за него ручается.

24 октября 1936 [29] года мы праздновали мои именины у нас на даче. Собралось много гостей — приехали из города Асмусы, грузины, Сельвинские. Боря хотел пригласить Пильняка, но я относилась к нему с предубеждением. Мне всегда казались странными его литературные установки. То он приходил к нам и прорабатывал Борю за то, что тот ничего не пишет для народа, то вдруг начинал говорить, что Боря прав, замкнувшись в себе, что в такое время и писать нельзя. С ним очень дружил Федин, мы часто встречались, но в день моих именин я потребовала, чтобы Пильняка у нас не было — раз это мои именины, то ничего не должно меня огорчать. Боря говорил, что Пильняк из окна увидит большой съезд гостей и обидится. На другой день вечером мы пошли к Пильнякам, чтобы загладить неловкость. Тогда он был уже женат на сестре Наты Вачнадзе — Кире Георгиевне Андроникашвили. У них был трехлетний сын Боря, очень черненький, за это его прозвали Жуком. Мы сидели у них, как вдруг подъехала машина и из нее вышел какой-то военный, видимо, приятель Пильняка, называвшего его Сережей. Этот человек сказал, что ему нужно увезти Пильняка на два часа в город по какому-то делу. Мы встали и ушли.

Рано утром прибежала к нам Кира Георгиевна и сообщила, что Пильняка арестовали и всю ночь у них шел обыск [30]. Она была уверена, что вскоре и ее заберут (тогда без жен не брали) [31] и хотела отдать ребенка своей матери. Она не могла понять, почему этот Сережа, с которым Пильняк был на «ты», не предъявил ордер на арест и увез его тайком. Из окна утром я видела, как делали обыск в гараже и конфисковали вещи.

Все это было ужасно, и с минуты на минуту я ждала, что возьмут и Борю. Напротив нашей дачи жили Сельвинские и Погодины. Мы все ежедневно, после ареста Пильняка, ждали, что и нас всех арестуют.

Наступил 37-й год. Из Грузии пришли страшные вести: застрелился Паоло Яшвили [32], которого мы с Борей очень любили, вскоре арестовали Тициана Табидзе [33]. Описать трудно, что таорилось в нашем доме. Когда до нас дошли слухи о причинах самоубийства Яшвили и об аресте Табидзе, Боря возмущенно кричал, что уверен в их чистоте, как в своей собственной, и все это ложь. С этого дня он стал помогать деньгами Нине Александровне Табидзе и приглашал ее к нам гостить. Никакого страха у него не было, и в то время, когда другие боялись подавать руку жене арестованного, он писал ей сочувственные письма и в них возмущался массовыми арестами.

В Переделкине арестовали двадцать пять писателей. Мы дружили с Афиногеновыми, которых очень любил Боря. Афиногенова исключили из партии, и его семья с минуты на минуту ждала его ареста. Все боялись к ним ходить. Боря, гордо подняв голову, продолжал бывать со мной у них. Меня поражали его стойкость и бесстрашие. Он говорил тогда, что это — стихия, при которой неизвестно, на чью голову упадет камень, и поэтому он ни капельки не боится, что он будет писать прозу неслыханного порядка и с удовольствием разделит общую участь.

При встрече с писателями он не боялся возмущаться массовыми арестами, а я по ночам просыпалась в ужасе, не сомневаясь, что очередь дойдет и до нас. В 1937 году я забеременела. Мне очень хотелось ребенка от Бори, и нужно было иметь большую силу воли, чтобы в эти страшные времена сохранить здоровье и благополучно донести беременность до конца. Всех этих ужасов оказалось мало. Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным «преступникам» — Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз в жизни я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!». Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет».

Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе». И с этими словами спустил его с лестницы.

Слухи об этом происшествии мгновенно распространились. Борю вызывал к себе тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский — я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись — значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто стала укладывать его вещи в чемоданчик, зная, чем все это должно кончиться. Всю ночь я не смыкала глаз, он же спал младенческим сном, и лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи. Меня вновь покорили его величие духа и смелость.

Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей![34] Возмущенью Бори не было предела. Он тут же оделся и поехал в Союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться. По его словам, все страшное было уже позади, и он надеялся скоро вернуться на дачу. Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.

На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это — редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали.

С этого момента у него начался раскол с писательской средой. У нас стало бывать все меньше и меньше народу, и дружба сохранилась только с Афиногеновыми, которые были, так же, как и мы, в опальном положении.

Из-за всех этих переживаний и боясь за будущего ребенка, мы переехали в город. К этому всему еще добавились огорчения, связанные с болезнью Адика. Дело в том, что когда ему было десять лет, он любил показывать разные физкультурные фокусы ребятам. Однажды он влез на лыжах на крышу нашего гаража и стал прыгать оттуда. Один из прыжков оказался неудачным, и Адик сел на кол от забора. Он страшно закричал, я тут же схватила его и посадила, не раздевая, в таз со льдом. Постепенно он стал успокаиваться и, когда острые боли прошли, я его раздела. Место ушиба было все черное. Я вызвала из детского туберкулезного санатория врача Попова, и он прописал ему полный покой, предупредив, что такие ушибы часто кончаются туберкулезом позвоночника. Зная живой характер Адика, он велел его запереть на ключ и привязать к кровати.

Не доверяя Попову, я повезла Адика в Кремлевскую больницу, к которой мы были тогда все прикреплены. Там сказали, что все органы целы, и я могу не удерживать его от спорта, которым он очень увлекался. Но слова Попова мне грезились по ночам, и я очень волновалась.

Вначале с Адиком было все благополучно, и ему разрешили ходить в школу, но осенью 37-го года он (когда ему было двенадцать лет) стал себя плохо чувствовать, бледнеть и хиреть. С ним было трудно: он был очень живой по характеру и неудержимо тянулся ко всяким физическим занятиям. Он и Стасик были совершенно разные по характеру. У Стасика довольно рано проявились большие способности к музыке. В общую школу мы его пока не отдавали, и он учился в музыкальной школе Гнесиных. Он делал большие успехи, в десять лет он уже участвовал в концертах в музыкальной школе. Занимался он с преподавательницей Листовой, удивительно умевшей подойти к детям.

31 декабря 37-го года я почувствовала приближение родов. Новый год мы сговорились встречать у Ивановых в Лаврушинском. Но в семь часов вечера Боря отвез меня в больницу имени Клары Цеткин. Это было привилегированное учреждение, палаты были на одного человека, и на каждом столике стоял телефон. Боря звонил мне очень часто, и часов в десять вечера я попросила его забрать меня домой и дать встретить Новый год: как мне кажется, я буду рожать через два-три дня. Он сказал, что я сошла с ума, и велел мне лежать спокойно. Как только он повесил трубку, я почувствовала, что он был прав. Ровно в двенадцать под бой часов родился сын Леня. Это произвело сенсацию в больнице: за сорок лет ее существования такого случая еще не было. Ровно в двенадцать, когда я была еще в родилке, в палате раздался звонок: звонил Боря, желая поздравить меня с Новым годом, и няня сообщила ему радостную весть о рождении сына.

На другой день я получила от Афиногенова громадную корзину цветов с приложением вырезки из «Вечерней Москвы»[35], где рассказывалось об этом удивительном происшествии.

Может быть, я не стала бы всего этого описывать, если бы это обстоятельство не сыграло в дальнейшем важную роль. Дело в том, что регистрировал сына Боря и по-мужски сделал большую ошибку, записав 37-й год рождения вместо 38-го, то есть мальчик по метрике оказался на год старше, чем есть. Заранее было решено, что если родится девочка, ее назовут Зинаидой, а если мальчик, то он будет назван в честь деда Леонидом.

После рождения сына мы продолжали жить в Лаврушинском. Аресты не прекращались, и Боря в этой страшной атмосфере не мог ничего писать и бросил работу над задуманным большим романом, который был начат в 1936 году, на семьдесят третьей странице. Его старые стихи не переиздавались, и нам жилось до того трудно, что я взялась за переписку нот. Это было утомительно, так как маленький ребенок отнимал много сил. По предложению Немировича-Данченко Боря стал переводить для Художественного театра

«Гамлета». Театр расторг договор с Радловой на перевод «Гамлета» и взял перевод Пастернака. Он читал его во МХАТ'е, перевод понравился, и пьесу приняли к постановке. Уже шли репетиции, были готовы костюмы, вот-вот должна была состояться премьера. Ливанов, игравший Гамлета, был очень увлечен работой, но он же ее и погубил: на одном из приемов в Кремле он спросил Сталина, как тот понимает Гамлета и как он рекомендует его играть. Сталин поморщился и сказал, что вообще не стоит ставить «Гамлета», так как он не подходит к современности. Эта реплика Сталина привела к тому, что пьесу сняли с репертуара. Но «Гамлета» издали в Гослитиздате, а потом в Детгизе, и это поддержало нас материально. Редактором перевода был М. М. Морозов, который всячески его пропагандировал и побуждал Борю делать другие переводы Шекспира. Положение было трудным и в материальном и в моральном отношении, и Боря продолжал работу над Шекспиром.

Летом 1940 года мы отправили Адика и Стасика в Коктебель в пионерский лагерь для детей писателей, а сами увлеченно занялись посадками на новом участке. Боря с упоением копал землю и трудился на огороде. Работая, он раздевался и, оставшись в одних трусах, загорал на солнце. Перед обедом принимал холодный душ, после обеда отдыхал час и садился за переводы.

Через месяц пришла телеграмма о том, что Адик заболел гнойным плевритом и находится в больнице в Феодосии. На другой же день я выехала туда. Больница оказалась ужасной. Я перевезла Адика в Москву и положила в Кремлевское отделение Боткинской больницы. Там он пролежал целый месяц и поправился настолько, что его можно было перевезти на новую дачу. Врачи велели взять его из школы на целый год. Рекомендовали зимовать на даче, где он мог гулять, кататься на лыжах и поправляться на свежем воздухе. Так мы и сделали. Но в середине зимы Адика стало тянуть в школу. Посоветовались с врачами, и они разрешили ему возобновить учение. Мы снова переехали в город.

Он плохо выглядел, бледнел, температурил, и меня это очень беспокоило. Но врачи ничего не находили и объясняли эти явления возрастом. Как-то Адик вывихнул ногу. Появилась большая опухоль. Я созвала консилиум в составе знаменитых врачей Краснобаева и Ролье. Они велели взять гной из появившегося на опухоли свища и дать его на анализ. Морская свинка, которой привили этот гной, умерла. Это указывало на костный туберкулез.

Нога продолжала гноиться, температура повышалась. Я упросила Борю уехать

с маленьким Леней на дачу, боясь, как бы он не заразился, а сама осталась в городе со старшими детьми. Меня поразила беспомощность таких знаменитых врачей! У Адика была высокая температура. Я снова позвала Краснобаева и Ролье. Они недоумевали, откуда такая высокая температура, предполагали, что есть еще какой-то источник заражения, настаивали на тщательном исследовании и посоветовали поместить Адика в туберкулезный санаторий «Красная Роза» под Москвой.

Только через полгода с большим трудом удалось его туда устроить.

Сороковой год был на исходе, я переехала к Боре и Лене на дачу.

18 июня 1941 года Адику сделали операцию, вырезали в щиколотке косточку, надеясь, что температура упадет. После операции нас не пускали к нему четыре дня.

21-го днем к нам зашла жена Федина — Дора Сергеевна и с ужасом на лице сказала, что вот-вот будет война с Германией. Как ни невероятно это звучало, но мы встревожились. Вечером я уехала из Переделкина с ночевкой в город с тем, чтобы рано утром быть у Адика. В городе я зашла вечером к Сельвинским и рассказала им про слухи о войне. Сельвинский возмутился и назвал меня дурой. По его мнению, война с Германией совершенно недопустима, так как недаано с ней заключен договор.

22-го утром я с Генрихом Густавовичем отправилась навестить Адика. По дороге купили шоколаду, меду, цветов и вошли к нему в палату. Адик был очень бледен. Он рассказал, что три дня он колотился головой об стену из-за страшных болей, но сейчас ему лучше. Он просил меня не волноваться, ему казалось, что опасность миновала. Мы посидели у него часа два и уже собирались уходить, как вдруг в палату прибежала сестра и сообщила страшную весть: по радио выступал Молотов, объявлена война.

Как только я услышала о войне, я поняла, что это известие означает катастрофу для Адика и жить он не будет. Мы остались у него еще с час и отправились в Москву, где я должна была купить продуктов для Бори и Лени. Город сразу изменился: магазины были пусты, появились длинные очереди за хлебом, все остальное исчезло, и мне ничего не удалось купить. Я приехала в Переделкино потрясенная и огорченная. Идя со станции домой, я встретила Сельвинских с чемоданами, они отправлялись в Москву. Поравнявшись со мной, Сельвинский сказал: «Какой ужас!», на что я ответила: «Кто дурак — неизвестно».

Боря уже знал о войне. Он утешал меня, гоаорил, что у нас свой огород и своя клубника и пусть меня не огорчает, что магазины пусты — мы с голоду не умрем. Он был убежден, что война продлится недолго и мы скоро победим.

Ночью мы проснулись от безумного грохота, вся дача дрожала. Мне показалось, что это бомбардировка. Мы разбудили Ленечку, которому было уже три года, взяли его на руки и вышли на балкон. Все небо было как в огне. Мы побежали в лесную часть участка и сели под сосну. С трудом уговорили Стасика пойти к нам. Я укрывала Леню своим пальто, как будто это могло спасти его от снарядов. Наутро мы узнали, что это была репетиция, но я до сих пор в это не верю, потому что во дворе у нас валялись осколки.

Тут же издали приказ о затемнении, в Переделкине создали дружину, которая проверяла светомаскировку. Лампочки выкрасили в синий цвет, на окна повесили ковры и занавески. Боря перебрался из своего кабинета к нам вниз. Был издан приказ рыть на каждом участке траншею. Мы с Федиными решили рыть общую на нашем участке. Эту работу мы выполнили довольно быстро. О тревоге извещали со станции, там били в рельсу. Она была плохо слышна, и мы с Борей устроили дежурства. Сначала Борн спал, в три часа я его будила и ложилась, а он сменял меня. Все это было не напрасно, в рельсу били каждую ночь. Мы укутывали Леню в одеяло, будили Стасика и шли к Фединым; если мы долго не показывались, Федины приходили к нам. Налетов пока не было, и убежищем мы не пользовались. Федин и Боря обсуждали события и удивлялись быстроте продвижения немцев. Они шли катастрофически быстро и к началу июля были уже в 250-ти километрах от Москвы.

В Литфонде организовали комиссию по приему писательских детей в эвакуацию. Боря настаивал на необходимости вывезти Стасика и Леню, а у меня душа рвалась к старшему сыну, который лежал после операции в санатории в беспомощном состоянии. Но Боря дал мне слово, что он будет часто навещать Адика и расскажет ему, как горько я плакала и не хотела уезжать из-за него. Он говорил, что для маленького Лени ночные переживания, связанные с тревогами, вредны, и надо спасать здоровье детей. Вместе с детьми могли ехать только те матери, у которых были малыши не старше двух с половиной лет. Леня по метрике был старше. Мне стоило большого труда уговорить домоуправа дать справку о том, что возраст Лени указан неверно. Я пришла в Литфонд и сказала, что они не пожалеют, если возьмут меня, и я готова, засучив рукава, выполнять любую работу, какая потребуется в эвакуации. Немцы приближались, и мы должны были срочно выезжать специальным поездом на Казань. Трудно и тяжело было расставаться с

Борей. Он провожал нас на вокзале, вид у него был энергичный и бодрый, он подбадривал нас и обещал впоследствии к нам приехать. Сердце мое разрывалось на части. За Борю и Адика было неспокойно, так как налеты учащались, и в Москве остааться было опасно. Я чувствовала себя преступницей перед Адиком, но меня уговаривали ехать, успокаивали тем, что санаторий тоже будет организованно эвакуироваться. Особенно тяжело было расставание Бори с Леней, которого отец обожал. Последний раз прижаа сына к груди, он сказал, как будто Леня понимает: «Надвигается нечто очень страшное, если ты потеряешь отца, старайся быть похожим на меня и на твою маму».

В дорогу не разрешалось брать много аещей, но я захватила Ленины валенки и шубу и завернула в нее Борины письма и рукопись второй части «Охранной грамоты»: они были мне очень дороги, и я боялась, что во время войны они пропадут. Благодарн этому письма и рукопись уцелели. ⟨...⟩

Окончание следует в № 4

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания печатаются с сокращениями по машинописному экземпляру с авторской правкой, хранящемуся в архиве Г. С. Нейгауз.

[1] Нейгауз.

[2] Валентин Фердинандович Асмус (1894—1975), философ и литературовед, друг Пастернака.

[3] Евгения Владимировна Пастернак (1898—1965), художница.

[4] Евгений Борисович Пастернак.

[5] Июль — октябрь 1931 года.

[6] Октября.

[7] Стихи из книги «Второе рождение» печатались в 1930—1931 годах в журналах «Новый мир», «Красная новь» и газетах. Отдельное издание вышло в 1932 году.

[8] Брак был зарегистрирован 21 августа 1933 года.

[9] Поездка на Урал была в июле — августе 1932 года.

[10] Декада грузинской литературы проходила в феврале 1935 года. 3 февраля был вечер в Москве, 9 февраля — в Ленинграде.

[11] Летом 1935 года.

[12] Международный Конгресс пясателей в защиту культуры проходил в Париже с 21-го по 25 июня 1935 года. В советскую делегацию входили: М. Кольцов, И. Эренбург, А. Толстой, Н. Тихонов, Г. Табидзе, Я. Колас, Ф. Панферов, Вс. Иванов, А. Лахути, В. Киршон, И. Луппол, И. Микитенко.

[13] Речь Б. Пастернака полностью ие сохранилась. Он сказал: «Поэзия остается всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником».

[14] Александр Сергеевич Щербаков (1901—1945), партийный и государственный деятель. С 1934-го по 1936 годы — оргсекретарь Союза советских писателей.

[15] Ольга Михайловна Фрейденберг (1890—1955), филолог-классик. Переписка ее с Пастернаком, длившаяся много лет, опубликована в журнале «Дружба народов», 1988, № 7—10.

[16] Евгений Иванович Замятин (1884—1937), писатель. В июне 1931 года написал письмо Сталину с просьбой дать ему разрешение на временный отъезд за граяицу. С 1932 года жил во Франции.

[17] Дочерью — Ариадной Сергеевной Эфрон (1912—1975), мужем — Сергеем Яковлевичем Эфроном (1893—1940?) и сыном — Георгием Сергееввчем Эфроном (1925—1944).

[18] В Одоеве Пастернаки вровели июль — сентябрь 1934 года.

[19] Первый Всесоюзный съезд писателей проходил в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года. Пастернак выступил 29 августа на вечернем, двадцать первом, заседании съезда.

[20] Возражая Н. И. Бухарину, сказавшему в своем докладе: «...Борис Пастернак один из замечательнейших мастеров стиха в наше время, нанизавший ва нить своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, но и давший ряд глубокой искренности революционных вещей» (Стенографический отчет Первого Всесоюзного съезда советских писателей, Москва, 1934. стр. 495), А. Сурков в своем выступлении заметил: «При глубочайшем уважении как к

мастеру и поэту я все же вынужден сказать, что для большой группы наших поэтов, для большой группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Б. Л. Пастернака неподходящая точка ориентации в их росте» (стр. 512). И далее: «...когда Б. Л. Пастернак, до сего времени заманивший вселенную на очень узкую площадку своей лирической комнаты, сделает обратное движение и, богатый творческим опытом, выйдет в этот просторный мир, тогда и круг читателей Пастернака, ныне непропорционально его таланту узкий, расширится в десятки тысяч раз» (стр. 513).

[21] Пленум писателей в Минске проходил с 10-го по 15 февраля 1935 года.

[22] Антал Гидаш (1899—1980), венгерский поэт. С 1926-го по 1959 годы жил в Советском Союзе.

[23] Робэрт Петрович Эйдеман (1895—1937), военачальник, комкор. С 1932-го по 1937 годы — председатель Осоавиахима.

[24] Александр Григорьевич Малышкин (1892—1938).

[25] Сын А. Ахматовой — Лев Николаевич Гумилев — и ее муж, искусствовед Николай Николаевич Пунин (1888—1953) первый раз были арестованы 27 октября 1935 года.

[26] Второе письмо на имя И. Сталина было написано самой А. Ахматовой. Э. Герштейн, к которой А. Ахматова приехала прямо из Ленинграда, в своих воспоминаниях пишет: «Пильняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину. Мне кажется, что оба письма были в одном конверте». В хлопотах по освобождению Л. Гумилева и Н. Пунина деятельное участие принимали Л. Сейфуллина и ее муж В. П. Правдухин.

[27] О. Мандельштам был арестован в ночь на 14 мая 1934 года.

[28] О. Мандельштам был сослан в город Чердынь Пермской области. Вскоре ему переменили место ссылки и разрешили жить в Воронеже.

[29] 1937 года.

[30] Борис Андреевич Пильняк (1894—1938) был арестован на даче 28 октября 1937 года.

[31] Кира Георгиевна Андроникашвили была арестована через месяц прямо на киностудии.

[32] Паоло Яшвили застрелился 22 июля 1937 года.

[33] Тициан Табидзе был арестован 10 октября 1937 года и вскоре расстрелян.

[34] Письмо советских писателей «Не дадим житья врагам Советского Союза» было опубликовано в «Литературной газете» 15 июня 1937 года.

[35] В заметке «Московская хроника» «Вечерняя Москва» от 2 января 1938 года писала: «Первым ребенком 1938 года оказался сын г-ки З. Н. Пастернак. Он родился ровно в 0 часов 1 января».

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Опять, как и на предыдущем процессе, были упомянуты имена важных участников заговора, которые в дальнейшем так и не появились. Когда, например, было названо имя старого большевика Белобородова, подписавшего в свое время постановление Уральского Совета о расстреле царской семьи, то возникли вопросы, которые трудно было решить. Вышинский спросил: «Итак, придется спросить самого Белобородова?» *. Но Белобородов так и не появился ни тогда, ни позже. То же самое относится к Смилге, Преображенскому, Угланову и другим видным фигурам, связи с которыми, после единичных упоминаний, были опущены без объяснений.

Есть свидетельство о том, как по тюремному коридору надзиратели тащили человека, кричавшего: «Я Белобородов, сообщите в Центральный Комитет, что меня пытают!».

В дополнение, конечно, были фактические ошибки — особенно визит Пятакова в Осло. И тем не менее в судебном отчете, опубликованном под эгидой англо-советского парламентского комитета, московский корреспондент газеты «Дейли Геральд» Р. Т. Миллер объявил, что «они признались потому, что их заставили свидетельства, собранные против них государством. Никакое другое объяснение не соответствует фактам». А член парламента, лейборист Нейл Маклин, председатель вышеупомянутого комитета, писал в предисловии: «Практически каждый иностранный корреспондент, присутствовавший на процессе — за исключением, конечно, японских и немецких,— отмечал большое впечатление, произведенное весомостью свидетельств, собранных обвинением, и искренностью признаний обвиняемых». Это заявление представляет собой любопытный способ клеветы на тех корреспондентов, кто думал иначе. Они были тем самым поставлены на одну доску с меньшинством отъявленных фашистов и исключены из числа порядочных людей (отнюдь не первый и не единственный случай применения этого метода полемики). Еще во время процесса «Правда» опубликовала длинную статью о том, как английский юрист Дадли Коллард на страницах газеты «Дейли Геральд» назвал процесс юридически безупречным [1].

Накануне, 28 января 1937 года, «Правда» напечатала еще более приятное известие: информацию о том, что Ежову присвоено новое звание генерального комиссара государственной безопасности. Тут же красовался идеализированный портрет Ежова. Пресса и «прямодушная советская общественность» наращивала очередную кампанию ненависти. Когда был объявлен приговор, двухсоттысячная толпа была собрана на Красной площади при температуре в 27° мороза, чтобы выслушать речи Хрущева и Шверника и провести «стихийную» демонстрацию против осужденных. Демонстранты несли плакаты, требовавшие немедленного приведения приговоров в исполнение,— с этим требованием власти с готовностью «согласились».

Паралич сердца

И снова казни потрясли высшие партийные круги. На сей раз Сталин астретился с угрозой твердого сопротивления со стороны Серго Орджоникидзе — человека, от которого не так легко было отмахнуться. Серго надули. Он лично участвовал в переговорах перед началом дела Пятакова, он знал, что все было подстроено, и имел сталинскую гарантию, что Пятакова не казнят. Он увидел в этом фатальный прецедент. Стало ясно, что теперь Орджоникидзе начнет борьбу против террора любыми средствами, имевшимися в его распоряжении.

Один очевидец описывает поведение Орджоникидзе, когда тот узнал об аресте руководителя одного из крупных трестов, подчиненных ему как народному комиссару. Он позвонил Ежову, назвал его по телефону грязным подхалимом и потребовал немедленного представления документов по делу. Он затем позвонил Сталину по прямому проводу. Разговаривая, Орджоникидзе дрожал, и глаза его были налиты кровью. Он кричал: «Коба, почему ты позволяешь НКВД арестовывать моих людей без моего ведома?». После короткого ответа Сталина он прервал его: «Я требую, чтобы этот произвол прекратился! Я пока еще член Политбюро! Я все вверх дном переверну, Коба, даже если это будет последним моим действием на земле!» [2].

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1.

[1] См. «Правду», 29 янв. 1937 г.

[2] Viktor Kravchenko. I Chose Freedom. New-York, 1946, p. 239.

Как всегда, Сталин не был захвачен врасплох. Обычно думают, что расхождения между Сталиным и Орджоникидзе возникли в ходе дела Пятакова. Сталин, дескать, хотел освободиться от Пятакова, Орджоникидзе возражал, отсюда пошли все неприятности. Но равным образом возможно, что Сталин рассчитал уничтожение Пятакова как удар по Орджоникидзе и что уничтожение Орджоникидзе было не просто побочным продуктом дела Пятакова, а планировалось с самого начала. (Как мы уже отмечали, на процессе об этом было сделано что-то вроде политического сигнала: Муралов, признаваясь в организации покушений на жизнь Молотова и других, твердо отрицал подобные планы против Орджоникидзе и подвергся за это нападкам в обвинительной речи Вышинского.) Примерно в то же самое время старший брат Орджоникидзе, Папулия, был «после истязаний расстрелян»[1]. С Папулией был расстрелян его ближайший сотрудник Мирзабекян [см. «Коммунист» (Армения), 26 июля 1965], занимавший правительственный пост в Грузии до 1937 года. На XXII съезде партии Хрущев подтвердил, что брат Серго был арестован и расстрелян еще при жизни Орджоникидзе. Таким образом, Сталин, по-видимому, готовился ударить по своему старому соратнику, но не раскрывал своих карт почти до самого последнего момента.

Между тем оперативники НКВД в Закавказье активно работали, «понуждая арестованных давать ложные показания на С. Орджоникидзе»[2]. Это было бы бессмысленно после смерти Орджоникидзе и потому показывает, что Сталин готовил досье против старого друга.

Известно также, что многие близкие сотрудники Орджоникидзе исчезли перед его смертью и после нее, что также неплохо указывает на настроение Сталина. Среди них был, например, племянник Орджоникидзе Гвахария, возглавлявший Макеевский металлургический завод.

Потом последовали удары по руководителям советской тяжелой индустрии — Рухимовичу, Гуревичу (виднейшему руководителю металлургии), Точинскому и многим другим. Исчезли крупнейшие директора, руководители промышленности, люди, которые под руководством Пятакова обеспечили единственное реальное достижение Сталина — тяжелую промышленность.

Самого Орджоникидзе начали все сильнее и сильнее изводить. Сотрудники НКВД «с обыском незадолго до того приходили и на квартиру Орджоникидзе. Оскорбленный, разъяренный Серго весь остаток ночи звонил Сталину. Под утро дозвонился и услышал ответ: „Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного...“»[1]

17 февраля Орджоникидзе имел разговор со Сталиным, длившийся несколько часов. В этом разговоре он, по-видимому, сделал «последнюю попытку объяснить Сталину, другу многих лет, что на болезненной, пронесенной через всю жизнь подозрительности сейчас играют самые темные силы, что из партии вырывают ее лучших людей»[2]. До тех пор «люди», которых «вырывали» из партии, были практически оппозиционерами или участниками оппозиций в прошлом. Данная формулировка очень подходит к Пятакову и, возможно, — в качестве предвидения — к Бухарину и Рыкову. А понятие «темные силы», несомненно, относилось к Ежову, но, может быть, и к Кагановичу и другим.

После этого Орджоникидзе работал у себя в наркомате до двух часов ночи, а на рассвете 18 числа, придя домой, имел еще один, столь же бесплодный разговор со Сталиным по телефону. В 5.30 вечера того же дня он был мертв.

Его жена Зинаида Гавриловна позвонила Сталину, который тотчас явился. Он «ни о чем не спросил, только высказал удивление: „Смотри, какая каверзная болезнь! Человек лег отдохнуть, а у него приступ, сердце разрывается“»[3].

19 февраля 1937 года было опубликовано следующее официальное медицинское заключение:

«Тов. Орджоникидзе Г. К. страдал артериосклерозом с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы и сосудов сердца, а также хроническим поражением правой почки, единственной после удаления в 1929 году туберкулезной левой почки.

На протяжении последних двух лет у тов. Орджоникидзе наблюдались от времени до времени приступы стенокардии (грудной жабы) и сердечной астмы. Последний припадок, протекавший очень тяжело, произошел в начале ноября 1936 года.

С утра 18 февраля никаких жалоб тов.

---

[1] Дубинский-Мухадзе. Орджоникидзе. М., 1963, с. 6 и «Известия», 22 ноября 1963 г.

[2] Это было объявлено на суде над Багировым в 1956 году (см. «Бакинский рабочий», 27 мая 1956). Еще раньше, в ноябре 1955 года, во время суда над бывшими работниками НКВД было выдвинуто обвинение в собирании клеветнических материалов против Орджоникидзе, а затем в организации террористических актов против членов его семьи и близких друзей, занимавших ответственные посты...

[1] Дубинский-Мухадзе, с. 6 и «Известия», 22 ноября 1963 г.

[2] Там же, с. 6 и «Известия», 22 ноября 1963 г.

[3] Там же, с. 7 и «Известия», 22 ноября 1963 г.

Орджоникидзе не заявлял, а в 17 часов 30 минут, внезапно, во время дневного отдыха почувствовал себя плохо, и через несколько минут наступила смерть от паралича сердца.

Народный комиссар здравоохранения СССР *Г. Каминский*

Начальник лечебно-санитарного управления Кремля *И. Ходоровский*

Консультант лечебно-санитарного управления Кремля
доктор медицинских наук *Л. Левин*

Дежурный врач Кремлевской амбулатории *С. Мец*».

Из числа четверых, подписавших это заключение, Каминский (который подписал «очень неохотно») был расстрелян в том же году, Ходоровский был упомянут в качестве одного из заговорщиков в процессе Бухарина, а Левин был одним из обвиняемых на этом самом процессе и тоже расстрелян. Неизвестна лишь судьба менее заметной фигуры — доктора Меца.

Любопытно, что ни врачи, ни кто-либо другой никогда не обвинялись в намеренном убийстве Орджоникидзе. Правда, на его похоронах через три дня после смерти Хрущев говорил так:

«Это они своей изменой, своим предательством, шпионажем, вредительством нанесли удар твоему благородному сердцу. Пятаков — шпион, вредитель, враг трудового народа, гнусный троцкист — пойман с поличным, пойман и осужден, раздавлен, как гад, рабочим классом, но это его контрреволюционная работа ускорила смерть нашего дорогого Серго»[1]. Но прямых обвинений не было. В издании 1939 года Большой Советской Энциклопедии Орджоникидзе назван «верным учеником и ближайшим соратником великих вождей коммунизма Ленина и Сталина», и статья о нем говорит, что он умер на своем посту как боец ленинско-сталинской партии. Далее добавляется, что «троцкистско-бухаринские выродки фашизма ненавидели Орджоникидзе лютой ненавистью. Они хотели убить Орджоникидзе. Это не удалось фашистским агентам. Но вредительская работа, чудовищное предательство презренных право-троцкистских наймитов японско-германского фашизма во многом ускорили смерть Орджоникидзе»[2].

И тем не менее обвинение в убийстве Орджоникидзе не предъявлялось никому. Это показывает любопытную сдержанность Сталина (хотя, конечно, он мог держать это обвинение про запас для одного из послебухаринских процессов, которые так и не состоялись, по крайней мере, публично).

Теперь уже не осталось сомнений, что смерть Орджоникидзе была делом рук Сталина. Подробности до сих пор остаются неясными; но то, как была подорвана первоначальная официальная версия — сперва в воспоминаниях невозвращенцев, а затем и в самом Советском Союзе, представляет интерес, ибо хорошо подтверждает надежность свидетельств тех людей, которые выезжают из СССР, чтобы не вернуться.

Слухи об обстоятельствах смерти Орджоникидзе стали просачиваться из СССР довольно скоро. Они отличались многими деталями. Одни гласили, что Орджоникидзе принудили к самоубийству под угрозой немедленного ареста в качестве троцкиста, другие — что его застрелили или отравили, причем эта операция была проведена секретарем Сталина Поскребышевым. Например, высокопоставленный советский хозяйственник Виктор Кравченко писал (за 10 лет до XX съезда КПСС!), что после смерти Орджоникидзе одни говорили о самоубийстве, а другие — что он был отравлен доктором Левиным. Но никто, по словам Кравченко, не сомневался, что он умер насильственной смертью, а не естественной.

В докладе на XXII съезде партии, в 1961 году, Хрущев объявил, что в свое время верил, будто Орджоникидзе умер от сердечного припадка, и только «значительно позднее, уже после войны, я совершенно случайно узнал, что он покончил жизнь самоубийством».

С другой стороны, мы недавно узнали из советских источников, что версия о самоубийстве имела широкое хождение в партии. Так, газета «Бакинский рабочий» поведала следующую историю. «Работник бакинского горсовета» Амирджанов (человек явно не очень высокопоставленный) был репрессирован в 1937 году за то, что, когда «некоторая часть партийного актива» узнала о самоубийстве Орджоникидзе, рассказал об этом «в тесном кругу товарищей». Есть сведения, что в казанской тюрьме слухи о самоубийстве Орджоникидзе циркулировали уже в апреле 1937 года. Теперь стало известно и то, что А. М. Назаретян, который «один из первых узнал о подлинной причине гибели Орджоникидзе», был арестован в июне 1937 года, так как уже знал об этом в то время. Достоверно известно, что об этом говорили в то время и среди работников НКВД.

Версия о естественной смерти Серго

---

[1] «Правда», 22 февр. 1937 г.

[2] Во 2-м издании БСЭ (1955, т. 31, с. 173) оставлена только фраза: «На посту руководителя ЦКК — РКИ Г. К. Орджоникидзе ведет борьбу против троцкистов, зиновьевцев, буржуазных националистов всех мастей, оберегая, как зеницу ока, монолитность рядов Коммунистической партии».

Орджоникидзе оставалась в Советском Союзе официально в силе до февраля 1956 года, когда Хрущев заявил:

«Берия также жестоко расправился с семьей товарища Орджоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе пытался помешать Берии осуществить его гнусные планы. Берия убирал со своего пути всех, кто мог бы ему помешать. Орджоникидзе всегда был противником Берии и говорил об этом Сталину. Но вместо того, чтобы разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры, Сталин допустил ликвидацию брата Орджоникидзе и довел самого Орджоникидзе до такого состояния, что он вынужден был застрелиться».

Эти слова вводят в заблуждение. Хрущев представил смерть Орджоникидзе только как результат неудачной попытки остановить Берию, вследствие чего Сталин обратился против Серго. Но Берия в это время работал на Кавказе, и хотя он был определенно влиятелен, но играл очень малую роль в больших государственных делах на уровне Политбюро в Москве. Интересный пункт хрущевской версии 1956 года в другом — в словах «вынужден был застрелиться».

Действительно, сам Хрущев, когда он впервые коснулся этого вопроса в открытой, не секретной речи, обошел молчанием роль Берии, поскольку к 1961 году уже не было необходимости его вспоминать. На XXII съезде он просто сказал:

«Товарищ Орджоникидзе видел, что он не может дальше работать со Сталиным, хотя раньше был одним из ближайших его друзей... Обстановка сложилась так, что Орджоникидзе не мог уже дальше нормально работать и, чтобы не сталкиваться со Сталиным, не разделять ответственности за его злоупотребления властью, решил покончить жизнь самоубийством».

С тех пор эта версия не была отменена или отвергнута. Тем не менее стоит рассмотреть и другие возможности. Теперь, когда естественная смерть Орджоникидзе исключается, остаются фактически три варианта: самоубийство от отчаяния — как добровольный акт; прямое убийство и самоубийство в результате угрозы худшими последствиями со стороны Сталина. Хрущев намекает на первый вариант. Но разумно предположить, что он просто предлагает наименее тяжелую версию навязанного самоубийства — так же, как в изложении обстоятельств убийства Кирова Хрущев не смог дойти до прямого обвинения Сталина в убийстве.

Близкий друг вдовы Орджоникидзе сообщил автору этой книги, что вдова считала убийство делом рук специально подосланных лиц, ибо видела каких-то людей, бегущих через лужайку в направлении от их дома как раз в то время, когда Орджоникидзе был найден мертвым. Уже упоминавшийся партийный работник с Кавказа Авторханов в дни смерти Орджоникидзе находился в Москве. Он утверждает, что Сталин послал нескольких сотрудников НКВД к Орджоникидзе, чтобы предложить ему на выбор арест или самоубийство и вручить револьвер. Был наготове и доктор, чтобы удостоверить сердечный приступ [1].

Это свидетельство подтверждается еще и тем, что против Орджоникидзе был собран к тому времени солидный материал. Разумеется, нет гарантии, что фатальный выстрел Орджоникидзе сделал сам. Действительно, не было никакой необходимости заставлять его самого стреляться, когда кругом были сотрудники НКВД, способные легко сделать это за него. И, хотя ряд свидетельств говорит именно о смерти от пули, имеющиеся варианты с отравлением ничуть не менее правдоподобны. Их преимущество в том, что после отравления доктору было бы легче выдать свидетельство о смерти от сердечного заболевания, а семье было легче примириться с таким свидетельством. Когда потребовалось, например, освободиться от начальника иностранного отдела НКВД Слуцкого, то ему 17 февраля 1938 года в кабинете замнаркома Фриновского просто дали выпить цианистого калия, а смерть констатировали как наступившую от сердечного приступа [2].

Если все-таки Орджоникидзе покончил с собою, то слухи об участии в деле Поскребышева выглядят довольно достоверными. Вряд ли можно было ожидать, что Орджоникидзе примет политический ультиматум или покончит с собой, если бы угроза исходила от простого офицера НКВД; разумна поэтому версия о присутствии личного представителя Сталина. Конечно, личная охрана Орджоникидзе из числа работников НКВД получила своевременно соответствующий приказ.

Что касается участия других лиц, то интересно отметить, как часто в 1953—56 годах, во время процесса над Берией, а после его казни над другими работниками карательных органов, упоминались преследование и нападки на Орджоникидзе. Имея в виду широкий выбор преступлений, какие можно было инкриминировать этим людям, настойчивость в обвинениях по поводу Орджоникидзе поистине знаменательна. Стоит напомнить, что суд над Багировым, одним из близких политических сотрудников Берии (который тоже был обвинен в преследовании Орджоникидзе), имел место через два года после падения Берии, но всего лишь через несколько недель после столкновения на XX съезде КПСС Хрущева с Кагановичем и другими по поводу отречения

[1] А. Авторханов. Технология власти. Мюнхен, 1959, с. 239.
[2] A. Orlov, p. 238.

от Сталина и его дел. Следовательно, есть по меньшей мере основания полагать, что, поднимая вопрос о смерти Орджоникидзе, новое руководство партии могло иметь в виду конкретную политическую цель. Например, компрометацию тех, кто был приближенным Сталина в 1937 году и оставался еще у руководства в 1956-м,— Поскребышева [1]) Кагановича, Маленкова и других.

Есть один очевидный довод в пользу теории о самоубийстве. Если врачи или кто-то один из них видели тело, и им сказали, что произошло самоубийство, то легко понять, что их можно было заставить замять скандал в интересах партии и государства. Во всяком случае, Каминский в оставшиеся ему месяцы жизни проявил себя смелым критиком террора; возможно, что его прямая связь с делом Орджоникидзе привела к решению Каминского противостоять дальнейшим убийствам. Будучи кандидатом в члены ЦК и зная о самоубийстве, Каминский, на своем политическом уровне, мог догадываться, что за этим скрывалось, и молчать. Но если бы перед ним было очевидное убийство, он, вполне возможно, стал бы действовать более решительно.

Другой довод убедительно говорит о том, что самоубийство Орджоникидзе могло быть только принудительным, только навязанным ему со стороны. Если бы Серго Орджоникидзе чувствовал лишь невозможность — по словам «Известий» — «разделять ответственность», если бы он не хотел «подличать», играя роль соучастника в сталинских преступных планах, то вряд ли права газета, когда пишет, будто единственное, что ему оставалось,— это уйти [1]. Дело обстояло как раз наоборот. Предстоял пленум Центрального Комитета партии. К 20 февраля три украинских члена Политбюро (все трое «умеренные») съехались в Москву [2], и Политбюро, вероятно, уже заседало. Когда 23 февраля открылся пленум, была сделана согласованная попытка остановить террор. Естественной (и вот уж воистину единственной) перспективой для Орджоникидзе было броситься в борьбу на пленуме. Самоубийство в такой момент было совершенно бессмысленным. Зато со сталинской точки зрения все выглядело наоборот. Оппозиция на пленуме во главе с гневным Орджоникидзе была бы гораздо более трудным противником для Сталина, чем без него. Самоубийство было бессмысленным — но убийство или навязанное самоубийство представляется неумолимо логичным вариантом.

Еще на процессе Зиновьева — Каменева Вышинский любопытно описал смерть секретаря Зиновьева — Богдана. Этого человека якобы принудили к самоубийству, поставив ему простое условие: убей себя или мы тебя убьем. Вышинский назвал такое самоубийство «фактическим убийством» *. В этом смысле, даже если мы примем версию о навязанном самоубийстве, можно в любом случае говорить об убийстве Орджоникидзе.

19 февраля 1937 года были опубликованы первые фотоснимки покойного Орджоникидзе. Вокруг тела стояли его вдова и сталинская политическая клика — сам Сталин, Ежов, Молотов, Жданов, Каганович, Микоян и Ворошилов. Все они выглядели подавленными товарищеским горем.

В тот же день было опубликовано извещение Центрального Комитета партии, в котором Орджоникидзе назван «безупречно чистым и стойким партийцем, большевиком». И в последующие годы Орджоникидзе оставался в почете у Сталина — так же, как оставался Киров. Но через пять лет, в 1942 году, появился любопытный признак предубеждения диктатора против имени Орджоникидзе. Города, в свое время переименованные в его честь, были после немецкой оккупации без шума переименованы вторично: Орджоникидзеград (в прошлом Бежица), Орджоникидзе (в прошлом Енакиево) и Серго (в прошлом Кидиевка) получили свои прежние наименования, а город Орджоникидзе на Кавказе, в прошлом Владикавказ, получил новое осетинское название Дзауджикау. По сталинским неписаным правилам такое действие непременно означало потерю расположения вождя. (Так, впрочем, оставалось и дальше, при наследниках Сталина, когда город Молотов вновь стал Пермью и так далее.) Однако никакого дальнейшего публичного развенчания Орджоникидзе не последовало.

Через пять дней после смерти Орджоникидзе собрался пленум Центрального Комитета партии. Произошло последнее столкновение противоборствующих сил, и отсутствие Орджоникидзе очень больно ощущалось теми, кто намеревался приостановить террор.

Февральско-мартовский поединок

«Лившиц признал себя виновным, и его приговорили к расстрелу. Позже стало известно, что перед расстрелом он крикнул: „За что?“» [1]. Об этом шептались в высших кругах партии. Член Центрального Комитета командарм Якир, услышав это, сказал в частной беседе, что он «не мог свести концы с концами: где же прав-

[1] «Известия», 22 ноября 1963 г. и Дубинский-Мухадзе, с. 7.
[2] См. «Правду», 21 февр. 1937 г.

[1] П. И. Якир и Я. А. Геллер. Командарм Якир. М., 1963, с. 225.

да, а где клевета и провокация?» [1]. Эти слова командарма, как видно, отражали настроение большинства членов ЦК, когда 23 февраля открылся «февральско-мартовский пленум».

Атмосфера была исключительно напряженной. Более умеренные члены сталинского руководства собирались предпринять последнюю отчаянную попытку приостановить террор. С другой стороны, Сталин был решительно намерен прекратить колебания и сомнения, которые столь долго его задерживали и вынуждали топтаться на месте. Борьба на пленуме — еще один пример того, как упорные слухи, через десятилетия официального молчания, были более или менее подтверждены Хрущевым в 1956-м и 1961 годах.

Пленум, разумеется, вели люди Сталина: официальными докладчиками были Ежов, Жданов, Молотов и сам Сталин. Формально говоря, они выступали на разные темы: Ежов говорил об органах государственной безопасности; Жданов — о партийных вопросах; Молотов выступил с экономическим докладом, а Сталин с политическим [2]. Однако на практике все доклады вращались вокруг темы террора: от ежовского об «уроках, вытекающих из вредительской деятельности, диверсий и шпионажа японско-германско-троцкистских агентов», ждановского о неправильных методах исключения из партии, молотовского «о вредительстве и диверсиях» до сталинского «О недостатках партийной работы и методах ликвидации троцкистских и иных двурушников». (Много лет спустя Сатюков на XXII съезде КПСС в 1961 году скажет, что доклады Сталина и Молотова послужили «теоретическим обоснованием массовых репрессий».)

По сути дела, за повесткой дня скрывался лишь один вопрос — исключение из партии и арест Бухарина и Рыкова.

Сведения о том, что происходило на пленуме, просочились различными путями. Тут и официальные высказывания — речь Хрущева на закрытом заседании XX съезда, и выступление Сатюкова на XXII съезде партии; тут и рассказы видных партийцев, и, в частности, бывшего секретаря Центрального Исполнительного Комитета Украины А. Буценко, который в свое время был приговорен к 25 годам лишения свободы в связи с делом «украинской национал-фашистской организации» и в 1940 году рассказывал интереснейшие подробности о пленуме своим товарищам-заключенным по воркутинским лагерям; и даже те скудные сведения, которые публиковались по ходу и после пленума. Все вместе помогает составить достаточно четкое представление об отчаянных маневрах на этом закрытом пленуме.

Многие члены Центрального Комитета, по-видимому, сговорились сопротивляться попыткам судить Бухарина. Они собирались испытать преувеличенную, по их мнению, власть НКВД. Дебаты должен был начать Постышев.

На протяжении последних недель перед пленумом, начиная с января, на Постышева шли косвенные нападки. 1 февраля его ближайший сторонник Карпов был объявлен «врагом партии, гнусным троцкистом». В последующие дни было объявлено об исключении около шестидесяти старых ставленников Постышева из киевской парторганизации. Этих меньших по масштабу людей исключить было легче. У них не было подпольного прошлого, и даже если их послужные списки в сталинское время выглядели хорошо, то это не было настолько известно в партии, чтобы обвинения против них выглядели неправдоподобными. А замахиваясь на людей типа Карпова, Сталин подрывал позиции Постышева без прямого нападения на него самого. В то же время, обвиняя в троцкизме второразрядных и третьеразрядных сталинцев из окружения тех крупных работников, которых он хотел удалить, Сталин устанавливал прецеденты. Когда сопротивление террору ослабело, эти прецеденты окончательно развязали Сталину руки в расправах даже с самыми высокопоставленными работниками, невзирая на их безупречное прошлое.

8 февраля 1937 года «Правда» выступила с суровыми нападками на ошибки, обнаруженные в Киеве, в Азово-Черноморской и Курской областях. На следующий день, 9 февраля, та же «Правда» «разоблачила» «подхалимскую шумиху в обкомах Киева и Ростова». Прицел на Киев был достаточно очевиден. (К этому можно добавить, что секретарь азово-черноморского обкома Малинов и зав. орг. отделом того же обкома вскоре были объявлены троцкистскими заговорщиками.)

Эти нападки, однако, не усмирили Постышева, и он готов был пойти на пленуме против течения. Намерения низложить Сталина не было — сопротивляющиеся намеревались лишь несколько его ограничить, добиться удаления Ежова и прекращения террора.

О плане сопротивления на пленуме Сталин узнал заранее. Выступив первым, он предвосхитил и отверг доводы, которые должны были прозвучать против него. Он призвал к единству и к сознанию ответственности в коммунистическом руководстве.

[1] Там же, с. 226.
[2] Опубликован только доклад Сталина (см. Сталин. Собр. соч., т. XIV, Станфорд, 1967, с. 189—224 и «Правда», 29 марта 1937 г.). Название доклада Ежова дал Хрущев (см. его доклад на закрытом заседании XX съезда...)... [см. прим.[2])]

Потом на трибуну поднялся Постышев. Своим сухим, хриплым и неприятным голосом он начал читать текст выступления. После осторожного предисловия заговорил об эксцессах террора: «Я размышлял: суровые годы борьбы прошли, члены партии, отошедшие от основной партийной линии и примкнувшие к стану врагов,— разбиты; за партию боролись здоровые элементы. Это были годы индустриализации, коллективизации. Я никогда не считал возможным, чтобы после такой суровой эпохи могло случиться, чтобы Карпов и ему подобные люди очутились в стане врагов. А теперь, согласно свидетельствам, выходит, что Карпов был завербован в 1934 году троцкистами» [1].

Постышев подошел теперь вплотную к обвинениям против Рыкова и Бухарина и собирался, видимо, начать говорить об этом, когда Сталин, слушавший речь без всяких видимых эмоций, громко прервал оратора, тем самым дав понять всем присутствующим, что ему было известно дальнейшее содержание речи.

Это и был, вероятно, тот обмен репликами между Сталиным и Постышевым, о котором говорил на XX съезде партии Хрущев. По словам Хрущева:

«Сталин высказал свое недовольство Постышевым и задал ему вопрос: „Кто ты, собственно говоря?“». Постышев ответил твердо: „Я — большевик, товарищ Сталин, большевик“. Такой ответ сначала рассматривался как признак неуважения к Сталину, позже как вредительский акт, и в конце концов это привело к тому, что Постышев был ликвидирован и без всяких оснований заклеймен, как „враг народа“».

В лагерях на Воркуте упорно говорили, что после реплики Сталина (какова бы она ни была) Постышев запнулся, отошел от текста речи, стал объяснять сомнения, ощущавшиеся им и его сторонниками, и сказал, что после того, как он выслушал сталинский анализ, он берет свои сомнения обратно и надеется, что все остальные сделают то же самое.

Большинство последующих ораторов так и сделали, но говорят, что Рудзутак, Чубарь, Эйхе и некоторые военачальники своих сомнений обратно не взяли. Они утверждали, что их сомнения не были признаком измены или слабости, а только заботы о советском государстве. Чубарь, как передавали, был особенно убедителен. Народный комиссар здравоохранения Каминский, хотя он был только кандидатом в члены ЦК, тоже, по всем сведениям, говорил особенно эффективно и твердо. Он предъявлял полное, хотя и спокойное обвинение Ежову и осудил его методы [1].

Но солидарность протестующих была нарушена. Между тем единственный шанс на успех состоял в том, чтобы выступать единым фронтом, привлекая на свою сторону сочувствующее, но робкое большинство. А на деле солидарность проявила только сталинская клика — Жданов, Ежов, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян и особенно Хрущев и Шверник.

Сталин сидел в президиуме с безразличным видом, покуривая свою трубку и делая заметки. Под конец заседания он выступил в мягком тоне, поблагодарив всех за конструктивную критику, но указав на необходимость солидарности и твердости против троцкистских заговорщиков.

26 февраля с докладом по организационным вопросам выступал Жданов. Прения по этому докладу шли 27 февраля. В докладе Жданов использовал удобный случай и обрушился с острой критикой на «неправильное руководство» в Киеве, где во главе партийной организации стоял Постышев. Жданов критиковал азово-черноморский крайком, киевский обком и ЦК КП(б)У за «факты вопиющей запущенности партийно-политической работы», «выражающиеся в грубых нарушениях устава партии и принципов демократического централизма». Главным пунктом обвинения было то, что киевская и другие организации кооптировали людей в те или иные органы, а не выбирали их, и это, дескать, было очень недемократично.

Тем временем готовилась развязка в деле Бухарина и Рыкова. Они, конечно, присутствовали на пленуме как еще не исключенные кандидаты в ЦК. Когда формально был предложен их арест, разыгралась бурная сцена. Под охраной ввели Сокольникова и Радека, которые стали возводить на Бухарина и Рыкова обвинения [2]. Но ни Бухарин, ни Рыков не сдались и, опровергая их свидетельства, горячо отстаивали свою невиновность. Как писалось в то время, «они не стали на путь раскаяния». Вскоре на процессе Бухарина Икрамов покажет, «сколько дней мы отрицали, сколько раз мои „руководители“ отрицали это на Пленуме ЦК» [3].

Как передавали, Бухарин произнес сильную и эмоциональную речь. Он сказал, что заговор действительно существует, но это заговор Сталина и Ежова, направленный на установление режима НКВД под беспредельной личной властью Сталина. Со слезами в голосе Бухарин обратился к Центральному Комитету, призывая принять правильное решение. Сталин прервал Бухарина, объявив, что

[1] Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС.

[1] Устные сведения, полученные автором.
[2] Так рассказывал М. М. Литвинов...
[3] «Дело Бухарина», с. 313—314.

его поведение недостойно революционера и что свою невиновность он может доказать в тюрьме.

Голосование, проведенное под наблюдением Сталина и Ежова, с охранниками НКВД, ожидавшими за дверью, было чистой формальностью. Бухарин и Рыков были арестованы на месте и брошены в Лубянку.

Это случилось 27 февраля. Пленум продолжался.

По докладу Ежова была принята резолюция, повторявшая сталинскую формулу о том, что НКВД под руководством Ягоды не проявлял себя должным образом четыре года назад — то есть по делу Рютина:

«Пленум ЦК ВКП(б) считает, что факты, собранные в результате расследования дел антисоветского троцкистского центра и его сторонников в провинции, показывают, что Народный комиссариат внутренних дел отстал по крайней мере на четыре года в своей деятельности по разоблачению этих наиболее непримиримых врагов народа».

Сталин резко критиковал Ягоду. Возможно, что именно на этом этапе пленума Ягода повернулся к аплодирующим участникам и проворчал известные слова о том, что шестью месяцами раньше он мог бы арестовать их всех.

Наступила очередь Молотова.

«Зло высмеивая тех, кто пытался предостеречь Сталина и Молотова от искусственного создания всевозможных заговоров, вредительских и шпионских центров, Молотов призывал партию „громить врагов народа", якобы прикрывающихся партийными билетами». Он объявил, что «особая опасность теперешних диверсионно-вредительских организаций заключается в том, что эти вредители, диверсанты и шпионы прикидываются коммунистами, горячими сторонниками Советской власти».

3 марта Сталин сделал свой доклад, озаглавленный «О недостатках партийной работы и методах ликвидации троцкистских и иных двурушников», а 5 марта пленум закончился его коротким заключительным словом. Эти два выступления Сталина были напечатаны в «Правде» 29 марта и 1 апреля 1937 года. Есть основания предполагать, что многое из сказанного Сталиным на пленуме было в публикации выпущено. Мимоходом отмечу, что через несколько месяцев этот официальный текст двух сталинских выступлений был опубликован на английском языке в книге, содержащей также слегка сокращенную стенограмму процесса над Пятаковым и другими. Председатель англо-советского парламентского комитета, член британского парламента Нейл Маклин в своем предисловии к книге писал: «Эти речи, произнесенные в простом и ясном стиле, которым так славится г-н Сталин, представляют собой интересное изложение подоплеки процесса и вместе с тем комментарий к нему...».

Вот уж что верно, то верно! В своем докладе Сталин развил теоретическое обоснование террора. Цитируя письма ЦК от 18 января 1935-го и 29 июля 1936 годов, Сталин выдвинул тезис (отвергнутый в хрущевский период) о том, что по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется.

Сталин указал на то, что малочисленность контрреволюционеров не должна успокаивать партию: «Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого требуются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько человек. Таких примеров можно было бы привести десятки и сотни».

Однако центральной темой доклада Сталина была критика тех руководителей, у которых «притупилась бдительность»:

«Некоторые наши руководящие товарищи как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты».

Сталин добавил, что «ведя борьбу с троцкистскими агентами, наши партийные товарищи не заметили, проглядели, что нынешний троцкизм уже не тот, чем он был...». «Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, что из политического течения в рабочем классе, каким он был семь или восемь лет тому назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств».

Сталин сделал затем зловещее предложение, которое, как выяснилось позже, верно отражало его дальнейшие планы:

«Прежде всего необходимо предложить нашим партийным руководителям, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских партийных организаций, подобрать себе в течение известного периода по два человека, по два партийных работника, способных быть их действительными заместителями».

В заключительном слове Сталин лишь кратко коснулся своих старых, ныне раздавленных соперников:

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и так далее. Теперь, я думаю, ясно всем, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» [1].

Остальная часть заключительного слова Сталина была посвящена другому — нападкам на следующую группу его жертв. Формально речь шла о неправильном поведении, о необоснованных исключениях из партии, допущенных руководящими партийными работниками, все еще занимавшими высокие посты. Сталин сперва объявил:

«Мы, руководители, не должны зазнаваться, но должны думать, что если мы являемся членами ЦК или наркомами, то это еще не значит, что мы обладаем всеми необходимыми знаниями для того, чтобы правильно руководить. Чин сам по себе не дает знаний и опыта. Звание — тем более».

После этого Сталин перешел к злополучному делу Николаенко в Киеве:

«Николаенко — это рядовой член партии. Она — обыкновенный „маленький человек". Целый год она подавала сигналы о неблагополучии в партийной организации в Киеве, разоблачала семейственность, мещанско-обывательский подход к работникам, зажим самокритики, засилье троцкистских вредителей. От нее отмахивались, как от назойливой мухи. Наконец, чтобы отбиться от нее, взяли и исключили ее из партии. Ни киевская организация, ни ЦК КП(б)У не помогли ей добиться правды. Только вмешательство Центрального Комитета партии помогло распутать этот запутанный узел. А что выяснилось после разбора дела? Выяснилось, что Николаенко была права, а киевская организация была неправа. Ни больше, ни меньше».

Сталин затем многозначительно коснулся «бездушно-бюрократического отношения некоторых наших партийных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об исключении из партии». Он сказал, что «так могут подходить к членам партии лишь люди, по сути дела, глубоко антипартийные».

Побежденное большинство участников пленума разъехалось по своим организациям, и у них в ушах звучали эти зловещие слова. Худшее для этих людей было впереди.

13 марта «Правда» напечатала на видном месте специальную статью, посвященную антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова. Адресованная более молодому поколению, которое могло и не помнить этих прежних «преступлений», статья говорила о «гнусной» антипартийной деятельности также и Томского. Все трое — Бухарин, Рыков и Томский — определенно обвинялись в преступных связях с троцкистами. Автором статьи был Петр Поспелов — в 1968 году, когда писались эти строки, академик и член ЦК [3)].

По забавной иронии судьбы именно Поспелову досталось сказать на Совещании историков в 1962 году, «что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были» [1].

Одним из первых шагов после победы сталинцев на пленуме было освобождение Постышева 17 марта с поста второго секретаря ЦК партии Украины. Его понизили до первого секретаря куйбышевского обкома партии. Там он вынужден был работать почти год под огнем постоянной критики, но все еще сохраняя свое звание кандидата в члены Политбюро, покуда его не «освободили», по выражению сообщения в «Правде», от этого звания в январе 1938 года. В информационном сообщении о пленуме ЦК 1938 года Куйбышевская область, в которой Постышев, очевидно, должен был исправить свои ошибки, названа в числе тех, где, по мнению Центрального Комитета, чистка производилась неудовлетворительно.

Удаление Постышева из Киева сопровождалось резолюцией ЦК КП(б) Украины о том, что в результате его руководства и его «небольшевистского стиля работы», выражавшегося в зажиме критики и самокритики и формировании клики приближенных, враги партии смогли проникать в ряды организации и иногда преследовать честных коммунистов.

В последующие месяцы обвинения против Постышева все нарастали. На украинском партийном съезде в мае на него напал Косиор. По словам Косиора, троцкисты в Киеве сумели проникнуть на руководящие посты. Другие ораторы на съезде поносили тех, кто дал дорогу «врагам» в Киеве. На съезде выступала и восстановленная в партии Николаенко. Она самодовольно объявила, что в течение нескольких лет на Украине царила самоуспокоенность и во всем был виден культ личности: «Обстановка, ничего общего не имеющая с большевизмом, достигла своего апогея, когда киевской организацией руководил тов. Постышев. „Указания Постышева", „призывы Постышева", „детсады Постышева", „подарки Постышева" и так далее. Все начиналось и кончалось Постышевым». Как сказала Николаенко,

---

[1] Именно это место выступления Сталина... не случайно процитировано Вышинским на процессе Бухарина (см. «Дело Бухарина», с. 551).

[1] Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам (18—21 декабря 1962 г.). М., 1964, с. 298.

Постышев был «отравлен успехом из-за того, что наша печать поднимала шум вокруг его имени».

Поражение Постышева и понижение его в должности было лишь началом. В последующие несколько лет подавляющее большинство, семьдесят процентов состава ЦК — в том числе все те, кто в 1937 году сделали последнюю неловкую попытку воспротивиться террору,— последовали за Бухариным и Рыковым в камеры смертников.

Ибо теперь Сталин выиграл политический бой. У него появилась наконец полная возможность уничтожить старых участников оппозиции. В то же время, как видно по его действиям против Постышева, Сталин сделал первые шаги к подрыву и уничтожению той группы своих собственных сторонников, которая попыталась удержать его от развязывания террора.

Но главная перемена заключалась в том, что потерпела поражение последняя попытка сохранить в стране хоть какое-то подобие конституционной процедуры. В будущем Сталину уже не нужно было ограничивать себя какими-либо соображениями формального порядка. Бухарин и Рыков были последними членами ЦК, чье исключение и арест были, в соответствии с уставом партии, проведены решением пленума.

В последующие шесть месяцев положение радикально изменилось. Еще осенью 1936 года Сталину нужно было спорить и оказывать давление, чтобы добиться ареста и предания суду даже его потенциальных соперников. Теперь он мог отдать приказ об аресте любого из его ближайших сотрудников без чьего-либо ведома. Он мог наносить удары куда хотел, и жаловаться на него было некому. И переломным моментом, пунктом превращения деспотизма в абсолютную террористическую диктатуру Сталина, можно считать февральско-мартовский пленум 1937 года.

Тем не менее Сталину предстояло предпринять кое-какие шаги, чтобы обеспечить необратимость победы. Деморализованное и побежденное большинство в Центральном Комитете, виновное в самом тяжелом из всех преступлений — безуспешной нелояльности, предстояло стереть с лица земли. Далее, террор затронул пока только определенную часть советского народа, в толще которого следовало выжечь каленым железом политическую недисциплинированность. Оставалась еще армия. По всем признакам армия была послушна, но такое впечатление нередко подводило тиранов прошлого, и Сталин намеревался как можно скорее застраховать себя от подобной ошибки.

Но прежде всего нужно было отладить машину террора. Прежний НКВД времен Ягоды был технически эффективен, но в определенном смысле ему не хватало подлинно сталинского духа. Так или иначе, новый хозяин НКВД не мог доверять людям своего предшественника.

В марте 1937 года Ежов командировал заведующих отделами НКВД в разные концы страны для проведения широкой инспекции на местах. Не были посланы лишь начальник иностранного отдела Слуцкий и — пока что — Паукер. Остальные, выехав в командировки, были арестованы на первых же станциях от Москвы, каждый на своем направлении, и привезены обратно, в тюрьму. Два дня спустя тот же прием был повторен с заместителями начальников отделов. В тот же момент Ежов сменил охрану НКВД на всех важных центральных объектах. Сам он забаррикадировался в отдельном крыле здания НКВД, окруженный мощной личной охраной, причем были введены исключительные предосторожности.

18 марта 1937 года Ежов выступил на собрании руководящих работников НКВД в их клубе на Лубянке. Он обвинил Ягоду в том, что тот был в свое время агентом царской полиции, вором и растратчиком, а потом заговорил о «шпионах Ягоды» в рядах НКВД. Тут же были приняты немедленные меры по расчистке оставшихся кадров Ягоды. Их арестовывали в кабинетах днем или на дому ночами. Следователь, допрашивавший Каменева, грозный Черток, выбросился из окна своей квартиры на двенадцатом этаже. Несколько руководящих работников застрелились или покончили с собой, выпрыгнув из окон кабинетов. Но большинство пассивно шло под арест — в том числе секретарь Ягоды Буланов, арестованный, как мы знаем из «Дела Бухарина», в конце марта.

Как сообщают, в 1937 году были казнены три тысячи бывших сотрудников Ягоды в НКВД. Что касается начальников отделов, то Молчанов, Миронов и Шанин были объявлены правыми заговорщиками, организовавшими свою группу в рядах ОГПУ в 1931—1932 годах, а Паукер (который исчез летом) и Гай, вместе с заместителем Паукера Воловичем и Запорожцем, оказались «шпионами». (Про Паукера, по происхождению еврея, серьезно говорилось, что он шпионил в пользу гитлеровской Германии.)

3 апреля было объявлено, что сам Ягода арестован «ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера», а через два дня, 5 апреля, было объявлено о назначении нового народного комиссара и заместителя народного комиссара связи. Был также объявлен перевод на другую работу бывшего заместителя наркома Г. Е. Прокофьева. Хотя в сообщении он все еще именовался «товарищем», Прокофьев был вскоре арестован как «правый». Жены Ягоды и Прокофьева были также арестованы и отправлены в лагеря. Дача Ягоды была передана Молотову.

Теперь машина Ежова была «прочищена» и готова к действию. В то же самое время был обновлен аппарат генерального прокурора Вышинского — еще один главный элемент механизма террора. Некоторые старые прокуроры пытались поддерживать видимость законности. Например, 26 июня 1936 года заместитель главного прокурора водного транспорта представил даже служебную записку на эту тему. Протесты подобного рода поступали от целого ряда областных прокуроров — а в Брянске, например, двое прокуроров были даже арестованы «за распространение ложных, порочащих слухов». Теперь девяносто процентов областных прокуроров были сняты и многие из них арестованы в результате того, что «Вышинский провел массовую чистку органов прокуратуры. С его санкции были арестованы и впоследствии погибли многие видные прокурорские работники, стремившиеся в той или иной форме ослабить репрессии, пресечь беззакония и произвол» [1]. А в начале 1938 года сталинский журнал под ироническим названием «Социалистическая законность» призывал к дальнейшей работе по очистке органов прокуратуры от «троцкистско-бухаринских предателей, агентов фашизма и вообще чуждых нам, политически неустойчивых, разложившихся элементов».

Советские правоведы, насаждавшие «формальный» подход к законности, были привлечены к ответственности. В январе 1937 года суровой критике подвергся Е. Пашуканис — заместитель наркома юстиции и ведущий теоретик права в Советском Союзе. А в апреле Вышинский уже объявил, что «разоблаченный ныне двурушник Пашуканис» был связан с Бухариным. Не повезло и другому заместителю наркома юстиции: В. А. Деготь был арестован 31 июля 1937 года, отправлен в лагеря, где умер в 1944 году.

К началу весны 1937 года вся террористическая машина была в полном порядке. Старые коммунисты в полицейском аппарате и в прокуратуре, при всей их беспощадности, уже не годились для новой фазы террора. Тем советским гражданам, которые думали, что страна к тому времени была уже в руках террористов, еще предстояло узнать, что такое настоящий террор.

---

[1] Жогин в «Советском государстве и праве», 1965, № 3 («Об извращениях Вышинского»), с. 26.

Глава седьмая

ИЮНЬ

11 июня 1937 года было объявлено, что цвет высшего командования Красной Армии обвиняется в измене. На следующий день командиры были судимы и казнены. В отличие от жертв прежних политических чисток, против генералов не велось какой-либо публичной пропагандистской кампании. Для большинства людей — и в стране и вне ее — новость об «измене» была полным сюрпризом, внезапным ударом. О самой «измене» не сообщалось никаких подробностей. Эффект кампании, поднятой в прессе 12 июня, не мог сравниться с тем, что было достигнуто в предшествующих случаях систематической травлей жертв на протяжении месяцев и даже лет.

Пропаганда сделала все возможное. Были срочно собраны митинги, потребовавшие смертной казни для «грязной банды шпионов»; Демьян Бедный успел настрочить стихотворение в 54 строки, включавшее зарифмованные имена генералов; подобные же вирши сочинил и другой стихоплет — Александр Безыменский; а на газетных столбцах вокруг этих рифмованных строчек рабочие заводов, сотрудники Академии наук, полярные исследователи с острова Рудольфа и представители вообще всей «честной и прямодушной советской общественности» требовали расстрела изменников, который, как оказалось, уже состоялся. 13 июня на первой странице «Правды» был опубликован приказ наркома обороны Ворошилова № 96 от 12 июня 1937 года. В приказе говорилось о преступлениях расстрелянных военачальников. Они якобы «сознались в своем предательстве, вредительстве и шпионаже».

Приведем список командиров. Заместитель наркома обороны маршал Тухачевский; командующий Киевским военным округом командарм Якир; командующий Белорусским военным округом командарм Уборевич; председатель Осоавиахима комкор Эйдеман; начальник Военной академии командарм Корк; военный атташе СССР в Лондоне комкор Путна; начальник административно-хозяйственного управления Красной Армии комкор Фельдман; заместитель командующего Ленинградским военным округом комкор Примаков. Кроме того, в числе изменников был назван первый заместитель наркома обороны начальник Политуправления Красной Армии Ян Гамарник, о самоубийстве которого было объявлено 1 июня. В официальном сообщении прокуратуры Союза ССР говорилось, что «указанные выше арестованные обвиняются в нарушении воинского долга (присяги), измене Родине, измене народам

СССР, измене Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Между этими обвинениями и тем, что стоит в приказе народного комиссара обороны СССР Ворошилова, имеется некоторое несоответствие. В приказе Ворошилова — «для достижения этой своей предательской цели фашистские заговорщики не стеснялись в выборе средств: они готовили убийства руководителей партии и правительства». Как мы увидим, и троцкистская тема, и версия об измене готовились и разрабатывались на протяжении многих месяцев; мы увидим также, что версия измены, по крайней мере, была хорошо «документирована».

Все жертвы были ведущими членами группы, объединенной вокруг Тухачевского общей заботой о пересмотре военных концепций в тридцатые годы. (Три видных фигуры из той же группы не были казнены сразу: авиационный командир Алкснис, флотский руководитель Муклевич и представлявший бронетанковые войска Халепский. Но скоро наступил и их черед.) Группа разработала идею, а до некоторой степени и организационную схему эффективной современной армии. Высшие военные руководители были еще молодыми людьми. Они становились командирами, не достигнув и тридцати лет. За исключением Корка, которому было ровно пятьдесят лет, жертвам было лишь немногим больше сорока. Тухачевскому и Путне было по сорок четыре года, Якиру и Уборевичу по сорока одному. Они оба были ровесниками Жукова, которому предстояло сыграть важную военную и политическую роль на протяжении многих последующих лет. Покончившему с собой Гамарнику было тоже только сорок три года.

По всеобщему признанию Тухачевский был наилучшим военным мыслителем в армии, обладал огромной силой воли и крепкими нервами. Он был выходцем из среды мелкого дворянства. Во время первой мировой войны служил подпоручиком в Семеновском гвардейском полку. В 1915 году Тухачевский попал в немецкий плен. После пяти попыток побега Тухачевского заперли в крепости Ингольштадт, где среди его собратьев по плену был молодой капитан де Голль. В 1917 году Тухачевский вернулся в Россию, где присоединился к большевикам.

Английский военный историк профессор Джон Эриксон в своей книге «The Soviet High Command» («Высшее советское командование») пишет о Тухачевском так: «Блестящий человек быстрого ума, с долей жестокости, связанной у него с порывистой пылкостью, молодой командир Красной Армии развил в себе известную надменность и высокомерие, отнюдь не рассчитанные на облегчение дружеских связей».

Во время гражданской войны Тухачевский несколько раз спасал положение красных на восточном фронте, а в 1920 году, двадцати семи лет от роду, командовал армиями, наступавшими на Польшу. Позже он руководил подавлением Кронштадтского мятежа и операциями против повстанцев Антонова в Тамбовской губернии.

Киевский и Белорусский военные округа, под командованием соответственно Якира и Уборевича, были крупнейшими в стране. В них были сконцентрированы двадцать пять из девяноста стрелковых дивизий Красной Армии и двенадцать из двадцати шести кавалерийских.

Якир, живой и моложавый командарм, был сыном бедного еврея-аптекаря из города Кишинева. В возрасте двадцати одного года он организовал большевистский отряд на Украине и за три года продвинулся до командующего так называемой «фастовской армейской группировкой», действовавшей против поляков. С 1926 года Якир командовал ключевым Украинским военным округом, носившим последовательно различные названия. Среди членов Центрального Комитета партии Якир был единственным профессиональным военным. (Другими двумя «военными» членами ЦК были Ворошилов и политический руководитель армии Гамарник.)

Уборевич был «военным интеллигентом», носил очки. Он тоже командовал армией в польском походе 1920 года, а затем участвовал в блестящих операциях, закончившихся штурмом Перекопа в ноябре 1920 года и победой в гражданской войне. Уборевич был кандидатом в члены ЦК и, если не считать заместителя Гамарника по Политуправлению Красной Армии А. С. Булина, единственным среди кандидатов, не носившим маршальского звания. (Кандидатами в члены ЦК были маршалы Блюхер, Буденный, Егоров и Тухачевский.)

Остальные «заговорщики» были почти столь же выдающимися людьми. Корк и Эйдеман, например, тоже командовали армиями в гражданской войне и в походе против Польши. Эйдеман, человек с квадратообразной головой, с усиками, армейский старшина по виду, был на самом деле латышским писателем. Путна, служивший до революции в Семеновском гвардейском полку вместе с Тухачевским, был командиром меньшего масштаба, но занимал важные посты в системе военного обучения армии в двадцатые годы. Фельдман, по происхождению еврей, был одним из ближайших помощников Тухачевского.

Ян Гамарник, тоже намеченный Сталиным в качестве главной мишени для удара, был начальником Политуправления Красной Армии и первым заместителем народного комиссара обороны. Он принадлежал к несколько иной категории, чем перечисленные выше командиры. Во многом он расходился с военными руководителями — особенно в вопросах военно-политической организации. Гамарник был типичным старым большевиком, он участвовал в опаснейших сражениях гражданской войны на Украине, а затем был участником сапроновской фракции в период ее большого влияния в этой республике. Но с середины двадцатых годов у него не было никаких связей. На пост начальника Политуправления Красной Армии Гамарник был назначен в 1929 году. Гамарник считался в партии — конечно, по партийным понятиям — чем-то вроде святого.

Однако военные заслуги в прошлом вряд ли сослужили службу генералам — скорее наоборот. К 1937 году пятую часть командного состава Красной Армии все еще составляли ветераны гражданской войны; из них почти целиком состояло высшее командование. Но от прежних времен между ними сохранилось немало взаимных обид. Так, например, во время боев под Царицыном вокруг Ворошилова и Сталина образовалась группа военных, которые систематически не подчинялись и выражали открытое неповиновение приказам военного комиссара Троцкого. А поведение Ворошилова в долгих ожесточенных интригах было настолько скверным, что вызвало самые худшие чувства, какие только можно вообразить — даже на фоне обычной грызни в большевистском руководстве.

Именно под руководством царицынской группы находилась конница Буденного, вначале мало чем отличавшаяся от разбойничьей банды. Сам Буденный вспоминает, что в то время Троцкий называл ее именно «бандой» под руководством «атамана-предводителя». «Куда он поведет свою ватагу, туда она и пойдет»,— говорил Троцкий.— «Сегодня за красных, а завтра за белых» [1]. Один из буденновских командиров застрелил комиссара только за то, что комиссар протестовал против грабежей в Ростове.

Но по мере того, как приходили новобранцы, «ватага» разрослась с помощью Сталина в Первую Конную армию. Эта армия привлекла как способных, так и сумасбродных людей, но, во всяком случае, ее организация улучшилась. Военный совет Первой Конной армии состоял из Ворошилова, Щаденко и Буденного.

После поражения советских войск в битве за Варшаву в 1920 году возникли острые споры относительно ответственности Первой Конной за это поражение. В то время как главные силы Красной Армии

[1] Маршал Советского Союза С. М. Буденный. «Пройденный путь». М., 1959, с. 245.

под командованием Тухачевского нанесли удар к северу от польской столицы, Егоров и Сталин на южном фронте, в который входили буденновцы, наступали со стороны Львова. До самого последнего момента приказы двинуть буденновскую кавалерию к северу игнорировались — в лучшем случае по техническим причинам, в худшем — во имя близорукой попытки завоевать всю славу на своем фронте за счет общего успеха. Можно говорить о том, что советские военные силы вообще слишком растянуты, однако большинство советских военных специалистов склонялось к объяснению Тухачевского — а именно, что Сталин, Егоров и Буденный безответственно погубили все шансы на успех наступления. По-видимому, с этим соглашался и Ленин, заметивший тогдашнему управделами Совнаркома Бонч-Бруевичу: «Ну, кто же на Варшаву ходит через Львов?» [1]

Весь этот вопрос публично и подробно обсуждался в военных лекциях. Нет сомнения, что обсуждение это горько терзало Сталина. Когда он получил полный контроль над учебниками истории, весь эпизод был переписан как стратегически верное наступление на Львов, предательски саботированное Тухачевским и Троцким. Часть ответственности за польский разгром Сталин возлагал также на Смилгу.

Но к 1937 году эти старые споры уже представлялись мелкими и академическими. В сравнении с общим политическим климатом в стране, злобным и ядовитым, положение в армии постепенно стало прямо-таки спокойным оазисом среди бури.

В двадцатые годы коммунисты в вооруженных силах открыто и активно участвовали в политических спорах того времени. Начальник Политуправления Красной Армии Антонов-Овсеенко был прямым троцкистом. Заместитель наркома обороны Лашевич, сторонник Зиновьева, провел более или менее секретное собрание участников оппозиции где-то в лесу, продолжая занимать свой пост.

Но позже открытые действия такого типа прекратились. Некоторое время армейские коммунисты еще участвовали — хотя и более осторожно, чем гражданские лица — в политических спорах об общих задачах.

Среди командиров, подписавших документ в защиту оппозиции в 1927 году, были Якир и Путна. Но Тухачевский не участвовал ни в одном таком выступлении. Можно провести определенное различие между профессиональными военными, которые сделались коммунистами,— Тухачевским, Корком и Егоро-

[1] В. Бонч-Бруевич. «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций». М., 1930, с. 283.

вым — и коммунистами, выросшими в профессиональных военных, подобно Якиру, Блюхеру и Алкснису. Даже в двадцатые годы первая из этих групп играла лишь незначительную роль в политике — кроме тех случаев, когда дело касалось чисто военных вопросов, вроде сопротивления Тухачевского и Уборевича идеям Троцкого об организации армии.

Но, во всяком случае, с воцарением Сталина во всех областях жизни к концу двадцатых годов армейское командование полностью устранилось от политической борьбы. Очевидно, частичное объяснение этому — такое же, какое было у Пятакова: вопрос о руководителе был решен. На долю командиров оставались профессиональные проблемы создания мощной военной силы.

С другой стороны, Сталин был настолько осторожен, что старался не вызывать никаких волнений среди военных. Как в 1928 году он «нейтрализовал» Украину, удалив оттуда Кагановича, так и в армии он оставил Тухачевскому и его сотрудникам относительную свободу действий. Армейские коммунисты пользовались в партии высокой репутацией. Во время сравнительно мягкой партийной чистки 1929 года лишь от 3 до 5 процентов всех коммунистов-военных было исключено из партии в сравнении со средней цифрой в 11,7 процента по партии в целом; соответствующие цифры в чистке 1933 года были 4,3 процента и 17 процентов.

Правда, время от времени тот или иной командир подвергался репрессиям. Но обыкновенно это бывал какой-нибудь особый случай вроде дела военного академика Снесарева, в прошлом царского генерала, погибшего в лагере в 1937 году и недавно реабилитированного. Снесарев был репрессирован в возрасте 65 лет в 1930 году по обвинению в участии в контрреволюционной монархической организации.

Однако в целом армия пользовалась все более и более дружественным вниманием и подвергалась все меньшим и меньшим преследованиям. Престиж вооруженных сил начал расти во многих отношениях. В марте 1934 года был отменен принцип разделения ответственности между командиром и политическим комиссаром. Командир стал полным единоначальником, а комиссар — всего лишь его политическим советником. 22 сентября 1935 года были восстановлены прежние воинские звания, исключая пока что генералов. Всем командирам, кроме младших, предоставлялась неприкосновенность против ареста гражданскими органами без специального разрешения наркома обороны. Одновременно были названы первые пять маршалов Советского Союза: Тухачевский, Блюхер и Егоров с чисто военной стороны, плюс сталинские назначенцы Ворошилов и Буденный.

Однако в 1936-1937 годах возникло новое обстоятельство. Как мы видели, крупнейшие военные и политические руководители армии были членами или кандидатами Центрального Комитета партии. Ворошилов и Буденный всегда и во всем поддерживали Сталина. Но Якир и Гамарник среди членов ЦК, Тухачевский, Блюхер, Егоров, Уборевич и Булин среди кандидатов были, как говорят, против ареста Бухарина вместе с большинством гражданских членов и кандидатов ЦК ВКП(б).

На процессе 1938 года Бухарин туманно упомянул о каких-то «военных» в числе своих соучастников. Когда Вышинский спросил: «какие это военные?», Бухарин ответил: «правые заговорщики». Приняв это показание, Вышинский спросил: «Конкретно?», и тогда Бухарин назвал Тухачевского и Корка. В упоминании о Тухачевском и Корке на процессе Бухарина как не просто об участниках расплывчатого «блока», но как о настоящих «правых», мы находим частичное объяснение причин сталинской неприязни к военачальникам. Они не были «правыми» в том смысле, в каком был Бухарин. Но наиболее вероятно, что они выказывали «правые» настроения в том смысле, в каком это делали Рудзутак, Чубарь и др.— а именно, военные голосовали или протестовали против Сталина на пленумах ЦК в последний период — с сентября 1936 по февраль 1937 года. Если военные кандидаты в члены ЦК еще могли избежать открытого изложения своих мнений о судьбе Бухарина, то члены ЦК должны были высказать точку зрения. Но если кто-то даже воздерживался, не голосуя ни за, ни против, то для Сталина это было уже опасным признаком.

Конечно, это не значит, что мотивы Сталина тем и исчерпывались. Роль играли и старые обиды и новые неприятности. Однако имеются и более общие, более значительные соображения.

Деспотизм, навязанный террористической и терроризованной бюрократией, может быть в целом исключительно силен. Но он всегда имеет определенные уязвимые места. Его твердость переходит в хрупкость. Даже самые строгие предосторожности не могут, например, исключить возможности убийства деспота. Не имеется реальных свидетельств того, чтобы кто-нибудь, когда-либо серьезно покушался на жизнь Сталина (если, конечно, его смерть в 1953 году не была результатом покушения, но мы ведь пока не знаем всех точных обстоятельств). Есть несколько туманных сообщений о планировавшихся покушениях, обычно среди молодых коммунистов, но все эти попытки раскрывались еще до созревания. Были один или два индивидуальных инцидента — например, есть сообщение о солдате, который во время последней войны обстрелял выездную из Кремля правительственную машину, в которой находился, однако, не Сталин, а Микоян!

Другое уязвимое место всякой диктатуры — возможность военного переворота. Ведь всего несколько десятков целеустремленных людей могли, теоретически рассуждая, захватить Кремль и высших руководителей в нем. И машина того типа, какую построил Сталин, могла в таких обстоятельствах сломаться очень легко. Ведь даже комическая попытка генерала Мале свергнуть Наполеона в 1812 году — попытка, основанная на чистом блефе,— имела поначалу неправдоподобно большой успех. Лучшим шансом освободиться от Сталина был бы переворот под руководством Тухачевского в союзе с еще живыми участниками оппозиции — так же, скажем, как лучшим шансом остановить Гитлера в 1933 году был бы переворот под руководством Шлейхера, поддержанный социал-демократической партией.

Но так же как немецкие социал-демократы были связаны своими понятиями о конституционности (и так же как потом большинство гитлеровских генералов чувствовало себя связанным формальным подчинением Гитлеру как главе государства), советские маршалы, подобно гражданским участникам оппозиции, были, по-видимому, загипнотизированы тем, что сталинское руководство при всех его пороках с партийной точки зрения было законным.

О существовании какого-либо военного заговора против власти Сталина нет никаких конкретных свидетельств известных нам источников, в том числе бывших советских военнослужащих и сотрудников НКВД, позже перешедших на Запад. Никаких намеков на существование заговора не содержится и в гитлеровских секретных архивах. Суждения наиболее осторожных историков — таких, как Леонард Шапиро или Эриксон — также определенно сводятся к тому, что никакого заговора не было. Разумеется, гораздо труднее подтвердить отсутствие чего-либо, чем присутствие, и нельзя формально исключить возможность того, что в один прекрасный день обнаружится свидетельство существования серьезных намерений среди некоторых военачальников того времени.

То же самое относится к туманным сообщениям о том, что идея военного переворота приходила в то время в голову некоторым командирам, в частности, Фельдману, но что высшие военачальники не были среди посвященных. В ходе процесса над Бухариным и др. был упомянут еще один «военный заговор» — будто бы возглавлявшийся Енукидзе. Эти заговорщики якобы планировали дворцовый переворот. Их связь с Тухачевским, даже если судить по материалам процесса (см. «Дело Бухарина», с. 163—164 и 504), была поверхностной. Но опять-таки, хотя в этой истории нет ничего невозможного, она не подтверждается конкретными данными. Короче говоря, возможность существования военного заговора выглядит по меньшей мере маловероятной. Любопытно, однако, то, что легенда о каком-то реальном заговоре все еще не развеялась окончательно, хотя «заговоры», объявленные на трех больших политических процессах, были либо очевидно фальшивыми с самого начала, либо оказались таковыми очень скоро.

Парадоксально, но причина остающихся еще и сегодня сомнений, по-видимому, в том, что по этому делу Сталин не представил никаких свидетельств. С его точки зрения это был наилучший метод. Если бы был внезапно раскрыт настоящий военный заговор, то немедленный военный трибунал и казнь заговорщиков выглядели бы наиболее естественной реакцией. Немало прецедентов такого рода было и в других странах, и в самой России. Более того: если «заговоры», обнародованные ранее на политических процессах, выглядели весьма сомнительными, то захват власти Тухачевским мог считаться вполне разумным и возможным действием. В этом случае никаких «доказательств» и не требовалось. В каком-то смысле дело Тухачевского и других заключало в себе особую иронию, потому что представляло собою единственный случай, в котором Сталин имел перед собой документальное свидетельство. Оно было, разумеется, фальшивым, но было подлинно немецкого происхождения.

Сталин, однако, оказался достаточно хитер, чтобы не опубликовать эти документы. Они не целиком были в его пользу и, возможно, не полностью отвечали его намерениям. С другой стороны, будучи опубликованы, документы стали бы добычей специалистов, которые могли бы обнаружить ошибки, или даже сами немцы могли сорвать весь спектакль.

Таким образом, результатом сталинского внезапного удара и отсутствия конкретных свидетельств было то, что люди легче поверили в существование заговора.

Дело не в том, что люди поверили конкретным обвинениям. Некоторые из них, как выяснилось позднее, были абсолютно невообразимыми — например, что Якир и Фельдман, оба евреи, работали для нацистской Германии. Допустимым выглядел лишь центральный тезис о том, что генералы собирались ополчиться против Сталина.

Главным пунктом заговора, согласно показаниям на бухаринском процессе 1938 года,— «один из вариантов» плана Тухачевского, «на который он наиболее

сильно рассчитывал» — был захват Кремля и убийство партийного руководства группой военных. Гамарник будто бы предложил также захват главного здания НКВД. Дело было представлено так, что, по свидетельству Розенгольца, Гамарник якобы «предполагал, что нападение осуществится какой-нибудь войсковой частью непосредственно под его руководством, полагая, что он в достаточной мере пользуется партийным, политическим авторитетом в войсковых частях. Он рассчитывал, что в этом деле ему должны помочь некоторые из командиров, „особенно лихие“». Забавная деталь: Гамарник, имевший такой выбор «лихих командиров» в своем распоряжении, и боевой генерал Якир будто бы поручили начальнику отдела сберкасс Наркомата финансов Озерянскому подготовить террористический акт против Ежова. Это одна из тех деталей, которые неизбежно вызывают скептицизм по отношению ко всему делу.

На потребу иностранцам советские органы пускали в обращение всевозможные слухи. Например, Джозеф Дэвис, в то время американский посол в Москве, рассказывает в своих мемуарах, что 7 октября 1937 года в разговоре с советским дипломатом Трояновским он выразил сомнение насчет того, что Тухачевский стал немецким агентом просто за деньги. Трояновский ему ответил, что маршал имел любовницу, которая была немецкой агенткой. Эта версия распространялась и через другие каналы: тот же Дэвис слышал ее от французского посла на основе будто бы данных французской разведки, полученных через Прагу. Подобную же историю рассказал в свое время американский журналист Уолтер Дюранти. Верить всему этому нет ни малейших оснований.

Как мы уже говорили, очевидная внезапность удара по армии и созданная вокруг всего дела атмосфера чрезвычайности сослужили Сталину службу в том смысле, что придали делу некое правдоподобие. Это прослеживается даже по реакции некоторых кругов НКВД. В октябре 1937 года старший сотрудник НКВД говорил своим подчиненным в Испании: «Это был настоящий заговор! Достаточно было видеть, какая паника царила в верхах: все кремлевские пропуска были внезапно отменены; наши (т. е. НКВД) войска были приведены в боевую готовность; как сказал Фриновский, „все советское правительство висело на волоске...“».

Другому сотруднику Фриновский сказал, что НКВД «раскрыло гигантский заговор — мы их всех схватили!». Однако это было сказано около 20 мая, когда «раскрытие» было закончено с получением фальшивого досье, но предстояли еще три важных ареста.

Несомненно, создание атмосферы внезапной секретной паники было полезно, чтобы поддержать напряжение в военных, партийных и полицейских кругах. Но эта атмосфера никак не согласуется с фактами. Давление на армию, хотя о нем и мало говорилось, было, напротив, постепенным и нарастающим. В действительности прошло одиннадцать месяцев с того момента, когда Сталин предпринял первые шаги против высшего командования — шаги, принесшие теперь столь фантастические плоды.

Первый из серии арестов, которая привела к удару по генералам, имел место 5 июля 1936 года, когда НКВД схватил комдива Дмитрия Шмидта, командира танкового соединения в Киевском военном округе, без ведома и согласия его прямого начальника Якира. Якир бросился в Москву, где Ежов показал ему материал, компрометирующий Шмидта. «Материал», по-видимому, состоял из показаний Мрачковского, Дрейцера и Рейнгольда о том, что Шмидт и его соучастник Б. Кузьмичев (начальник штаба авиационного соединения) по приказу Мрачковского, переданному через Дрейцера, готовили убийство Ворошилова в интересах троцкистских элементов «блока».

Расправа со Шмидтом была вполне в стиле Сталина: вождь таил против комдива старую обиду. Шмидт не только состоял прежде в оппозиции, но еще и нанес Сталину личное оскорбление.

Член партии с 1915 года, Дмитрий Шмидт был сыном бедного еврейского сапожника. Он был моряком, а затем, в ходе гражданской войны, отличным кавалерийским командиром на Украине. В тот период на Украине враждовали между собой всевозможные фракции: к примеру, Василий Гроссман вспоминает, что город Бердичев переходил из рук в руки четырнадцать раз. Город занимали «петлюровцы, деникинцы, галичане, поляки, банды Тютюнника и Маруси, шальной „ничей“ девятый полк» [1].

Среди всего этого хаоса Шмидт поднялся до командира сначала полка, а затем и бригады, захватил Каменец-Подольск далеко на западе, окруженный силами врага, и, в конце концов, получил приказ сделать попытку (так, впрочем, никогда и не сделанную) прорваться через Польшу и Румынию на помощь Венгерской советской республике в 1919 году. Однажды Шмидт ворвался в лагерь партизан-самостийников с двумя помощниками и после того, как сорвались переговоры, вступил в вооруженную схватку и ушел невредимым. Он был типичным, хотя и не слишком талантливым природным вождем партизан — бесстрашным простоватым головорезом, подлинным

[1] Василий Гроссман. «Жизнь». М., 1947, с. 44 («В городе Бердичеве»).

продуктом гражданской войны. Позже, уже в мирное время, он выстрелил в старшего командира, который обидел его жену. Командира он не убил, и дело замяли.

В 1925—1927 годах Шмидт был связан с оппозицией, хотя и не играл в ней важной роли. Рассказывали, что, прибыв в Москву во время съезда 1927 года, на котором было объявлено исключение троцкистов, он встретил Сталина, выходившего из Кремля. Шмидт, в своей черной черкеске с наборным серебряным поясом и в папахе набекрень, подошел к Сталину и полушутя-полусерьезно стал осыпать его ругательствами самого солдатского образца. Он закончил жестом, имитирующим выхватывание сабли, и погрозил Сталину, что в один прекрасный день отрубит ему уши [1].

Сталин побледнел и сжал губы, но ничего не сказал. Инцидент истолковали как скверную шутку, в крайнем случае как оскорбление, не носившее политического характера и посему не достойное внимания. В конце концов, Шмидт ведь принял партийное решение, которому так сильно сопротивлялся, и продолжал служить еще около десяти лет. На процессе Зиновьева в 1936 году даже говорилось, что троцкисты, дескать, видели в нем подходящего заговорщика именно потому, что он был вне подозрений в партии. Что же касается грубости Шмидта, то ведь сам Сталин защищал грубость среди товарищей. И вообще такого рода поведение со стороны грубого солдата не рассматривалось бы сколько-нибудь серьезно никаким вождем — кроме, однако, Сталина.

С самого ареста Шмидта стало ясно, что это был не изолированный акт. «Дела» Шмидта и Кузьмичева были упомянуты среди других в обвинительном заключении на процессе Зиновьева, как «вынесенные в особое разбирательство в связи с тем, что следствие по ним не закончено» *. На суде Мрачковский говорил о «террористической группе, включавшей Шмидта, Кузьмичева и некоторых других, которых я не помню» *, что уже тогда было намеком на более широкую военную организацию. Рейнгольд тоже упоминал их как якобы часть «троцкистской группы военных», имевшей много участников, чьих имен он не знал.

Кузьмичев, так же как Шмидт, был старым товарищем Якира. Еще один из его товарищей, председатель днепропетровского совета Иван Голубенко, был тоже арестован в августе 1936 года как троцкист, хотя позднее его превратили в шпиона. Летом 1936 года он еще был, согласно показаниям на зиновьевском процессе, членом контрреволюционного троцкистско-зиновьевского националистического блока, а в январе 1937 года, на следующем процессе, его упоминали как участника террористической группы, сформированной для убийства Сталина и намеревавшейся «действовать против руководителей Коммунистической партии и Советского правительства Украины» [1]. Есть сообщения, что на самом деле Голубенко вместе с Орджоникидзе делал попытки приостановить террор.

Эти аресты, особенно арест Шмидта, вызвали серьезное беспокойство в военных кругах на Украине. Никто не верил в виновность Шмидта. Хотя он однажды голосовал за Троцкого, он давно в этом «раскаялся». Между тем, в августе последовали новые аресты. Был схвачен комдив Ю. Саблин. Сотрудница НКВД Анастасия Рубан, знавшая Якира, тайно назначила ему свидание и сообщила, что видела материалы против Саблина и абсолютно убеждена в его невиновности. Три дня спустя было объявлено о смерти Анастасии Рубан от сердечного припадка. Вскоре стало известно, что в действительности это было самоубийство [2].

Между тем на Лубянке Шмидта вели по всем степеням допроса высокопоставленные следователи НКВД, включая начальника особого отдела М. И. Гая и печально известного В. М. Ушакова. Комдив обвинялся в подготовке убийства Ворошилова. Было предъявлено и документальное свидетельство — карта маршрута Ворошилова на маневрах, выданная всем командирам. Некоторое время Шмидт все отрицал [3].

Обвинение против Шмидта и Кузьмичева было внесено в показания будущих участников зиновьевского процесса, а затем объявлено публично в обвинительном заключении. Но в ходе самого процесса, 21 августа 1936 года, неожиданно прозвучало имя более крупного командира, одного из членов группы Тухачевского. В тот день был вторично допрошен Дрейцер, уже закончивший давать показания 19 августа. При этом допросе, завершившем весь процесс, Дрейцер выдвинул обвинение против Путны. Этот командир якобы находился в прямой связи с Троцким и Иваном Смирновым. Смирнов отрицал, что Путна имел какое-либо отношение к делу. Однако Пикель, Рейнгольд и Бакаев подтвердили показания Дрейцера. Путна, вызванный из Лондона, к началу сентября был под арестом. Его жена узнала об аресте мужа в Варшаве, по пути на родину.

Еще один командир, которому предсто-

[1] Alexander Barmine. «One Who Survived». New York, 1945, p. 89—90 (см. прим. [4]).

[1] «Дело Пятакова», с. 94/54.
[2] Дубинский, с. 249—251; см. также «Военно-исторический журнал», 1965, № 6.
[3] Там же.

яло фигурировать на суде в июне 1937 года, комкор Примаков, был заместителем командующего Ленинградским военным округом. Его арест произошел не позднее, чем в ноябре 1936 года, возможно даже раньше [1]. Роль Примакова во всем деле очень неясна. Но однажды он уже находился в руках НКВД [2] — по-видимому, в 1934 году — так что был особенно уязвим.

Для поверхностного наблюдателя не было ничего невозможного в том, что троцкистские заговорщики вовлекали в свою орбиту коммунистов Красной Армии,— наряду с гражданскими лицами разных профессий. В той обстановке невозможно было жаловаться, что аресты командиров представляли собой репрессии против армии как таковой. С другой стороны, согласно показаниям Дрейцера, инструкции Троцкого включали особый пункт о «развертывании работы по организации ячеек в армии» *; это уже звучало прямой угрозой. Осенью 1936 года ходили слухи о том, что готовится показательный процесс «командиров-троцкистов» с комкором Путной в качестве главного обвиняемого. Тучи сгущались и над головой самого Тухачевского, если судить по тому, как мало о нем писали в связи с последними маневрами. А Ворошилов, делясь в Киеве впечатлениями о белорусских маневрах, говорил о «кознях врагов» и призывал к «неусыпной бдительности».

Однако последующее падение наркома внутренних дел Ягоды рассматривалось как частичная победа армии. Немецкие дипломатические доклады того времени утверждали, что никаких военных судить больше не будут и что сам Тухачевский полностью реабилитирован.

Но как всегда это «облегчение» оказалось просто очередным маневром Сталина. Ни Шмидта, ни Путну не освободили, и вскоре Ежов уже планировал более мощный удар по военачальникам. Есть сообщения, правда, не подтвержденные, что с самого ареста Путны от него хотели получить показания, что Тухачевский был английским шпионом. Эти показания было бы наиболее естественно вложить в уста именно Путны, поскольку он занимал пост в Лондоне. Во время прошедших процессов подсудимые часто обвинялись в том, что работали в пользу различных иностранных государств. Тем не менее, это обвинение в последующей пропаганде развития не получило, ибо, возможно, было заслонено «связью» с немецкими фашистами.

Как мы видели, на процессе Пятакова и других прозвучало еще одно обвинение против Путны — в данном случае обвинение лишь в терроре, но не в измене. 24 января 1937 года Радек на суде заметил, как бы попутно, что Путна приходил к нему «передать одну просьбу Тухачевского» *. На следующий день состоялся удивительный диалог между Вышинским и Радеком:

Вышинский: Обвиняемый Радек, в ваших показаниях сказано: «В 1935 году... мы решили созвать конференцию, но перед этим, в январе, когда я приехал, ко мне пришел Виталий Путна с просьбой от Тухачевского...». Я хочу знать, в какой связи вы упомянули имя Тухачевского?

Радек: Тухачевский имел правительственное задание, для которого не мог найти необходимого материала. Таким материалом располагал только я. Он позвонил мне и спросил, имеется ли у меня этот материал. Я его имел, и Тухачевский послал Путну, с которым вместе работал над заданием, чтобы получить этот материал от меня. Конечно, Тухачевский понятия не имел ни о роли Путны, ни о моей преступной роли...

Вышинский: А Путна?

Радек: Он был членом организации; он пришел не по делам организации, но я воспользовался его визитом для нужного разговора.

Вышинский: Итак, Тухачевский послал к вам Путну по официальному делу, не имевшему никакого отношения к вашим делам, поскольку он, Тухачевский, никак не был связан с вашими делами?

Радек: Тухачевский никогда не имел никакого отношения к нашим делам.

Вышинский: Он послал Путну по официальному делу?

Радек: Да.

Вышинский: И вы воспользовались этим в ваших собственных интересах?

Радек: Да.

Вышинский: Правильно ли я вас понял, что Путна был связан с членами вашей троцкистской подпольной организации и что вы упомянули Тухачевского только потому, что Путна приходил к вам по официальному делу на основании приказа Тухачевского?

Радек: Я это подтверждаю, и я заявляю, что я никогда не имел и не мог иметь никаких связей с Тухачевским по линии контрреволюционной деятельности, потому что я знал, что Тухачевский — человек абсолютно преданный партии и правительству *.

Прочитав об этом, один опытный работник НКВД сразу сказал, что Тухачевский пропал. Почему, спросила его жена, ведь показания Радека так категорически исключают его вину? А с каких это пор,—

[1] «Герои Гражданской войны», М., 1963, с. 218 сообщает, что «с 1935 года до августа 1936 года Примаков находился на работе заместителя командующего войсками».

[2] John Erickson. «The Soviet High Command». St. Martin Press, London, 1962, p. 376—377.

был ответ,— Тухачевскому понадобилась характеристика Радека? [1]

Весь этот неуклюжий диалог был успокоительным ходом, без сомнения продиктованным лично Сталиным, возможно, по настоянию Тухачевского, после того, как его имя было накануне названо. Весьма типично, что маршал получил полное удовлетворение самым поверхностным путем. Он вряд ли мог теперь требовать более ясной оценки своей лояльности и невиновности. И в то же время сама мысль о возможной виновности была пущена в ход. И когда Вышинский в своей обвинительной речи говорил о том, что подсудимые признались во многом, но не во всем, что касалось их преступных связей, то это явно была укладка фундамента для возведения дальнейших обвинений и на Тухачевского, и на кого угодно.

Когда Шмидта, в конце концов, сломили суровыми допросами, его показания, по-видимому, стали циркулировать в высших кругах партии. Якир решил проверить обвинения. Он настоял на том, чтобы ему дали свидание со Шмидтом в тюрьме. Шмидт исхудал, был совсем седой, выглядел апатично и говорил обо всем с безразличием. По описанию Якира, у него «был взгляд марсианина», как с другой планеты. Но когда Якир спросил его, соответствуют ли действительности данные им показания, Шмидт сказал, что не соответствуют. Якиру не позволили расспрашивать его о деталях, но он получил записку от Шмидта к Ворошилову с отрицанием всех возведенных на него обвинений. Якир передал эту записку Ворошилову и сказал ему, что обвинения были явно ложными.

Очень довольный этими результатами, Якир вернулся в Киев. Но радовался он недолго. Ибо вскоре Ворошилов позвонил ему по телефону и сказал, что на следующий день, после свидания в тюрьме с Якиром, Шмидт подтвердил снова свои показания и ставит в известность Ворошилова и Якира, что его прежние признания были правильными [2]. (Теперь известно, что в результате девятимесячных допросов Шмидт либо к тому времени, либо вскоре после этого дал показания, о которых не сообщили Якиру и другим командирам,— показания против Якира. Шмидт «признался», что по наущению Якира хотел поднять свое танковое соединение на мятеж.)

Более чем вероятно, что Якир, как, повидимому, и другие военные действительно сопротивлялся террору на февральско-мартовском пленуме Центрального Комитета. Во всяком случае его смелое настояние на встрече со Шмидтом в тюрьме показывает, что Якиру было не занимать храбрости.

3 марта 1937 года с трибуны пленума, уже после ареста Рыкова и Бухарина, Сталин вкратце сказал о том, какой вред могут нанести «несколько человек шпионов где-нибудь в штабе армии», а Молотов «прямо призывал к избиению военных кадров, обвинял его (пленума) участников в нежелании развернуть борьбу против „врагов народа“» [1].

На пленуме была одержана решающая политическая победа по вопросу о терроре, и для дальнейшего распространения террора уже готовилась солидная организационная база. В апреле НКВД, «почищенный» Ежовым, был готов к дальнейшим операциям, а, говоря языком хрущевского времени, «вскоре после Пленума пробравшимися в органы Наркомвнудела карьеристами и провокаторами была сфабрикована версия о „контрреволюционной военной фашистской организации» в вооруженных силах“» [2].

До тех пор жертвами Сталина были почти исключительно бывшие участники оппозиции. Это верно и в отношении Бухарина и Рыкова. Теперь впервые Сталин перешел к массивным ударам по своим собственным сторонникам. Что касается бывших оппозиционеров, даже Бухарина и Рыкова, то партийная элита могла до известной степени полагать, что с ними сводили старые счеты,— а сведение счетов давно уже практиковалось в ВКП(б). В какой-то мере влияла на умы и теория о том, что Сталин расправлялся с соперниками, с группой, которая могла прийти к руководству вместо него. Но если теперь уничтожались верные сторонники Сталина, люди, не принимавшие участия ни в каких оппозиционных движениях, то тут уже никто не мог чувствовать себя в безопасности.

К тому же не было видно никакого принципа в отборе жертв.

В этих обстоятельствах Сталин вполне резонно мог подумать, что высшее военное командование, представители которого сопротивлялись даже репрессиям против Бухарина или с очевидной неохотой подчинились этому партийному решению, могло пойти на открытое сопротивление. Нарушив принцип политической верности, Сталин сам освободил этих людей от обязательств, налагаемых партийной дисциплиной. Поэтому довольно естественно, что запланированный Сталиным удар по

[1] W. Krivitsky. «I Was Stalin's Agent». London, 1940, p. 206 (см. прим. [5])).

[2] П. И. Якир и Я. А. Геллер. «Командарм Якир». М., 1963, с. 224—225.

[1] Ю. П. Петров. «Партвйное строительство в Советской Армии и флоте. Деятельность КПСС по созданию и укреплению политорганов, партийных и комсомольских организаций в Вооруженных силах (1918—1961 гг.)». Военное изд. Мин. обороны СССР, М., 1964.

[2] Там же.

военному командованию пришелся как раз на тот период, когда вождь стал уничтожать своих собственных недостаточно покорных сторонников.

Это уничтожение, как все у Сталина, шло постепенно. После ареста Ягоды 3 апреля 1937 года на освободившийся пост наркома связи был назначен командарм Халепский, специалист по бронетанковым войскам из группы Тухачевского. Это назначение было столь же абсурдным, сколь и зловещим.

В апреле исчез комкор Геккер — начальник управления международных связей Красной Армии, а потому особенно подходящая фигура для обвинения в шпионаже. В том же месяце был взят командующий Уральским военным округом комкор Гарькавый. Он был одним из ближайших сотрудников Якира; они даже были женаты на родных сестрах. И снова Якир выказал нежелательную смелость, обратившись к Сталину. Сталин его успокоил, сказав, что серьезные обвинения против Гарькавого были выдвинуты теми, кто уже находился под арестом, но что, если он окажется невиновным, его выпустят.

28 апреля 1937 года «Правда» опубликовала многозначительный призыв к Красной Армии овладеть политикой и бороться как с внешним, так и с внутренним врагом. Это было правильно понято высшим командованием, уже испытавшим несколько потрясений, как сильнейший, хотя и не прямой удар.

На первомайском параде 1937 года Тухачевский первым появился на трибуне, предназначенной для военного командования. Он шел в одиночестве, заложив большие пальцы рук за пояс. Вторым пришел Егоров, но он не посмотрел на своего коллегу и не отсалютовал ему. К ним в молчании присоединился Гамарник. Военных окружала мрачная, леденящая атмосфера. По окончании парада Тухачевский не стал дожидаться демонстрации и ушел с Красной площади [1].

В апреле его назначили присутствовать при коронации короля Георга VI в Лондоне. 3 мая документы Тухачевского были посланы в Британское посольство, но на следующий день посольство сообщили, что по состоянию здоровья Тухачевский не сможет приехать. Вместо него выехал адмирал Орлов.

Офицер, несколько раз встречавший Тухачевского в мае 1937 года, сообщает о том, что маршал выглядел необыкновенно мрачно после того, как имел разговор с Ворошиловым. Через несколько дней у Тухачевского с Ворошиловым была еще одна беседа. Ворошилов был холоден и формален. Он коротко объявил маршалу, что его снимают с поста заместителя наркома обороны и переводят в Волжский военный округ — в один из самых незначительных, располагавший тремя пехотными дивизиями и несколькими отдельными соединениями.

Тухачевский в то время сказал одному из своих друзей: «Дело не столько в Ворошилове, сколько в Сталине».

Это назначение вместе с несколькими другими стало официально известно 10—11 мая, когда была объявлена целая серия перемещений высших военачальников. Эти перемещения наиболее ясно свидетельствуют о тогдашних намерениях Сталина. Гамарник, подобно Тухачевскому, был снят с поста заместителя наркома обороны. Более хитрым ходом было перемещение Якира из Киева в Ленинград; в отличие от нового назначения Тухачевского, это не было очевидным понижением по службе. Кроме того, ни Тухачевский, ни Якир не были посланы на свои новые места службы с унизительной поспешностью: они оставались соответственно в Москве и Киеве приблизительно до конца мая.

Тем временем постановлением от 8 мая 1937 года была восстановлена прежняя система двойного подчинения, при которой власть политических комиссаров приравнивалась к власти боевых командиров. В свое время, когда такая мера была принята впервые, официальной причиной было то, что так называемые «военспецы» были, в основном, бывшими царскими офицерами и им нельзя было полностью доверять. Восстановление этой системы уже при новом, вполне советском, командном составе было яркой демонстрацией недоверия к командным кадрам. 9 мая в армию была спущена инструкция, призывавшая к повышению бдительности.

11 мая был нанесен первый удар по Дальневосточной армии в виде ареста комкора Лапина, начальника штаба ДВА. (Лапин покончил с собой после пыток в Хабаровской тюрьме.) В тот же день в Москве схватили более крупную добычу — командарма Корка из Военной академии им. Фрунзе.

Это означает, что к середине мая трое из намеченных жертв операции «Тухачевский» были уже под арестом, и давление на Тухачевского и Якира нарастало. Но внешне дело выглядело так, что всех высших командиров намеревались перевести на новые назначения до того, как НКВД нанесет последний удар. Если первоначальные намерения были действительно таковы, то это означает, что в середине мая планы внезапно переменились.

Как пишет в своих мемуарах бывший гитлеровский разведчик Вальтер Шелленберг, «документы», свидетельствующие, что Тухачевский был немецким шпионом, были переданы в советские руки как раз около этого времени. Эти «документы» были сфабрикованы в Восточном отделе гитлеровской службы безопасности (СД). Но подоплека у этой истории совсем не простая.

[1] W. Krivitsky, p. 250—251; A. Barmine, p. 7.

Перевод с английского

Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1] Явная описка автора или переводчика: речь идет, видимо, о Молотове. А. Н. Поскребышев был снят с должности личного секретаря Сталина в отстранен от руководства еще при жизни Сталина.

[2] Неточность. Были опубликованы также доклад Молотова и доклад Ежова отдельными брошюрами на русском и иностранных языках.

[3] Поспелов Петр Николаевич (1898—1979), член КПСС с 1916 г., главный редактор «Правды» (1940—1949), член ЦК КПСС (1939—1971), секретарь ЦК КПСС (1953—1960), директор института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (1949—1952; 1961—1967), академик АН СССР с 1953 г.

[4] Р. Конквест дает следующую оценку этому источнику (в «Приложениях»): «...источник, хорошо выдерживающий сопоставления с позднейшими свидетельствами — все, что написано крупным советским командармом Александром Барминым».

[5] В «Приложениях» Р. Конквест отмечает: «...автор... ставший объектом упорной травли — это Вальтер Кривицкий, для нашей работы полезный, хотя и не столь важный источник. У него есть недостатки. Во-первых, его память (или его способность сопоставлять свои воспоминания с опубликованным материалом) оставляет желать лучшего. В результате его рассказ страдает порой „хронологическими провалами". Это значит, что совершенно верная информация смещается у него во времени. Это обычно можно исправить. Во-вторых, близость В. Кривицкого к подлинным источникам сведений не так уж велика. И, наконец, особенность, которая, между прочим, мало отмечалась исследователями: Кривицкий очень следит за тем, чтобы вместе с теми или иными действиями правящей клики не выдать и подлинной государственной или военной тайны. Кривицкий покинул советскую службу 5 декабря 1937 года, этот момент позволяет провести грань между сведениями, полученными им непосредственно из источника, и позднейшими спекулятивными построениями».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Леонид
ЖУХОВИЦКИЙ

СТРАНА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Чужая земля всегда, было бы желание учиться, чему-то научит. У меня желание было: давно мечтал побывать в Швеции, посмотреть, как живет эта страна, лежащая в стороне от главных европейских и мировых магистралей, не входящая ни в какие военные союзы, вот уже много лет несуетливо идущая своим нестандартным путем. Швеция — страна своеобразная и глубокая, за три недолгие поездки ее уроки усвоить нелегко. Так что эти мои заметки — всего лишь старательный, но неумелый конспект студента-первокурсника...

ИЮНЬ

Множество стран хоть в чем-то, да самые. Самая обширная, самая населенная, самые высокие дома, самые широкие дороги, самый большой наплыв туристов, самая высокая степень автомобилизации. А Швеция? В чем преуспела она?

Картина жизни здесь достаточно ровная, резких отклонений от среднего уровня незаметно — нет ни вершин, ни пропастей. Дома прочны, удобны, умело вписаны в лесисто-скальный пейзаж — но не дворцы. Города спокойны, по ним приятно ходить пешком. Но даже в центре они в чем-то провинциальны. О Париже, Лондоне, Вене, Бомбее можно рассказывать всю жизнь, о Риме — жизни не хватит. А о Стокгольме?..

Но вот проходит день, другой, и ты с некоторым недоумением замечаешь, что не разглядываешь Швецию, не изучаешь, а просто живешь в ней, и тебе спокойно и хорошо. Ибо жить в Стокгольме или Гетеборге — для себя, а не для будущих рассказов — вероятно, лучше, чем во многих куда более прославленных городах. А потом выясняется, что есть сфера, где и Швеция — самая-самая на Земле: здесь, в срединной скандинавской стране, наиболее высокая продолжительность жизни на планете. И, зная это, начинаешь по-иному оценивать те же, поначалу разочаровывающие детали местного быта.

Да, Швеция приезжего не поразит. Но ведь она существует не для беглого туристского взгляда, а для самих шведов — спокойного, работящего, доброжелательного народа, равнодушного к показухе, народа, который думает о том, как лучше жить, а не о том, как лучше выглядеть. Сама провинциальность здешних городов успокаивает, радует глаз и душу. Многие шведы, имеющие машины, для коротких поездок предпочитают велосипед — полезней, приятней и дешевле. Нигде я не видел ставшей не только привычной, но как бы даже неизбежной городской толчеи — ни в магазинах, ни в музеях, ни на главных дорогах в часы пик. По насыщенности ритма жизни тот же Стокгольм здорово отстает от мировых столиц, включая сюда и наши — Москву, Ленинград, Киев,— дай ему, как говорится, бог максимально продлить это отставание.

Швеция показалась мне страной-пригородом, удобной для жизни, чистой, зеленой, спокойной. Туристский бум пока задел ее только краем — но кто знает! — может, лет через десять столбовая дорога беззаботных путешественников выгнется к северу, и миллионы людей станут приезжать к шведам, чтобы научиться спокойствию, доброжелательности и долголетию?

Многие народы вошли в наш язык определениями: американские горы, китайские церемонии, кофе по-турецки, финская баня, канадский хоккей, французская борьба. Вот и соседи по Балтике сделали нам подарок — «шведский стол». Это изобретение, мне кажется, говорит очень много и о шведском гостеприимстве, и об уровне жизни шведов, и о шведском характере вообще. «Будьте как дома» — говорят просто в Новгороде или Иркутске. Не знаю, есть ли такая идиома у шведов. Но «шведский стол» дает полную возможность быть как дома. За таким столом каждый хозяин — бери, что хочешь, в любой последовательности, тебя ни в чем не ограничивают и ничего не навязывают. За «шведским столом» голодным не останешься — это не центрально-европейская чашка кофе с печеньем.

А вот еще деталь, опять-таки связанная со шведским гостеприимством.

В Гетеборге нас внимательно и даже трогательно опекал секретарь местного общества писателей Ян Борг. Однажды Ян решил сделать нам подарки. И привел не в сувенирную лавку, а в аптеку! И принялся подробно выспрашивать, у кого что болит. Я оказался практически здоровым, что повергло Яна в растерянность: со слабой надеждой он стал выспрашивать, не нужно ли чего родственникам. История почти одесская!

Вот так, на уровне аптеки, заботятся только о близких людях. Ян и стал для нас близким человеком.

Что меня больше всего поразило в Швеции?

Пожалуй, две вещи — очень разные.

Первая — парк скульптуры Миллеса.

Миллес, величайший шведский скульптор прошлого и нашего века, а также всех прочих веков, напряженнейшим трудом приобрел славу и состояние, построил на одном из стокгольмских островов красивый дом с большой мастерской и стал жить как свободный художник, не нуждающийся в деньгах, то есть работать все свое свободное время, не думая о деньгах. У мастера было хобби — он коллекционировал скульптуру, в том числе и большую, парковую. Свою, особенно удавшуюся, тоже не любил выпускать из рук. Миллес постепенно прикупал землю вокруг своей усадьбы, пока не получился небольшой, красивый парк, с вершины каменного холма террасами сходящий к воде.

Наконец встал вопрос: что делать со всем этим роскошеством? Продать? Но зачем деньги обеспеченному человеку?

Миллес подарил свой дом и парк шведскому народу. Точней, не только шведскому: гражданин любой страны имеет возможность за пятнадцать крон стать владельцем несметного богатства.

Мужчины и женщины Миллеса вознесены на высоких колоннах в северное небо. Обнаженные, бронзовые, уже покрывшиеся зеленоватой патиной, они не стоят, а летят, когда в одиночку, когда обнявшись, когда, наоборот, словно бы отстранясь друг от друга. У них странные позы и странные худые тела, сквозь которые как бы просвечивает та бесконечно-глубокая человеческая суть, которую мы называем то характером, то личностью, то душой.

А вторая поразившая меня вещь к искусству отношения не имеет. Это всего-навсего туалетная комната для инвалидов, какая есть и на любом вокзале, и в гостинице, и в кинотеатре. Комната, где умывальник опускается и поднимается нажатием кнопки, где прочая сантехника столь же специальна и удобна.

Конечно, Швеция богата, и еще одна социальная программа ее не разорит. И все-таки нельзя не уважать народ, который тратит деньги не на дворцы для богачей, а на туалетные комнаты для инвалидов.

* * *

Высокий жизненный уровень даром не дается: шведы работают аккуратно и напряженно. Во всех семьях, где мне пришлось побывать, трудятся и муж, и жена. На жизнь хватило бы и одной зарплаты. На жизнь, соответствующую достигнутому стандарту — не хватит. В финансовых проблемах рядового шведа разобраться довольно трудно. Дело в том, что такие необходимые вещи, как дом и машина (а она в стране с малоразвитым общественным транспортом необходима), покупаются в кредит, под банковскую ссуду. Отчасти это выгодно — делается скидка при уплате налогов. Отчасти невыгодно — в банк надо платить проценты. Как долго? Тут шведы обычно смеются: «Всю жизнь». Спрашиваешь — когда же дом станет твоим? В ответ, опять со смехом — никогда! Кому же он тогда принадлежит? И вновь швед улыбается твоей непонятливости: да банку, конечно же, банку! Звучит все это страшновато. Но поскольку шведы, объясняя, улыбаются, начинаешь улыбаться и ты: раз люди так живут, значит, так жить можно.

Есть у шведов и иные проблемы — некоторые сразу заметны даже иностранцу.

В магазинах довольно людно, товаров полно — но шведские изделия теряются среди иностранных. Самое распространенное клеймо — «Сделано в Японии». Иногда оно слегка закамуфлировано — товар произведен филиалами японских фирм в Гонконге или Тайване. Часы, обувь, одежда, телевизоры, радиоаппаратура, магнитофоны, электроника. По Гетеборгу нас возили в японской машине. В нескольких шведских городах закрылись судоверфи — это тоже «сделано в Японии», скандинавские корабелы не выдерживают конкуренции тихоокеанских коллег.

Даже благополучная Швеция не может себе позволить работу без напряжения. Привычные слова — «на уровне мировых стандартов» — приобретают здесь жесткий привкус. У соперников крепкие локти — либо поспевай, либо без особых церемоний выдавят с рынка.

* * *

Шведская молодежь в моем представлении весьма тесно связывалась с двумя понятиями: «молодежный бунт» и «сексуальная революция». То есть, распад семьи, экспериментальные коммуны, разгул наркомании, всесилие порнобизнеса, предельная свобода нравов и так далее. А в реальности оказалось иное: молодые люди в Стокгольме и Гетеборге работают, учатся, влюбляются, мечтают о прочности человеческих отношений — в общем, ведут себя примерно также, как их сверстники в Ярославле, Таллинне или Днепропетровске.

Ну, а «сексуальная революция» — была она, все-таки, или нет?

Была. Вернее было некое социально-психологическое явление, которому рука талантливого и азартного журналиста дала шокирующе-броское определение. Судя по рассказам шведских друзей, эта

«революция» — употребим все же слово, ставшее привычным,— была нужна и даже неизбежна: она расшевелила, раскрепостила флегматичных северян, облегчила общение, сломала давно устаревшие ритуалы знакомства, после чего практически ушла, освободив место естественным человеческим отношениям — дружбе, любви и прочим привязанностям, которые во многих концах планеты одинаково успешно спасают нас от одиночества. А крайности смыло время, как смывает оно все необязательное.

Ну, а порнобизнес — разве его нет?

Как не быть — есть. В Стокгольме мы прошлись по улице, где сосредоточены заведения именно этой направленности. Улочка хоть и в центре — но до чего же убога и обшарпанна! Грязные стены, неряшливые витрины, словно торговля тут идет не любовью, а сильно поношенным тряпьем. Нет, сегодня это ремесло в Швеции процветающим не назовешь. А причиной, как говорят, все та же «сексуальная революция»: она открыла двери перед порнографией, но этим, как ни странно, привела последнюю не к расцвету, а к упадку — есть товары, которыми торговать успешно можно только из-под полы...

* * *

Быть писателем в восьмимиллионной Швеции трудновато. Между тем тяга к писательству большая: коллеги говорили, что только так или иначе организованных писателей в стране около пятисот. Не считая переводчиков и драматургов, у которых свои союзы.

Книжки в Швеции красивы: плотная бумага, прекрасная полиграфия, оригинальные иллюстрации. Плохо издавать тут нельзя: издатель, не желающий быстро прогореть, гоняется за малочисленным читателем. Тираж в две тысячи экземпляров считается вполне приличным, в пять тысяч завидным.

Шведские писатели — как же они живут при маленьких тиражах, при скромной читательской базе? Как правило, где-то служат, прирабатывают, а пишут по потребности души. Лишь самые удачливые или неприхотливые обходятся литературными заработками. Выгодным литературное ремесло в Швеции не назовешь — для писателя это плохо, для литературы хорошо: к перу человека толкает что угодно, только не корысть. Прежде чем думать о профессионализме, шведский литератор выпускает три, пять, десять книг — ждет читательского успеха. А он может и не прийти.

Впрочем, писателей существенно поддерживает государство. Некоторые получают стипендию. Другие регулярно выступают перед школьниками, и оплачивается это хорошо: десять встреч в классной комнате или пять в актовом зале вполне обеспечивают месячный прожиточный минимум. Швеция умеет считать деньги, но на этом не экономит.

По двум причинам.

Первая — дети. Трудно переоценить тот эмоциональный и интеллектуальный толчок, который может дать развитию подростка встреча с живым писателем. Вторая — литература. При всех условиях она необходима, ведь, растеряв литературу, народ потеряет себя, растворится в других культурах, станет в человечестве чем-то вроде подкидыша...

* * *

В Швеции хорошие зарплаты и большие налоги — в государственную казну уходит от тридцати до восьмидесяти (у тех, кто побогаче) процентов заработка. В среднем шведы тратят на общественные нужды половину своих доходов.

На что же идут эти немалые средства?

На школы и университеты. На больницы. На прекрасно оборудованные дома для инвалидов и престарелых. На театры — помимо стационарных коллективов, в стране около шестидесяти так называемых «свободных театров», передвижных трупп, в основном, молодежных, которые дают представления в маленьких городках и деревнях, компенсируя дефицит средств изобретательностью и энтузиазмом; около трети их расходов также оплачивается за счет налогоплательщика. На Гетеборгскую картинную галерею, бесплатную для посетителей, великолепную по подбору работ своих и зарубежных художников. На музей в небольшом городе Удвала, современный, из стекла и дерева, с интереснейшим этнографическим отделом и уютным залом для дискуссий. На пенсии. На пособия матерям. А также на множество иных социальных программ, в той или иной мере необходимых всему обществу.

От разных шведов я слышал одну и ту же (с небольшими вариантами) фразу: «Я плачу большие налоги, но знаю, на что они идут».

* * *

Мне очень понравилось, как легко и охотно шведы завязывают дружбу с иноземцами. Познакомившись, зовут не в кафе, а домой. Собирают компанию друзей-приятелей. Оказывают помощь во всех практических делах и просто берут под опеку — все как у нас, в России.

В нашей сложной современности случается всякое: страны вступают то в союзы, то в войны, то предлагают содействие, то объявляют блокаду. Вроде бы все ратуют за мир, а тем временем все больше ракет зарывается в землю, все больше скапливается ядерных бомб,— грибовидное облако Хиросимы словно бы все еще висит над беззащитной планетой...

Много ли зависит в этой опасной игре от каждого из нас? Говорят и пишут, что много. А в реальности?

Мне кажется, что когда человек завязывает дружбу с иноземцем, он, осознанно или неосознанно, ведет свою личную борьбу за мир. При этом он берет на себя немалые нравственные обязательства, ведь в случае чего легко ли, даже по приказу, поднять руку на город, где живет твой друг? Легко ли хотя бы оставить этот город в беде?

Ловлю себя на том, что теперь ищу в газетах все сообщения из Гетеборга, ведь случись там любая неприятность, она может хоть камешком, да задеть Ларса или Иосту, Кайсу или Яна, Карла-Акселя или Свена. И спокойней жить, когда знаешь, что и в Гетеборге десяток человек помнит и думает об Олеге, об Игоре, о Юрии, обо мне... Частная человеческая дружба — крохотная гирька на огромных весах мировой политики. Но когда весы колеблются...

ФЕВРАЛЬ

Что за художник нарисовал эту страну?

Начало февраля, а травка свежая, гладенькие мостовые мокро блестят, аккуратно подрезанные кусты вдоль тротуара вот-вот брызнут зеленым. По низким холмам — где лесистым, где скалистым — артистично разбросаны аккуратные, чистенькие домики — где из темного, где из светлого, не по-нашему гладкого кирпича. Словно иллюстрация к детской сказочке про трех поросят...

И ведь не Италия, не Франция — Швеция, наш северный сосед, под Мурманском даже чуть-чуть граничим. Но отсюда Мурманск далеко, здесь юг Швеции, юг и запад, и за влажным окном в дневном сером воздухе носятся чайки. Ничего удивительного, Гетеборг — город морской, его климат определяет Гольфстрим, а погоду — теплые ветры Атлантики.

Выхожу на улицу в легкой курточке, в Москве такая как раз годилась бы на апрель. Дождя нет, но он как бы и есть, растворен в воздухе, висит, не падая. А я иду и думаю: отчего это настроение само собой повышается?

Понять можно: настроение повышается потому, что много информации. Попросту — интересно глазеть по сторонам. Каждый домик особенный, каждый переулочек единственный, каждая лестница, взбегающая в горку, похожа только на саму себя. Этот район архитектор-троечник по линейке не чертил...

...Чисто, зелено, аккуратно, ни окурка, ни смятой газеты. Влажные улицы пусты. Может, и не живет тут никто?

И вдруг — волна тепла по сердцу. Возле дома с красивыми витринными окнами два столбика и веревка. А на ней, в сырости, в растворенном дожде — застиранный шерстяной носок. Один-одинешенек.

Шведы, родные мои! Братья, соседи, земляки по планете. Надо же...

* * *

Сейчас, после трех поездок в Швецию, я пытаюсь вспомнить хоть один уродливый, зрительно загаженный ландшафт. Нет — не вспоминается. Заводов, верфей, нефтехранилищ здесь немало, но они знают свое место, и даже размерами, как правило, относительно скромными, не подавляют окружающую среду. Ни обшарпанных заборов, окружающих огромные территории, ни импровизированных свалок здесь нет. Человек словно бы признает первенство природы и входит в нее, как индиец в храм, оставляя обувь на коврике у двери.

А природа Швеции своеобразна, разнообразна и просто поразительно красива. Мощные скалы побережья; каменистые холмы; бесчисленные острова; бесчисленные озера; чистые зеленые поля; чистые зеленые, только темнее леса; северное небо, успевающее порадовать за день всеми оттенками серого...

Шведы ценят свои ландшафты и запрещают, например, строить здания, закрывающие от глаза вершины холмов. Один из приятелей показал как-то летний дом, принадлежащий одному из влиятельнейших людей страны. Дом относительно небольшой, три окна по фасаду, полтора этажа — глава знаменитой фирмы мог бы устроиться и пошикарней.

— Здесь нельзя строить новое,— объяснил приятель,— можно только купить то, что есть. Это обошлось недешево, миллионов, наверное, в пять.

— Такой домик? — не поверил я.— Да за что?

— Не за домик,— сказал приятель,— за вид.

Вид действительно был фантастический. Дом стоял одиноко, на скалистом мысу рядом с маяком. Впереди — море с китовыми спинами скалистых островов. Справа — море и угрюмо-зеленый берег на горизонте. Слева — неширокий пролив, а за ним — выбеленные скалы, дубовый лес, веселенькие старинные домики соседнего острова. И плюс ко всему с рассвета до заката бесшумное скольжение по морю и проливу современных вызывающе-красивых пластиковых парусов...

Да, такой вид стоит немалых денег.

Он, кстати, и приносит немалые деньги — десятки тысяч туристов, заполняющих окрестные поселки, ежегодно платят их за радость, шагнув за порог, увидеть в конце улицы вертикальную полоску моря, горизонтальную полоску дальнего острова и белый лоскуток проплывающей яхты.

* * *

В чужой стране затруднения возникают самые неожиданные.

Сидим, читаем, каждый свое. Приятель поднимается.

— Есть хочешь?

Автоматически отвечаю:

— Вообще-то, не очень.

Он уходит в кухню один.

Минуты через три испуганно возвращается:

— Ох, я совсем забыл, ведь в твоей стране надо спрашивать трижды!

Смеемся, вместе садимся за стол. Приятель объясняет:

— У нас предлагать второй раз считается неприличным — если гость отказывается, значит, ему не нравится еда.— Подумав, добавляет: — Имей в виду, в Америке вообще ничего не предложат. Хочешь есть — бери все, что есть на столе, или открывай холодильник и доставай по вкусу.

Почему, в самом деле, такая разница в обычаях? Наверное, причина в том, что предки наши слишком уж часто голодали. Вот и боялся гость ненароком объесть вежливого хозяина — вдруг предложенный тебе кусок последний. А в сытой Швеции наоборот — хозяин боится впихнуть в вежливого гостя нежеланный кусок...

Пожалуй, вообще ни в одной стране я не встретил плохого обычая. Такие, что не годятся нам, конечно, были, но раз на своей земле, в своем народе выжили и укрепились, значит, хоть чем-нибудь, да хороши.

* * *

Зашли с другом в книжный магазин. В глаза бросился альбом политических карикатур, в общем, довольно безобидных: художник нейтральной страны, где лишь из газет знают о братских могилах и цинковых гробах, может себе позволить благодушно подшучивать над властными мира сего. Всем нашлось место — и Рейган есть, и Тэтчер, и Миттеран, и, конечно, собственный лидер. А на самом видном месте, на обложке — Горбачев, выливающий на землю водку. Не знаю, можно ли сказать, что это большая честь, но свидетельство популярности — это уж точно.

* * *

Шведы платят большие налоги, но существует много способов ускользнуть от налогового инспектора.

Популярный писатель — глава фирмы. С персоналом живет в ладу, ибо единственный его подчиненный — молчаливая покладистая жена. Переводчик с русского — тоже бизнесмен, владелец фирмы по переводу с русского. Фирма с крупными монополиями не соперничает, состав не позволяет: и тут он да жена. В третьей фирме социальные бури внутреннего порядка вообще исключены, полное единство труда и капитала, поскольку литератор холост.

В о п р о с: а зачем им эта игра?

О т в е т: эта игра полезна и выгодна.

В каждом случае фирма закупает оборудование, то есть компьютер с дисплеем, ксерокс, автомобиль, телевизор, магнитофон и так далее — все это из налога исключается. Телефонные разговоры со всем белым светом тоже, как и сам телефон,— это ведь не частное лицо точит лясы с приятелями, это фирмач совещается с клиентами. И мебель закупает компания.

Ну, а благотворительность? Сколько же денег перехватывает у казны она! Кто жертвует на больницу, кто на театр, кто строит картинную галерею своего имени, кто оплачивает турне рок-группы по отдаленной стране, кто, наоборот, приглашает поэтов из отдаленных стран на фестиваль в свою собственную...

Ладно, почему частные граждане норовят обыграть министра финансов в подкидного,— это понятно. Ну, а государство? Оно-то почему не наложит когтистую лапу на уплывающие дивиденды? Может, денег избыток?

Нет, ни одному государству деньги лишними не бывают. Но существуют разные способы их добывать. Можно зарезать корову и продать мясо. Можно из года в год продавать молоко. Шведское государство явно предпочитвет молоко. Мне кажется, в накладе оно не остается.

Здешняя налоговая система направлена не столько на то, чтобы деньги отнять, сколько на то, чтобы заставить их потратить. А что это значит — потратить? Значит — увеличить спрос, оживить рынок, стимулировать производство. Значит — укрепить и расширить деловые, культурные, научные связи. Значит — поднять в мире престиж страны. А это всегда окупается.

Возьму крайний пример — радушные хозяева тащат нас с другом в ночной ресторан. Зовут друзей, знакомых — длинного стола едва хватает. Меню на пяти языках, цены такие, что хочется заказать бутылку минеральной воды. Шведы ухмыляются: не бойтесь, берите больше, государство заплатит. После ужина сразу несколько авторучек тянутся подписать счет — расходы фирмы налогом не облагаются. Ура — нагрели родное правительство!

Но давайте спокойно разберемся.

Мы с другом действительно клиенты фирмы или как уж там называть: меня издают, с ним ведут переговоры о книге. За столом несколько писателей, издатель, владелец сети книжных магазинов, хозяин крупной типографии, продюссер телевизионных и радиопрограмм. Разговоры, конечно, застольные, мы же развлекаемся — но куда деться от того, что волнует? Мы интересуемся их издательской и книготорговой системой, они — нашей. Между шутками и байками выясняем, в чем трудность взаимных переводов и совместных изданий, и сообща кумекаем, как эту трудность преодолеть,— все эксперты под рукой, и спираль дискуссии быстро карабкается вверх. Хозяин типографии недоумевает: он купил пару вполне современных чехословацких типографских машин — почему бы нашим печатникам не купить такие же и не брать валютные заказы хоть бы и у него? Мы с другом люди не шибко деловые, но в московском издательском мире приятели есть, так что, Хокан, приезжай, познакомим, авось, что путное и выйдет...

Велика ли цена застольным договоренностям. Наверное, не очень. И все-таки они надежней, чем чиновничьи планы, ибо подкреплены личными отношениями: подвести приятеля считается неприличным не только у нас, но и у них. И какая-то книга все-таки выйдет, и какой-то заказ будет дан и выполнен, культурно-хозяйственно-финансовая машина сделает лишний оборот, и счет за ужин, миновавший налоговое ведомство, при окончательных расчетах будет весить не больше, чем листок, прилипший к капоту грузовика...

Что касается трат на благие творения, тут вообще разговор особый.

У нас же привыкли к иному: все деньги, что отдаем мы, работающие, на культуру, ссыпаются в общий котел, а уж там государство смотрит, куда, кому и на что дать. Так сказать, блюдет общенародные интересы. Но можно ли верить чиновнику, который стоит у котла с черпаком и от общего имени решает, кого кормить, а кого посадить на диету? Нет, потому что это он оплачивает нашими деньгами книги, которые никто не читает, музеи, в которые никто не ходит, театры, которым самое время начать новую жизнь, и картины, которые потом сжигают во дворах запасников. Чиновник дает всем помаленьку, а кто скандальней требует и щедрее благодарит, тем побольше. Денег ему особо не жалко — он же их не заработал.

А вот благотворитель куда осмотрительней, потому что каждая его денежка собственным потом пахнет. Случайно ли братья Третьяковы собрали столь первоклассную коллекцию, а сменившие их чиновники, уже в нашу эпоху, не скупясь, платили за портреты властвующих особ? Случайно ли Савва Морозов, наш знаменитый и несчастный меценат, дал деньги на театр именно Станиславскому, в ту пору безвестному? Случайно ли другой меценат, полунищий художник Бурлюк, выдавал полтинник в день на прокорм не кому-нибудь, а именно Маяковскому? Не случайно. Свои давали, свои, а не казенные.

...Стоп! Какие Третьяковы, какой Маяковский? Я же про Швецию.

Да не про Швецию я — про наших кооперативщиков, которых финансовый чиновник просто мечтает вздернуть на налоговую виселицу. Чиновнику приятнее зарезать и хоть в убыток, но торгануть мясом. Но обществу-то выгоднее молоко. Не надо грабить и унижать хорошего работника — надо дать ему возможность поднимать самоуважение и престиж, разумно, расчетливо и радостно тратя заработанное на доброе и вечное.

* * *

Со шведами очень трудно говорить о политике.

Они порядочны, демократичны, в любой ситуации ищут, прежде всего, законность и справедливость, принципы для них важнее конкретных обстоятельств. Для шведов абстрактны и концлагеря, и газовые печи, и виселицы на площадях, и рвы, забитые трупами, и ночные фургоны с решетками, и суды без адвокатов, где все всё признают. Они считают, что и ягненок, и волк должны соблюдать международное право, а если волк ненароком ягненка съест, то поступит нехорошо.

Шок от убийства Уве Пальме не прошел в стране до сих пор. Не только от того, что преступник так и не отыскан, но, прежде всего, потому, что для гибельных выстрелов не найдено никаких разумных причин. У шведов не было ни Освенцима, ни Колымы, ни Вьетнама, и они убеждены, что для убийства человека непременно нужны серьезные основания...

* * *

На улицах шведских городов много детей и подростков темнокожих, с миндалевидными и раскосыми глазами. Это не гости страны. В разных концах света по разным поводам постоянно убивают людей, и нацеленные на добро шведские семьи усыновляют азиатских, африканских, латино-американских детей. Нередко в одном доме живут братьями ребятишки и с льняными, и с курчавыми, и с колюче-черными волосами.

Говорят, в Швеции есть и национализм. Но отвращение к национализму во много раз сильнее, и проявляется оно не только в словах, но и в таких вот однозначных, предельно обязывающих поступках.

За одно это шведов нельзя не любить.

ИЮЛЬ

Опять Швеция, западный берег, Марштранд, тепло, гуляем по маленькой набережной.

В нешироком проливе (паром одолевает его минут за пять), среди двухсот, или трехсот, или пятисот лодок и яхт, теснящихся у причалов, выделяется один парусник — и величиной, и красотой, местом стоянки в самом центре набережной, причем, не носом к берегу, как прочие, а вольготно, бортом.

На берегу, напротив высокого белого борта, довольно большая для маленького острова толпа — человек полтораста, а то и двести. Стоят и слушают, что по очереди вещают с борта молодые люди разных цветов и оттенков кожи.

Тереблю Ларса Хесслинда, руководителя писательской школы, за рукав:

— Что это?

— О, это тебе будет интересно. Пойдем, я тебя с ним познакомлю.

Спросить, с кем, уже не успеваю, мы перебираемся на борт, а навстречу нам быстро идет худощавый седой человек в белой куртке и капитанской кепочке, похожей сразу и на форменную, и на детскую.

— Это Таррен,— говорит Ларс.

— А по профессии кто?

— Священник,— отвечает Ларс.

— А яхта чья?

— А яхта — его церковь. Плавучая церковь. Он сюда часто приплывает.

М-да... Красивее церкви я видал, но своеобразнее вряд ли.

Видимо, лицо у меня выразительное. Ларс останавливает человека в капитанской кепочке и что-то говорит. Тот охотно отвечает, тоже по-шведски. А я вникаю а английский перевод.

Таррен — прозвище, священника странной церкви зовут Леннарт Абрахамссон. Он из весьма состоятельной, скорей даже богатой семьи. Молодость провел бурную и неразумную, бражничал столь энергично, что на прочую деятельность уже ни времени, ни сил не оставалось. Все дела, естественно, валились, деньги кончались, судьба, подмытая спиртным, готова была непоправимо обрушиться. Но это не произошло — где-то возле тридцати Таррен в ужасе остановился.

Сам он определяет это так: пришел к Богу. Атеист сказал бы проще — совесть проснулась, одумался, очухался, спохватился. Но при разных формулировках суть одна: Таррен бросил пить, вернулся к делам, и они пошли так успешно, что вскоре у Абрахамссона оказалось достаточно свободных денег. Потратил он их вот как: купил небольшую, очень старую яхту, назвал ее «Элидой» и в свободное время стал на ней плавать вдоль берега, проповедуя Слово Божье.

Года через четыре доходы позволили завести яхту попрочнее и побольше — «Элиду II». Ну, а теперешняя «Элида IV» — самая большая, сильная и красивая: длина тридцать три метра, водоизмещение двести тонн, площадь парусов пятьсот квадратных метров, мощность двигателя триста тридцать киловатт.

«Элида» вовсе не похожа на плавучую кафедру — уж скорее на молодежный клуб. Каждое лето около тысячи молодых людей, сменяя друг друга, плавают на красивом паруснике. Что их привлекает — псалмы, библейские тексты или же море, белые паруса, птичье паренье яхты, романтический ветер дальних странствий? Не знаю и гадать не возьмусь...

А странствия у «Элиды» порой действительно дальние. Даже в Индию ходит — там у Таррена, как у нас выразились бы, подшефный детский дом.

Ну, а симпатичная разноликая компания на борту — они кто? Шестеро — дети Таррена от двух его жен (вторая из Индии, отсюда и смуглота младших девушек), еще десять-пятнадцать — то, что мы назвали бы активом, а как именуют подобное содружество шведы, выяснить не удалось. В свои семнадцать, или двадцать, или двадцать пять эти парни и девушки уже бывалые мореходы, и какие только волны не обдавали брызгами их светлые и темные волосы, пока еще завидно одноцветные, без намека на седину.

«Брат мой»,— обратился ко мне Таррен. А я мог его так назвать? Да нет, наверное, не назвал бы, просто в голову бы не пришло. Да и язык бы не сработал.

А почему, собственно? Ведь хороший человек, удивительно доброжелательный. И душа щедрая. И деньги, вон, вложил не в роскошный дворец, не в какую-нибудь там оружейную фабрику, а в белую яхту, на которой живет вместе с ним и развозит по всем берегам слово мира и добра открытая, приветливая, увлеченная молодежь.

Ну, а если бы яхта называлась... ну, допустим, агиткорабль и развозила по белу свету самодеятельность — тогда был бы Таррен мой брат?

Ого! Еще какой брат!

Так откуда же во мне эта дебильная настороженность? Потому, что не худрук агитбригады, а священник?

Странно — столько лет живу, а ни разу не задумался, в чем же кардинальная разница между мной, атеистом, и верующим человеком.

А в самом деле, в чем?

Религиозный фанатизм, конечно, отвратителен. Ну, а атеисты — они фанатиками не бывают? До сих пор по стране полуразрушенные церкви — памятники атеистического фанатизма.

Таррен, темный человек, считает, что мир создал Бог. У меня, просвещенного, есть возможность выбрать любую из тысячи научных гипотез. Кто из нас прав, боюсь, даже правнуки не узнают. Так

достаточный ли это повод, чтобы относиться друг к другу с подозрением и неприязнью?

Я желаю человечеству добра. Но ведь и он хочет того же. И призываем, в общем, к одному и тому же: не убить, не украсть, а если жизнь позволит, то и не солгать. Оба уверены, что мир спасет разве что любовь, а вражда только разрушает.

Таррен наивно полагает, что человека создали. Я научно верю, что он произошел.

Я привык молча гордиться широтой своих взглядов, умением понять мыслящего иначе. Неужели гетеборгский священник терпимей и доброжелательней меня?..

На прощание мы вновь обнимаемся, мой брат Таррен что-то говорит по-шведски, я по-английски желаю ему удачи. Но, оказывается, на незнакомом языке звучали не просто абстрактно-добрые слова.

Ларс объясняет:

— Таррен сказал, сейчас они будут петь для вас.

Вот уж негаданный подарок! Вот уж незаслуженная честь! (Сколько народу на набережной, а песня будет для двоих, для нас с Георгием...)

А дальше зрелище, одно из самых прекрасных в моей жизни: парусник отходит от берега. Парни и девушки на борту расторопно и слаженно заняли нужные места, крупная яхта развернулась в проливе с поразившей меня быстротой, на палубе вдруг возникло что-то вроде электронного клавесина, один из парней простер пальцы над клавишами, а девушка, лицом к берегу, к нам, запела. Что за инструмент, не знаю, но если звук способен стать серебряным, это был тот самый случай. А голос... Впрочем, пересказывать музыку — дело глубоко безнадежное. Одно могу сказать со всей искренностью: песня была в полном смысле слова божественная, такая, что хотелось верить и в добро, и в справедливость, и даже в вечную жизнь. Пелось по-шведски, текст я, конечно, не понимал. Но мелодия была знакома, и я про себя невольно подставлял под музыкальные серебряные строчки слышанные прежде и хорошо помнившиеся слова:

Однозвучно звенит колокольчик,
И дорога пылится слегка...

* * *

Марштранд, модный курорт, может быть, самый дорогой на побережье, расположен на острове. Остров, скалистый и довольно зеленый, невелик — за час его можно обойти по берегу. Домики в два-три этажа, почти все деревянные, не слишком комфортабельные, летом забиты отдыхающими. Улочки, корявые и узкие, где замощены булыжником, где тесаным камнем, где просто усыпаны гравием. От Гетеборга километров сорок, но добираться не слишком удобно, два парома связывают разорванные проливами обрывки шоссе. Ресторанчиков довольно много, но все они старомодны, простоваты, без современных поражающих изысканностей — поражают разве что цены. Лет сто назад островок выбрал для летнего отдыха король Оскар Второй, а где король, там и знать, там и прихлебатели, там и снобы — естественно, там и цены.

Но времена того монарха давно миновали: теперь-то за что платят курортники?

За то и платят — за ветшающее дерево домика, за корявость улочек, за старомодность, простоватость, за малолюдность, за играющий по вечерам в беседке оркестрик, за позеленевший бюст Оскара Второго с голубем на макушке, за булыжник и тесаный камень, за возможность в конце двадцатого века подышать спокойным и свежим воздухом девятнадцатого.

Городок живет своей жизнью, кормит отдыхающих, варит кофе, раскладывает по вафельным рожкам разноцветное нежирное мороженое, торгует всякой пляжно-купальной всячиной, но одновременно решает и некую культурно-историческую задачу: он не только курорт, но и как бы музей. Его старые дома стоят очень дорого, потому что новые строить запрещено. Права домовладельцев ограничены: их собственные обиталища нельзя не только перестраивать, но даже перекрашивать в другой цвет. Пролив у берега забит лодками и яхтами — сотни туристов на них и живут — а вот машин на острове практически нет, в неделю встретишь два-три раза, не больше. Я думал, и это запрещено всем, кроме заслуживающих. Оказалось, нет, хоть каждый день катайся туда-обратно. Проблема решена не по-нашему, а по-шведски: курортник на двух ногах платит за паром семь с половиной крон, курортник на четырех колесах — триста. Шведы не бедны, но триста крон это почти полцентнера бананов или три пары летних штанов, поэтому Марштранд — остров пешеходов.

Любопытно, что первыми жителями курорта были заключенные,— остров когда-то использовался в качестве места ссылки, природной тюрьмы, вроде нашего Сахалина. Видимо, и в те отдаленные времена закон преступали люди инициативные — первопроходцы Марштранда, колумбы поневоле, обжили поросшие лесом камни и за двести лет превратили место заключения в место отдыха. Учитывая нынешние цены, вполне можно предположить, что если раньше здесь обитали те, кто украл, теперь живут те, кто украл и не попался.

Я вот думаю: почему живы до сих пор лес и скалы Марштранда? Почему не затоптали модный островок несметные

толпы туристов, как затаптывают они каждое лето наши Сочи, Алушту или Ялту, Кижи и Валаам? Почему на каменистом клочке суши, который, по сути, всего-навсего большая скала, все время ощущаешь, что ты человек и не более того, что не ты создал эту землю, и место твое на ней весьма скромное, а время еще поскромней? Короче, кто и каким образом сумел столь надежно защитить этот остроа от меня?

Ну, во-первых, будем объективны, остров неплохо обороняет себя сам. Его голые прибрежные скалы стоят миллионы лет, простоят еще столько же, и ничего с ними не случится. Здешние дубы и сосны низкорослы, корявы, колючи, они растут среди расщелин, голыми руками их не возьмешь. Но ведь и рябина цела, и ежевика, и даже малина — ягоды спокойно набирают полноценный цвет...

Люди помогают острову. Прежде всего, тем, что учитывают пропускную способность природы. Что больше курортных коек, чем есть, здесь не будет ни через год, ни через пять. Даже цены служат определенной защитой — в другом месте можно купить того же качества отпуск дешевле.

Помогают и иным способом.

Вот я, свернув с тропы, лезу на скалы, карабкаюсь вверх, прыгаю через трещины в граните. Вроде, не туда полез — впереди обрыв. И вдруг замечаю, что через провал мостиком проложена бетонная, цветом в гранит, плита. Выходит, это мне казалось, что вольно скачу по диким камням — а шел по тропинке, почти не различимой, лишь в необходимом месте облагороженной. Такие же тропинки пересекают остроа в тех местах, где удобней всего пешеходу и не слишком накладно природе.

И еще помогает традиция.

Нас с другом позвали на вечеринку, вернее, пикник — слово дурацкое, но заменить его нечем. Едем на какой-то остров компанией в двадцать человек.

Около семи встречаемся на пристани, и большая рыбацкая лодка, оснащенная новейшим оборудованием, как реактивный самолет (радар, эхолот, еще что-то электронное), везет нас на остров. Он совсем мал, пяти минут хватит пройти из конца в конец. Ни деревца — скалы, слабая травка да стланник. Для пикника мы оснащены вполне соаременно, как та лодка: тарелки, стаканчики и даже ножи из пластика, пиво в банках, копченая макрель — все это в трех прозрачных мешках. Едим, пьем, слушаем песни под гитару.

Пикники на острове бывают регулярно, но мусора не видно — шторма работают?

Но вот пикник окончен, идем к лодке. И все отходы — до пустой банки, до смятого стаканчика, до рыбьей косточки — уносим в тех же трех мешках.

Нет, не море заботится о чистоте...

Швеция — просторная страна. Но Россия неизмеримо огромней. Всего хватает: и лесов, и воды, и островов — где наш Марштранд?

* * *

Прочитал в тонком журнале доброжелательный и толковый очерк про Швецию. Но, в частности, написано там и такое: шведы, люди замкнутые, домой никого не зовут, если надо встретиться, встречаются в кафе.

То ли шведы разные, то ли мне везло, но все было наоборот: охотно и радостно тащили в гости, не жалея времени показывали город и загород, возили на дачу. Бригит с Хоканом километров за тридцать приплыли со своего острова на катере, чтобы увезти на обед. Улла на машине отмахала туда и назад чуть не двести километров, чтобы позвать на субботу и воскресенье к себе в деревню, а ведь не богачка, далеко не богачка, одна с двумя детьми, вечно без денег, зарабатывает по школам, читая смешные рассказы в клоунском балахоне с приклеенным носом и пестрым зонтиком. Словом, как у нас в Тбилиси или Саратоае, разве что за столом песен не поют и крику меньше. Чопорности никакой, шутку любят и ценят, с готовностью хохочут — открытый, добрый народ.

Откуда же представление о замкнутости шведов? Наверное, все просто: чтобы страна открылась, надо иметь хоть одного друга. А там уже станут передавать по цепочке — как у нас, как у нас...

Поначалу шведы казались мне некрасивыми — грубые лица, жесткие волосы, тяжелые тела. Теперь в тех же людях вижу иное — спокойствие, основательность и крепкое здоровье, так необходимое в северной стране, где камня, наверное, больше, чем земли.

Из шести континентов я ездил только по двум, и прекрасную формулу, что все люди братья, принимаю на веру. Но что шведы нам братья, убедился на своем опыте.

Как же все-таки нелепо, что наша планета разгорожена границами, как зоопарк решетками...

* * *

В Швеции я не видел ни одного плаката, призывающего соблюдать чистоту. Зато очень много урн и мусоросборников.

Кстати, мусорщик здесь — профессия чистая, ни грязи, ни запаха. Паренек на мототележке подъезжает к металлической плетеной корзинке, вынимает уже набитый всякой всячиной бумажный мешок и вставляет новый. С огромными контейнерами для мусора происходит, примерно, то же самое: приезжает машина с краном, ставит на землю пустой железный ящик, а набитый мусором тем же крюком поднимает на хребет. У нас же все емкости почему-то опорожняют в кузов на месте, кое-что при этом теряя — в результате следы титанической борьбы за чистоту видишь метров на пять вокруг, а чуешь за полквартала.

* * *

Прямо под нашим окном небольшая площадь, посыпанная гравием. Посередке — огромное дерево, самое толстое и самое старое на острове — серебристый тополь, посаженный, если верить латунной табличке, сто двадцать лет назад.

Чуть не каждая компания или семья, проходя мимо, читает табличку, а потом пытается сообща обхватить руками громадный ствол. Видеть это приятно, потому что мои любознательные соотечественники сделали бы то же самое.

* * *

На шведских пляжах женская грудь полностью равноправна с мужской — так же открыта нежаркому северному солнцу. Хорошо это или плохо? Через час-другой сам вопрос перестает возникать. Когда-то в цивилизованных странах договорились считать, что женская грудь, в отличие от благородной мужской, выглядит непристойно. Шведские женщины (впрочем, не только шведские) подвергли этот постулат сомнению. И ничего не случилось, оказалось, можно и так. В малолюдных местах купальщицы поступают еще радикальней, подставляя солнцу всю без исключения кожу, и это не эпатаж, не протест и не высшая ступень женской эмансипации, а объяснимое желание северянок взять побольше от столь короткого и неустойчивого лета.

У каждого народа свои традиции и свои новшества. Ну, а это — к добру оно или к худу? Жизнь покажет, поколения через три, может, и определится.

Должен сказать, никакого кризиса нравов в связи с пляжной откровенностью я не заметил: к нагому телу шведы относятся по-детски спокойно, как Адам и Ева до грехопадения.

* * *

Обычный вопрос: как живут шведы? Кратко ответить легко — хорошо живут, богато, жизненный уровень высок, и это будет чистая правда. Но краткий ответ мало кого устроит, людей интересуют подробности: ведь под словом «хорошо» можно понимать все, что угодно. А вот к подробному рассказу даже не знаю, как приступить,— сразу начинаются трудности.

Ну как, например, объяснить, что женщина, у которой большая квартира, летний шестикомнатный дом и серебристый «вольво», сама печет хлеб, потому что это дешевле? Что далеко не бедный владелец городского дома и фермы с четырьмя гектарами земли и предпочитает покупать вещи во время распродажи? Жена известного переводчика, работающая вместе с мужем, сказала мне как-то: «Мы зарабатываем много, можем хоть завтра поехать отдыхать на Майорку, деньги позволяют, но мы ни разу там не были, нет времени, все время срочные заказы»...

Можно сказать, что шведы живут напряженно,— и это тоже будет чистая правда.

В Швеции я не раз слышал определения, весьма популярные у наших международников: «низкооплачиваемые», «средний класс», «высокооплачиваемые». В наших газетах они вызывали только раздражение, ибо будучи вполне точными, здорово отдавали враньем: очень хотелось знать, как конкретно соотносится тамошний низкооплачиваемый с тамошним высокооплачиваемым, а еще больше — со мной самим, с моим соседом инженером Володей и его женой чертежницей Надей.

Знакомый газетчик из Гетеборга, для простоты слегка округлив цифры, дал достаточно четкие объяснения. Меньше 10 тысяч крон в месяц — низкооплачиваемые, до 15 — средний класс, до 20 — выше среднего, сверх 20 — высокооплачиваемые, тот самый загадочный «высший класс», который, по моим прежним представлениям, располагался в непосредственной близости к Рокфеллерам и Дюпонам.

Что такое крона? По нашему официальному курсу крона стоит десять копеек. Но официальные курсы — они для людей официальных. А мы люди простые, нам скажи, что почем, а уж там сориентируемся сами. Так вот для ориентировки несколько цен на выбор.

Хлеб очень вкусный и разнообразный — от 15 до 35 крон за кило. Масло и сыр — около шестидесяти. Вареная колбаса — пятьдесят. Мясо (в последний раз уточняю, что хорошее, плохих продуктов я в Швеции не встречал) — крон семьдесят — восемьдесят. Молоко — пять крон литр.

Отсюда, кстати, можно сделать безошибочный вывод, что печеным хлебом в Швеции скот не кормят.

Килограмм бананов в июле — 8 крон, персики и апельсины — 10 крон, мандарины и яблоки — 12, клубника — 30, черешня — 50, помидоры — 20, капуста — 8, картошка — 4 кроны.

Жилье дорого, за аренду квартиры из четырех-пяти комнат уходит до трети зарплаты. А покупать такую — надо выложить чуть ли не полмиллиона, это и для высокооплачиваемых проблема. Вообще же шведы предпочитают собственные домики, которые, как правило, очень удобно

спланированы и органично вписаны в природу,— они, примерно, в цене тех же размеров квартир.

Машин много, разного уровня и вместимости. За нашу «Ладу» берут по-божески, тысяч сорок с чем-нибудь, за их «вольво» — сто, а то и больше. Средняя новая машина — тысяч восемьдесят — девяносто. Подержанные — те на порядок дешевле, любители приключений и стиля «ретро» могут купить старый автомобиль за три-четыре тысячи и ездить на нем, пока не развалится.

Средних размеров лодка с мотором без претензий и каютой, где можно выспаться двоим, стоит, как машина, импортная яхта с высокой мачтой и мощным двигателем — как собственный дом.

Книга — по сути, предмет роскоши: толстый роман в твердой обложке стоит крон двести, как женские сапоги в дешевом магазине. Поэтому интеллигентные шведы стараются пополнять свои библиотеки на распродажах, где книги уценяются порой в четыре-пять раз.

* * *

Жизненный уровень, бесспорно, высок, и это очень хорошо. Но высок и жизненный стандарт. Раньше я думал, что это, в общем, одно и то же. Оказалось — нет. Уровень — это как мы живем. Стандарт — это как общественное незримое давление вынуждает нас жить.

Скажем, в стандарт советского городского молодого человека входят модные штаны и магнитофоны, в стандарт деревенского — мотоцикл. Тридцатилетнему научному работнику положено думать о кандидатской степени, сорокалетнему — о докторской. Иметь все это, конечно же, необязательно, но пятидесятилетний кандидат наук уже вынужден объяснить знакомым, что для настоящего ученого важна не степень, а работа — доктору же ничего не приходится объяснять.

Так вот высокий и все растущий жизненный стандарт заставляет шведов напряженно работать, даже если крайней необходимости для этого нет. Они вовсе не скупы, но деньги считают. От возможности дополнительного заработка, как правило, никто не отказывается, наверное, меняющийся стандарт переводит в разряд нужных все новые предметы: то телевизор с громадным экраном, то видеомагнитофон, то холодильник под потолок, то мебель новых кондиций, то еще что-нибудь, еще вчера необязательное. Подгоняет и инфляция: скажем, покупать квартиру или летний дом всегда лучше сегодня, а не потом, потому что потом обойдется вдвое.

Кстати, и отдыхают шведы концентрированно, успевая за отпуск и попутешествовать, и позагорать на прибрежных скалах, и побегать по лесу для здоровья, и погонять на яхте или моторке вокруг многочисленных островов. Доминошников здесь я не видел, картежников лишь однажды: все в движении, словно и на отдыхе время — деньги. Шведы не суетливы, скорей флегматичны — но одалживать у южных народов целеустремленность необходимости нет.

Может показаться, что разница между низко- и высокооплачиваемыми не так уж велика — всего в два, ну, три раза. На самом деле она огромна.

Десяти тысяч в месяц как раз хватает на все необходимое, по шведским, разумеется, стандартам: жилье, питание, одежда, место отдыха, машина (не роскошь, а средство передвижения). А вот вторые десять тысяч, у кого они есть, идут на необязательное, но столь приятное — путешествия, книги, театр, отдых на дорогих курортах, дачи, которые хочется назвать летними резиденциями, комфортабельные яхты или лодки, на которых можно плавать всей семьей...

Не случайно в большинстве шведских семей работают двое: одна зарплата обеспечивает нормальное существование, другая идет на хорошую жизнь. Важно и то, что деньги быстро и без хлопот могут быть превращены в реальные жизненные ценности: магазины завалены товарами в любую цену и на любой вкус. Парадокс, но у наших семейных женщин больше оснований не работать: у нас сплошь и рядом лучше живет не тот, кто зарабатывает больше денег, а тот, у кого есть время постоять в очередях...

Я пишу обо всем этом не для того, чтобы завистливо вздохнуть — живут же люди! — а чтобы напомнить: за все приходится платить, высокий жизненный уровень не для ленивых.

Москвичка, вышедшая замуж за шведа, рассказала мне о нашем эмигранте, начинающем поэте, который дома работал то ли вахтером, то ли лифтером: денег мало, зато служба позволяла в рабочее время заниматься тем, что по душе. Парень просил и в Стокгольме устроить его на подобную должность. Пришлось объяснить ему, что в Швеции таких рабочих мест просто нет: если ты швейцар, то весь день открываешь двери, а если достаточно сидеть у входа на стульчике, то такую должность немедленно упразднят.

* * *

Как шведы относятся к нам?

В общем-то, хорошо, с интересом и искренней симпатией. Особенно радует, что произошел поворот у интеллигенции, очень здесь влиятельной, как, впрочем, и везде. Говорят о нашей перестройке с таким пониманием и сочувствием, что порой становится стыдно — я-то что знаю, например, о проблемах их парламента? Приходилось разговаривать и с теми, кого еще несколько лет назад называли оголтелыми антисоветчиками. И стало совсем уж ясно то, о чем можно было догадаться и раньше: многие из них никакие не антисоветчики, просто честные люди, привыкшие говорить то, что думают. Ведь только полный дебил может требовать, чтобы элементарно информированный человек и ввод войск в Афганистан и вывод их оттуда воспринимал с одинаковым энтузиазмом.

Да, у нас резко прибавилось друзей и болельщиков. Порой приходилось сдерживать их оптимизм. Как-то в компании сосед по столу, владелец крупной типографии, стал мне восторженно объяснять, в какой замечательной стране я живу.

— Ведь у вас никогда не заходит солнце!

— Ну да,— говорю,— не заходит. Зато у нас за мясом очереди.

— Через три года у вас будет мяса больше всех на земле.

— Не будет, не успеем.

— Ну, через пять.

— И через пять не получится.

Но сосед стоял на своем, как докладчик от райкома,— будет, и все.

— Да почему,— говорю,— ты так уверен?

— Потому, что у вас никогда не заходит солнце!

При этом, не стану скрывать, шведы нас побаиваются. От страха не дрожат, но опасаются. Я пытался дознаться: почему, — вроде даже в плохие времена особых поводов не давали. Самое логичное объяснение было такое: «В Норвегии стоят войска НАТО, и мы боимся, что в случае конфликта русские танки прямиком через Швецию пойдут на Норвегию». Я спросил — а почему вы не боитесь, что в случае конфликта натовские танки прямиком через Швецию пойдут на Россию? Собеседника эта параллель сильно озадачила, но по лицу было видно, что и дальше будет ждать угрозы не с норвежской, а с нашей стороны.

Может, дело в подводных лодках, о которых время от времени начинает говорить здешняя, а потом (в ироническом плане) и наша печать? Я человек сугубо штатский, понятия не имею, что было на самом деле и было ли что-нибудь, хотя вполне допускаю, что в ситуации, когда по нейтральным просторам бродят противостоящие друг другу надводные и подводные флоты, любая подлодка, и наша в том числе, может прорезать не только ничейные, но и чужие воды. Но должен сказать, что мои знакомые шведы относятся к таинственным субмаринам скорее с юмором, в духе не их, а нашей печати — мол, военные боятся, что им урежут бюджет, вот и пугают парламент.

Вообще, русские субмарины — излюбленная тема для шуток. Ходит байка, возможно имеющая реальный повод, что сколько-то лет назад наша подлодка прямо поверху залезла на мель, потому что командир был пьян. Но и шведские пограничники были пьяны, поэтому ничего не заметили и о лодке узнали от рыбаков, которым платят не за звания, а за рыбу, поэтому им на работе пить нельзя. Убежден, что мои соотечественники, не сговариваясь со шведами, предложили бы ту же версию международного инцидента, что доказывает духовное родство двух северных народов.

Перед нашим приездом кто-то из здешних литераторов (по крайней мере, нам так рассказывали) позвонил знакомому пограничному начальнику и спросил, не возражает ли тот против появления в тревожной зоне двух русских писателей. Тот якобы ответил: «Двумя русскими больше, двумя меньше — какая разница!» Нам приходилось отшучиваться, и мы просили до нашего отъезда не топить субмарин, иначе на чем же мы доберемся домой...

Да, подводные лодки довольно прочно отошли в сферу юмора. Но налет страха, увы, вполне реален. На чем же он основывается?

Как-то по совсем иному поводу я глянул на карту и все понял. Наша страна так огромна, Швеция по сравнению с нею так мала, что особых оснований для тревоги и не требуется. Так дошкольник, играющий во дворе, с опаской поглядывает на стоящего рядом семиклассника. Вроде, это соседство пока ничем явным не грозит — но мало ли что вдруг взбредет в голову тринадцатилетнему верзиле? Соотношение габаритов таково, что лишняя осторожность не помешает...

Чтобы друг друга не бояться, надо друг друга знать. Чем больше, тем лучше. Тут любые контакты на пользу, культурные прежде всего. Как светлеют шведы, когда мы рассказываем о громадной популярности в Советском Союзе Астрид Линдгрен! Если вдуматься, прославленная сказочница — великий борец за мир: во многих странах, и у нас в том числе, уже выросло несколько поколений детей, которые никогда не захотят обидеть страну Карлсона, который живет на крыше.

* * *

Стереотипы подводят даже в мелочах.

Для большинства туристов деревенская Швеция — страна красных домиков под красной же черепицей. На самом деле шведы живут в светлых, чаще всего белых домах. В темно-красный красят, как правило, только хозяйственные постройки: кладовые, скотные дворы, гаражи, лодочные сараи. А поскольку на каждый жилой дом приходится три-четыре, а то и пять подсобок, с дороги шведская деревня кажется кирпично-красной. Так что балтий-

скую державу вполне можно назвать страной красных сараев.

Кстати «деревня» применительно к Швеции — понятие весьма относительное. Здесь это слово уже не употребляют, потому что практически нет деревень. Или хутора — стайка домиков среди полей, каменистых холмов и рощ, или городки с населением порой в двести-триста человек. Но — городки! С магазинами, гостиницами, аптеками, ресторанчиками — со всем, что положено иметь городу, кроме театров, горкомов и горисполкомов.

* * *

Шведка, живущая в Западной Германии, замужем за немцем, довольно скептически оценивает шансы соотечественников в конкурентной борьбе с чужеземцами:

— Они слишком спокойны, слишком привыкли, чтобы все в жизни было легко. В Швеции даже взрослые книжки печатают крупными буквами...

* * *

Спрашиваю знакомую славистку, недавно целый месяц прожившую в нашей стране:

— Хотела бы поехать еще раз?

Шведы народ вежливый, но прямой. Она и отвечает прямо:

— Нет.

— Сервис?

Это объяснение у нас наиболее ходовое.

Собеседница отвечает неожиданно:

— У вас очень интересно. Но такие грубые люди! Раздраженные, редко улыбаются, кричат друг на друга. Это очень тяжело.

Тут же тянет возразить: как, а наше знаменитое гостеприимство? Уж, кажется, у нас всякий гость, особенно иностранец...

Но молчу. Ведь почему-то возникло у нее это ощущение! Значит, основания есть.

Да, есть. Увы, есть. Конечно, к гостю мы внимательны, как мало кто на планете. Но ведь приезжий человек не круглые сутки гость. В гостинице, в ресторане, магазине, автобусе, просто на улице он обычный постоялец, клиент, покупатель, пассажир, пешеход. Здесь дружеская рука не отводит от него возникающие сложности, здесь он хлебает не из гостевой, а из общей миски. Доброжелательности в экспортном исполнении не бывает — в конечном счете, она одна для всех.

Сервантесу принадлежит мудрейший афоризм: ничто не дается нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Одно из самых горьких и долговременных последствий «административно-командной» эпохи — наше взаимное неуважение, достигающее порой изуверских масштабов. Пока не излечимся от него, трудно будет всерьез говорить и о массовом иностранном туризме, и вообще о резком росте многообразных международных связей.

Сколько же еще лет платить нам тяжкий валютный налог на хамство?

* * *

Чему я в Швеции не завидую?

Не завидую машинам «вольво» — хороши, но в наши дороги, наш сервис, наш быт, наше представление о скорости и комфорте «жигуленок» тринадцатой модели вписывается органичней. Его достоинств вполне хватает, лишь бы подольше не ломался да не гнил.

Не завидую первоклассным дорогам — к ним быстро привыкаешь и перестаешь их замечать, а наши, колдобистые и корявые, забыть о себе не дадут, с ними постоянно общаешься, отчего жизнь становится, может, и не лучше, но уж точно разнообразней.

Не завидую восьмикомнатным домам и шестикомнатным квартирам — экспериментальным путем уже удалось выяснить, что и в двух комнатах, и даже в одной вполне можно быть счастливым.

Не завидую витринам тамошних универмагов — наша толпа смотрится похуже, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза, и не так уж существенно, одноцаетные на тебе джинсы или рябые.

Не завидую даже писательским компьютерам, умным игрушкам, способным запомнить и самостоятельно перепечатать целый роман,— не уверен, что это ремесло надо облегчать; и так к нему прилипло слишком много ищущих, где полегче...

Чему я в Швеции завидую?

Завидую, что нет очередей.

Что круглый год разнообразны и дешевы фрукты.

Что ни разу за три поездки не слышал, как человек кричит на человека.

Что машину на улице на ночь не запирают.

Что шведу съездить в Копенгаген или Осло так же просто, как мне в Ленинград или Минск, никаким чиновникам кланяться не надо.

Что трех-, четырех-, пятикомнатный дом в Швеции строят максимум семнадцать дней — все успевают, от фундамента до отделки, до внутренних шкафов и тумбочек в прихожей,— а на восемнадцатый день хозяину вручают ключ: входи и живи.

Что в шведском языке нет слова «похоронка».

Особенно завидую больницам и домам престарелых: их уровень так высок, что шведы меньше всех прочих народов страшатся болезней и старости, даже одинокой. И близкого человека им не столь боязно оставить с чужими людьми в белой палате. И сама смерть шведу не так жутка — знает, что будет кому сидеть рядом и держать за руку, смачивать сохнущие губы, утирать пот...

* * *

Я слабо разбираюсь в общественных науках, может, даже хуже, чем преподаватели общественных наук. Поэтому очень трудно ответить на вопрос, который в конце этих заметок я не могу сам себе не задать: а какая же в Швеции общественная система?

Капитализм? Да, наверное, во всяком случае, по способу производства: девяносто процентов экономики контролирует частный капитал. Ну а по способу распределения?

Уж очень непривычно выглядит шведский капитализм.

Вот уже чуть не сорок лет страной почти непрерывно управляют социалисты. Внешняя политика государства прогрессивна: нейтралитет, мир, невмешательство. Внутренняя тоже прогрессивна: большие налоги на капитал, великолепно поставленное бесплатное здравоохранение, пятинедельные отпуска, высокие пенсии, общественная забота о стариках и инвалидах, пособия на детей, возможно, лучшая в Европе деятельность по охране окружающей среды, интернационализм, не только декларируемый сверху, но и глубоко вошедший в сознание народа. Плюс ко всему завидный жизненный уровень, низкий процент безработицы. Как видим, по многим параметрам шведские социальные программы совпадают с нашими, а по результатам соседи ушли далеко вперед.

Роль государства в жизни страны в Швеции тоже очень важна, многие здесь считают, что даже чересчур важна, что расплодившаяся бюрократия, полаяче внедряясь в общественный организм, постепенно заменяет здоровую мышечную ткань мягкой жировой прокладкой, которая только и способна гасить чужую энергию. Вероятно, в этом есть изрядная доля истины: во всяком случае, когда я узнал, что владелец книжного магазина не имеет права без налогового инспектора перетащить диван из кабинета в спальню, я понял, что Швеция не только дружественная, но и братская страна...

Сейчас у нас популярен умный и трезвый лозунг: «Больше социализма!». Даже беглым взглядом видно, что в Швеции социализма много. И если на одну тарелку весов бросить все капиталистическое, а на другую все социалистическое, не знаю, какая из них прыгнет вверх.

Так не пора ли спокойно и доброжелательно присмотреться к делам северного соседа?

Почему бы, например, не предположить, что шведское социалистическое правительство, как и наше, желает народу добра, но идет к цели своей тропинкой, пробуя, ошибаясь, ища оптимальный курс в изменчивой современности? Иные представления о социализме? Ну и что с того? Кто и когда одарил нас монополией на истину? Так, может, хватит выискивать друг у друга одни только провалы, нелепости и пресловутые «контрасты»? Хватит переругиваться, как мальчишки из соседних дворов? Разумней и полезней работать бок о бок, обмениваться опытом, делясь методикой успехов и честно предостерегая от бед.

Хорошо, что на свете есть по крайней мере десяток государств, которые мы называем братскими: в большой семье жить спокойней и теплей.

Но ведь и со Швецией у нас так много общего, от географии до социальных устремлений, что она упорно представляется мне не только дружественной, но и родственной, может быть, двоюродно-братской страной...

ВСПОМИНАЕМ...

Яков
ЛИПКОВИЧ

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

Я помню Федора Абрамова еще с начала пятидесятых годов, когда перед ним, совсем молодым кандидатом наук, терялись старые университетские профессора. При виде его мрачноватого, неулыбчивого лица, застывшего в первом ряду президиума, многим становилось не по себе. Казалось, никуда не скроешься от его цепкого, все замечающего воспаленного взгляда. Глухую неприязнь, которую я в то время питал к нему, слегка смягчало любопытство: он не мельтешил, не суетился, не искал для себя — и это чувствовалось — личных выгод, не ловил рыбу в мутной водв, как некоторые его товарищи. За обманчиво простецкой, угловато-суровой внешностью уже тогда проглядывала натура страстная, сильная, незаурядная, напитанная непонятной правдой и таящая в себе какую-то страшную, пугающую недосказанность. Таким запомнился мне Абрамов той поры. И, конечно, мне и в голову не приходило, что пролетит еще какое-то время — и этот человек станет не только одним из крупнейших писателей современности, но и духовным пастырем той самой интеллигенции, которую он когда-то недолюбливал и недопонимал. История русской литературы не знает другого такого примера, когда бы превращение Савла в Павла произошло так круто и бесповоротно. Скорее и чаще наблюдалось обратное.

Я не буду анализировать причины, побудившие его пересмотреть свои взгляды: они общеизвестны. Но одну из них все-таки назову — это высокий пример и чудодейственное влияние Александра Твардовского, первым начавшего борьбу за его пытливую, мятущуюся, чуткую душу. Абрамов шестидесятых годов, то есть тех лет, когда возобновилось наше знакомство — это уже был человек, открывший для себя сложнейшую взаимосвязь явлений. Шаг за шагом создавалась им широкая система взглядов, в которой не оставалось места ни обветшалым схемам, ни расхожим обывательским представлениям. Ее единственным нравственно-философским стержнем было благо народа, понимаемое удивительно высоко и чисто.

И эта позиция прочитывалась между строк во всех его произведениях, которые буквально с первых же публикаций стали явлениями не только литературной, но и общественной жизни страны. Они отвечали на многие вопросы, томившие людей не одно десятилетие.

Пройдя вместе с народом черев величайшие соблазны и испытания, он уже больше никогда не давал себя сбить с пути и с каждой новой книгой поднимался все выше и выше, достигая порою тех высот, за которыми начиналось — неужели нам, современникам, не дано это почувствовать? — бессмертие. Как можно было таить на него зло за прежнее, когда прямо на глазах у всех, одних пугая, других радуя, обновлялась, прозрачно наливаясь своим собственным, неотраженным светом, его издерганная душа?

Известно, что, когда умирает хороший человек, образуется большая, ничем не восполняемая пустота. И чем крупнее он, тем больше она и тем дольше держится. Но проходит время, и скорбь понемногу отступает, угасает тихо и незаметно, оставляя вместо себя грусть. Скорбь убывающая. Но бывает и возрастающая. Это — когда сознание утраты растет по мере того, как сильнее и острее ощущаешь отсутствие человека. Словно начинаешь испытывать в образовавшейся пустоте нехватку кислорода.

Уже первые вечера памяти Абрамова показали, что интерес к нему как к писателю и человеку не только не уменьшается, но неуклонно растет. Белый зал Дома писателей всякий раз не в состоянии вместить всех желающих. Те, кому не достаются места, часами, не ропща, стоят в коридорах, фойе, проходах, и надо видеть их лица, чтобы понять, как много еще в людях нерастраченной доброты, мужества и благородства. Не об этом ли — все творчество Федора Абрамова?

Я думаю, если бы он не был писателем, он бы мог стать крупным общественным и политическим деятелем. Меньше всего я вижу его человеком, делающим карьеру, медленно и осмотрительно поднимающимся по служебной лестнице. Такое совершенно невозможно представить. Ему с его горячим, нетерпеливым, независимым характером вряд ли были бы по душе отношения, построенные на голом, не очень сложном расчете.

В Абрамове был скрыт иной дар. За свои шестьдесят лет я помню немало ярких выступлений с трибуны, но как бы я ни восхищался ими, как бы жадно ни впитывал в себя поразившие меня мысли, ни одно из них не может идти в сравнение с тем, как выступал Федор Абрамов. Он мог всколыхнуть, наэлектризовать любую аудиторию, начиная с престарелых, тихо подремывающих ученых, которых, казалось, уже ничем не проймешь, кончая молодежью, нетерпеливо постукивающей каблуками в предвкушении танцев. Сколько бы человек ни слушали его — пять, сто, тысяча — он в считанные мгновения настраивал всех на одну волну, заряжая их своей болью и своей верой. Он, как никто другой, умел находить кратчайший путь к душам слушателей. В нем, внуке и правнуке старообрядцев, виделось что-то от протопопа Аввакума, от великих еретиков и страстотерпцев, чья жаркая бунтующая кровь, несмотря на холодные ветры столетий, не остывая, текла в жилах писателя. Давно погасли костры, на которые молча, осеняя себя двуперстным крестом, восходили его предки. И только бумага кое-где хранит отголоски проносившихся по Руси религиозных и социальных бурь. А вот характеры, способные воажигать души, кое-где остались.

Нет, Абрамов не был умелым оратором. Трибуном — да, оратором — нет. Начинал он говорить обычно вяло, вполголоса, как бы нехотя и осторожно подбираясь к главному, ради чего он взял слово. Бесконечные «так сказать» и «понимаете ли», засорявшие его речь, поначалу создавали у тех, кто впервые его слушал, иллюзию ординарности и беспомощности. На эту удочку попались в первые минуты и миллионы телезрителей, смотревших выступление писателя из Останкинской студии. И только сознание того, что перед ними автор «Пряслиных», «Пелагеи», «Альки», «Деревянных коней» и других прекрасных книг, удерживало большинство от обычных в подобных обстоятельствах перешептываний и переглядываний.

Да, начинал он вяло, с трудом продираясь сквозь мусор ненужных и лишних слов, незаметно для большинства доводя себя до точки кипения. Разумеется, те, кто знал за ним эту особенность, с самого начала сидели, затаив дыхание, трепетно и взволнованно ожидая чуда преображения. Перелом обычно наступал неожиданно, как гром среди ясного неба. Предугадать, когда он произойдет, было совершенно невозможно. Мог быть и в первой половине выступления, и во второй. В этот момент голос его как бы вырывался на свободу, расправлял крылья. Раскаленный докрасна, он в одно мгновение растапливал те слабые перегородки, которые отделяли людей друг от друга. С первыми же звуками его обновленного голоса у всех одновременно по спине пробегали

мурашки, и уже с этой минуты он держал аудиторию в своих властных и горячих руках.

Так было и на последнем для него всесоюзном съезде писателей, когда его выступление объединило своей страстью и своей болью весь зал...

Уже одно присутствие Федора Абрамова на писательских собраниях — даже если он сидел где-то в сторонке и помалкивал — привносило в них какую-то напряженную настороженность. О чем бы ни шла речь, выступающие мысленно оглядывались на него. Я не скажу, что все до единого хотели непременно ему понравиться или угодить. У него было немало врагов и тайных завистников. С некоторыми из своих недругов он годами не разговаривал, упрямо избегая примирения. Среди тех, с кем он вообще не поддерживал отношений, были бывшие единомышленники, все еще смотревшие на мир замутненным нечистым взглядом. Абрамов не видел их в упор. Но и они, выступая, не могли не учитывать этого важного, а возможно, определяющего фактора — его присутствия.

Но не стало Федора Абрамова, и многие перестали ходить на собрания. Похолодало, здорово похолодало в Ленинградском Доме писателя с его уходом. Когда еще придет при жизни моего поколения второй такой человек и придет ли вообще?

Если писатель по-настоящему талантлив, то в нем проявляют себя не одно, а несколько дарований. Из тех литераторов, кого я знаю, чуть ли не каждый третий рисует. Некоторые вполне профессионально: Михаил Дудин, Виктор Голявкин, Виктор Конецкий, Радий Погодин... Этот список можно было бы основательно удлинить. Нет такой музы, которая не имела бы в писательском цехе своих представителей.

Я сомневаюсь, что Федор Абрамов когда-нибудь хотел быть актером: он вряд ли мыслил свое существование вне литературы. Но природа одарила его и актерским талантом. Он легко мог изобразить любого, удивительно смешно и точно подмечая особенности характера и поведения. Однажды под вечер мы вчетвером — он с Людмилой Владимировной, я и писательница Валентина Левидова прогуливались по Комарову. Речь зашла о бывшем муже Валентины Иосифовны, которого Абрамов хорошо знал по университету, где тот также что-то преподавал. И вдруг прямо на наших глазах Федор Александрович, весело дурачась, перевоплотился в другого человека. У него вытянулась шея, изменился голос, преобразилась походка. Неузнаваемым стало и лицо. Сходство было настолько поразительным, что Ва-

лентина Иосифовна поначалу обомлела, а потом залилась неудержимым заразительным смехом...

Не часто было у Федора Александровича желание и настроение кого-нибудь изображать. За двенадцать лет близкого знакомства я могу припомнить всего два или три таких случая. Но артистическая жилка не давала ему покоя, и он нет-нет, да и позволял себе «разговеться»...

В спектакле «Братья и сестры», поставленном выпускниками Ленинградского театрального института и сразу ставшем выдающимся явлением в культурной жизни страны, Федор Абрамов сыграл роль секретаря райкома Подрезова. Вернее, ту часть роли, которая не требовала выхода на сцену — выступление по местному радио. В голосе Федора Александровича, записанном на магнитную ленту, зазвучали чужие, резкие, стальные нотки, мгновенно перенесшие зрителя в суровые, крутые времена военного лихолетья.

Несколько лет назад в Дубултах один известный московский писатель, по его словам, хорошо знавший и любивший Федора Абрамова, заявил, что артистические способности того распространялись и на сферы деятельности, где достойнее было бы быть самим собой. Конечно, легко обвинить другого в том, что он не всегда искренен, изредка допускает ложь во спасение. Я как огня боюсь людей, считающих себя вправе резать правду-матку. Я за километр обхожу их, и не потому, что весь погряз в грехах и боюсь разоблачения, а потому, что не хочу встречаться лишний раз лицом к лицу с человеческой озлобленностью. Что с того, что Абрамов иногда прикидывался простачком или не говорил в глаза того, что думал? С друзьями, с близкими людьми он был предельно искренен. И предельно искренен был в своих книгах и публичных выступлениях. «Играл» же он только тогда, когда припирали обстоятельства, когда особо ясно сознавал, что плетью обуха не перешибешь.

Свое назначение он видел в том, чтобы открывать соотечественникам глаза на самих себя и помочь им стать лучше. Именно это, а не что-нибудь другое было определяющим в его жизни и творчестве. Я не знаю другого писателя, который в последние годы оказал бы столь сильное воздействие на умы читателей, как он. Даже всеобщий любимец Шукшин с его громозвучной, глубоко выстраданной славой уступает ему в главном — в неподвластности моде. Даже спектакли, поставленные по абрамовским произведениям и имеашие огромный, почти феноменальный успех, мало что добавили к популярности писателя. Наоборот, они прославили не его, а театры, обратившиеся к его творчеству.

Конечно, надо было бы больше остановиться на наших временами неровных, но всегда добрых отношениях. Но мне трудно отделить Абрамова-писателя и общественного деятеля — от Абрамова-человека. Он никогда не был свободен от мыслей о России, о ее народе с его высочайшими духовными и нравственными потенциями, а в конечном счете от тревог за судьбы всего человечества, над которым нависла угроза безумного самоуничтожения. Апокалипсические видения преследовали писателя даже тогда, когда кругом стояли дивные спокойные дни, самозабвенно светило веяркое северное солнце, мерно и неторопливо накатывались на древние финские камни ленивые волны, теплый воздух был напоен терпким запахом сосны и, казалось, нет такой силы, которая могла бы нарушить это благословенное равновесие. Мысль, что все это может в одно мгновение исчезнуть, обостряла восприятие окружающего волшебства.

Я не встречал человека, который бы так точно и глубоко чувствовал природу. Состоящая сплошь из тайн, она была для него открытой многолистной книгой, где каждая страница хранила тепло его неторопливого доброго взгляда. Не было травки, цветка, деревца, букашки, названия которых он не помнил бы с детства и которые не вызвали бы в нем двоякого интереса — познавательного и художественного. И этот интерес не остывал в нем ни с годами, ни с возрастающей занятостью, ни с крутыми перепадами настроения. Наоборот, чем старше он становился, тем больше его волновали тончайшие — прямые и ассоциативные — связи между людьми, обществом и природой.

Те заметки о природе, которые в усеченном виде были напечатаны рядом центральных газет и журналов, дают далеко не полное представление об этой, еще не известной читателю стороне его дарования. Я не собираюсь противопоставлять Федора Абрамова тем большим писателям, для которых природа была и на всю жизнь осталась первой и единственной любовью. Но они — такое у меня осталось впечатление — как бы разглядывали ее в упор и видели в ней лишь то, что увидели бы с такого расстояния и другие, не обделенные чувством прекрасного. Абрамов же искал в природе нравственную, философскую опору, великий смысл, высокую гармонию, которой так недоставало ему в человеческом обществе. Потому-то каждое его наблюдение, иногда прямо, иногда опосредствованно взывает к людям, апеллирует к их совести, уму и опыту. Оно имеет и свою антенну, обращенную к небу, и свое заземление, уходящее в толщу человеческих забот. Среди его поэтических этюдов нет ни одного, который бы замыкался на самом себе, не имел бы выхода к болевым точкам общественной жизни или — что еще хуже — повторял бы давно и хорошо известное.

И все это по-абрамовски сурово, скупо, значительно. В его поклонении природе, восхищении, любовании ею не встретишь того умиления и городской расслабленности, в которые впадают иные писатели. Сюсюканье ему отвратительно. Раз я спросил Федора Александровича, как он относится к творчеству одного популярного писателя, много и складно пишущего о природе. Ответ был выразителен и немногословен: «Слюни».

Разумеется, волновали его и вопросы экологии. Он люто ненавидел расточительство, транжирство, безалаберность, за которыми стояли не широта и щедрость, как принято иногда считать, а лень и равнодушие, качества, наиболее презираемые им в людях. Я не знаю еще писателя, который бы так одержимо и нетерпеливо радел о настоящем и будущем своей Родины. И это в нем органично сочеталось с пониманием того, что национальные задачи ни в коем случае не должны идти вразрез и во вред общечеловеческим. Побывав в последние десятилетия во многих странах, он для каждой из них находил добрые и теплые слова. Конечно, не все из того, что он там видел, было ему по душе. Но даже в своей негативной оценке тех или иных явлений зарубежной жизни он начисто лишен был предвзятости или злорадства, низводящих любую, порою весьма справедливую критику до уровня обывательских пересудов. Прежде всего он пытался разобраться, понять и уже потом только, взвесив все на точнейших весах разума, выносил приговор. И это был приговор Федора Абрамова и никого другого.

Думая о своей стране, он помнил обо всем человечестве, и это роднит его с Толстым, Достоевским, Горьким. Нам, современникам Федора Абрамова, еще трудно разобраться в истинном масштабе его личности. Но одно ясно, что криком кричащая в его произведениях боль за человека, всегда и во все времена достойного лучшей участи, будет услышана — в этом нет сомнения — и грядущими поколениями.

Сердце мое всегда (если не считать далеких студенческих лет, когда мною владел страх перед ним) было переполнено любовью к Федору Абрамову. Для меня, уже потерявшего счет утратам, после смерти отца и матери, которых я горячо и нежно любил, его уход был третьей по тяжести потерей. Тот проклятый восемьдесят третий год, унесший многих моих близких, видимо, решил добить меня, припася еще и эту смерть.

Разумеется, любовь, которую я питал к нему, родилась не на голом месте: он первым из крупных писателей поддержал меня на скользких литературных дорогах и с неизменным постоянством интересовался моими делами, хотя, на первый взгляд, нас мало что связывало. Он писал о деревне, я о войне. Да и герои наши стояли как бы на противоположных полюсах — мои рефлектирующие лейтенанты, дети и внуки тех, кого еще недавно называли «гнилой интеллигенцией», казалось бы, должны были быть отвергнуты им с порога. И действительно, трудно представить — как я поначалу опасался — что-нибудь более чуждое и неприемлемое его деятельной суровой натуре. Я подозревал, что Михаил Пряслин, вконец замордованный работой, день и ночь пекущийся о куске хлеба, глубоко сознающий, что нечеловеческий крестьянский труд, придавивший его с детства, нужен для победы, для страны, изнемогавшей в войне, вряд ли найдет общий язык с городскими мальчишками, вчерашними маменькиными сынками, волей судьбы напялившими на себя лейтенантские погоны. И пусть их каждую минуту подстерегала смерть и только три лейтенанта из ста в результате дожили до победного салюта, мало кто из них, я думаю, согласился бы взвалить на свои непривычные городские плечи непомерные тяготы и заботы русской деревни. Конечно, когда я писал свои повести и рассказы, я меньше всего думал о том, чтобы понравиться Федору Абрамову. Меня заботили лишь два предмета — правда жизни и правда художественная. Я понимал, что стоит только где-нибудь слукавить или душевно расслабиться, как тут же в образовавшиеся трещины начнет просачиваться фальшь. Я написал сравнительно немного, однако, положа руку на сердце, могу сказать, что никогда не брался за то, к чему не лежала душа.

Конечно, не мне судить о собственном творчестве. Но то доброе отношение к себе, которое я постоянно видел со стороны Федора Александровича, так или иначе говорило мне, что я на правильном пути...

Никогда не забуду его крепкого демонстративного рукопожатия после несправедливой критики, которой подверглась моя повесть «Баллада о тыловиках». В каких только грехах не обвиняли меня: и в искажении заключительного этапа Великой Отечественной войны, и в принижении Победы, и даже в пораженческих настроениях. А я всего лишь писал правду. Рассказал о том, как уже на немецкой земле была окружена и едва не уничтожена моя родная 3-я гвардейская танковая армия. Маршал Советского Союза И. С. Конев в своей прекрасной книге «Сорок пятый» весьма подробно и кри-

тично разбирает эту неудачную для нас операцию. В целом она мало что изменила в ходе войны. В это время фашистская Германия уже не располагала силами, которые могли бы сколько-нибудь серьезно противостоять наступательному порыву наших войск. И все же на отдельных участках гитлеровцы оказывали бешеное сопротивление и иногда даже одерживали верх. Так было и под Лаубаном, где два наших танковых корпуса, прошедшие с боями свыше пятисот километров и понесшие в результате немалые потери, встретились со свежими, только что переброшенными с запада эсэсовскими дивизиями. Немцы остановили наше наступление и стали обходить армию с флангов и тыла. Для нас, участников этих драматических событий, бои под Лаубаном навсегда остались в памяти как тяжелое, но с честью выдержанное испытание.

Неисчислимые жертвы понес наш народ в войне с германским фашизмом, и на всех ее этапах, будь то сорок первый год или сорок пятый, легких побед не было. Каждый метр отвоеванной у захватчиков земли оплачивался большой кровью. И я бы оказал дурную услугу своим читателям, если бы утаил от них суровую и горькую правду.

Не с того ли времени, закрепленного крепким демонстративным рукопожатием, Федор Абрамов стал с интересом и любопытством приглядываться ко мне?

Первая повесть, которую я ему подарил, была «Забытая дорога». В ней рассказывалось о трагической любви советского офицера и жены бандеровца. Еще до того, как начал ее писать, я имел неосторожность поделиться замыслом с человеком, которого по наивности считал своим другом. Он всячески стал отговаривать меня, пугая возможными придирками и осложнениями, неизбежными якобы при обращении к столь скользкой теме. Наверное, с месяц я ходил придавленный сомнениями. И не знаю, написал ли бы я эту повесть, если бы не болезнь, уложившая меня в постель. Я стал перечитывать старые, еще в картонных переплетах, номера «Нового мира». Дошла очередь и до романа «Две зимы и три лета». Я находился еще где-то в конце первой части, а уже для себя твердо решил плюнуть на все предостережения и продолжить работу над повестью. Судьба ее, как и судьба уже упомянутой «Баллады о тыловиках», оказалась счастливой. Она была напечатана в журнале, затем издавалась и переиздавалась. Я не буду приводить полностью отзыв Федора Абрамова. Отмечу лишь, что в числе достоинств повести он назвал способность автора пропускать все через сердце. «Этим,— добавил он,— могут похвастать немногие писатели!» Разговор шел во время прогулки по Комарову, и пока мы добирались до Дома творчества, он несколько раз возвращался к понравившимся ему местам повести. Особенно расхвалил он почему-то выражение «растерявшиеся губы» (речь шла о героине, которую неожиданно поцеловал мой герой). Разумеется, от всех этих похвал я был на седьмом небе. Но в то же время я помнил, что характер у Абрамова неровный, изрядно подверженный настроению. Сейчас он расхвалил, а завтра, уже в дурном расположении духа, не оставит от книги камня на камне. Было же однажды такое. Как-то он хорошо отозвался об одной из моих публикаций. А на другой день, задетый какой-то моей репликой, вдруг сердито махнул рукой: «Да бросьте, вы же писать не умеете!». Я обалдело уставился на него: «Федор Александрович, побойтесь бога, вы еще вчера говорили, что я пишу хорошо».— «Мало ли что я говорил»,— ответил он, поддев меня насмешливым взглядом. В результате заронил, сам того не желая, а может быть, и желая — поди, разберись! — сомнение... Однако вскоре до меня стали доходить слухи, что Федор Абрамов в разговорах с разными людьми тепло и хорошо говорил обо мне. Да я и сам почувствовал, как постепенно под воздействием этой невидимой работы начало меняться ко мне отношение со стороны тех, кто особенно дорожил мнением Абрамова.

Однажды, когда одно издательство по внелитературным соображениям начало ставить препоны изданию моей новой книги о войне, Федор Абрамов сам, по собственной инициативе (я не просил его об этом, о моих бедах он узнал от Александра Германовича Розена) бросился отстаивать меня с жаром, на какой только он был способен. Как потом мне передавали, чуть ли не в первом часу ночи он позвонил домой первому секретарю нашей писательской организации Анатолию Николаевичу Чепурову и заручился его поддержкой. На следующий день между ним и директором издательства состоялся такой разговор. «С вами говорит секретарь Ленинградской писательской организации Федор Александрович Абрамов!..» — «Федор Александрович, к чему такая официальность?» — удивился тот. «А к тому, что подчиненное вам издательство, понимаете ли, творит черт-те что... Писатель, бывший фронтовик, предлагает вам хорошую книгу, а вы вместо того, чтобы поблагодарить человека, стараетесь его отфутболить. Я не говорю, что вы лично, а вверенное вам издательство...»

И ровно через два дня, воспользовавшись отъездом в командировку главного редактора, ставившего мне палки в колеса, директор издательства самолично заключил со мной договор.

Абрамов был необыкновенно сложной, противоречивой, рефлектирующей натурой. Но при всем этом я не встречал человека более цельного и ясного. Даже когда он нес вздор (кстати, не все понимают, что непрерывный каторжный труд писателя время от времени требует хоть небольшой психологической разрядки, которая выражается то в пустопорожней болтовне, то в переключении с одного занятия на другое), мы с привычным вниманием, ожидая откровения, прислушивались к каждому его слову. В эти минуты он любил подшучивать над собеседником, поддразнивать его. Заметил я и то, что, когда у него было хорошее настроение, он охотнее слушал, чем рассказывал. Но иногда он мог часами делиться своими мыслями и воспоминаниями. Он ничего не утаивал, не выдумывал, не старался казаться лучше или хуже. Зачем ему надо было это? Он давно привык к тому, что его принимали таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками. Его предельная искренность и открытость подкупали и завораживали. Конечно, он понимал всю силу своего обаяния и нередко пользовался этим. В общении он мог быть бесконечно интересным. Приятельства с ним добивались самые разные люди, от простого рабочего до крупнейшего ученого. Помню, за мной в течение недели ходил один довольно популярный писатель, человек неумный, самовлюбленный и хвастливый. Он буквально умолял, чтобы я поговорил о нем по-доброму с Абрамовым. Увы, у Федора Александровича интереса к этому человеку не появилось, и он упорно обходил его взглядом.

И все же, несмотря на необыкновенное обаяние, общаться и разговаривать с Абрамовым было нелегко. Порою тяжело. В любую минуту у него могло испортиться настроение, и тогда он, придравшись к какой-нибудь мелочи, срывался, говорил обидные, даже оскорбительные слова. Правда, в большинстве случаев он тут же спохватывался и давал задний ход. Получалось это у него не всегда гладко. Несмотря на свой быстрый и живой ум, он совершенно не умел выкручиваться. Обидев зря человека, он чаще всего пытался задобрить его тем, что выказывал ему особое расположение и уделял больше внимания. Словесных извинений он почти не признавал. Не в его характере было просить у кого бы то ни было прощения. Обычно, сделав что-нибудь не так, он начинал сокрушаться, тяжело вздыхать, долго не находил себе места. Признаться, я не раз испытал на себе перепады его тяжелого, неровного характера. Вызвать его гнев, недовольство было пара пустяков. Стоило только изречь какую-нибудь тривиальную или суетную мысль, как тут же следовало возмездие.

Почти на все, о чем бы ни шла речь, у него было свое определенное, не зависимое ни от кого мнение. Круг его интересов был чрезвычайно широк: судьбы человечества и страны, история, театр, кино, изобразительное искусство, люди как таковые и люди конкретные. Сколько раз, бывало, он тихо спрашивал, показывая украдкой на чем-либо заинтересовавшего его человека: «А это кто?» И не раз и не два затевал со мной обстоятельный, неторопливый разговор о моих семейных делах и неурядицах. Спрашивал, как живут дочки и как они относятся к отцу, какие в семье заработки и хватает ли на жизнь, как пишется и сколько в этом году написано. «О! Девять листов! Это уже почти роман!»

И я не был исключением. Я бы мог назвать поименно с добрую полсотню людей, которые с неменьшим волнением припомнили бы подобные разговоры. И это были не разговоры ради разговоров. Там, где требовалась помощь, реальная, незамедлительная, он тут же, не задумываясь, предлагал ее.

А вот разубедить его в чем-либо было очень трудно. Особенно непреклонным он казался в своих литературных пристрастиях. Он выводил за рамки литературы почти всю беллетристику и все, что отвечало требованиям быстротекущей литературной моды. Вещи же фальшивые и конъюнктурные вызывали в нем чувство острой и открытой брезгливости. Наверное, не все, что осуждалось им, он дочитывал до конца. Две-три строчки, выхваченные наугад из текста, говорили ему о произведении больше, чем десятки хвалебных статей. Немало значила для него и репутация писателя, его нравственная и гражданская позиция. Он безошибочно знал, что можно ждать от того или иного литератора, особенно в тех случаях, когда был знаком с какими-либо его вещами и публичными выступлениями. Конечно, не всегда в своих оценках он был справедлив. Горячий, увлекающийся, мгновенно и остро реагирующий на любые раздражители, он нередко давал волю эмоциям — и ошибался. Я знаю случаи, когда предвзятое отношение возникало у него буквально на голом месте. И хотя в своих литературных антипатиях он был весьма постоянен, убедившись в своей неправоте, немедленно признавался в этом. Не могу не вспомнить забавную историю, рассказанную мне Василием Цехановичем. Высоко ставя литературное мастерство этого писателя, я всячески пытался заинтересовать Федора Александровича его творчеством. Надо сказать, что тот крайне недоверчиво отнесся к моим восторженным отзывам. А когда узнал, что Василий Петрович к тому же еще

полковник в отставке, то и вовсе потерял к нему интерес. «Чего они понимают в литературе, полковники ваши? Пусть лучше пишут о войне мемуары!» — сказал он что-то в этом роде. Но в голове все-таки засело, и когда однажды на глаза ему попались рассказы Цехановича, он не удержался и прочел их. Суровая правда и глубокое сострадание к людям, словом, то, что больше всего ценил в литературе Федор Абрамов, присутствовали в каждом произведении Цехановича. И вот, как-то встретившись в Доме писателя с Василием Петровичем, Федор Абрамов громогласно объявил, обращаясь к присутствующим: «А я его за писателя не считал, а он, знаете ли, какие произведения пишет! Почитайте!»

Федор Александрович питал особую слабость к писателям-фронтовикам. Я не сомневаюсь, что покровительство, которое он постоянно мне оказывал, было вызвано отчасти моим скромным фронтовым прошлым. Я был в действующей армии всего-навсего военным фельдшером, но и этого оказалось достаточно, чтобы он выделил меня из числа тех писателей, которые по возрасту должны были воевать, но почему-либо не воевали. Однажды он спросил меня, сколько за войну я вытащил с поля боя раненых. Я никогда не занимался подобными подсчетами. Только за время форсирования Днепра через мои руки прошло свыше шестидесяти человек. Так что на вопрос Федора Александровича я ответил весьма неопределенно: «Человек сто, наверно!» — «Ого! — воскликнул он.— Сто человек — это, знаете ли, это немало!..»

Среди раненых, вытащенных мною с поля боя под Берлином, был и заместитель командира 6-го гвардейского танкового корпуса полковник Якубовский, впоследствии первый заместитель Министра обороны СССР и Маршал Советского Союза. Об этом я даже написал рассказ, который был опубликован в журнале «Звезда». «Вы хоть напомнили о себе Якубовскому?» — поинтересовался Федор Александрович. «Нет, не напомнил. Хотел послать рассказ, но раздумал».— «Почему?» — на лице Абрамова откровенное любопытство. «В медсанбате Якубовский вел себя, как мальчишка. Обиделся на главного хирурга, который отказался его немедленно оперировать. Бои шли как раз под Берлином. Якубовский торопил с операцией, чтобы не опоздать к штурму. Хирург же сказал, что рана у полковника пустяковая, может и подождать. Якубовский не сказал ни слова, повернулся и уехал обратно на фронт. Я подумал, что ему будет не очень приятно читать такое о себе...» — «Ну и зря! — заметил Федор Александрович.— Сильные мира сего иногда умиляются, вспоминая о своих человеческих слабостях. Да я и не уверен, что это слабость. Человек на фронт рвался, а не к теще на блины... Зря,— повторил он и уже другим — насмешливым — голосом добавил: — В „Воениздате“ сейчас печатались бы!» — «Или вообще не печатался бы»,— усмехнулся я. «Ну вы, я вижу, скептик. С таким настроением надо не книги писать, а под поезд ложиться!»

После этого разговора прошли день или два, и вдруг он спрашивает: «А у вас много орденов?» — «Ни одного, Федор Александрович. Медали есть...» — «Ну это безобразие!» — бросает он сердито. По его глазам вижу, что он, в отличие от меня, нисколько не сомневается в моих боевых заслугах. Я напоминаю ему, что на войне нашего брата, военного медика, не очень-то баловали наградами. «Как же так? Сто человек спасли! Сто матерям сто сыновей вернули! Я уже о женах не говорю. Может, и по сей день на вас молятся».— «За хороших, может, и молятся, а за плохих...» — «Плохими они ведь тоже не сразу стали... Жизнь, она и не таких наизнанку выворачивала...»

Эти сто человек, оказывается, крепко запали ему в голову. Потом мне передавали, что он не раз вспоминал их, когда говорил обо мне с другими...

Не знаю, как это получилось, но тогда в разговоре с Федором Абрамовым я упустил из виду одно забавное обстоятельство, которое в немалой степени способствовало тому, что среди медиков стало одним орденоносцем меньше. Потом вспомнил и рассказал Федору Александровичу. Как-то ночью к нам в часть прибыл командующий артиллерией армии. Начштаба велел своему ординарцу накрыть на стол, а мне (я как раз был помдежем) полить гостю на руки из кувшина. Казалось, чего тут особенного: генерал по возрасту годился мне в отцы, и ничего унизительного в этом приказании не было. Однако в тот момент я потерял способность соображать. Во мне взыграл лейтенантский гонор, и я во всеуслышание заявил, что я не холуй и поливать не буду. Наверно, если бы в штабе разорвался вражеский снаряд, эффект был бы куда меньше. Кончилось все тем, что желающих полить генералу оказалось более чем достаточно, а два наградных листа на меня, ожидавших своей очереди на подпись, были использованы писарями на самокрутки. Как я и ожидал, дослушав эту историю, Абрамов осудил меня: «Зря вы... Надо было полить старику... Как, по-вашему, полил бы князь Болконский Кутузову на руки или нет?.. Полил бы, конечно... Или нет?» Видно, до конца он все-таки не был уверен в том, как повел бы себя Болконский. Но ответил я искренне, осуждая себя, тогдашнего: «Молод был и глуп».— «Ну вы не очень изменились с тех пор»,— съязвил он и с любопытством покосился в мою сторону, не обиделся ли?..

На одном из своих творческих вечеров Федор Абрамов сказал, что считает себя счастливым человеком, и объяснил — почему. Во-первых, не погиб в войну. Во-вторых, всю жизнь занимался любимым делом. А в-третьих... а в-третьих, похоже, трудился не впустую. Да, он был счастлив. И все же, признаемся, горек был его хлеб. Впрочем, чему тут удивляться? Всегда, сколько существует человечество, лихо приходилось тем, кто провидчески вырывался вперед. Уже ранняя статья Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» явила читающей России новый, нетрадиционный взгляд на старые больные проблемы. У миллионов читателей на многое открылись глаза, от произнесенной вслух правды захватило дыхание. А потом в духовную жизнь народа ворвались повесть «Вокруг да около» и роман «Братья и сестры». Пробивая дорогу в литературу полнокровной, обжигающей души «деревенской» прозе, Федор Абрамов принял на себя самые первые и самые сильные удары конформистской критики. Его били наотмашь, не щадя, видя в нем чуть ли не скрытого классового врага, представителя (у меня в ушах до сих пор звучит голос одного из обличителей) ни мало ни много правоэсеровских настроений. К счастью, годы были уже другие, и все ограничилось тем, что его какое-то время перестали печатать. Но остановить процесс глубинного, художественно-беспощадного постижении жизни вряд ли уже кому было под силу. Истратив весь свой критический заряд на Абрамова, его литературные противники, похоже, ничего не оставили для тех, кто шел за ним следом. Отдельные же подзатыльники, отпущенные изрядно утомленной, отеческой рукой, мало что изменили в характере «деревенской» прозы. Хотя, будем откровенны, с годами все-таки кое-какие перемены в ней наступили, и надо сказать — не всегда в лучшую сторону. На одном и том же широчайшем поле российской литературы высоко поднялись и злаки, и плевелы. Вопреки очевидным фактам, некоторые литераторы стали исправлять, украшать, искажать прошлое, винить невиновных, оправдывать виноватых, видеть лад там, где нередко царила разладица. Абрамову явно было с ними не по пути. Он шел своей, раз и навсегда выбранной дорогой служения народу — шел, не оглядываясь, молча и глубоко переживая расставание с теми, кто еще недавно, казалось, составлял с ним единое целое — новую русскую «деревенскую» прозу.

А вслед ему звучали злобные голоса, что он кому-то продался, к кому-то переметнулся.

Что ж, подобные обвинения не впервые слушать выдающимся деятелям мировой и русской культуры. Слышали их и Золя, и Короленко, и Горький, и Генрих Манн, и многие другие. Таким соседством можно только гордиться!..

Хотят или не хотят современники Федора Абрамова, но он из этого высокого рода. Многие признают это уже сейчас. Одним из лучших сынов России назвал его критик Игорь Золотусский. Академик Д. С. Лихачев, для которого творчество Федора Абрамова как бы замыкает на сегодняшний день великую русскую литературу, начатую еще «Словом о полку Игореве», прямо заявил, что пинежский паренек поднялся до высот античного пафоса. Я знаю, как преклоняется перед огромным талантом писателя один из крупнейших языковедов мира Владимир Григорьевич Адмони. Адриан Владимирович Македонов, человек уникального дарования, выдающийся геолог и не менее выдающийся литературовед, называет Абрамова гордостью мировой литературы. И таких отзывов я могу привести сотни.

Я хочу рассказать всего о двух случаях, на мой взгляд, наиболее полно передающих народную любовь к писателю.

В начале мая 1983 года, в дни, когда Федор Александрович лежал в больнице, я находился в Москве. Туда съехались бывшие мои однополчане, и мы, по обыкновению, торжественно отмечали День Великой Победы. Попутно я занимался сбором материала для своей будущей военной книги. 14 мая очередь для обстоятельного разговора дошла и до моего старого фронтового друга Василия Масленникова, живущего под Москвой в городе Жуковском.

В тот день (а было это 14 мая, когда Федора Александровича уже несколько часов не было в живых, о чем я еще не знал) мы сидели у Масленникова дома и говорили о том, что волнует и тревожит всех людей на земле — удастся ли человечеству избежать самоубийственной войны. Затем разговор зашел о литературе, о ее главном назначении — подвигнуть человека на доброту, разбудить в нем совесть.

Находясь в Москве, я по нескольку раз в день звонил в Ленинград, узнавал о состоянии здоровья Федора Александровича. Вечером 13-го мне сообщили, что операция прошла благополучно, что Федор Александрович лежит сейчас в реани-

мации и, надо думать, как это было уже не раз, выкарабкается. Успокоенный этими новостями, я утром отправился в город Жуковский. Но на душе у меня все равно было очень тревожно. Мысль то и дело возвращалась к Абрамову, который, как я понимал, находился в тяжелом послеоперационном состоянии. Наконец я не выдержал и поделился своей тревогой с Масленниковым. И тут произошло такое, чего я меньше всего ожидал.

К тому, что Федор Абрамов сейчас находится в реанимации, Масленников отнесся довольно философски: чем только человек не болеет за свою долгую жизнь! Смерть не любит, чтобы ее ждали, она почти всегда приходит неожиданно, не мудрствуя лукаво, рассудил он. Поразило его другое, а именно то, что я близко знаком с Федором Александровичем. Горячий и подвижный, как ртуть, Василий выскочил из-за стола и закричал на всю квартиру, созывая домашних: «Идите сюда! Ну долго вы там будете ковыряться?! Ну идите же быстрее!» Когда все — напуганные и удивленные — сбежались, он торжественно возвестил, показывая на меня: «Яков, оказывается, хорошо знает Федора Абрамова, нашу народную совесть, вашего великого заступника!» Несмотря на давнюю нелюбовь Василия к патетике, сказаны были именно эти слова. Мы подняли бокалы и выпили за здоровье Абрамова. Боже, кто знал...

А вот второй пример. Как-то я выступал в одной из поселковых библиотек. Я говорил о советской литературе и называл наиболее крупных писателей. В этом списке я упомянул и Федора Александровича, но не первым, не вторым, а третьим или четвертым, я уже не помню. Я меньше всего тогда думал о том, чтобы в беседе с читателями соблюдать табель о писательских рангах. И тут девушка-библиотекарь, до этого с большим вниманием и одобрением слушавшая выступление, вдруг перебила меня и сердито воскликнула: «Абрамов выше!.. Выше!.. И вашего такого-то!.. И вашего такого-то!..» Когда я попытался объяснить ей, что вряд ли стоит противопоставлять одних выдающихся писателей другим, она досадливо махнула рукой и сказала: «Ничего вы не понимаете!.. Ничего!..»

Припоминаются давно забытые беседы и встречи, ссоры и примирения, реплики и шутки. Много о Федоре Александровиче я слышал и от наших общих друзей, которые, по разным причинам, не собираются сейчас писать воспоминания. Обидно, что в результате немало может быть утеряно для потомков. Но в любом случае всего не объять. Я расскажу лишь о том, о чем не имею права умолчать — о своем последнем свидании с Федором Александровичем.

Это было первого мая 1983 года. На праздники Людмила Владимировна взяла мужа из больницы домой. Я как раз уезжал в Москву, и мне перед отъездом необходимо было повидать Федора Александровича. До этого мы полтора месяца провели вместе в Комаровском доме творчества и, мне кажется, еще больше сблизились. Вскоре после возвращения в город он лег в больницу.

Федор Александрович встретил меня без обычной своей поддразнивающей дружеской улыбки. Он был похож на маленькую нахохлившуюся больную птицу. И смотрел в мою сторону каким-то далеким, ускользающим взглядом. И все же мне показалось, что настроение у него чуть улучшилось. Во всяком случае, пока мы с Людмилой Владимировной говорили о предстоящей операции, он позвонил художнику Мельникову и принялся с ним горячо обсуждать какой-то очередной футбольный матч. Окончив разговор по телефону, он сел за свой письменный стол и вдруг в упор спросил меня: «Я вам когда в последний раз подарил книгу?» — «Откровенно говоря, давно. Еще „Деревянные кони“»,— ответил я. «Люся, достань ту, последнюю, толстую»,— обратился он к жене. Еще с фронта я человек суеверный. Дарить что-то перед боем или в госпитале перед операцией считалось у нас дурным знаком. И я стал отказываться от подарка. «Берите, берите, а то опять забудет»,— вмешалась Людмила Владимировна, доставая из шкафа книгу. Склонившись как-то боком к столу, не торопясь, Федор Александрович написал: «Якову Липковичу — дружески, сердечно. Ф. Абрамов. 1 мая 1983 года».

Я взял книгу и стал прощаться. Лицо у Федора Александровича по-прежнему было далеким и неулыбчивым. Он не скрывал, что его сильно угнетала предстоящая операция. Зная, что он легко поддается внушению, я начал уверять его, что все пройдет хорошо. Он смотрел на меня недоверчивым, усталым взглядом и молчал. Тут я обнял его и поцеловал. «На счастье!» — проговорил я. Он никак не прореагировал и на этот мой порыв.

Когда я вышел из квартиры, то в открытую дверь увидел проводившего меня до порога Федора Александровича. От его худенькой, ставшей еще меньше фигурки исходила какая-то пронзительная незащищенность. Сердце у меня сжалось от боли. Я помахал Федору Александровичу рукой. И тут он впервые за время встречи неожиданно улыбнулся своей прекрасной абрамовской улыбкой и тоже приветливо помахал мне рукой.

Больше живым я его не видел...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Виктор Соснора. Возвращение к морю. Л.: Советский писатель, 1989.

Каждый из предыдущих стихотворных сборников В. Сосноры оставлял впечатление недосказанности. Элементы эстетики герметизма, возникавшие из-за темноты поэтической речи, стремящейся к тождеству голоса и логоса, усиливались еще вследствие неполноты текстов, издательских экзекуций. Восьмая книга — пожалуй, наиболее цельная, выстроенная (может быть, наименее разрушенная). Если в вольных аллюзиях начала 60-х мир «Слова о полку Игореве» переосмысливался ради выявления героико-романтической традиции в противоположность господствовавшим тогда ложноклассическим канонам, то позже именно романтические мотивы Лермонтова, Блока, Маяковского, Пастернака иронически (порой даже ожесточенно) снижаются. Лирика яростно выворачивается наизнанку в откровенной пародии. Изменение функции литературного приема отражает стремление вырваться из «грязи грез», из замкнутого круга поисков гармонии.

Аналогичную эволюцию претерпевает один из лейтмотивов поэзии В. Сосноры — обретение дома. В молодости казалось, что он там, где «радовалась радиола». Но неизбежное разочарование, отчаяние: «посмешище — любой людской уют», одномерное отрицание мира «золота и зла» преодолеваются, разрешаясь на совершенно ином уровне, ибо дом — не «храм химерный», а «остров... где око зрит одно лишь — океан». Море — синоним мира в системе Сосноры, образ, объединяющий пучину и простор, трагедию и свободу. Стихия, безграничная и беспощадная — это и есть жизнь, история. В раннем, периода бури и натиска, призыве: «Греби, товарищ!» — был вызов судьбе. Теперь, признавая со смиренным достоинством: «Человечек — личинка, вйтая в венах алфавитом любви», поэт отправляется в плавание в ином качестве — «искоркой из бездны», мгновенной вспышкой пронзая непроницаемую мглу времени и пространства.

А. ШОР

Русская поэзия детям. Вступительная статья, составление, подготовка текста, биографические справки и примечания Е. О. Путиловой. «Библиотека поэта», Большая серия, Л.: 1989.

— А, попалась, птичка, стой! Не уйдешь из сети; не расстанемся с тобой ни за что на свете!

Будущие народовольцы, будущие большевики и меньшевики, будущие комиссары, эмигранты и лагерники становились в круг, хором скандируя приведенные строки А. А. Пчельниковой (Августы Андреевны Цейдлер). Птичка умоляла отпустить ее. Хор напоминал о сопряженных со свободой опасностях. Птичка не поддавалась: «Верю, детки; но для нас вредны ваши ласки: с них закрыла бы как раз я навеки глазки»...

На протяжении ряда столетий,— до середины прошлого — русскую детвору развлекали и убаюкивали преимущественно изделиями народной фантазии. Отмена крепостного права упразднила Арину Родионовну как социальный тип, и во многих дворянских и разночинских семействах воспитанием малышей вынуждены были заняться их собственные мамаши. На первых порах дамам пришлось несладко — не хватало текстов, способных заместить отринутый фольклор: поучительных, благозвучных и благонравных. Для удовлетворения такой общественной потребности предприимчивые люди стали издавать журналы с задушевными названиями, а люди, склонные обрабатывать стихами или прозой умилительные сюжеты, стали в этих журналах печататься. Крупные писатели сочиняли для детей редко (и не всегда удачно).

Проявив трудно вообразимое упорство, Е. О. Путилова изучила стихотворные опусы, помещенные в подобных изданиях, отобрала наиболее доброкачественные и типичные. Специалистам эта антология здорово пригодится. Изобретатели викторин тоже найдут себе обильную поживу. Кто, спрашивается, написал: «Дети! В школу собирайтесь, петушок пропел давно»? Известный педагог Л. Н. Модзалевский. Кто сочинил: «Завтра! завтра! не сегодня — так ленивцы говорят»? Б. М. Федоров (между прочим — внештатный сотрудник Третьего отделения). Кто является автором бессмертного стишка: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять»? Представьте, был такой автор, и было у него шеститомное (неполное) собрание сочинений, и все они забыты навсегда, как и он сам (Миллер — его фамилия), а шесть строчек, отшлифованные миллионами детских голосов, остались до скончания русского языка...

От «Птички» тоже уцелела только первая строфа. Никто не помнит, как там дальше. Мальчики и девочки, которым она внушала гуманные чувства, стали взрослыми, а потом умерли, многое претерпев. А кончалась игра великодушным восклицанием хора: «Правда, правда! Птичка, ты не снесешь неволи... Ну, так Бог с тобой — лети и живи на воле!»

С. ЛУРЬЕ

Александр Морозов. Девять ступенек в небытие. «Волга», 1989, № 1—4.

Художники говорят: труднее всего писать самого себя. А. Морозов написал о себе, от первого лица, под своим именем, сюжет его горькой повести от первой до последней строки «придуман» жизнью. О том, что было бы с этой книгой,— пронзительной и страшной — пять, десять, двадцать лет назад, догадаться нетрудно: скорее всего она была бы вычеркнута из жизни так же, как сорок лет назад был вычеркнут из числа людей ее автор.

Если об одном лагерном дне крестьянина Ивана Денисовича Шухова с потрясающей силой рассказал писатель А. Солженицын, то у А. Морозова Иван Денисович рассказывает о себе сам: автор «Девяти ступенек в небытие» по своей индивидуальной и социальной сути и есть тот самый Иван Денисович — один из миллионов. Его, восемнадцатилетнего крестьянского парня, курсанта военного училища, арестовали 10 ноября сорок второго года: в довоенном дневнике он «выражал сомнения в возможности длительного мира между коммунистами и фашистами», а 2 июня пятьдесят первого он услышал слова: «ты свободен!». Между этими датами — изощренные издевательства, изуверские побои, каждодневные, непрекращающиеся пытки: пытки голодом, пытки морозом, пытки колымским каторжным трудом. Потрясает не только то, как он, Александр Григорьевич Морозов, пережил все это и выжил, но — как смог он пережить все это в т о р и ч н о, когда писал свою книгу, ибо воспоминания его не просто предельно честны, откровенны и искренни, они еще и беспощадны в своей обнаженности, беспощадны к их герою, то есть к автору, то есть к самому себе.

За пять последних лет с печатных страниц на нас обрушилось вдруг столько стонов и слез, столько страданий и смертей, что многим невмоготу уже читать об этом еще, и снова, и вновь. И все же, чтобы выйти из неверия в себя и лучшую жизнь, чтобы не допустить впредь и уберечь потомков наших от «танталовых мук» и «варфоломеевских ночей», нам, как воздух, необходимы скорбные и в высшей степени гуманные произведения В. Гроссмана и А. Солженицына, В. Дудинцева и В. Шаламова, Л. Чуковской и Е. Гинзбург, А. Приставкина и А. Жигулина, В. Тендрякова и Ю. Домбровского. И А. Морозова.

Б. ДАВЫДОВ

М. Веллер. Разбиватель сердец. Ээсти раамат, Таллинн, 1988.

Помним, Алеша Карамазов призывал «жизнь полюбить больше, чем смысл ее». Но герои прозы М. Веллера одурели уже от этой жизни, лишенной признаков смысла, похожей на «длинное недоразумение между роддомом и кладбищем». Пытаясь заткнуть дыру обыденности, принимаются они ставить цели, строить планы и желать, желать из последних сил: «Что бы я сделал, если бы все мог?.. А чего ты хочешь? Денег, тряпок, девочек, веселья? Я хочу прожить все жизни, увидеть все страны, вкусить все времена...»

«Хочу вкусить...» Старая песня: смысл есть обладание (оно же — счастье). Тут-то и должен явиться черт. Он подскажет начинающему дон-жуану, как избавиться от комплекса неполноценности, он поведет к чинам и славе очередного кандидата в наполеоны. Вот он стоит уже за спиной бодрых технократов-фаустианцев... Помянуты в книге и Мефистофель, и Люцифер.

Результат известен. В названиях веллеровских вещей — парадигма склонения небытия: «Ничего не происходит», «Ни о чем», «Карьера в никуда». Пустота умножается, ноль возводится в квадрат. Вопрос о счастье — квадратура круга. «Обычно это круг длиной в жизнь»,— меланхолично замечает один из героев.

В том же кругу пребывает и автор. Он знает это и демонстративно завивает свою книгу колечком. «Он был из тех, кто идет до конца во всем,— сказано на первых страницах об одном писателе,— в конце концов он в своем неотклонимом движении всегда заходил слишком далеко и оказывался в пустоте». Прокрутив навязчивый сюжет несколько раз, автор произносит итоговый афоризм: «Кушают лошади сено и овес, впадает Волга в Каспийское море». От перемены порядка слов смысла не прибавляется. Чеховская скука безнадежнее достоевского отчаяния. Скука литературных прецедентов.

«Разбиватель сердец» — название обдуманное. Это не «про любовь» — про убийство жизни, когда содержимое принимают за содержание. Авторская ирония очевидна — она в грамматике.

Художник иронию уловил. На обложке красиво рассыпаны предметы природы и цивилизации. Зубная щетка. Зажигалка. Засохшая морская звезда. Раковины моллюсков (пустые). Бритвенные принадлежности. Салфетка, на ней след крови — с подбородка. Еще кое-какие мелочи.

Л. ДУБШАН



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

С. КИБАЛЬНИК

«ИМЯ ПАЧЕ, НЕЖЕЛИ ИСТОРИЯ»

К 750-летию Невской битвы

— Где была Невская битва? Конечно, знаю. На Чудском озере.

Такое, разумеется, услышишь не каждый день, но едва ли не реже встречается и точный ответ. Петербуржцу такое неизвинительно. Ведь не об очередной баталии в бесчисленном ряду ей подобных речь, но о событии исторического значения и символического смысла. Еще в петровские времена значение и смысл эти своеобычным велеречием гомилетики формулировал вице-президент Синода, архиепископ Новгородский Феофан Прокопович. Князь Александр Ярославич, возглашал он, «при Неве вознерадив о житии своем, и на кровавую смерть за целость государства своего устроив себе, благословенным же оружием умертвив смертоносного супостата, отродил Россию, и сия ее члены, Ингрию, глаголю, и Карелию, уже тогда отсещися имевшие, удержал и утвердил в теле отечества своего, и прозван быв Александр Невский, свидетельствует и доселе, яко Нева есть российская».

В самом деле, если задаться вопросом, откуда есть пошел город Петербург, то в ряду событий, предвестивших его появление спустя столетия, не последнее место должна занять и Невская битва, происшедшая, кстати сказать, в месте впадения в Неву реки Ижоры, неподалеку от нынешнего поселка Усть-Ижора. Благодаря этой победе берега Невы и Финского залива, то самое окно в Европу, которое впоследствии заново будет прорубать Петр Великий, останутся за Новгородским княжеством и на мрачные столетия Ордынского гнета. Панегиристы петровских времен получат тем самым основания провещать о Северной войне как о возвращении «к правилному наследию» «неправедно завладенных порубежным народом свейским государства Российского страны и градов» и о «древле наследственно Российскому скипетру подлежащей стране Ижорской». Но в сознании современного человека блеск Невского триумфа не случайно оказался как бы заслонен памятью о Ледовом побоище. Тому причиной не только с детства отпечатавшиеся в сознании кадры фильма Сергея Эйзенштейна, прошедшие перед нашими глазами под чудодейственные звуки прокофьевской кантаты, но и реальная историческая тьма, покрывающая это святое для каждого петербуржца событие. Подлинных сведений о нем дошло до нас немного, и по этому поводу цитированный выше Феофан справедливо заметил, что виктория Невская для нас скорее название, чем история. Однако само имя это и в особенности то, что от него новгородский князь Александр Ярославич, предводительствовавший русскими войсками, прозвание свое получил, уже о многом говорит: «и аще победы сея история краткая и вельми необстоятельная, и имя паче, нежели история, яко от века онаго невелеричиваго до нас пришла, обаче мощно по сему знать дела того величество, что победитель Александр от реки сея, при которой победил, новое себе приобрел прозвание, Александр Невский нареченный... Но и се известно, яко победители, иже от мест победительных, или народов побежденных заимствовали себе прозаание (якоже бе обычай у древних римлян) не за некое легкое с неприятелем сражение, но за многоподвижный бой, и за полную и великую викторию таковая прозвания куповали себе: то и наш Александр не могл бы прозван быти Невский, разве за такоаую при Неве победу, которая, яко неприятелю совершенное бедство, тако России совершенное беспечалие подала». Как бы то ни было, но немногочисленность исторических данных об этой баталии — а в шведских источниках они отсутствуют вовсе, ибо летописей там не вели — приводила иных наших северных коллег даже к полному отрицанию исторической реальности Невской битвы. Но не в обиду им будь сказано, скорее всего причина тому и в непрестижности такого факта для истории шведской: ведь замечено же панегиристом по праву, что как России совершенное бес-

печалие, так неприятелю совершенное бедство битва та подала.

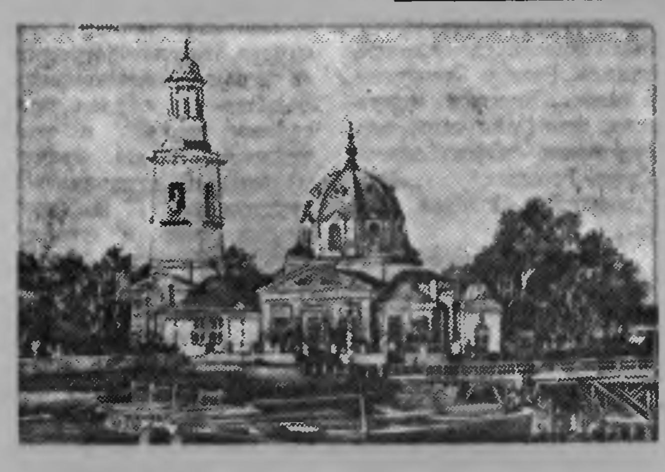
Великие события, подобные Невской битве, часто так обрастают легендами, что под их пеленой мало что удается разглядеть подлинно бывшего. В древнерусское «Житие Александра Невского» таких легенд и литературных домыслов вошло немало. Довериться ему простодушно, так и причиной похода шведов зависть их короля к небывалым достоинствам князя Новгородского была, и как в «Илиаде» Гомеровой античные боги грекам, так святые князья Борис и Глеб в битве той новгородцам помогали, и князь Александр «самому королю възложи печать на лице острым своим копием». Многие вымыслы эти, чисто литературные, в традицию освещения битвы, однако, вошли прочно. И не только благодаря доверчивости историков наших, начиная Карамзиным и Соловьевым и кончая нынешними многими, но и под воздействием художественного изображения баталии в живописи и литературе. Так если уж лучшие наши историки поединку Александра с Биргером верили, то уж Николаю Рериху, написавшему в 1904 году «Бой Александра Невского с ярлом Биргером», это и подавно простительно. Только не был знаменитый основатель Стокгольма в тот год еще ярлом, да и имя его в одном из списков «Жития» скорее всего не что иное, как позднейшая интерполяция. Впрочем, с легкой руки В. Яна и А. Югова о битве Невской и не такие домыслы распространение получили.

А было так. Воспользовавшись ослабленным положением Руси, испытавшей в 1238—1240 годах ужасы татаро-монгольского нашествия, летом 1240 года Швеция, соперничавшая многие столетия с Новгородом из-за влияния на финские племена сумь и емь, на Ижорскую землю и Карелию, задумала одним ударом решить давний спор в свою пользу. Морское ополчение шведского государства — ледунг, скорее всего вместе с отрядами племени сумь и, вероятно, под предводительством ярла, правителя страны, которым в то время был Ульф Фаси, на многочисленных кораблях отправилось во владения Новгородского княжества. Через Финский залив шведы вошли в Неву, проплыли до впадения в нее реки Ижоры и там, по-видимому, войдя в Ижору, остановились на отдых, высадившись, по всей вероятности, на правом берегу реки. Во время передвижения шведское войско заметила морская стража новгородцев, состоявшая из живших на этой земле ижорян. Один из вождей племени, «старейшина земли Ижорской», дал знать об этом в Новгород. По-видимому, «свеи», как нарекает врагов летописец, шли на новгородскую крепость Ладогу. Желая предотвратить нападение на крепость, Александр не стал дожидаться помощи от отца, великого князя Ярослава, «сидевшего» во Владимире, но «не умедли нимало, с Новгородци и с Ладожаны приде на ня». 15 июля 1240 года — было это воскресенье — в шестом часу вечера дружина Александра неожиданно напала на шведский береговой лагерь, застав противника врасплох. Пеший отряд новгородцев под началом новгородца Меши «натече на корабли и погуби 3 корабли». Конница же новгородская атаковала шведский лагерь. Нападение новгородцев было так неожиданно, что шведы не выдержали натиска и были разбиты; лишь немногим удалось спастись. Потери шведов были велики: «ту убиен бысть воевода их, именем Спиридон, а инии творяху (говорили.— *С. К.*) яко и пискуп (епископ.— *С. К.*) убьен бысть, ту же и множество много их паде; и накладаша корабля два вятших муж, преже себе пустиша и к морю, а прок их ископавше яму вметаша в ню без числа, а инии мнози язвьни быша; и в ту нощь не дождавше света понеделника, посрамлени отъидоша». Новгородцы же и ладожане потеряли всего около двадцати человек.

Была ли победа та и в самом деле блистательна и необыкновенна или же мы об этом лишь по склонности к самовеличанию говорим? Что разбили шведов, так, строго говоря, в этом ничего небывалого нет: их и раньше на русской земле бивали. Достаточно вспомнить хотя бы события 1164 года. «В лето 6672,— читаем мы в Новгородской первой летописи старшего извода.— Придоша Свье под Ладугу, и пожьгоша ладожане хоромы своя, а сами затворишася в граде с посадникомъ с Нежатою, а по кязя послаша и по новгородце. Они же приступиша под город в суботу, и не успеша ничтоже к граду нъ большю рану въсприяшя; и отступиша в реку Воронай. Пятый же день приспе князь Святослав с Новгородьци с посадникомъ Захариею, и наворотиша на ня, месяца маия в 28, на святого Еладия, в четвьрток в час 5 дни; и победиша я божиею помощью, овы иссекоша, а иныя изимаша: пришли бо бяху в полушестадьсят шнек, изьмаша 43 шнек; а мало их убежаша, и ти язвьни (раненые.— *С. К.*)». Судя по результатам, та во многом сходная с Невской победа в устье речки Вороньей была даже более значительной. Блистательность баталии Невской в том, что шведы не были допущены до Ладоги и не имели возможности даже начать ее осаду. Было же Александру только еще двадцать лет, и была то его первая

самостоятельная битва (на битву у Вороньей новгородцев вел опытный Святослав).

Вдвойне ценна победа Александра, что одержана в трудное время для Руси, когда она, говоря высоким языком панегириста княжеского, была «весьма отчаянному кораблю подобна: от единыя страны насильствие татарское, от другой нападение свейское, яко ветры жестокии, а внутрь отечества, от мимошедших междоусобий и несогласий, повреждение силы, аки великая скважня». «Мощно же знати о слышателие! — восклицает здесь преподобный Феофан,— яко не спал кормчий сей, егда в таком волнении корабль цел сохранил». Ведь всего спустя месяц после похода шведского двинулись на Псков рыцари Ливонского ордена, и если бы со шведами так быстро управиться не удалось, то, как знать, удалось ли бы дать отпор немцам, спустя два года разгромленным тем же Александром на льду Чудского озера.



Церковь Александра Невского.
Фото начала века

Именно благодаря победе при Неве Александру Невскому была отведена роль своего рода ангела-хранителя новой столицы. Славный устроитель Петербурга и «льва свейского» победитель, столько лет и сил употребивший на возврат Ижорской земли, отторгнутой от России в 1617 году, естественно, вспомнил об Александре Невском, когда зашла речь о духовном покровителе и защитнике нового города. В память всегдашнего охранителя здешних пределов российских от нападения шведов на месте победы его блистательной решено было построить монастырь. Но вот тут-то, по-видимому, казус забавный произошел. Стояла по Черной речке близ Невы чухонская деревенька Вихтули, и ее-то первоначальные описатели местности Петербурга отметили как Виктори, начав согласно туземным преданиям приурочивать к ней место знаменитой древней виктории. Здесь и был воздвигнут монастырь в честь святого благоверного князя Александра, сюда были перенесены из Богородичного Рождественского монастыря во Владимире его мощи. Церемония перенесения мощей, помещенных в великолепную серебряную раку в устроенном специально для нее огромном ковчеге, проходила особенно торжественно и имела символический смысл. Петр I во что бы то ни стало хотел, чтобы рака поспела в Петербург к 30 августа, дню заключения Ништадтского мира, увенчавшего победу России над Швецией, но к этому сроку доставить ее не успели, и освящение церкви было отложено на год: мощи терпеливо дожидались своего часа в Шлиссельбурге. Только 30 августа 1724 года рака была торжественно внесена в монастырь, причем галеру со святыми мощами встречал весь Невский флот. Государь сам стоял у руля галеры, а сановники его были на веслах. Великий преобразитель русской земли и здесь остался верен себе. Он переменил день чествования святого благоверного князя с 23 ноября (день кончины Александра Невского) на 30 августа, то есть день заключения мира со шведами, ставший одновременно и днем перенесения святых мощей. На этот день была составлена особая служба, в которой Александр Невский провозглашался «надеждой нашей и спасением, и непобедимой победой». «Веселися, Ижорская земля и вся Российская страна,— торжественно возглашалось по службе сей,— Варяжское море восплещи руками, Нево реки распространи своя струи: се бо князь твой и владыка от ига свейского тя свободивый, торжествует во граде божием, его же веселят речная устремления».

Существует любопытное предание, исходившее, несомненно, из оппозиционных Петру кругов: святой князь будто бы не пожелал покоиться в лавре, рака его при вскрытии найдена была пустою, а мощи оказались на старом месте во Владимире. Когда это случилось в третий раз, то Петр I после очередного водворения мощей на место, открыв раку, увидел, что из нее поднялось пламя. Тогда государь запер раку на ключ, который бросил в Неву, а с тех пор мощи под спудом и неизвестно где: в Петербурге или во Владимире. В наше вре-

мя действительно трудно было сказать, где они обретались. Рака в Эрмитаже, а мощи... Впрочем, минувшим летом они вновь торжественно перенесены в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры...

Подлинное место, где происходила Невская битва, было отмечено только в середине XIX века. На правом берегу Ижоры у впадения ее в Неву воздвигнуто мемориальное здание церкви Александра Невского. В 1953 году вблизи этого места была установлена гранитная стела с памятной надписью.

Внести свой вклад в увековечивание памяти Александра Невского стремится и наша современность. Задолго до юбилея деятельное участие в этом приняли члены неформального объединения под руководством Г. И. Трубникова, так и названного — «Невская битва». Именно они добились решения о создании в Усть-Ижоре историко-культурного заповедника. В настоящее время принят его проект, уже не силами одной «Невской битвы», но и при непосредственной помощи треста «Леноблреставрация» восстанавливается церковь, к середине восьмидесятых годов вконец запущенная и полуразрушенная. К сожалению, осуществление проекта в полном объеме к 750-летию прославленной победы не планируется. А ведь празднование в память о столь значительном событии в истории русского государства должно бы носить всесоюзный характер. Хотелось бы надеяться также на то, что предстоящее событие послужит толчком к созданию в Усть-Ижоре условий для проведения археологических раскопок на территории всего предполагаемого района сражения. И может быть, тогда знаменитая древняя баталия станет для нас «история паче, нежели имя».

Раздумья

Олесь БЕРДНИК

ПАДЕНИЕ ЛЮЦИФЕРА

Писатель-фантаст о космоистории Солнечной системы

Перед человеком всегда стояла проблема исторической *памяти.* Кто ею пренебрегает, тот, как резонно и грозно предупреждает Чингиз Айтматов в романе «И дольше века длится день», становится манкуртом, беспамятным биороботом, способным лишь выполнять чужие приказы. Но не меньше, а может, и больше, нужна людям *космоисторическая память.* Кто мы? Откуда? Куда? Что такое Земля, Солнце, Галактика, живые существа на планете? Кто такие Люди Мыслящие, способные стать геологической и космической силой, как говорил В. Вернадский? И куда может быть приложена эта *сила?*

Автору этих строк могут возразить, что прадеды не оставили нам космоисторических воспоминаний и манускриптов, а потому и вспоминать нечего, и собственно космоистория начинается только теперь, когда астрономия, космогония и космология вооружены самой полной технологией исследования мироздания.

Такое возражение по меньшей мере наивно. Пращуры глубоко и серьезно задумывались над происхождением и судьбой мира. И хотя их сказания, мифы, космогонические конструкции кажутся нам детскими, примитивными, ненаучными, следует самым серьезным образом прислушаться, присмотреться к знакам духовной алгебры, отчеканенным на скрижалях веков. Кто внимательно изучал древние сказки, легенды, мифы Эллады и Ариаварта Индии, кодексы майя и мистерии Египта, тот отметил: все религиозные, мистические, сказочные источники дружно твердят о некоей космической опасности и необходимости спасения. Такое единодушие настораживает и заставляет прочитать древние иероглифы духа, применяя к ним ключ современного анализа и синтеза. Не следует игнорировать даже самую фантастическую идею предшественников, если она несет в себе хоть искру серьезной догадки и предупреждения. Космос демонстрирует множество катастроф, и какая теория вероятностей гарантирует нам безопасность в то или иное мгновение бытия человечества? Поэтому будем внимательны и не пропустим тревожного сигнала беды, зажженного предками на горизонте прошлого.

Космоистория Солнечной Семьи еще очень и очень таинственна. Существует множество домыслов, гипотез, но твердо установленной точки зрения на родословную нашей планетарной обители нет.

Астробиология, родоначальником которой был наш великий ученый Александр Чижевский, изучает тесные связи земной биосферы с динамикой Солнца и звездного космоса. Живая ткань планеты чутко реагирует на каждый, даже самый малый, энерговсплеск в далеких мирах. Так называемые периоды бурного или спокойного Солнца запускают маховик эпидемий либо пандемий на Земле, влияют на здоровье, урожаи, ценообразование, психонастроения — то есть практически на все. Накопленная информация дает возможность сделать вывод, что жизнь и разум мириадами нитей связаны с Мегамиром, с Безмерностью. Гелиобиология неопровержимо доказала: ритмы солнечной активности четко фиксируются растительным миром планеты. Однако добытый экспериментальный материал не только не развязал давние узы, но и напутал множество других. Например, возникает вопрос: почему максимум солнечной активности жизнетворчески влияет на флору и всецело негативно, либо разрушительно,— на человека? Если жизнь вообще и мыслящее существо в частности возникли в результате деятельности Солнца и основой генезиса биосферы является лучистая динамика нашего светила, то почему некоторые фазы космических ураганов угнетают нас? Не утратило ли человечество где-то в прошлом высокое соответствие космическим процессам и теперь вынуждено прятаться под защиту строений, скафандров, больниц от требовательного потока материнского источника?

И еще один вопрос: почему теперь на Земле отсутствует какое бы то ни было жизнетворчество? Ученые, имея в своем распоряжении тонкие методы исследований и анализа, не выявили еще ни одного факта перехода «мертвого» в «живое», неорганических структур в какой-нибудь, пусть самый примитивный, организм. В чем дело? Солнце утратило свою детородную потенцию? Или повинно материнское лоно праматери Геи (Земли)?

Страницы научно-фантастических книг во всем мире переполнены разнообразными домыслами относительно происхождения жизни. Кто твердит, что витальные споры занесены через бездны космических просторов из иных миров, кто убеждает, что биосферный росток привит планете интродукторами из высокоразвитых цивилизаций. Есть и последователи известного английского астрофизика Джинса, уверяющие, что жизнь является «вырождением» материи, ее болезнью, поражающей субстанцию в периоды определенных неблагоприятных ситуаций.

Автор этих строк сторонник той концепции, которая говорит о стихийности, естественности, закономерности зарождения биосферы, как только для этого возникают благоприятные астроусловия и имеется соответствующий энергопотенциал, критическая витальная масса вещества. Эта критическая масса не может быть меньшей, чем, скажем, планета средней величины. Скорее всего, Земля была минимальным «инкубатором», в котором «звездная птица» могла «высидеть» своих птенцов, способных овладеть динамикой бытия и породить Разум. На таких планетах, как Марс или Меркурий, реакция жизнетворчества, быть может, и вспыхивала, но угасала, не имея достаточной массы «витального топлива».

Хорошо пишет об этом волнующем моменте французский ученый-эволюционист П. Тейяр де Шарден в книге «Феномен человека» (М., Наука, 1987): «Едва родившись, жизнь уже кишит». Именно — кишит! А это означает, что жизнь неотделима от материи, является ее *модусом,* ее закономерным проявлением на определенной ступени развития. В. Вернадский считал, что известная нам земная жизнь — только некоторая грань, отображение, искра вселенской жизни, имеющей бесконечное разнообразие, экзотичные формы которой могут развиваться и благоденствовать даже в атмосферах великих планет типа Юпитера, Сатурна, на поверхностях теплых инфразвезд, в глубинах водных планет, даже в хромосфере или фотосфере Солнца, звезд. Ясное дело, что говорить о контакте с такими проявлениями космической жизни пока что не приходится.

Однако вернемся к главному вопросу, который мы затронули: как начал работать земной «инкубатор», если он не функционирует теперь? Почему лоно планеты перестало плодоносить? Домыслы некоторых ученых, что жизнетворчество осуществляется, но уже существующая жизнь безжалостно уничтожает «новорожденных», чтобы сберечь свою суверенность первожителей, неправомерны. Эксперименты по поиску таких процессов ставились настолько чисто и корректно, что всякое сомнение отпадает: лоно Земли в эту эпоху не рождает детей.

Может быть, об этом знали и древние мудрецы, оставившие нам в Египте миф о расчленении Озириса вероломным братом Сетом, в Греции — миф об оскоплении Урана вероломным сыном Кроном.

Эхо доисторических событий донесло до нас известие о каких-то грандиозных космических катастрофах, потрясших мироздание и нашу колыбель Гею. Священные сказания разных народов и племен единодушно твердят о потопах, о битвах титанов и богов, девов и асуров, о грандиозных поединках перворожденного архангела Люцифера с армиями архистратига Михаила, после которых Повстанец, вместе с легионами ангелов, которые его поддерживали в мятеже против Творца, был сброшен в нижние

сферы и долгие века старается утвердить свою власть и преимущество над родом людским.

Попробуем расшифровать архаичные символы, чтобы понять, что же такое потрясло наших пращуров в минувшем. Какой завет передали они нам в мифе о прожорливом Кроне? И как могло случиться, что легендарный *Первородный Люцифер-Светоносец* — стал жутким *Князем Тьмы?* И почему он называется в древних традициях «Властелином мира сего», если он одолен силой Демиурга?

Мы допускаем, что в предысторическое время в звездном океме наши предки видели два великих светила: ближнее — Гелиос, Световид, Даждьбог, Сурья и отдаленное — Люцифер, Озирис, Рах, Страх, Семяр, Рай. Имеется много воспоминаний в мифичных источниках народов мира о таинственном светиле, которое в некое лихое время пропало навеки. Если реконструировать былую архитектонику нашей системы, то она будет иметь такой вид: известное нам Солнце и сестринская звезда Люцифер (Озирис) вместе со всеми планетами обращаются вокруг общего центра тяжести, причем то, отдаленное, светило имеет около десяти солнечных масс. Славяне берегли сказки о царстве Раха, Страха, Тарха, Рахави, Рахти, когда на небе можно было видеть не только багряный диск Ярила-Световида, но и радужное кольцо Семяра: такой поразительной красоты было другое светило, такая величественная радуга плыла в просторе каждый день, что пращуры по праву обозначили ее «семисолнечность», «семиярность».

В том же ключе читается легенда древних ариев о демоне Раху (снова тот же самый славянский Рах!), которому Вишну отрубил голову: тело дракона рассыпалось в беспредельности, а бессмертная голова осталась на небе, *периодически угрожая* Солнцу и Луне.

Без каких бы то ни было натяжек легенду можно прочитать так: два светила, как уже было сказано, вращаются вокруг общего центра тяжести, творя жизнь на своих планетах. Допустим, что в Солнечной Семье была еще одна гигантская планета, которую можно было бы назвать Прагеей. Она была больше Юпитера и излучала в инфраспектре. Очевидно, локализовалась эта полупланета-полузвезда там, где ныне пояс астероидов. Вокруг нее вращались спутники — настоящие планеты: Земля, Венера, Марс, Меркурий, еще, быть может, Луна. Потом что-то случилось: может, стихийная катастрофа (коллапс Люцифера, после которого он становится «Князем Тьмы», то есть Черной Дырой, выражаясь языком современных астрофизиков), а может, космическая война жителей Солнца (девов) с жителями Люцифера (асурами), отчего система демонов (Раху) утратила тело (заселенные планеты), а бессмертная голова (сколлапсованное светило) периодически сближается с Солнцем и потрясает планеты, вызывая на них катастрофы и даже угрожая «концом света», «огненной смертью» и так далее.

Во всяком случае, можно строить различные допущения, трактовать все эти мифы так или иначе, однако внутренняя логика абсолютно всех мировых сказаний приводит нас к представлению об ужасных космических катастрофах в минувшем. Немало современных исследований теоретиков настаивает на том, что Солнечная система не уравновешена, что ее лихорадит, что она еще недавно перенесла катаклизм. Кто из нас не знаком с гипотезой о гибели планеты Фаэтон? И речь идет не о фантастических домыслах, а о корректном научном анализе астрофизической ситуации Солнечной системы. Многие ученые отмечают также неестественность существования пары Земля — Луна, высказывая мысль, что наш спутник «приблудился» к планете в праисторическое время, когда Солнечная Семья переживала разруху.

Почему много планет и спутников вращается в направлении, противоположном вращению других тел? Почему ось планеты Уран наклонена набок, и он обегает Солнце под прямым углом к плоскости эклиптики? Почему Плутон со спутником Хароном имеют такую вытянутую орбиту — явно катастрофического происхождения?

И еще ряд вопросов, касающихся нашей колыбели — Земли.

Почему геологические пласты планеты располагаются таким образом, что о какой-нибудь «последовательности» нечего и говорить? Еще в 1839 году швейцарский геолог Арнольд Эшер обнародовал открытие, которое озадачило его самого. Выяснилось, что заснеженные пики Швейцарии сложены древними кристаллическими сланцами палеозоя, а под ними — в фундаменте гор — лежат гораздо более молодые осадочные породы мезозоя. Геологи не знали, что и думать. Самым удивительным было то, что вся эта «мешанина» не походила на катастрофическое перемешивание пород: пласты лежали один над другим почти горизонтально, только последовательность была «ненормальна» — молодые юрские сланцы внизу, а более старые пермские песчаники — наверху! Какие озорные титаны переложили их с ног на голову, аккуратно перемешав геохронологию на загадку ученым девятнадцатого—двадцатого столетий?

Или куда делись сотни миллионов лет из геохронологических пластов планеты? Академик Б. Соколов пишет («Знание — сила», 1981, № 2): «Отражением времени в геологии являются материальные документы ее истории: сменяющиеся толщи горных пород, остатки органической жизни, тектонические структуры и так далее. Однако... любая точка и даже крупный сегмент стратосферы в пределах современных материков обнаруживает невосполнимые, измеряемые нередко сотнями миллионов лет пробелы в региональном течении времени». Отсюда следует вывод: «Непрерывность геологического времени мы можем только конструировать».

Еще вопросы, на которые может бодро ответить школьник, но которые заставят задуматься серьезных эволюционистов: что общего между мхами, папоротниками, хвощами, плаунами и голосеменными, хвойными растениями? Как произошел скачок от одних к другим? Или какая диковинная мутация должна была произойти, чтобы из голосеменных возникли покрытосеменные — цветочные? То же самое с переходом от одного грандиозного биоцикла к другому: первичные, кишечнополостные, рыбы, земноводные, ящеры, млекопитающие, человек. Разве лишь остается перефразировать слова академика Б. Соколова: «Последовательность биоэволюции мы можем только конструировать». Рационально объяснить переход от одного биоцикла к следующему наука не в силах. Когда рассматриваешь факты палеоятологии и современной зоологии и ботаники, то планеты уподобляются пресловутому Ноеву ковчегу, где «всякой твари по паре».

Почему континенты такие устойчивые, почему они дрожат и плывут в пластической субстанции мантии? Неужели недостаточно было миллиардов лет, чтобы им уравновеситься?

Короче, все эти и множество других вопросов требуют ответа, который бы синтезировал загадки бытия в непротиворечивой гипотезе, какой бы сверхфантастичной она ни казалась. Хотя и представляется, что эти загадки имеют разную природу и не могут быть приведены к общей причине, постараемся доказать, что это не так.

Обратимся снова к допущениям, которых мы коснулись, и попробуем возобновить течение космических событий в соответствии с нашей гипотезой. Итак, жизнетворчество проявлялось тогда, когда система была «нормальной парой», то есть существовала астроситуация, при которой энергетический потенциал двух светил был достаточен для запуска «цепной реакции» Жизни.

Озирис (или Люцифер) был радужным гигантом, превышавшим массой Гелиос в десятки раз. Пара вращалась вокруг общего центра тяжести, а если смотреть практически, то Солнечная система кружилась вокруг Люцифера — то есть он был «Властелином, Князем мира сего» (и остается им поныне, как утверждает традиция). Кроме четырех больших планет, известных нам (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), существовала еще одна — там, где теперь рассыпано поле астероидов, этих обломков погибшего мира. Эта планета (Прагея) имела четыре главных спутника — Венеру, Меркурий, Марс и нашу Землю. Прагея была инфразвездой, и в инкубаторе, в теплице, сотворенной совокупным влиянием двух светил и материнской суперпланеты, на всех спутниках возникала разнообразная жизнь, господствовали субтропики, вечное лето. Витальная ситуация была идеальной. *Жизнь кишела.* Прагея, объединяя свою субстанциональную потенцию с отцовским влиянием Урана (пара светил и Звездный Космос), порождала мириады новых, небывалых форм, природа стихийно экспериментировала, а появление разумных существ — Титанов жизненного мира — знаменовало эпоху космического рождения, выхода Жизни в беспредельность.

Однако, по-видимому, мыслящие существа уранического мира не сумели развязать узлы бытия (хотя, наверное, и хотели) и поспешили их разрубить, о чем свидетельствует страшная космическая катастрофа. Радужное светило, сияющий Люцифер-Озирис погас. Сколлапсировался, говорят современные физики. Стал Черной Дырой, или, как твердят мистические источники, превратился в Князя Тьмы. Расчленен черным Сетом, уверяют египетские манускрипты.

Перед коллапсом Люцифер вспыхнул сверхновой звездой. В сердце двойной Солнечной системы возник апокалипсический провал. Гелиос с планетами всколыхнулся от ужасного космического вихря: он тоже вспыхнул и скинул свою багряную оболочку, превратившись в желтого карлика. Прагея распалась на части, попав в течение гравитационного урагана. Обломки стали спутниками больших планет, остатки проглотило Солнце, которое после катаклизма стало в сознании людей Фебом-Аполлоном, то есть Губителем: наверное, радиационный спектр изменился в негативном ключе и стал пагубно влиять на жизненные формы.

Спутники Прагеи остались сиротами и долго болтались в недрах системы, пока не уравновесились на нынешних орбитах. Именно тогда наша новая Гея—Земля приобрела себе спутника — Луну. Тысячелетиями она была окутана густыми тучами, сотрясалась в ужасных конвульсиях и вулканических извержениях. Мыслящие существа, отброшенные на сотни веков назад, деградировали, попав в экстремальные условия холода, лишений, утратив былой гнозис и эволюционные возможности. Жизнетворчество Геи угасло, людям нужно было приспосабливаться к совсем иному миру. От материнской эпохи остались только сказания и мифы о легендарной звездной отчизне, где господствует вечное лето и живут вечно юные титаны.

Примем во внимание, что такой поверхностный рассказ бессилен отразить хотя бы приблизительно те катастрофические события, которые произошли после «падения

Люфицера», когда «Князь Тьмы» стянул с космического пространства на Землю «третью часть звезд». Некоторые рациональные исследователи мифов считают, что речь идет об обильных «звездопадах», метеорных дождях, которые на протяжении тысяч и тысяч лет выпадали на Землю и другие планеты, покрывая их поверхность мириадами оспин. Автор этих строк верит, что под звездами древние мудрецы имели в виду мыслящих существ, которые с высокого космического состояния пали до уровня обитателей убогой планеты, лишенные титанических сил и знаний. Утратив свои космические форпосты, остатки титанических существ встали перед дилеммой: полностью исчезнуть из книги бытия, поскольку одинокое Солнце и ущербные планеты уже бессильны были давать им былую энергию, либо начать эволюционный цикл в телах приматов, лучше приспособленных к жизни на новой Земле. И они избрали второй путь, пока еще в их руках были остатки космической силы.

Планета Земля в то время оказалась в самом благоприятном месте, была ориентирована относительно Солнца так, что могла дать приют разным живым существам, от теплолюбивых до холодолюбивых. Планетотехники титанов перенесли на Землю, которая была в основном океанической, водной планетой, целые материки из иных миров, располагая их часто без всякой последовательности. Так нарушилась генохронология, о чем мы упоминали, так очутились в разных местах света гигантские кладбища ящеров и других великанов докатастрофического цикла. Разнообразие форм фауны и флоры также объясняется этими причинами. Короче, титаны решили спасти на земном «ковчеге» все, что можно — от мотыльков до генофонда космических жителей, который был привит первым племенам планеты.

Шаг слишком рискованный: навязать еще духовно не сформированным приматам алгоритм космического гнозиса,— но у обреченных жителей мира Урана выбора не было: течение хроноса-времени властно вступало в свои права, находки разума нужно было сберечь от прожорливого бога смерти, а это можно было сделать лишь передачей астафеты грядущим поколениям.

Не является ли поражающий образ Прометея символом титанов, которые передали огонь разума, космической астафеты людям Земли и тем самым обрекли самих себя на миллионнолетнее пребывание в планетарном инферно? Зевс-закон беспощаден: объединив себя с судьбою иных существ, мы уже вынуждены брать на себя и ответственность за их судьбу. Как говорит Экзюпери: мы в ответе за тех, кого приручили.

Но в чем же завет древних мудрецов, которые, как могли, передали нам знания титанов в символических образах? Что именно угрожает планете и мыслящим существам? О какой огненной смерти предупреждали пращуры?

Не следует забывать, что Люцифер погас, но остался «Князем мира сего». То есть Солнце с планетами вращается вокруг Черной Дыры, периодически сближаясь с нею. Не есть ли полный цикл обращения звездного купола (25 920 лет) результат этого явления? Современные астрономы трактуют такое обращение как «прецессию», покачивание Земли вокруг своей оси, но есть основание говорить об ином — о том, что Солнечная Семья по гигантской спирали кружит вокруг *невидимого центра*, и эта спираль *сужается*, в связи с чем Солнце каждые 2160 лет оказывается в ином знаке зодиака во время зимнего или летнего равноденствия. Не «всасывает» ли Солнечную систему страшная гравитационная яма? Не обречены ли мы барахтаться в паутине звездного монстра, пока он не поглотит нас во вневременную бездну?

Эллины оставили поражающий миф о Тартаре, в глубине которого навеки исчезали первые творения Урана, где замкнуты титаны и многорукие, многоголовые чудища прадавних эпох. Где находится Тартар? Что это такое?

Предки утверждали, что из Тартара выхода нет, что он окружен тремя кольцами неодолимых оград, что там господствует «тьма тьмы», а расстояние до него таково: если бросить молот с Земли, то он будет падать в Тартар девять дней и ночей. Проделав элементарные расчеты, получим расстояние более 150 миллиардов километров — то есть в 25 раз дальше, чем от Земли до Плутона.

И вот что интересно: в последние годы американский астроном Девидсон выдвинул идею о том, что на расстоянии более тысячи астрономических единиц (а. е. = 150 000 000 км — расстояние от Земли до Солнца) может находиться карликовая звезда, которую он предложил назвать Люцифером («Наука и религия», 1979, № 7). Удивительное совпадение! Идею парности Солнечной системы разрабатывают также советские ученые А. Сучков и Р. Селимбазаров («Природа», 1977, № 7); академик М. Марков твердит о существовании вблизи Солнца Черной Дыры, а футуролог Г. Гуревич даже уверен, что наша система находится в самой Черной Дыре.

Позднее космические корабли «Вояджеры» передали сенсационную информацию: на движение больших планет — Урана и Нептуна — влияет некое невидимое тело. Массу и орбиту его пока что рассчитать нельзя, надо еще собрать дополнительные данные и провести многократные исследования. Однако теоретики наперед конструируют новую архитектонику Солнечной Семьи, почти единодушно вводя в нее «сестру» Солнца и называя ее то Люцифером, то Немезидой (богиней мести). Считают, что периодическое сближение Солнца и Немезиды (Люцифера) вызывает горотворения, катастрофы и может даже быть причиной полного разрушения цивилизации планеты.

А в последние месяцы 1987 года научно-популярные журналы мира уведомляли об информации, полученной с кораблей «Пионер», которая снова подтверждает соображения теоретиков. Представители НАСА интерпретируют данные космических зондов однозначно: за границами известных нам планет имеется какое-то мощное тело, деформирующее орбиты спутников Солнца. Высказывается мысль, что невидимое тело является нейтринной звездой; кое-кто считает, что «сестра» Солнца — Черная Дыра.

Такая схема позволяет понять механику одиннадцатилетних циклов проявления бурной деятельности Солнца, рождений пятен, извержений мощных плазменных вихрей, магнитных бурь, а оттого — гроз на Земле, пандемий, эпидемий, усиленного роста деревьев и угнетающего влияния на здоровье человека. Мы знаем, что 11 лет — это период обращения Юпитера вокруг Солнца; замыкая кольцо, наша величайшая планета «дергает» гравитационный трос, которым связаны две звезды, что и будоражит динамику нашего светила.

Можно, конечно, сказать, что нагромождение ужасов — неблагодарное дело, лучше жить в покое и радоваться элегическому звездному небу, где плывет лирическая луна. Однако опыт человечества и тревога пращуров не дают нам времени для забытья и элегичности.

Во всяком случае, наука достигла такого уровня, что можно поставить перед собой задачу: обозначить координаты Черной Дыры, ее мощность, характеристики. Такое исследование поднимет космический гнозис на небывалый уровень. Мы поймем загадки времени и пространства и, может, выясним, что сама сущность хроноса-времени, в потоке которого мы рождаемся и умираем, является результатом погружения нашего космического региона в глубины Тартара, в звездный капкан.

В самом деле, загадка всеобъемлющего вращения тел — от микро до макро, всеобщей «спиновости», спиралевидного строения миров — до сих пор наукой не разгадана, даже не ставится вопрос об этом. А ответ может лежать на поверхности бытия; как говорил Тютчев — загадка природы в том, что в ней отсутствует какая бы то ни было загадка. И спин частиц и фотонов, и вращение планет или солнц, и спиральность галактик или ДНК, цветков подсолнечника и торнадо — все может являться многомерным следствием *деформации* нашего континуума под влиянием мощного насоса Черной Дыры. Да и не только нашей, так сказать, «семейной», а, возможно, целой иерархии гравитационных провалов; ведь научные журналы мира уже не раз сообщали о существовании Черной Дыры и в центре нашей Галактики, и в центрах иных звездных островов.

Такое допущение — не химерная игра разума. Космос демонстрирует нам множество примеров звездных катастроф. Солнечная система не исключение, как я уже упоминал, и не застрахована от каких бы то ни было катаклизмов. Возможно, бурное развитие науки и внезапный выход человека в Космос интенсифицируется самой биосферой, психогенами титанов, заложенными в нас, для радикальных мер по спасению Солнечной Семьи и жизни на ней? Что же может человечество сделать в этом направлении?

Прежде всего — точно обозначить свою астроситуацию. Разыскать невидимый спутник Солнца, который так ощутимо влияет на стабильность региона. Выявить существование угрозы или отсутствие ее.

Отбросим обвинения в эклектизме, ненаучности, в смешивании легенд с реальностью, в наивности и множестве других интеллектуальных грехов. Откинем страхи перед нападками ортодоксов и консерваторов. Задания, встающие перед мировой наукой и — шире — перед ноосферой человечества, требуют разрушения стереотипов ветхого «птолемеевского» мышления. Нужны новые и новые «коперниканские» революции, которые беспощадно разметут курятники эгоцентрических представлений и позволят овладеть крыльями космического мировоззрения.

Усилия нашей страны по установлению мира на Земле, братанию народов являются весьма символичными в грозный час катастрофической опасности термоядерной глобальной войны. Что может, что способна сделать планета, разорванная ураганами ненависти и взаимоисключающих тенденций? Ничего, кроме экологического и духовного самоуничтожения. А избрав путь единства и мира, предложенный нашей Отчизной, человечество способно будет объединить научные, технические и духовные потенции в общем потоке и реализовать свое космическое назначение — прорасти из временно-пространственного коллапса, из тысячелетнего инферно-ада во Вселенную.

Выйдя за пределы земной колыбели, неужели будем пугаться «сумасшедших» задач, обращая новые, чудоподобные возможности, полученные человечеством в эпоху

НТР, только на удовлетворение прагматичных, будничных потребностей? Это было бы страшной несоизмеримостью! Человек Мыслящий, который должен трансформироваться в Человека Мудрого, Человека Космического, не имеет права допускать пустой траты сил и потенций.

Космические возможности требуют космических задач. Готово ли человечество к этому?

Да, готово! Через все падения и неудачи, поверх всех сомнений, антагонизма и милитаризма человечество с болью нарождается в Новый Рассвет. Чем более величественной вырисовывается перспектива грядущих свершений и дерзаний Разума, тем быстрее мы сумеем остановить, одолеть вихри милитаризма, что подняли над Планетой ядерный меч.

Двадцать первое столетие может стать трамплином для могучего прыжка в титаническую эпоху. Оживление Луны, Марса, Венеры, крупных спутников, планет-гигантов. Построение «эфирных городов», о коих мечтал Циолковский (уже идет подготовка к этому). Колоссальные и точные эксперименты по изучению нашей звездной ситуации. Создание правдивой космоистории, которая позволит понять саму сущность назначения Человека.

Все просвещенные люди знают, что более 97 процентов наших умственных и творческих потенций заколлапсированы, пребывают в летаргическом состоянии. Почему? Не является ли это удивительной корреляцией с макрокосмическим состоянием системы? Ведь издавна мудрецы твердили, что Микромир Человека и Макромир Безмерности — тождественны. И, пробудившись к действию, воскресший титанический разум мыслящего существа станет катализатором воскресения целого космического региона, поможет Изиде-Природе воссоздать Эпоху Озириса — эпоху Целости и Космической гармонии.

Всякая дорога требует первого шага. А люди уже далеко не дети, которые впервые ступают за пределы колыбели. Ноосфера Земли достаточно взрослая, чтобы иметь достойные задания. Хотя гипотетический проект «Воскресения Озириса» и представляется на первый взгляд сверхутопичным, но трезвый разум дает прогноз: интенсификация знаний и технологии объединенного человечества, эволюционный резонанс всех духовных и генетических глубин позволят в конце XXI или начале XXII столетия «зажечь Радужную Звезду» — воссоздать жизнетворческую способность Матери-Земли и Отца-Космоса. И кто скажет — насколько более интенсивной станет земная эволюция, какая лавина благоприятных перемен подхватит человечество на динамичную волну трансмутации, чтобы вывести его во Всебытие?! Ибо таким, какие мы теперь — надо признать открыто и самокритично,— дорога в безмерность закрыта. Мы выходим в пространство в «консервных коробках» ракет и скафандров, и выводы из этого однозначны: Великий Космос, Глубинный Космос для человека современного типа недостижим, как недостижим полет для куколки, пока она не трансформируется в крылатого мотылька.

Вот почему человек дерзает овладеть течением самоэволюции, раскрыть собственные геноглубины, где дремлют титанические силы, достигнуть возможности самореализации, самораскрытия. Сумеем ли мы удержаться на высоте наших мифических предков, которые зовут построить мосты над разрушением и смертью, одолеть всепожирающего Крона, вернуть к жизни минувшие поколения, как о том мечтал гениальный русский мыслитель Н. Федоров — наставник Циолковского?! Если теперь испугаемся грандиозности проблемы, то утратим динамику актуального мгновения. Космотворческие идеи приходят своевременно, и горе тем, кто остается глух к их велению!

Как наши дети, внуки, правнуки осуществят завет титанов — мы можем только гадать: может, переселятся в «спокойный» регион Мегамира, сотворив армаду суперкосмических кораблей; может, наложат «пластырь» на Черную Дыру, запустив в глубину ее гравитационного провала какую-нибудь звезду, способную перекрыть грандиозную рану в ткани континуума и таким образом вернуть Люциферу его статус Наипрекраснейшего Светила в нашем небе.

Но мы уверены в одном: объединенный разум человечества одолеет древнюю растерзанность, одолеет апокалипсические видения «концов света», запрограммированные в минувшие века унижения и невежества, и сотворит Новую Землю и Новое Небо, где слова «смерть», «страшный суд», «война» и «зло» будут навеки вычеркнуты из словарей народов Матери-Геи.

Авторизованный перевод с украинского [1]
О. ДЬЯКОНОВОЙ

[1] На языке оригинала опубликовано в журнале «Всесвіт», 1987, № 12.

Вернисаж «Седьмой тетради»

А. ПЕТРОВ

ПОЭЗИЯ МАЛОЙ ПЛАСТИКИ

С его работами мне довелось познакомиться на ленинградской выставке «Искусство и окружающая среда». Даже не познакомиться — столкнуться, как сталкиваются с неожиданностью. Они сразу приковали внимание. И в особенности — портрет Анны Ахматовой.

У Виктора Зайко, как я тогда понял, нет болезненного стремления, свойственного многим из художников, исповедующих методы «ползучего реализма», во что бы то ни стало добиваться абсолютного, вплоть до мелочей, фотографического, или, вернее, натуралистического сходства портрета и модели. Он не копирует натуру. Он создает образ. Зайко признавался, что, работая над портретом Ахматовой, почти не пользовался иконографическим материалом. Скульптор выполнил не одно и не два изображения Анны Андреевны — таких изображений множество, он и сейчас продолжает работу над Образом Поэта.



Портрет Анны Ахматовой. 1988. Мрамор

Можно было бы добавить, что он углубляет его, но... слово это затерто, мы воспринимаем его как некий условный знак, предшествующий комплименту. И на деле такое «углубление» означает «редактирование» уже сделанного.

Между тем образ является художнику. Он всякий раз как бы заново возникает в его сознании. Так можно ли образ отредактировать, если, конечно, мышление художника не загнано в жесткие рамки канона, если оно не работает в конъюнктурном направлении, если художник — действительно художник, а не какой-то там ликодел?

Портреты Ахматовой, выполненные скульптором, представлены сейчас в музейных экспозициях, посвященных поэту, в Калинине, Пушкине, Ленинграде, а на Украине, в селе Слободка-Шелеховская Хмельницкой области, там, где бывала Ахматова и где похоронена ее мать, установлен и памятник — работы В. Зайко.



Боцман с Кунашира. 1983. Мрамор

Внутренняя убежденность художника в правомерности создаваемого определяет и характер композиции, и выбор материала. Зайко родом с Сахалина, у него нет такого тесного, такого непосредственного соприкосновения с блокадной темой, какое может быть только у ленинградца, зато он и решает эту тему по-своему, он и воспринимает трагедию города, быть может, более обостренно и в то же время более обобщенно — близкое личное не заслоняет ему всеобщего.

И если говорить в целом о творчестве скульптора, то он при работе над каждой данной вещью идет от частного: отталкиваясь от этюда, приходит к типажу. Так он создавал образы «Боцмана с Кунашира», «Курильчанки», «Матроса с сухогруза» (серия «Дальний Восток»), «Федора Копнова из Новгорода». Последняя работа родилась в результате мно-



Курильчанка. 1984. Металл



Блокадное трио (из серии «Блокада»). Гипс тонированный

гих этюдов из, если можно так выразиться, новгородских ассоциаций, образ вымышленного Федора Коппова навеян самим духом древнего города, аскетичными формами его храмов, суровыми ликами с фресок Феофана Грека.

Пластика малых форм, к которой чаще всего обращается скульптор, ценится им за демократичность и ту широкую возможность экспериментирования, что она столь щедро предоставляет. Он считает ее самым оперативным видом искусства. А эксперимент... Поскольку дизайн в буквальном смысле слова вонзается в пластику, то вот и зайковский эксперимент — композиция «Залпы тридцать седьмого», решенная в цвете: созданный скульптором образ человека-мишени производит сильное впечатление. Когда ему говорят, что это, мол, чистой воды авангард, он неизменно пожимает плечами. Ни о каком авангарде он не думал во время работы. Да и что такое вообще авангард? Есть искусство и неискусство. Многим авангардистские игры морочат голову и ничего не дают душе. Искусство ли это? И как хорошо, что сейчас снят запрет со



Из серии «Блокада». 1987. Керамика



В осажденном городе (из серии «Блокада»). 1988. Керамика

всего, некогда признанного «не нашим», и постепенно обнажается истина, и становится видно невооруженным глазом, что чего стоит.

В современном искусстве, убежден В. Зайко, главное — выразительность. Если человек проходит мимо произведения, ничто в нем его не привлекает, значит, художник не решил сверхзадачи, не нашел той формы, в которой бы трепетала живая душа произведения и звучала бы, песня зрителю чарующую мелодию Искусства.

Есть такой анекдот...

«Так что же они там перестраивают?!»

Не так давно Верховный суд СССР опубликовал сообщение о реабилитации еще одной группы незаконно репрессированных советских граждан. Назван был и латышский поэт К. Скуениекс, которому в числе других преступных деяний вменялось в вину рассказывание анекдотов — в частности «о кампании повсеместных посадок кукурузы». Как авторитетно установил суд, они «не были антисоветскими». (Возникает вопрос: а если бы они были антисоветскими, поэта посадили бы уже без всяких препятствий со стороны закона?)

Суд посадил, суд признал свою ошибку. Невозможно предположить, чтобы анекдот взял свои слова обратно. Глас народа, говорят, глас божий. Это всегда правда («Кукуруза — не обуза, но обуза — кукуруза!»). И не может она нравиться тем королям, которые по ее милости разгуливают перед всем честным народом голыми.

Сильно сомневаясь в полной и безоговорочной победе гласности, я — в доказательство, по крайней мере, ее значительных успехов — решил заняться тем, о чем несколько лет назад и помыслить не

мог,— советским политическим фольклором.

Анекдот, как и подлинная народная частушка, неподкупен, зорок и точен. А чтобы зло, уродства жизни и общества, которые он, высмеивая, критикует, были лучше видны, это зло, уродство, глупость подчеркиваются, гиперболизируются, порой продолжаются до своего логического конца, до бессмыслицы, абсурда («Алло! Дорогой Леонид Ильич слушает...»).

Предлагаю вниманию читателя несколько политических анекдотов из моей коллекции. Все эти анекдоты взяты не из книг, не из печатных источников, а услышаны в живой, не стесненной речи. Как бы анекдот ни преследовали, он жил, живет и будет жить, пока жив народ, чьи взгляды и интересы он отражает и отстаивает.

Если частушка преимущественно озабочена проблемами деревни, то анекдот всеохватен, хотя создается он в основном в городе.

И последнее, весьма отрадное обстоятельство. Если раньше, скажем, во времена моего довоенного детства имели широкое хождение сальные, пошлые анекдоты, то нынешнее общество их не приемлет, его духовный и интеллектуальный уровень вырос — отошли похабные анекдоты о Пушкине, многие другие. Анекдоты нового склада отличаются более тонким юмором, часто они построены на игре слов, предполагают широкую эрудицию и рассказчика, и слушателя.

Владимир БАХТИН

С 1929 года запрещено плевать в потолок.

— Почему?

— Потому что с него взят первый пятилетний план.

Все политические анекдоты, в том числе и о Сталине, приписывались Радеку. Вызывает однажды Сталин Радека и говорит:

— Слушай, Карл, давай договоримся: ты про меня не будешь анекдотов рассказывать, и я воздержусь от всяких анекдотов.

На том и согласились.

И вдруг опять пошли анекдоты о Сталине. Снова Сталин вызывает Радека.

— Что же ты, Карл, нарушил нашу договоренность?

— Ничего подобного! Это не я, это ты первый нарушил слово: разве твоя речь на XVII съезде партии не сплошной анекдот?

Тоже приписывается Радеку. На юбилее Горького он сказал:

— Мы все называем именем Максима Горького: город Горький, улица Горького, колхоз имени Горького... А не назвать ли нам всю нашу жизнь в его честь — максимально горькой?

О гитлеровской Германии после подписания договора 1939 года говорили:

— Наши заклятые друзья.

Тогда же предлагалось по случаю приезда Риббентропа в Москву переименовать Химки по его имени в Иохимки.

Двое проходят мимо Большого дома на Литейном. Один читает надпись: «Посторонним вход запрещен». Второй спрашивает:

— А если бы было разрешено, ты бы сам пошел?

Двое идут по Литейному проспекту в Ленинграде.

— Это Госстрах,— говорит один.

— А это — Госужас,— говорит другой и показывает на Большой дом.

— Что такое: комочек перьев, а под ним ужас?

— Это воробей сидит на Большом доме.

На вокзале.

— Ты куда?

— На Волго-Дон. А ты куда?

— Надолго вон.

Сталин вызывает Жукова.

— Слушайте меня внимательно, товарищ Жуков. Если немцы возьмут Ленинград — расстреляю; если немцы возьмут Москву — расстреляю; если возьмут Сталинград — тоже расстреляю...

На банкете в честь Победы Сталин сказал:

— Я поднимаю тост за маршала Жукова. Маршал Жуков обладает двумя большими достоинствами. Во-первых, товарищ Жуков — хороший полководец, а во-вторых, товарищ Жуков понимает шутки...

В трамвае.

Стоит гражданин, читает газету и говорит вполголоса:

— Доведет он нас до ручки!

Его тут же забирают. В Большом доме допрос.

— Так что вы сказали? Кто доведет нас до ручки?

— Как кто? Конечно, Трумэн!

— А-а, так! Ну ладно, идите в таком случае.

Он выскочил. Потом вернулся, просунул голову в дверь:

— Скажите, а вы кого имели в виду?

Брежнев на заседании Политбюро говорит:

— Товарищи! У нас многие члены Политбюро впали в маразм, играют в куклы, скачут на деревянных лошадках. А вот Косыгин отобрал у меня оловянных солдатиков *(плачет)* и не отда-а-е-ет!

Брежнев на дипломатическом приеме. Читает по бумажке:

— Уважаемая госпожа Индира Ганди!..

Ему кто-то шепчет:

— Да не Индира Ганди, а госпожа Тэтчер!

Брежнев тихо отвечает:

— Да я и сам вижу, что Тэтчер, да написано-то — Ганди!

И вновь громко читает:

— Уважаемая госпожа Индира Ганди!

В дни Олимпиады Брежнев выступает и читает:

— О-о-о...

Референт толкает его:

— Леонид Ильич! Это же пять олимпийских колец!

Социализм в Чехословакии дал Дубчека.

— Что делать с Дубчеком?

— Дуб срубить, а чека оставить.

— Почему наши так долго остаются в Чехословакии?

— Ищут человека, который их пригласил.

— Как живешь, Ахмед?

— Ничего, слава богу, совсем беда!

Лектор говорит:

— При коммунизме у всех все будет — не только автомобили, а, например, даже вертолеты.

Старуха спрашивает:

— Сынок! А на что мне вертолет-то?

— Э-э, бабка, не скажи! Узнаешь, что в Киеве макароны дают — и слетаешь.

Бабка приходит к деду и спрашивает:

— Дед, а что такое — социализм?

— А это, бабка, вот так: слева стоит «Мерседес» Брежнева, справа — Косыгина, а посередине — мой.

— Не может быть! — говорит бабка.— Ты что-то путаешь!

И дед засомневался.

— Пойду,— говорит,— проверю.

Ходил-ходил, вернулся домой.

— Вот теперь я узнал точно, что такое социализм. Это — слева стоят лапти Брежнева, справа — Косыгина, а посередине — мои.

Собрание в колхозе. На повестке дня один вопрос: о распределении пары сапог. Председатель говорит:

— Есть предложение выдать их мне. Кто за это предложение? Кто против Советской власти?

В Туве председатель колхоза подает заявку на двадцать четырехгорбых верблюдов. Ему говорят:

— Что это у вас за заявка такая?

— А-а! Все равно срежут — дадут десять двугорбых.

Анекдот из Карелии.

Приехал в Ленинград Сенькин, первый секретарь Карельского обкома КПСС. Гуляет по Невскому с Романовым, первым секретарем Ленинградского обкома. Все проходящие здороваются с Сенькиным:

— Здравствуйте, Иван Ильич!

— Здравствуйте, Иван Ильич!

Романов обиделся.

— Что это вы так популярны в Ленинграде?

— А это не ленинградцы, это наши карелы — за мясом приехали.

Брежнев на том свете встречается с Хрущевым.

— Ты, когда работал генсеком, что-нибудь построил?

— Нет. А ты?

— Я тоже ничего.

— Так что же они там перестраивают?!

В столовой.

— Дайте мне сто стаканов чаю. Только сахар отдельно.

Вопрос: можно ли считать нашу колбасу мясным продуктом, а если нет, то можно ли употреблять ее в пост?

Какова колбаса, таково и государство.

На совещании руководителей колбасных заводов очень хвалят одного директора, просят поделиться производственными секретами.

— Да нет у нас никаких секретов: берем дерьмо, добавляем немного фаршу...

Тут остальные директора закричали:

— Ах, ты еще и фарш добавляешь!

— Что такое перестройка?

— Правда, только правда и... ничего, кроме правды.

Анекдоты про Горбачева пока в основном идут из среды недовольных алкоголиков.

Пустыня. Зной. В песке зарытый по шею Горбачев.

— Пить! Пить! — просит он.

Мимо идет человек. Он поднимает руку, смотрит на часы.

— Рано! Еще двух часов нет.

В чем дело?

В «Седьмой тетради» появилось очередное досье — с копиями писем, заявлений, адресованных в самые разные инстанции. На папке значится «Дело Тинуксеньярви».

В чем же оно, это дело, разбухшее от документов? Суть его раскрывается в письме Б. Смирнова, а отвечать по этому «делу» должны те, кто его породил, вопреки здравому смыслу, интересам общественности, принципам охраны природы.

Тинуксеньярви — малое озеро. Это вам не Ладога. Но не с малого ли начинаются все большие безобразия?

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Когда едешь по шоссе Ленинград—Матокса, минуешь целую цепь живописных озер. Среди них, за Токсовом, два с финскими названиями — Тинуксеньярви и Хиитоловское. По прямой между ними километра четыре. Люди опытные всегда стремятся на Тинуксеньярви. Озеро это небольшое, но красивое, чистое и глубокое. Расположено в котловане, его крутой западный берег возвышается над водою метров на тридцать. Дно песчаное. Кругом холмы, покрытые лесом и кустарником. Вода в озере мягкая, ласковая, приятная на вкус. Хиитоловскую же воду в рот не возьмешь. Все оттого, что на берегах Хиитоловского озера деревня, садоводство, возделанное поле и коровник. Вот и превратилось оно постепенно в сточное хранилище грязной воды.

Прошлым летом западный берег Тинуксеньярви отдали новому садоводству. Перекрыли все подъезды, установили шлагбаум, вывесили грозные надписи: «Стой, стреляют!!! Проезд и проход запрещен!» Решительные дяди огорошивали встречных: «Скоро здесь ходить не будете — запретная зона».

И вскоре на берегу появились бульдозеры и самосвалы. Холмы были срезаны, деревья и кустарники выкорчеваны.

С первыми ударами топора родился и естественный протест общественности. Действительно, почему под садоводство отдана именно прибрежная зона озера, хотя неиспользованных земель вокруг достаточно? На общем собрании трех садоводческих товариществ, расположенных близ озера, была создана инициативная группа, и перед нею поставлена задача спасать водоем. Группа активно включилась в работу, и ей сразу пришлось столкнуться с произволом и круговой порукой, с упорным нежеланием чиновников самых разных рангов понять очевидное: сточные, смешанные с удобрениями и отходами воды рано или поздно приведут к гибели озера. Несмотря на протесты, несмотря на официальное предостережение Комитета по охране природы, обращения в прокуратуру, несмотря на то, что водоохранная организация СЗБТУ трижды отклоняла предпроектные материалы, садоводство «Лазурное» начало работы по освоению прибрежной зоны. Ведутся они, невзирая даже на постановление Совета Министров РСФСР № 91 от 17.03.1989, устанавливающее трехсотметровую охранную зону для малых озер.

«Не было такого случая, чтобы облисполком отменил свое решение»,— заявил начальник отдела землепользования и землеустройства облагропрома М. С. Кортов,— не было и не будет». К сожалению, жизнь подтверждает эти слова.

Можно понять садоводов, получивших долгожданные участки и не склонных анализировать, что для них важнее — быть ближе к озеру сегодня или иметь чистую воду завтра. Как понять руководящих товарищей? Почему в угоду привилегированной группе военных, стремящихся во что бы то ни стало закрепиться на «престижном» месте (чем ближе к воде, тем престижнее), приносится в жертву народное достояние? Неужели областным руководителям безразлично, что, когда будущие садоводы начнут осваивать свои участки всерьез, когда земли и грунтовые воды пропитаются фекалиями и ядохимикатами, безжизненным станет не только Тинуксеньярви. Цепочка потянется дальше — через реку Авлогу к Ладожскому озеру.

Что это — безответственность, служебная амбиция? Или элементарная экологическая безграмотность и недомыслие тех, кому доверено решать?

От возмущенных людей посылались десятки писем и телеграмм в городские, областные и центральные инстанции. Ленгорисполком не выдержал, и распоряжением № 132-р от 28.02.1989 создал комиссию для рассмотрения этих писем. Состоялось и заседание комиссии 16 марта 1989 года, и не где-нибудь, а в... штабе воинской части — той самой, которая основала садоводство «Лазурное». Удивительное заседание, результат которого был заранее задан. На него не допустили представителя Ленкомприроды С. Г. Кононца, мнение которого командование воинской части знало. Никто из участников заседания не был заинтересован всерьез принимать доводы защитников озера.

«Незачем оправдываться перед какой-то инициативной группой, людьми, которые ни за что не отвечают,— так, примерно, высказался представитель областной СЭС В. А. Николаев.— Пусть занимаются охраной Хиитоловского озера и мусорными свалками и не лезут не в свое дело». И дальше разговор пошел о перехвате и отводе за пределы озера загрязненных вод, о необходимости ограждающей сети, сооружения прудов-отстойников... И еще о том, что применение химических удобрений надо запретить, отхожие места оборудовать бетонированными выгребами и выделить ответственное лицо, которое следило бы за всем этим. Стало ясно, комиссия создана

для того, чтобы проштамповать готовое исполкомовское решение.

К борьбе за спасение озера подключилось неформальное экологическое объединение и Ленинградское телевидение. В апрельской телепередаче «Человек на земле» участвовал заместитель председателя Всеволожского горисполкома Г. А. Добров — он же председатель Всеволожского общества охраны природы. Добров информировал телезрителей о критической обстановке, вызванной загрязнением озер Всеволожского района и посетовал на то, что предприятия, вкладывая миллионы в строительство прибрежных баз отдыха, ничего не делают для защиты водоемов, но тут же высказался за освоение трехсотметровой прибрежной зоны озера Тинуксеньярви. Основания? Пожалуйста. Земли вокруг озера — «земли спецназначения». Принадлежат они Министерству обороны, их перепрофилировали для садоводства. Итак, можно сделать вывод: для военных садоводств действуют свои, особые, военные законы. Это странная логика, убийственная для Тинуксеньярви.

В телеграмме, полученной телестудией после передачи, товарищи Аверкиева, Никифорова, Шморгуновы и Курбатова просили перечислить тех, кто санкционировал отвод участков в трехсотметровой прибрежной зоне. Вот имена лиц, санкционировавших экологическое преступление: бывший председатель Леноблисполкома Н. И. Попов, начальник отдела землепользования и землеустройства Леноблагропрома Михаил Степанович Коротов, председатель Всеволожского горисполкома Станислав Андреевич Ковалев, заместитель председателя Всеволожского горисполкома Геннадий Александрович Добров, члены комиссии Леноблисполкома, поставившие свои подписи под приговором озеру.

То, что происходит в районе озера Тинуксеньярви, не просто ошибка, это нежелание прислушиваться к голосу разума и неумение распоряжаться достоянием народа. Никто против нового садоводства не возражает. Речь идет о том, чтобы сохранить ландшафт и растительность в трехсотметровой прибрежной зоне и не допустить гибели озера. И — следовать закону.

Б. СМИРНОВ

МОРАЛЬНОЕ ПРАВО БЛОКАДНИКА

Давно беспокоит меня одна ленинградская проблема — недопустимо затянувшееся решение жилищного вопроса блокадников.

До войны я жил в Ленинграде. В июне 41-го окончил 4 курса ЛИИВТ'а, дипломный проект защитил только в 1951 году. С послевоенного времени я уже не ленинградец, но, по-прежнему Ленинград близок моему сердцу, я считаю его родным городом, каждый год приезжаю к своей сестре, навещаю друзей, обязательно захожу в институт, стараюсь побывать всюду, чтобы освежить в памяти знакомое, увидеть новое. Время неумолимо — многих друзей уже нет...

А теперь снова о главном, о том, с чего начал.

В январском номере «Невы» была опубликована статья Е. Богорова «Блокада в кадре и за кадром» — так журнал напомнил нам, что прошло 45 лет со времени снятия блокады Ленинграда.

И опять, в который раз, с горечью подумалось: почему забыли тех, кто пережил блокаду и вместе с воинами отстоял свой город, ставший известным всему миру беспримерным мужеством в условиях блокадного ада, почему и через 45 лет они все еще нуждаются в нормальном жилье.

Летом прошлого года в передаче «До и после полуночи» были показаны удручающие кадры жилищных условий нескольких семей блокадников. Но вот и близкий, лично известный мне пример — жизнь моей сестры.

Уже более 20 лет живет сестра с сыном и внучкой (теперь уже взрослой) в одной комнате коммунальной квартиры, куда ее с сыном переселили в 1967 году из семейного общежития, в котором она жила с семьей с 30-х годов. Вот так беспросветно проходит жизнь в одной комнате общежития или коммунальной квартиры. И всегда нелегкая работа. Со времени окончания ФЗУ до пенсии сестра работала на прядильной фабрике (банкоброшница) с трехсменным режимом, в блокаду — на Кировском заводе точила снаряды. На этом заводе в дни войны погиб ее муж, погибла сестра — боец МПВО, на фронте в ста километрах от Ленинграда погиб наш брат.

Каковы же перспективы, надежды на лучшее жилье? В 1989 году сестру из общей очереди с № 14580 перевели в блокадную с № 829. Но это мнимое ускорение, ибо и с этим номером придется ждать не год или два, а значительно дольше.

И тут возникает естественный вопрос: не безнравственно ли вообще 70—75-летних утешать какой-либо очередью? Считаю, что проблема может быть решена только как чрезвычайная, безотлагательная, которая не имеет морального права существовать долее одного года. Они не могут больше ждать, у них нет времени. Не могут! Многие уже не дождались...

Очень убедительно об этом подчеркнул Кирилл Лавров в непроизнесенном на съезде народных депутатов СССР, но напечатанном в «Известиях» выступлении. Пусть и мое письмо, с вашей помощью, окажет содействие в решении проблемы, общей для всех, кто жил в блокадное время.

А. С. НИКОЛАЕВ,
участник Великой Отечественной войны,
член КПСС с 1944 г.